
И. ЕФРЕМОВ





МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ИВАН ЕФРЕМОВ

СОЧИНЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ

Составитель
ЖЕМАЙТИС С. Г.

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975

ИВАН ЕФРЕМОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975

Р2
Е92

Е $\frac{70302-188}{078(02)-75}$ —подписное



ОТ АВТОРА

Рассказы, вошедшие в I и II тома Сочинений, за малым исключением, написаны в начале моего литературного пути. Семь рассказов: «Встреча над Тускаророй», «Эллинский Секрет», «Озеро Горных Духов», «Путями Старых Горняков», «Олгой-Хорхой» (в первом издании неточно названный «Аллергорхой-Хорхой»), «Катти Сарк» и «Голец Подлунный» — были написаны в 1942—1943 годах и увидели свет в 1944 году (кроме «Эллинского Секрета», изданного лишь в 1968 году). Другие восемь рассказов: «Белый Рог», «Тень Минувшего», «Алмазная Труба», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Бухта Радужных Струй», «Последний Марсель», «Атолл Факаофо» и «Звездные Корабли» — написаны в 1944-м и изданы в 1945 году, кроме последнего, опубликованного в 1948 году. Третий цикл рассказов: «Юрта Ворона», «Афанеор, дочь Ахархеллена», «Сердце Змеи» и «Пять Картин» — появился лишь в 1958—1959 годах. За время почти 15-летнего перерыва был написан только один рассказ «Адское Пламя» (издан в 1948 году).

Большинство рассказов первого и второго циклов было посвящено популяризации необыкновенных явлений и научных открытий, реже — высочайших достижений мореходного мастерства («Катти Сарк», «Последний Марсель»). «Эллинский Секрет», где я впервые поставил вопрос о материалистическом понимании генной памяти, и «Звездные Корабли», с их концепцией множественности обитаемых миров и общности мыслящих существ вселенной, слишком опережали привычные для литературы того времени представления и потому задержались с опубликованием.

В позднейшем цикле центр интереса передвинулся на людей в необычайной обстановке настоящего или далекого будущего.

Когда писались первые рассказы, наука в нашей стране, да и во всем мире еще не претерпела того бурного развития, можно

сказать, взрыва, какой характерен для второй половины века. Научная популяризация по количеству книг находилась на весьма низком уровне. Знакомство широкого читателя с достижениями, а главное — возможностями науки было еще весьма ограничено.

Для меня, ученого, тогда не помышлявшего о пути писателя, казалось важным показать всю великолепную мощь познания, беспредельный интерес видения мира, открывающийся трудом ученого, решающее его воздействие на самовоспитание. Все это ныне не нуждается в доказательствах. Многое (хотя все еще недостаточно) сделано в области популяризации науки. Интерес и романтика научного исследования знакомы большинству читателей, число ученых возросло в сотни раз.

Рассказы «о необыкновенном» вряд ли удивят сейчас кого-либо из образованных людей, тридцать лет спустя после их написания.

Этот срок, большой даже для обычных темпов довоенной науки, на самом деле гораздо больше после гигантского перелома в мощности исследований и открытий, совершившегося в конце сороковых годов и ныне грозящего перенасыщением научной информацией. Интересно оглянуться назад и посмотреть, как же отразилось современное развитие науки на «необыкновенностях» конца тридцатых годов, тогдашней передовой линии в некоторых естественноисторических вопросах.

Проблема накопления тяжелой воды вне термического перемешивания на дне глубочайших океанических впадин («Встреча над Тускаророй») еще остается открытой. Не добыто решающих доказательств ни «за», ни «против».

С изобретением компьютеров и разработкой кибернетики мы приблизились наконец к материалистическому пониманию работы мозга и механизма памяти. Поэтому рассказ «Эллинский Секрет», не напечатанный сначала из-за его кажущейся «мистики», мог быть опубликован в шестидесятых годах, уже после более подробной трактовки «памяти поколений» в моем романе «Лезвие Бритвы». Поучительно для отъявленных скептиков, что все явления природы, не поддающиеся объяснению на современном уровне науки, кажутся нам мистикой. Однако они сразу теряют свое сверхъестественное одеяние, едва наука поднимается до их понимания и объяснения.

Со времени опубликования «Озера Горных Духов» на Алтае действительно открыто ртутное месторождение, при иных, не связанных с картиной Г. И. Гуркина, обстоятельствах. Это совпадение, а не пророчество, потому что, зная геологию Алтая, я был убежден, что там будет найдено еще не одно месторождение ртути.

Однако среди алтайских геологов родилась легенда, соответствующая содержанию рассказа.

«Путями Старых Горняков» не содержал никаких научных новшеств и остался памятью труда геологов. Читатели Оренбургской области отметили место действия рассказа мемориальной доской.

«Олгой-Хорхой» не оправдал надежд на находку в недоступных местах Гоби особого червеобразного животного, убивающего на расстоянии. Недоступные прежде районы Гобийской пустыни сейчас обстоятельно исследованы. Очевидно, «кишка-червяк» монгольского фольклора относится к животному, ныне вымершему, но сохранившемуся в народных преданиях, подобно волосатому носорогу и мамонту у юкагиров нашего Севера или снежному человеку гималайских шерпов.

Рассказ о великолепном паруснике «Катти Сарк» исполнился до конца. Только корабль поставлен в музей не американцами, как я написал в первом варианте 1942 года, а самими англичанами. Судя по письмам английских читателей, мой рассказ в первом варианте, переведенный и опубликованный в Англии, сыграл известную роль в «освежении» памяти «Катти Сарк» у народа, построившего этот изумительный клипер.

«Голец Подлунный» в первом варианте назывался «Сумасшедший танк», но был сочтен мною неудачным и полностью переделан в хроникальное и точное описание одного из моих сибирских путешествий. Фантастическое ядро рассказа — находка пещеры с рисунками африканских животных и бивнями слонов — неожиданно зазвучало реальностью после открытия А. В. Рюминым рисунков Каповой пещеры, правда, не в Сибири, а в Башкирии (и без склада слоновой кости). Вероятно, предчувствие подобных находок говорит о возможностях дальнейших открытий пещер типа описанной в «Гольце Подлунном». Тогда окончательно снимется фантастика рассказа. Интересно отметить, что ныне утраченное искусство размягчения слоновой кости, о котором я напомнил в рассказе «Эллинский Секрет», оказалось известным еще в незапамятной древности. Недавняя находка О. Н. Бадером у гор. Владимира палеолитического погребения двух мальчиков показала, что люди того времени владели искусством выпрямлять и гнуть мамонтовые бивни. В могиле оказалось прямое копье из цельной мамонтовой кости (бивня) свыше двух метров длины.

Второй цикл рассказов был написан после того, как первые семь удостоились опубликования сразу в нескольких журналах. Он отличается большей широтой «необыкновенных» научных проблем. Я увидел, что даже сложные, далекие от разрешения гипотезы или необъяснимые открытия вызывают живой интерес читате-

лей, лишь бы за ними стояла ощутимая перспектива новых путей в науке.

За исключением романтических «Белого Рога», «Обсерватории Нур-и-Дешт» и «Последнего Марселя», в рассказах 1944—1945 годов отразились неразгаданные и, казалось бы, непосильные для исследования вопросы тех наук, которым я посвятил свою жизнь, — геологии и палеонтологии. Неполнота геологической летописи, занимавшая меня тогда уже на протяжении всех двадцати лет научной деятельности, заставила сконцентрировать все знания и опыт в создании теоретических основ для хотя бы частичного заполнения пробелов великой исторической книги природы. В 1943 году окончательно сформировалась та новая отрасль исторической геологии и палеонтологии — тафономия, которая в 1952 году была отмечена Государственной премией. Но и после того потребовалось еще около двадцати лет, прежде чем тафономия получила мировое признание. Строго говоря, даже до сей поры она еще не внедрилась в историческую геологию полностью. Это показывает, насколько тафономия опередила геологическую мысль тех лет.

В документах геологической летописи, как бы остроумно мы ни решали ее загадки, существует безнадежная недостаточность. Нет надежды увидеть человеческими глазами хотя бы мимолетные, случайные, но цельные живые ландшафты давно минувших времен, облики животных и растений, вид тогдашних скал и рек, озер и морей...

Безнадежность не смирила стремления к познанию и заставила обратиться к грезе о картинах прошлого, якобы запечатленных в горных породах и в особых случаях освещения и отражения предстающих перед внимательным взором исследователя. Так родился рассказ «Тень Минувшего». Опыты основателей фотографии со световыми отпечатками без бромосеребряного процесса послужили научным обоснованием «сверхнеправдоподобной правды», как выразился в своем письме один из читателей. Три года спустя известный физик Деннис Габор выдвинул теоретическое обоснование голографии.

Профессор Ю. Н. Денисюк, создатель практической голографии в нашей стране, сказал в недавнем интервью, что именно рассказ «Тень Минувшего» разбудил мечту, побудившую его заняться голографией, хотя возможность технического ее осуществления сначала казалась ему делом почти невозможным. Это признание выдающегося физика не только приятный подарок писателю-фантасту, но и доказательство предвидения возможностей науки в простом полете воображения.

Интересно, что я почти инстинктивно понимал, насколько «про-

явление световых отпечатков прошлого», как оно сформулировано в рассказе, зависит от силы источников света, направляемых на «отпечаток», но по тому времени не мог говорить ни о чем другом, кроме магниевой лампы. Изобретение лазера сразу же дало надежную базу техническому осуществлению голографии.

Широкую известность приобрел рассказ «Алмазная Труба». Двенадцать лет спустя после его написания на письменный стол, за которым был написан рассказ, легли три алмаза из первых, добытых в трубке, расположенной на Сибирской Платформе, правда, южнее места действия «Алмазной Трубы», но точно в той геологической обстановке, какая описана в рассказе. Кстати, я написал, что распространение трубок должно быть весьма широким, и убежден, что трубки будут найдены и севернее.

Как мне рассказывали мои коллеги-геологи, ведшие поиски алмазов, они таскали в своих полевых сумках книжку рассказов с «Алмазной Трубой». Секрет этого удивительного на первый взгляд прогноза прост: будучи сибирским геологом, я, несколько лет занимаясь тектоникой древних щитов, подыскал геологические условия, очень близкие с африканским щитом, после того, как многие годы изучал Африку. В рассказе я придумал находку трубки геологическим отрядом, в приключения которого вложил испытанное в собственных маршрутах, как то сделал в «Гольце Подлунном». Разумеется, я принял во внимание все известные по тому времени факты: существование зоны повышенного давления под Сибирской Платформой, аномалии силы тяжести и пластовые интрузии тяжелых основных пород, описал, что основными спутниками алмазов должны быть алые гранаты — пиропы, а вмещающими породами — кимберлиты.

Все это до такой степени точно совпало с найденными двенадцать лет спустя месторождениями, что фантастический рассказ «Алмазная Труба» стали рассматривать как научный прогноз. Нашлись даже люди, которые обвинили меня в присвоении чужих открытий, именно «теории» проф. Н. М. Федоровского, забыв, что фантастический рассказ не претендует на научную теорию, и упустив из виду, что я — исследователь Сибири. На поверку оказалось, что никакой «теории» у Федоровского не существовало. Все его высказывание о возможности находки месторождений алмазов заключается в одной строчке его популярной книги 1934 года: «Тип же южноафриканских месторождений пока что не встречен, возможно, что он будет найден в многочисленных вулканических областях Сибири и Северного Урала».

Подобные высказывания у геологов, работавших в Сибири или на ультраосновных массивах Урала, встречаются начиная с 1912 года (Я. А. Макеров). Я привожу здесь этот случай в ка-

честве курьеза. Пожалуй, это первый раз, что автор научно-фантастического рассказа подвергся обвинению, хотя бы и клеветническому, в присвоении чьей-то научной теории! Правда, в 1945 году англо-американского научного фантаста Олафа Стэплдона ФБР обвинило в разглашении сверхсекретнейшей информации об урановой бомбе, тогда еще «Манхеттенском проекте». Стэплдону удалось доказать, что фантастическое описание бомбы опубликовано им еще в 1932 году, когда даже сам Эйнштейн не помышлял о техническом осуществлении уранового взрыва. Когда ретивые секретчики поостыли, то им стало ясно, что процесс изготовления урановой бомбы, особенно на первых стадиях, на самом деле тысячекратно сложнее, чем описанный фантастом. Одно лишь разделение изотопов представляло собой задачу такой технической трудности, что только гигантские затраты и ряд гениальных инженерных и научных догадок смогли преодолеть барьеры на пути к созданию убийственного оружия. Это случается в науке настолько часто, что может быть возведено в закономерность. Так и общепринятая гипотеза происхождения алмазов в трубках прорыва из стокилометровых глубин земной коры, которую я положил в основу рассказа, в свете последних наблюдений оказывается неполной, а генезис алмазов гораздо более сложным. Здесь не место обсуждать вновь открытые факты. Скажу только, что внутри кристаллов сибирских алмазов случается находить органические вещества и даже тонкие веточки растений! Это не вяжется с чудовищными давлениями и глубинами эклогитовой зоны. Очевидно, гипотеза происхождения алмазов будет в самое ближайшее время пересмотрена.

Рассказ «Бухта Радужных Струй», к сожалению, не привлек внимания ботаников или биохимиков к исследованию удивительных свойств «почечного дерева» (эйзенгартии) современными средствами. Этот долг — за учеными молодого поколения.

Судьба рассказа «Атолл Факаофо», ныне кажущегося устарелым, не совсем проста. Основная идея и цель написания рассказа — изучение коренных пород океанического дна — зародилась у меня еще в первые годы геологической работы. В 1930 году я написал научную статью, в которой пытался обратить внимание региональных геологов на необходимость добывания образцов коренных пород из глубин океана и указывал места океанических впадин, где возможно зацепить при драгировании подводные обнажения этих пород.

Скудные возможности научных изданий тех лет заставили меня послать статью в авторитетный немецкий геологический журнал «Геологише Рундшау». Она вернулась с довольно обстоятельным разгромным отзывом крупнейшего в те годы специалиста по

геологии морского дна профессора Отто Пратье. Он заявил, что статья представляет собою химеру. Все дно океанов и морей сплошь покрыто рыхлыми позднейшими осадками, из-за которых недоступны коренные породы, и при современной технике нет никакой возможности добывать образцы их. Жаль, что заметка не была напечатана. Я мог бы записать себе «в актив» еще прогноз, на сей раз обставленный «научно». В действительности коренные породы океанического дна в очень многих местах выступают из-под рыхлых осадков. Правда, как и в случае с «Алмазной Трубой», истинное состояние дела оказалось много сложнее, чем представлено было тогда. В упомянутой статье я обещал читателю, что всего два-три образца коренных пород, добытые из глубочайших океанических впадин, сразу же разъяснят спорные проблемы геотектоники, особенно вопрос постоянства материков и океанов. Ныне огромные корабли, например «Гломар Челленджер», ведут глубоководное бурение, добывая большие колонки геологических разрезов. Бурение еще не проникло в наиболее глубинные области, хотя недавно советской океанологической экспедицией был добыт образец очень тяжелой ультраосновной породы из глубокой впадины Индийского океана. Выяснилась геологическая сложность строения коренных пород дна морей, в общем не уступающая материкам. Изучение морского дна двинулось вперед такими темпами и с такими огромными затратами, какие не могли мне представиться в фантастическом рассказе, написанном в 1944 году. И все же современные методы изучения геологии морского дна кое в чем еще уступают описанным в «Атолле Факаофо». Еще нет телевизоров, могущих обозревать большие участки дна на лишенных света глубинах. С появлением когерентных источников света — лазеров, такие приборы, конечно, будут созданы, но пока их нет. Нет и аппаратов, способных бурить на больших глубинах и связанных с кораблем лишь кабелями для подачи энергии. Нет машин, способных работать в воде, как в воздушной среде, без столь трудно достижимой для больших давлений герметичности. Все же пока телевизор капитана Ганешина остается фантастическим.

По сравнению с «Атоллом Факаофо» написанный на четыре года позднее рассказ «Адское Пламя» полностью устарел технически. Я включил его в данное издание ввиду его вполне современной направленности против гонки вооружений. Также любопытно показать, по какому вектору наиболее ускоряется научно-техническая мысль современности. Описанная мною ракета с направляющим коридорным наземным устройством выглядит по сравнению с современными самонаводящимися на цель ракетами-роботами оружием давнего прошлого.

Последний из рассказов второго цикла, вернее небольшая повесть «Звездные Корабли» после опубликованных ранее на 15—20 лет «Аэлиты», превосходного рассказа «Чужие» А. Волкова (1928 г.) и космических вещей А. Беляева, возобновил космическую тему в нашей литературе. Повесть не сразу получила признание и подверглась критике с позиций вульгарного материализма с его геоцентризмом тогда авторитетного метафизика-космогониста Джемса Джинса. Пришельцы далеких миров, достигшие высокой ступени общественного развития в очень давние времена, пугали некоторых критиков. В результате «Звездные Корабли» были напечатаны лишь через три года после написания, в декабре 1948 года. До сей поры ископаемые кости, пробитые какими-то орудиями, привлекают особое внимание исследователей. Однако во всех известных случаях кости с подобными повреждениями получили иное объяснение, обходящееся без привлечения человеческой руки. Зато уж тема пришельцев из иных миров, некогда посетивших нашу планету, настолько широко распространилась в литературе всего мира, что надоела читателям, варьируясь в самых различных сюжетах, от библейских пророков до детективных приключений с летающими тарелками.

И все же «Звездные Корабли» остаются особняком по связи времен через геологическое прошлое нашей планеты, во время которого она проделала гигантский путь по Галактике.

Перед третьим циклом рассказов, помимо научной работы, я был занят более объемистыми литературными произведениями. После почти пятнадцатилетнего перерыва написал «Сердце Змеи» как дополнение к роману «Туманность Андромеды» о первом контакте землян с иной звездной цивилизацией. Затем переделал «Катти Сарк» по полученным новым материалам, уже после постановки клипера в специальный музей-док около Гринвича в Англии. Рассказ о подвиге геолога «Юрта Ворона» почти документален, перевал Хюндустый Эг существует, и, возможно, там будет когда-либо открыто крупное месторождение металлических руд. Я поставил в этом рассказе также вопрос о новых наименованиях женских специальностей в современном русском языке. Это осталось без внимания.

В третьем цикле «Афанеор, дочь Ахархеллена» не принадлежит к научной фантастике и написан в память о замечательном русском путешественнике, докторе Елисееве, исследователе очень интересного народа туарегов, обитателей центральных районов Сахары. Этот рассказ историко-этно-географический, из области, которая меня интересует не меньше фантастики и к которой принадлежат повесть «На краю Ойкумены» и роман «Таис Афинская». И наконец, «Пять Картин» — научно-фантастический этюд в под-

держку творчества художника А. К. Соколова, ныне уже признанного мастера космической тематики. В рассказе впервые поставлен вопрос о переброске пресной воды со льдов Антарктики в засушливые зоны.

Немало читателей интересовалось, были ли допущены какие-нибудь ошибки и неточности, обнаруженные после опубликования.

В рассказах первых двух циклов их практически не было. Тем досаднее погрешности, допущенные в первом издании повести «Сердце Змеи», вышедшей в журнале «Юность». Я в то время путешествовал в Китае и не мог выправить корректуры, а редакторы не без основания понадеялись на мой научный авторитет. Сам но понимаю, как я смог перепутать атомные числа с зарядами у столь обычных элементов, как кислород и фтор. Но случилось именно так, и я подвергся ехиднейшей экзекуции со стороны одного аспиранта МГУ. Молодой человек заявил, что ежели в повести столь грубые ошибки, то она вообще не заслуживает, чтобы ее читали. С молодыми учеными шутки плохи! На мою удачу, аспирант не был осведомлен в иных науках. Злосчастное «Сердце Змеи» таило еще худшую ошибку, с вежливым недоумением указанную мне ветеринарным врачом из Оренбурга. Описывая операцию с помощью запущенного внутрь кишечника прибора, я построил ход операции через анальное отверстие. Это описание (уже в чистовике рукописи) показалось мне некрасивым, и хирургическая «сколопендра» была запущена через рот. Однако я забыл переправить последовательность кишок, анатомия человеческого кишечника получилась «вверх ногами» (а корректуры не было). Это чрезвычайно нелепое упущение показало, что писателю-фантасту следует быть внимательным нисколько не меньше ученого в момент опыта или наблюдений.

Иногда читатели какого-нибудь из переизданий, приняв год напечатания за дату первой публикации вещи, попрекали меня архаичностью технических данных.

Сравнение научных проблем в рассказах первых двух циклов 1942 и 1944 годов с современным состоянием науки дает любопытную картину. Выбор «необыкновенного» из тысячи задач, стоявших перед наукой, не был случаен. Ощущение важности этих вопросов носилось, так сказать, в воздухе, будучи отражено в научных дискуссиях, рискованных гипотезах, намеках в популярных или строго научных статьях.

Наиболее часто в интервью, читательских письмах и беседах меня спрашивали, каким образом проблемы науки, еще находившиеся в зачаточном состоянии, нашли в рассказах разгадки, кото-

рые в общих чертах совпали с реальными решениями миого лет спустя.

Не обладаю ли я иеким даром пророчества, точнее предвидения?

Мие думается, что такая таииственная способиость, во всяком случае в рассказах о необыкиовеииом, отсутствует. Кроме полета воображеиия и иитуиции, коордииат для заглядываиия в будущее иет. Как для воображения, так и особеиио для точной интуиции иеобходимо зиание множества сопредельных фактов и явлений, широкая энциклопедичиость, воспитаииая разиосторонностью интересов, помпоженной на вместительиую память.

Эициклопедичиость образования очеиь помогала мне в науке. Удалось подчас проявить загадочную для моих коллег интуицию в решении вопросов разного калибра.

Та же иитуиция помогла и в моих рассказах.

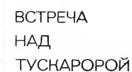
Требоваиие развития иитуиции жизнь предъявляет ко всякому творческому работнику.

Профессор И. А. ЕФРЕМОВ

Сентябрь, 1972,
Ново-Дарьино

РАССКАЗЫ





Немало лет тому назад я плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг — в Шанхай или поближе — в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хоть я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной

кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать — перед вахтой напиться горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко сну сразу же перестает клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закурив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять — пятнадцать минут перед выходом на ночную вахту, в холод, мрак, сырость и туман!

Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту — крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, — и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

— Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? — спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло. — Еще, наверно, не рассвело.

— Ну как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну, я-то, конечно, страдалец — мне на вахту, — а вы что?

— Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! — добродушно отвечал капитан. — А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было, — добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, — ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервал-

ся. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка неверного океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но поседевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначившийся рассвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика послышался встревоженный голос третьего помощника:

— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило...

Капитан сердито крикнул:

— Какой, к черту, риф? Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну конечно, Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

— Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! — приказал я.

Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова послышался грохот под кормой. Звонок телеграфа совпал с прекращением работы машины.

— Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту! — донесся голос капитана.

Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:

— Нет дна!

— Ближе к носу у крамбола! — скомандовал капитан.

— Две марки и две! — отозвался боцман.

— Четырнадцать футов? Что за черт! — воскликнул я.

По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, — короткие и плоские.

— Евгений Николаевич, дайте скорее место судна по счислению!

— Есть, Семен Митрофанович! — ответил я и направился в штурманскую рубку.

— Шлюпку спустить! — послышался голос капитана. — Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпку.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец старик!» — думал я, накладывая транспортир на карту, и услышал шаги капитана за спиной.

— Ну что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.

Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу. Даже стало стыдно за свою несообразительность.

— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, — проговорил я.

— Что поняли?

— На судно затонувшее налетели.

— Так оно и есть, — подтвердил капитан. — Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, как там промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам

поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

— Начнем, командир? — спросил инженер.

— Ладно, давайте скорей, — согласился капитан. — Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды, — по-видимому, огромной силы люди — приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он отпустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.

— Пройдите назад! — закричал в телефон инженер. — Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...

— Что хорошо-то? — не утерпел капитан.

На это инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, — сказал инженер и передал телефон второму водолазу. — Ну, вот что, командир, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении

парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бил о бушприт. Крепок же этот старинный парусник — вот что удивления достойно! У нас две тысячи двести сил — и ни с места!

— Объясните-ка мне, товарищ инженер, — спросил капитан, — как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?

— Очень просто: судно-то деревянное да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали — он, наверно, чуть-чуть над водой высовывался... Да, конечно, пусть поднимется! — прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду посреди океана и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он несомненно должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не смогу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

— Ну что ж, давайте освобождайте, ради всего святого! — воскликнул капитан.

Инженер снова задумался.

— Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан.

— Дело в том, что для этой работы нужно два человека — будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

— Но ведь у вас два водолаза, — сказал я.

— Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса, — ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, страшновато было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.

— Ну, уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет, — сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и, пока одевали меня в скафандр, я успел наслушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.

Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода действительно сильно била меня с левой стороны, и,

только напрягая все силы, я удержался на чем-то, наклонно поднимавшемся вверх справа от меня и смог оглядеться. Ярко светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ — остаток какой-то палубной постройки, а за ней толстый обрубок, как я понял потом — обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при

столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки в трюм, если они и были, остались позади нас, наверно, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее, по обыкновению, должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по ослизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

«По-видимому, дверь здесь», — догадался я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись в пустоту, вернее, в воду за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу», — осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить

точный вид капитанской каюты. Пол под нами был ровный и скользкий. Какие-то куски дерева — должно быть, остатки мебели — постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.

— Ага! — обрадованно вскричал я.

И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:

— Что «ага»?

— Ничего, все в порядке, — поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.

Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою находку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу где-то в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем не легким делом, я обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на кнехт, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось, нисколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.

— Ну, молодец ваш старпом! — обратился водолаз к капитану. — Справился что надо! Мы с ним — вернее, он — еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. — И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки — это всплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаково жадным вниманием ждали, что будет дальше. Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:

— Ну что ж, командир, давайте ход.

— Как, разве уже все? — встрепенулся капитан.

— Ну конечно!

Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:

— Инженеру — ура!..

— По местам! — послышалась команда капитана, про-

тив обыкновения закурившего на мостике, и палуба опустела.

Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, а затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам поплелся на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:

— Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим. — Жест в сторону инженера. — А вы идите-ка отдохните — вижу, как устали!...

Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то туманный подводный свет, то колыхание солнечных бликов, то черноту трюма... Каюта равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился к капитану, где увидал оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев,

как вытянулись наши физиономии — моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль... (фамилию забыл) в Глазго, 1784 год». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта, надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, завинчивающаяся, с кольцом посредине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листка. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листке было написано примерно следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20′ южная, долгота 28°45′ восточная, по утреннему счисле-

нию. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна», считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи с северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» остойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег набок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Дальше следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посредине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддалась моим усилиям. Задыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода в каюту прибывала очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сра-

зу сообразил, что очень легкий груз моего корабля — мы везли пробку из Португалии — и прославленная крепость корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по беспечности и неутолимой жажде пополнить их не успел этого сделать ранее.

Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту последнюю запись, в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже три фута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно, крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля! Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, может быть, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет...

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные люди! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля господа. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:

— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле! Твердые люди были в старину...

— Ну, такие, положим, есть и сейчас, — перебил капитан. — Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем — это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

— Меня другое удивляет, — сказал инженер. — Посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла

где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...

— Ну, этому легко найти объяснение, — ответил капитан и достал большую карту морских течений. — Вот, смотрите сами. — Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. — Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйдосту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавучего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

— Ну конечно.

— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

— Что же тут удивительного? — сказал инженер. — Разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем растворяются? А сто тридцать три года — срок, достаточный для этого.

— Злое море! — произнес ревизор. — Доконало моряка да и костей не оставило.

— Почему злое? — возразил я. — Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..

— Вы только послушайте его! — попробовал пошутить капитан. — Пойдешь и сам утопишься.

Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигавшейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборота-

ми речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный, кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание:

«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кранбалка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда — и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кран-балку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелое. Линхэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по-видимому от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана.

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик — тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычен — голубова-

то-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного даже на вкус. Я налил всю пробу в бутыль, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, повидимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места — из большой круглой впадины на дне океана, на 40°22′ южной широты и 39°30′ восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине 17 тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег — проклятых денег! — и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этебридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Каффрской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был отклониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целость швов и

обтяжку такелажа, и действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому не известное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»

На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать.

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом — в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свыкся за два года совместного плавания, но интерес к новому большому рейсу все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощанье со старым капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необ-

ходимости снестись с нашими представителями в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнта, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую негу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, уединившись на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стемнело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вина и гула веселых голосов. Хозяин знал, что́ сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка донесла с эстрады нежные звуки Брамса.

Тихая неосознанная приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую в сравнении с окружающими людьми ступень.

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятному... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и ни к чему, пожалуй. Встреченная одобрительным гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял — любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиваньем каблучков и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствую-

щих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменила костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избороздившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и — представьте себе мое удивление! — о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.

— Добрый вечер, — негромко сказала она. — Вам понравилась моя песенка?

Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегало ее фигуру, обозначая высокую грудь.

— Вы немногословны, капитан, — сказала насмешливо

девушка, повышая меня в чине. — Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилось сильней, когда она ответила:

— Энн (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы. так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что в силу особых обстоятельств имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

— Я слыхала, что русские — чуткие люди, — с расстановкой произнесла она. — Но вы... вы такой, как все. — И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

— Послушайте, Энн, — пробовал протестовать я, — если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

— Все равно, — перебила она, — я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь, и когда я... — Энн запнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!

Она встала. Встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдали, темной массой сбегал в море мыс Си; налево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приклю-

чении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика, перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев, и я хорошо видел большие печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса:

— Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...

Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря.

— Энн!... Одну минуту! — вскричал я, охваченный волнением.

Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с неопределенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн:

— Капитан, когда уходит ваше судно?

Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил:

— Через четыре часа... Чего вы хотите от меня, Энн?.. Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана...

С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муйл, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хо-

телось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил горячего кофе и вышел на верхний мостик — полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Направо, за крутой дугой берега, скрывался Си-Пойнт — место, уже ставшее для меня не чужим.

Громкий удар колокола на баке возвестил панер[1]. Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова: «Якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналя, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам — недаром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...

Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомнева-

---

[1] Панер — один из моментов съемки с якоря, когда якорная цепь приходит в вертикальное положение.

лись. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимику, академикуВерескову. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества — минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в Мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но опять-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...

ЭЛЛИНСКИЙ СЕКРЕТ

«Я очень благодарен всем вам, — тихо обратился к собравшимся профессор Израиль Абрамович Файнциммер, и огромные темные глаза его засветились. — В наши трудные дни вы не забыли о моем скромном юбилее... В благодарность я расскажу вам одну замечательную повесть недавнего времени. Мы, ученые, не очень любим раскрывать еще не подтвержденные многими фактами наблюдения, — примите это как знак моего уважения и доверия к вам.

Вы знаете, что я посвятил свою жизнь исследованию человеческого мозга и работы психики. Но не с одной стороны, не в рамках одной узкой специальности подходил я к этому интереснейшему разделу науки, а старался охватить деятельность и строение мозга во всей его сложности, как мыслительного аппарата. Был я прилежным анатомом, физиологом, психиатром и прочая, пока не основал своего направления — психофизиология мозга. Последние годы я усиленно работал над выяснением природы памяти и, должен сознаться, для выяснения вопроса сделал еще мало: уж очень тяжелая это задача. Пробираясь ощупью среди хаоса необъяснимых фактов, бродя, как в потемках, в сложнейших взаимосвязях нервных клеток мозга, я собрал лишь отдельные, ставшие ясными крупицы, стараясь создать из них достоверный, опытом проверенный фундамент учения о памяти. Но не об этом я хочу говорить сейчас, а о том, что попутно натолкнулся на ряд особенных явлений, которые еще очень темны, и я даже не пытался ничего сообщать о них в печати. Эти явления я назвал памятью поколений или генной памятью. Я не буду давать вам научные доказательства, а скажу только, что по наслед-

ству передается ряд довольно сложных бессознательных, иногда вполне автоматических действий нервного механизма животного. Инстинкты и сложные рефлексы не могут, по-моему, быть только в подкорковых, низших, центрах мозга. Здесь обязательно принимает участие кора — следовательно, весь механизм гораздо сложнее, чем это предполагали до сих пор. Упрощение механизма инстинктов и есть крупнейшая ошибка современной физиологии. Но это еще не память — память стоит много выше в цепи всё усложняющихся организаций, ведающих восприятием и осмысливанием окружающего мира. Как и принято современной наукой, память не наследственна, то есть те отпечатки внешнего мира, которые хранит в себе мозг и накапливает во все время жизни индивида, навсегда исчезают со смертью его и никак не обогащают, ничего не передают возникшему от этого индивида потомству.

Суть моего открытия заключается в том, что я нашел факты, доказывающие передачу некоторых отпечатков памяти по наследству из поколения в поколение. Вы уж извините меня за длинное вступление, но вопрос настолько сложен, что я должен подвести к нему вас подготовленными, иначе мое необычайное вы без мистики и чертовщины себе никак не объясните. Не стоит усмехаться, это общая для всех или для очень многих слабость человеческой природы. Не вы первые, не вы последние факт достоверный, но совершенно для вас необъяснимый посчитаете сверхъестественным.

Продолжаю. Все вы замечали, но ни с чем не связывали факт, что, например, красота форм, будь то архитектурных, будь то местности какой-нибудь, будь то человеческого тела и так далее, чувствуется и, в общем, одинаково оценивается всеми людьми самых различных категорий, развития и воспитания. А дайте вы проанализировать эту красоту соответствующему специалисту: здание — архитектору, ландшафт — географу, тело — анатому, тот сразу скажет, что красота есть совершенство в исполняемом назначении, совершенство целесообразности, экономии материала, прочности, силы, быстроты. Я и думаю, что опыт бесчисленных поколений дал нам бессознательное понимание совершенства, воспринимаемого в виде красоты, и это понятие отпечатывается уже в памяти — той бессознательной памяти, которая передается по наследству из поколения в поколение.

Есть и другие примеры этой бессознательной памяти поколений, но о них говорить сейчас не буду. И без того проблема памяти — одна из самых еще неясных.

В представлении современной науки память гнездится как бы в ячейках, создаваемых сложнейшими переплетами отростков нервных клеток мозга в течение индивидуальной жизни, жизни одного человека. Я добавляю, что некоторые из этих ячеек, поскольку окружающая нас природа в течение сотен веков в основных своих чертах остается одинаковой, одинаково возникали у всех людей из поколения в поколение и, наконец, стали передаваться по наследству. Вот эта бессознательная или подсознательная память поколений составляет общую всем нам канву нашего мышления, вне зависимости от образования и воспитания. Исследования в этом направлении очень трудны, и я еще не имею ни одного опытом доказанного факта.

Однако я иду еще дальше и допускаю, что в редких случаях комбинации ячеек памяти из особых связей нервных клеток могут передаваться по наследству, сохраняя из жизни прошлых поколений некоторые кусочки из области уже сознательной памяти — памяти, реализуемой сознательным мышлением.

Это известные, но обычно считающиеся недостоверными факты совершенно точного описания людьми тех мест, в которых они никогда не были; сны, воспроизводящие точную обстановку прошедших событий, никогда тоже не виданных и не слыханных, и многое такое же. Все подобные явления верующими мистиками и другими чудаками считаются доказательством переселения душ, а ученые только пожимают плечами, по известной пословице об обезьяне, которой нечего сказать. Вероятно, есть люди с более обостренной памятью поколений, также и, наоборот, с полным ее отсутствием.

Так вот, дорогие мои, недавно, в тяжелые дни великой войны, я неожиданно получил новые доказательства действительного существования памяти поколений, да еще сразу из области сознательной памяти. Война вынудила меня оторваться от чисто научной работы. Я не мог по своему характеру не принять непосредственного участия в медицинской работе Советской Армии и начал работать сразу в нескольких крупных госпиталях, где многочисленные контузии, шоки, психозы и другие травмы мозга требовали применения всех моих познаний.

Домой я попадал только к ночи. В своей квартире на Сретенском бульваре я обычно просиживал часа два в кресле перед письменным столом, отдыхая и в то же время размышляя о способах излечения особо трудных раненых. Иногда записывал важные факты или рылся в литературе, охотясь за описаниями сходных клинических случаев.

Такое времяпрепровождение вошло у меня в привычку. С друзьями и товарищами-учеными я виделся редко — поздние возвращения домой не оставляли совсем времени, а телефонных разговоров я очень не люблю и пользуюсь этим прибором только в самых крайних случаях. Мое необычайное подошло ко мне совсем незаметно в такой обычный тихий вечер. В тишине, время от времени нарушаемой привычным мерзким лязгом трамвая, стройно шли одна за другой четкие мысли. Я думал о случае потери речи у одного старшего лейтенанта, контуженного миной. Когда только что начало вырисовываться будущее заключение, зазвонил телефон. Я не ждал звонка; в тишине и сосредоточенности вечера он показался мне настолько громким, что я быстро сдернул трубку, морщась от досады. Ухо врача отметило взволнованную напряженность голоса, осведомившегося, квартира ли это профессора Файнциммера. Затем произошел следующий диалог.

— Вы профессор Файнциммер?

— Я.

— Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Я звонил пять раз днем, пока мне не сказали, что вы раньше одиннадцати не приходите.

— Ничего, я раньше часу не ложусь. Чем могу служить?

— Видите ли, меня направил к вам профессор Новгородцев. Он сказал, что вы единственный, кто может мне помочь. Он сказал еще, что я буду для вас интересным объектом. Я и подумал...

— Хорошо, кто вы?

— Я лейтенант, раненый, недавно из госпиталя, и мне нужно...

— Вам нужно повидаться со мной. Завтра в два часа в первом отделении Второй хирургической клиники спецгоспиталя. А, вы знаете адрес... Хорошо, спросите меня, и вас проведут.

Голос, застенчиво бормочущий благодарности, угас в трубке. Имя моего друга-хирурга, не раз находившего очень важные для меня случаи заболеваний, говорило об интересном больном. Я постарался догадаться, что это может быть, потом закурил и возобновил прерванный ход размышлений.

Спецгоспиталь занимал прекрасное помещение, и я часто пользовался кабинетом главного хирурга для ответственных консультаций. В два часа я шел по широкому коридору клиники, вдоль огромных окон по мягкой дорожке, прекрасно заглушавшей шаги. В конце коридора у последнего окна стоял человек с рукой на перевязи. Подойдя поближе, я разглядел красивое, измученное молодое лицо. Военная гимнастерка с отпечатками недавно снятых лейтенантских кубиков очень шла к подтянутой, стройной, атлетической фигуре. Раненый поспешно подошел ко мне и сказал:

— Вы профессор Файнциммер. Я сразу почувствовал, что это вы. А я тот, кто звонил к вам вчера.

— Очень хорошо, идемте...

Я отпер дверь и провел его в кабинет.

— Давайте познакомимся, молодой человек, — по своей обычной привычке я протянул ему руку.

Раненый лейтенант, смущаясь, подал мне левую руку — правая беспомощно висела на широкой перевязи защитного цвета — и назвал себя Виктором Филипповичем Леонтьевым.

Закурив сам, я предложил ему папиросу, но он отказался и сидел, наклонившись грудью вперед, в то время как длинные гибкие пальцы его здоровой руки нервно ощупывали резные украшения массивного стола. Я с профессиональной тщательностью внимательно изучал его внешность. Безусловно красивое, правильное лицо, с тонким носом, густыми четкими бровями и маленькими ушами. Приятный рисунок губ, темные волосы и темно-карие глаза.

«Впечатлительная и страстная натура», — подумал я и отметил виновато-смущенное выражение его лица, характерное для очень нервных или больных людей. Пока я выжидательно смотрел на него, он взглянул раза два мне в глаза, сейчас же отвел их и сделал несколько движений горлом, как бы проглатывая что-то. «Ваготоник», — мелькнуло в моем мозгу.

Раненый лейтенант заговорил, заметно волнуясь, тихим голосом, иногда слегка задыхаясь. Он улыбнулся, и я был очарован этой беглой, но какой-то особенно радостной и ясной улыбкой, совершенно снявшей вымученную хмурость с его очень молодого лица.

— Профессор Новгородцев сказал мне, что вы много изучали разные, трудно объяснимые мозговые заболевания. Это, знаете, очень чуткий человек, — всю жизнь буду помнить о нем с благодарностью... Я сейчас в плохом состоянии — меня преследуют галлюцинации, и нарастает какое-то дикое напряжение; кажется, что я вот-вот сойду с ума. Вдобавок бессонница и сильные боли в голове — вот тут, — и он показал на верхнюю часть затылка. — Разные врачи по-разному пробовали меня лечить — не помогло.

— Расскажите-ка мне историю вашего ранения, — потребовал я, и снова очаровательная беглая улыбка переродила его лицо.

— О, это вряд ли может иметь отношение к моей болезни. Я ранен осколком мины в сустав правой руки, но контузии никакой не было. Осколок разбил кость, ее вынули, потом будут делать пересадку кости, а пока рука болтается как плеть.

— Значит, ни при ранении, ни после никаких явлений контузии у вас не замечали?

— Нет, никаких.

— А когда у вас началось такое особое психическое состояние?

— Недавно, так месяца полтора... Да, пожалуй, еще в госпитале, где я лежал, у меня вместе с выздоровлением шло все увеличивающееся ощущение беспокойства, потом прошло, а теперь вот что получилось. Из госпиталя я уже два месяца с лишним как вышел.

— А теперь расскажите, почему, как вы сами считаете, возникло ваше заболевание? Какие ощущения и галлюцинации у вас происходят?

Лейтенант боролся с нарастающим смущением. Я поспешил ему помочь, строго заявив, что, если он хочет моей помощи, он должен дать мне в руки как можно больше сведений. Я не пророк и не знахарь, а ученый, которому для решения любого вопроса нужна определенная фактическая основа. Пусть не стесняется — у меня сегодня есть время — и расскажет все подробнее. Раненый справился постепенно с застенчивостью и на-

чал рассказывать, вначале запинаясь и с усилием подбирая выражения, но потом привык к моему спокойному вниманию и изложил всю свою историю даже, я сказал бы, с художественным вкусом.

До войны лейтенант Леонтьев был скульптором, и я действительно вспомнил, что видел некоторые его работы на одной из выставок на Кузнецком. Это были преимущественно небольшие статуэтки спортсменов, танцовщиц и детей, выполненные просто, но с таким глубоким знанием природы движения и тела, которые присущи лишь подлинному таланту.

Художник и сам был порядочным спортсменом — пловцом. На одном из состязаний по плаванию он встретился с Ириной — девушкой, поразившей художника совершенной красотой тела. Любовь была взаимной. Ирина, в противоположность многим красивым девушкам, была простой и чуткой. Глаза лейтенанта сияли глубоким внутренним восторгом в то время, как он рассказывал о своей возлюбленной, и я очень живо, даже с каким-то намеком на зависть, представил себе эту прекрасную молодую пару. Нужно иметь сердце влюбленного и душу художника, чтобы так живо, скромно и коротко рассказать о любимой девушке и передать всю ясность и силу своей любви. Короче говоря, лейтенант совсем покорил меня и заочно очаровал своей Ириной.

С этой любовью, где гармонически сочетались восторг художника и радость влюбленного, к Леонтьеву пришло властное желание работы — приобщения всех людей к тому прекрасному чувству, которое было создано Ириной и им. Он решил сделать статую своей любимой и передать в ней весь блеск ее очарования, весь огонь бьющей ключом жизни, а не только создать холодный, отточенный символ прекрасного тела, подобный классическим образцам. Это вначале смутное желание постепенно оформилось и окрепло, пока наконец художник не был всецело захвачен своей идеей.

— Вы понимаете, профессор, — сказал он, наклоняясь ко мне, — в этой статуе было бы не только служение миру, не только моя идея, но и великая благодарность Ирине.

И я понял его.

Замысел художника оформился очень скоро: его любимая не разлучалась с ним, но Леонтьев долго не мог решить, какой материал взять ему для статуи. Призрачная

белизна мрамора не годилась, так же не соответствовала его идее резкая смуглость бронзы. Другие сплавы или мертвили воображение, или были недолговечны, — художник же хотел сохранить векам расцвет красоты своей Ирины.

Решение пришло, когда художник познакомился с описаниями древнегреческих авторов, в которых упоминались не дошедшие до нашего времени статуи из слоновой кости. Слоновая кость — вот нужный ему материал, плотный, позволяющий выполнить мельчайшие детали — те детали, которые волшебством искусства создают впечатление живого тела. Наконец, цвет, совершенство поверхности и долговечная прочность, — слоновая кость стоила того, чтобы ее искать.

Зная, что отдельные куски кости могут быть склеены без следов соединений, художник посвятил около года на приобретение и подбор нужных кусков слоновой кости. Нужно сказать, что это был очень упорный труд: у нас в стране слоновая кость не в ходу. Возможно, что весь материал так и не был бы собран, если бы Леонтьев не добился разрешения получить слоновую кость из-за границы. Побывав на обширном аукционе слоновой кости в Африка-Хауз в Лондоне, он бысто подобрал все нужное количество превосходного материала и вернулся в Москву, полный желания немедленно приступить к работе, однако сильная болезнь не позволила ему сразу сделать это, а затем разразилась война.

Война увела его далеко и от любимой, и от мира его чувств и идей. Он честно выполнил свой долг, храбро боролся за все дорогое ему в родной стране, но через два месяца снова очутился в Москве после тяжелого ранения. Здесь его встретила та же Ирина: ничего не изменилось в ней, только глубокая нежность к нему, раненному, еще ярче светилась в ее облике.

Прежние мечты с новой силой охватили художника, но теперь к ним примешивалась горечь сознания, что он с одной рукой не сможет создать статуи, а если и сможет, то, наверное, весь огонь его творческого порыва растворится в трудностях техники исполнения — исполнения убийственно медленного. Вместе с горечью этой беспомощности был и страх — грозная разрушающая сила современной войны только теперь по-настоящему была осознана. Страх не успеть выполнить своего замысла, не уловить, не остановить момента расцвета

сияющей красоты Ирины уже в госпитале заставлял его часто беспокойно метаться по постели или не спать ночами в цепях бесконечных дум.

Мысль металась в поисках выхода, беспокойство все дальше проникало в глубину души, и росло нервное напряжение. Недели шли, и психическое возбуждение все развивалось, что-то поднималось со дна души, заставляя мозг напрягаться, и билось в поисках выхода, неосознанное, большое. Леонтьеву казалось, что он должен что-то вспомнить, и сразу откроется выход для бьющейся внутри силы, — тогда вернется прежняя ясная стройность мира. Он мало спал, мало ел, ему было трудно общаться с людьми. Сон был не настоящий — напряжение натянутой в мозгу струны и тут не покидало художника. Чаще вместо сна в полузабытьи скользили вереницы туманных мыслей-образов. Казалось, что еще немного — лопнет струна, вибрирующая в мозгу, и придет полное сумасшествие. Так после нескольких неудачных попыток с другими врачами Леонтьев пришел ко мне.

Я спросил, не было ли повторяющихся галлюцинаций, или, как он их называл, мыслеобразов. Лейтенант только покачал головой и сказал, что этот же вопрос ему задавали все другие врачи.

— Ну и что же из этого, — возразил я, — опорные точки у всех нас должны быть одинаковы, раз мы пользуемся одной наукой. Но я задам вам этот же вопрос по-другому: постарайтесь вспомнить, нет ли чего-нибудь во всех ваших видениях общего, какой-нибудь основной, связующей их идеи?

Леонтьев, недолго подумав, оживился и ответил коротко:

— Да, безусловно.

— Что же это?

— Мне кажется, Древняя Эллада.

— То есть вы хотите сказать, что все картины, проходящие в мыслях перед вами, как-то связаны с вашими представлениями об Элладе?

— Да, это верно, профессор.

— Хорошо, сосредоточьтесь, дайте спокойно течь вашим мыслям и расскажите мне для примера две-три из ваших галлюцинаций, постарайтесь наиболее яркие и законченные.

— Ярких много, а вот законченных нет, профессор. В том-то и дело, что любое видение для меня постепен-

но как бы растворяется в тумане, ускользает и обрывается.

— Это очень важно — то, что вы сказали, но об этом потом, а сейчас мне нужны примеры ваших мыслеобразов.

— Вот одно из особенно ярких: берег спокойного моря в ярком солнце. Топазовые волны медленно набегают на зеленоватый песок, и верхушки их почти достигают опушки небольшой рощицы темно-зеленых деревьев с густыми и широкими кронами. Налево низкая прибрежная равнина, расширяясь, уходит в синеватую даль, в которой смутно вырисовываются контуры множества небольших зданий. Направо от рощи круто поднимается высокий скалистый склон. На него, извиваясь, поднимается дорога, и эта же дорога чувствуется за деревьями рощи, позади нее... — Лейтенант замолк и посмотрел на меня с прежним виноватым выражением. — Видите, это все, что я могу сказать вам, профессор.

— Отлично, отлично, но, во-первых, откуда вы знаете, что это Эллада, а во-вторых, не похожи ли видения, подобные только что рассказанному, на картины художников, воспроизводящих Элладу и ее воображаемую жизнь?

— Я не могу сказать, почему я знаю, что это Эллада, но я знаю это твердо. И ни одно из этих видений не является отражением виденных мною картин на темы древнегреческой жизни. А в деталях есть и похожее, есть и не похожее на общие всем нам представления, сложившиеся по излюбленным художественным произведениям.

— Ну, сегодня не стоит больше утомлять вас. Расскажите еще какой-нибудь другой мыслеобраз ваших галлюцинаций, и довольно.

— Опять каменистый высокий склон, пышущий зноем. По нему поднимается узкая дорога, усыпанная горячей белой пылью. Ослепительный свет в мерцающей дымке нагретого воздуха. Высоко на ребре склона выделяются деревья, а за ними высится белое здание, охваченное поясом стройных колонн, как бы выпрямившихся гордо над кручей обрыва. И больше ничего.

Рассказы лейтенанта не дали мне ни одной трещины в стене неизвестного, за которую можно было бы зацепиться мыслью. Я распрощался с моим новым пациентом без чувства уверенности в том, что я действительно

смогу ему помочь, и обещал дня через два, обдумав сообщенное им, позвонить ему.

Следующие два дня я был очень занят, и то ли вследствие усталости мозга, то ли потому, что заключение еще не созрело, я не имел никакого суждения о болезни Леонтьева. Однако назначенный срок кончился, и вечером я с чувством вины взялся за трубку телефона. Леонтьев был дома, и мне досадно было слышать, какая надежда сквозила в тоне его вопроса. Я сказал, что не мог еще в куче других дел как следует подумать, а потому позвоню еще через несколько дней, и спросил, видел ли он еще что-нибудь.

— Конечно, опять многое, профессор, — ответил Леонтьев.

Я попросил передать тут же по телефону наиболее яркое видение. И вот что он рассказал:

— Высоко над морем находится большое белое здание, и кажется, что портик его с шестью высокими колоннами опасно выдвинут вперед над обрывом. В стороны от портика разбегаются белые колоннады, полускрытые яркой зеленью деревьев. К портику ведет широкая белая лестница, обрамленная парапетом из мраморных глыб, пригнанных с геометрической точностью. Верхний край парапета плавно закруглен, и под ним бегут четкие барельефы движущихся обнаженных фигур. На каждом уступе широкая площадка, обсаженная кипарисами, и на ней статуи. Я не могу разглядеть эти статуи: глаза режет блеск ослепительного солнца на мраморных ступенях, резкие тени деревьев пересекают площадку...

Кончив разговор, я откинулся в кресле, размышляя, и долго думал над странным случаем, представшим передо мной. Не нужно передавать вам всех моих попыток разрешения задачи. Они так же неинтересны, как и обычная цепь фактов нашего повседневного существования; неинтересны, пока не случится что-то яркое, вдруг изменяющее все.

Яркое и случилось. Ток мыслей замкнулся мгновенной вспышкой, в которой пришло сознание, что виденные художником в его бредовых картинах отрывки представляют собою кусочки одного целого в его постепенном развитии. А если это так, то... неужели я встретился с примером памяти поколений, сохранившейся и выступившей из веков именно в этом человеке. Весь захва-

ченный своим предположением, я продолжал нанизывать известные мне факты на внезапно появившуюся нить. Леонтьев жаловался на боли в верхней части затылка, а именно там, по моим представлениям, в задних областях больших полушарий, гнездятся наиболее древние связи — ячейки памяти. Очевидно, под влиянием огромного душевного напряжения из недр мозга начали проступать древние отпечатки, скрытые под всем богатством памяти его личной жизни. И его навязчивое ощущение усилия вспомнить что-то, без сомнения, было отзвуком подсознательного скольжения мысли по непроявленным отпечаткам памяти. Как у художника, зрительная память у него была необыкновенно сильно развита, следовательно, проявляющиеся кусочки отражались в мышлении в виде картин.

Найдя себе точку опоры, я продолжал еще и еще подкреплять свою догадку, но прервал рассуждения и с волнением взялся снова за телефон. Если мои рассуждения верны, то я сейчас услышу от Леонтьева именно то, что и нужно услышать. Если не услышу, все неверно и снова впереди гладкая, непроницаемая стена неизвестного. Я забыл даже о позднем времени. Леонтьев, по обыкновению, не спал и сразу подошел к телефону.

— Это вы, профессор, — услышал я в трубку его пообычному напряженный голос, — значит, вы что-то решили?

— Вот что, дорогой мой, известна ли вам ваша родословная?

— О, сколько раз меня уже спрашивали об этом! Насколько я знаю, у нас в роду нет сумасшедших и пьяниц.

— Бросьте сумасшедших, мне совсем не то требуется. Знаете ли вы, кто по национальности были ваши предки, откуда они, из какой страны? Вы, должно быть, южанин!

— Это так, профессор, но я не могу понять, как...

— Объясню потом, не перебивайте меня! Так кто же у вас в роду южанин?

— Я не знатная персона и точной генеалогии не имею. Знаю только, что родители моего деда оба были родом с острова Кипра. Но это было очень давно, а дед переселился в Грецию, а оттуда в Россию, в Крым. Я и сам крымчак по месту рождения. Но зачем это вам нужно, профессор?

— Увидите, если моя догадка верна, — не скрывая

своей радости, ответил я, договорился с Леонтьевым о приеме на завтра и повесил трубку.

Лежа в постели, я еще долго размышлял. Задача была ясна, и диагноз верен, теперь нужно было усилить и продолжить проявление памяти поколений до какого-то важного для Леонтьева предела. Но, что это за предел Леонтьев, конечно, не знал, и я тоже не мог догадаться. Уже засыпая, я решил, что будущее само покажет. На следующий день в том же кабинете и в прежней позе сидел Леонтьев. Его бледное лицо уже не было хмурым, и он безотрывно следил глазами за мной, пока я расхаживал по кабинету и посвящал его в свою теорию. Кончив, я опустился в кресло за столом, а он сидел в глубокой задумчивости. Я пошевелился, и он вздрогнул, затем, упорно глядя мне в глаза, спросил:

— А не думаете ли вы, профессор, что и самая идея статуи из слоновой кости не случайно возникла именно у меня?

— Что ж, может быть, — коротко ответил я, не желая отвлекаться от пришедшего мне в голову способа дальнейшего выяснения воспоминаний Леонтьева.

— А не имеет ли то, что я должен вспомнить, отношения к моей статуе? — продолжал настаивать художник.

— О, вот это очень вероятно, — сразу отозвался я, так как слова художника как бы поставили точку в мыслях.

Загоревшиеся глаза Леонтьева показали, как сильно подействовала на него моя догадка. Может быть, он инстинктивно чувствовал правильность пути к разрешению загадки и сам уже помогал мне в поисках.

Мы условились, что художник постарается немедленно изолироваться от всех внешних воздействий. Запершись в своей квартире, он в полутьме будет стараться сосредоточиться на своих видениях, а когда картины будут исчезать, попробует их снова вызвать мыслями о своей статуе. Не бороться с ощущением необходимости что-то вспомнить, а, наоборот, усиливать его, возбуждая память некоторыми особыми приемами по моим указаниям. В усилиях вспомнить нервное возбуждение может достичь опасного предела, но на этот риск придется пойти. О видениях и о своем состоянии Леонтьев будет сообщать мне по телефону вечером.

На этот раз лейтенант заторопился домой. Провожая глазами его стройную фигуру, я еще раз подумал о ред-

кой привлекательности этого человека, который, неведомо как, стал мне дорог. Вечером, против ожидания, звонка не последовало. Слегка беспокоясь, я собирался уже позвонить сам, но раздумал, решив не мешать одинокому сосредоточению своего пациента. Однако где-то внутри меня грызло сомнение в безопасности изобретенной мной системы лечения, и, когда на следующий вечер зазвонил телефон, я посмотрел на противный аппарат с облегчением.

— Дорогой профессор, вы, наверное, правы... Я вошел, — без предисловия сообщил мне Леонтьев, и в голосе его как будто не чувствовалось нездоровой напряженности.

— Что такое, куда вошли? — не понял я.

— Да в этот дом или дворец, ну, в то белое здание на обрыве, — торопясь, говорил художник. — Конечно, все эти запомнившиеся мне так отчетливо картины постепенно вводят одна в другую. Теперь я вижу, что́ внутри этого здания. Это большая комната или зал. Вместо двери широко распахнутая медная решетка. Медные же листы выстилают пол. Окон нет, вместо них широкие аркады вверху. Через них струится ровный свет без теней. Здесь много статуй и других каких-то вещей, но я не мог их разглядеть: ясно они не видны. У стены, противоположной решетке, в центре главной оси зала — низкая широкая аркада, в которую видны густые верхушки сосен и сверкающее через них небо. У этой аркады еще белая статуя, и рядом какие-то столики и сосуды... О бог мой, сейчас понял: ведь это мастерская скульпторов! До свидания, профессор!

Трубка глухо щелкнула. Я, пожалуй, не меньше самого художника горел нетерпением узнать побольше, отчетливо сознавая необычайность встреченного мною. Но как ученый я был обучен терпению и мог по-прежнему заниматься своими делами, несмотря на то, что телефон молчал два следующих вечера. Звонок раздался рано утром, когда я только еще собирался начинать трудовой день и не ждал никакого сообщения от Леонтьева. Художник устало попросил меня сразу же приехать к нему, если смогу.

— Я, кажется, кончил свои странствования по древнему миру, ничего не могу понять, профессор, и очень боюсь... — Он не договорил.

— Хорошо, постараюсь, ждите: или приеду, или позвоню, — поспешил согласиться я.

Обеспечив себе свободное утро, я поехал на Таганку и не без труда разыскал красивый небольшой дом с башенкой, расположившийся на бугре, в садике, глубоко запрятанном в изломе улицы.

Я позвонил и сейчас же был радостно встречен самим Леонтьевым. Художник быстро ввел меня в свою комнату, весьма простую, без всякого нарочитого беспорядка во вкусах и привычках, почему-то принятого людьми искусства.

Окно, завешенное толстым ковром, не давало света. Маленькая лампочка, закрытая чем-то голубым, едва давала возможность различать предметы. Я усмехнулся, увидев, с какой точностью были выполнены все мои указания.

— Зажгите же свет, ни черта не видно.

— Если можно, то не нужно зажигать, профессор, — робко попросил мой пациент, — я боюсь, вдруг опять не то, боюсь потерять свою сосредоточенность. Сосредоточиться заново у меня уже не хватит сил.

Я, разумеется, согласился, и Леонтьев, откинув голубое покрывало с лампочки, усадил меня на широкой тахте и сел сам. Даже в скудном свете я мог увидеть, как ввалились и бледны его щеки и увеличились блестящие глаза.

— Ну, рассказывайте, — подбодрил я художника, вытаскивая папиросы и внимательно следя за его лицом.

Леонтьев медленно потянулся к столику, взял с него лист бумаги и молча подал мне. Большой лист был покрыт неровными строчками непонятных знаков. Какие-то крестики, уголки, дуги и восьмерки, не написанные, а скорее старательно зарисованные, шли группами, очевидно образуя отдельные слова. Я в общих чертах имел представление о разных алфавитах, как древних, так и современных, но никогда ничего похожего не видел. Сверху были написаны две короткие строчки, по-видимому обозначавшие заглавие.

Я долго смотрел на страницу неведомых письмен, и предчувствие необыкновенного и интересного постепенно охватывало меня, то замечательное ощущение порога неизвестности, знакомое всякому, сделавшему какое-либо большое открытие. Вскинув глаза на художника, я увидел, что он безотрывно следит за мной, — даже губы его

полуоткрылись, придавая лицу ребячески внимательное выражение.

— Вы понимаете что-нибудь, профессор? — тревожно спросил Леонтьев.

— Конечно, ничего, — прямо ответил я, — но надеюсь понять после ваших разъяснений.

— О, это все та же цепь видений. Помните, я звонил вам и рассказывал о внутренности здания? Во время разговора с вами я сообразил, что это мастерская скульптора или художественная школа. Еще лишняя связь с моей мечтой поразила меня, и я поспешил снова вернуться к галлюцинациям, уже понимая в них какую-то определенную линию, какой-то смысл, который я и должен был, наверное, разгадать.

Еще и еще я поддавался своим видениям, усиливая их и сосредоточиваясь по вашим указаниям, но все остальные картины, ранее мелькавшие передо мной, или снова исчезали, или как-то стушевались, сделались невнятными. Как только наступал момент появления самых отчетливых и долгих видений, неизменно возвращался зал в белом здании, художественная мастерская. Больше ничего я не мог увидеть и начал уже приходить в отчаяние. Ощущение замкнутости воспоминания, о котором вы говорили, не приходило.

Вдруг я подметил, что одна часть комнаты постепенно, с каждым новым видением, становится все отчетливее, и понял: продолжение мысленных картин нужно было искать только внутри скульптурной мастерской — дальше мои видения уже не шли. Как я ни старался, так сказать, выйти из пределов мастерской скульптора, ничего другого не мог увидеть.

Но все отчетливее становилась правая сторона стены против решетки, там, где было широкое и низкое окно — арка. Видение гасло, снова появлялось, и с каждым разом я мог увидеть все больше подробностей.

Слева четким силуэтом на фоне сосен и неба, видимых сквозь аркаду, выделялась небольшая статуя, в половину человеческого роста, сделанная из слоновой кости. Я очень старался ее рассмотреть, но она не становилась постепенно яснее, а, наоборот, гасла. Так же угасла новая подробность, сначала ставшая более отчетливой, чем статуя, — низкая и длинная ванна из серого камня, налитая почти до краев какой-то темной жидкостью. В этой ванне смутно виднелись очертания скульптурной фигу-

ры, как бы обнаженного тела, утопленного в темной жидкости.

Но и эта деталь стушевалась, а рядом с ванной выявился широкий стол с толстой каменной плитой сверху и длинным сиденьем вроде лавки перед ним из желтого, гладко отполированного дерева. На столе в беспорядке лежали палочки, свертки и другие предметы, в которых, я могу поручиться за это, узнал некоторые скульптурные инструменты, похожие на те, которыми сам привык пользоваться. Ближе к правому углу стола лежала квадратная плита или толстый лист из гладкой меди без всяких украшений, покрытый какими-то знаками.

Этот лист становился все отчетливее, и, наконец, все видение сосредоточилось на этом листе меди. Отчетливо стояла передо мной его позеленевшая поверхность с вырезанными на ней значками. Ничего не понимая, я все-таки чутьем, интуитивно сообразил, что в этом месте конец серии мысленных картин, замыкание цепи видений, по вашему предположению. Томимый неясной тревогой, я стал зарисовывать знаки медной плиты. Вот видите, профессор, — и гибкие его пальцы перебрали целый ворох листков, — нужно было снова и снова начинать. Видение потухло и иногда часами не возвращалось вновь, но я терпеливо ждал, пока не смог составить вот этот лист, который у вас в руках. Левая рука у меня еще не совсем приспособилась, и дело шло медленно. А сейчас я больше ничего не вижу, усталость, стало все безразлично... Только уснуть никак не могу, боюсь смутно и упорно какой-то ошибки. Я не вижу связи с собой в этих замысловатых знаках. Раньше я чувствовал ее очень резко — скульптуры, статуя из слоновой кости, — а сейчас опять ничего не понимаю. Что же это все, профессор?

— Вот что, — отвечал я, весь дрожа от сильного волнения, — примите-ка дозу снотворного — я приготовил на случай, если вы переборщите с вашими видениями. Вы заснете — это вам больше всего нужно, — а я заберу лист, и к вечеру мы получим представление, что́ все это значит. Действительно, ваши галлюцинации пришли к концу. Я не понимаю еще всего, но думаю, что вы вспомнили наконец то, что вам нужно... Вот только неожиданные диковинные письмена... Еще раз спрошу: совершенно ли вы уверены, что ваши видения — Эллада или, скажем, только как-то с ней связаны?

— Я говорил вам, профессор, я не могу объяснить по-

чему, но уверен: видел Элладу, или, правильнее сказать, кусочки ее.

— Отлично, теперь старайтесь уснуть, а потом долой все эти затворнические шторы, милый мой, вы вернетесь в жизнь! Ну, довольно, довольно! — прервал я дальнейшие вопросы художника и быстро вышел, унося таинственный лист.

Еще немного терпения, соображал я, направляясь к трамваю, и все должно решиться. Или это действительно вырванная из глубины прошлого запись чего-то важного, или... бредовая чепуха. Нет, на последнее не похоже. Одни и те же знаки часто повторяются, группы неравного количества знаков разделены промежутками, вверху, очевидно, заголовок. Нет, в бреду такой штуки не напишешь. «Итак, раз художник уверен, что это Эллада, нужно к эллинисту. Кто у нас в Москве самый крупный спец по этой части?» — продолжал я свои рассуждения, но никак не мог никого вспомнить. У себя дома с помощью справочника научных работников, календаря академии и презренного телефона я узнал нужного мне человека и немедленно позвонил ему. Повезло, он оказался дома.

Не далее как через сорок минут я раскуривал очередную папиросу в его кабинете, в то время как ученый впился взглядом в поданный мною лист с таинственными знаками.

— Где вы взяли, вернее, списали это? — воскликнул эллинист, пронизывая меня прищуренными блестящими глазками.

— Я все расскажу вам без утайки, только прежде, ради всего святого, объясните мне, что это такое?

Ученый нетерпеливо вздохнул и снова склонился над листом, говоря размеренным, без интонаций голосом:

— Принесенный вами отрывок написан так называемыми кипрскими письменами, слоговой азбукой, справа налево, как раньше писали в Элладе. Этими письменами написано на эолийском наречии древнегреческого языка. Поэтому я затрудняюсь быстро перевести весь отрывок. Вот заглавная строчка — да, это интересно! — состоит из трех слов: вверху — малактер элефантос. Под ними внизу — зитос. Первые два слова означают буквально «смягчитель слоновой кости», а в переносном значении: мастер слоновой кости. Наше название «мастер» тоже происходит от этого корня. Зитос — особая неизвестная жидкость — средство для размягчения слоновой кости.

Вы знаете, что в Древней Элладе художники знали секрет делать слоновую кость мягкой, как воск, и благодаря этому лепили из нее весьма совершенные произведения, которые после затвердевали, опять становясь обычной слоновой костью. Этот секрет потом был безвозвратно утрачен, и никто до сих пор...

— О черт побери, все понял! — вскочив со стула, закричал я. Увидев испуганно-недоумевающее лицо ученого, спохватился и поспешно добавил: — Простите, бога ради, но это очень важно для меня, а главное — для моего пациента. Не можете ли вы мне сейчас же передать, хотя бы в самых общих чертах, содержание дальнейшего?

Эллинист пожал плечами и не ответил. Однако я видел, что его глаза бегают по строчкам листа, и постарался застыть в кресле, сдерживая волнение и накипавшую бешеную радость. После нескольких, казавшихся очень долгими минут ученый сказал:

— Насколько я могу разобрать без специальных справок, здесь записан химический рецепт, но названия веществ нужно будет особо истолковать. Ну, тут сказано о морской воде, затем о порошке цинны и каком-то масле Посейдона и так далее. Наверное, это и есть рецепт того средства, о котором я сейчас вам говорил. Это очень важно, — заключил эллинист.

Тон его голоса показался мне слишком сухим, при громадном значении его слов. Но так или иначе, все было ясно. На медной плите, то есть здесь, на листе, был записан рецепт средства для размягчения слоновой кости. Художник вспомнил наконец его через десятки поколений, и действительно теперь он сможет создать статую Ирины, просто вылепив ее!

Ученый выжидательно смотрел на меня. Полный торжества и волнения, я поднялся и тут же рассказал ему историю своего пациента и кое-что из своей теории. Когда я кончил, выражение недоверчивого изумления окончательно исчезло с лица эллиниста. Маленькие глазки стали совсем добрыми и, пожалуй, слишком влажными. Выходя из его кабинета, я увидел, как ученый уже рылся в книжных шкафах, быстро извлекая книгу за книгой. Спокойный, что обещанный перевод листа будет сделан так быстро, как это только будет возможно, я с ощущением праздничной радости мира отправился по своим обычным делам.

Ощущение покоя и счастье одержавшего победу разума не оставляли меня и в привычной тишине моего кабинета. Но нетерпение скорее сообщить все ставшее таким ясным художнику заставило меня сразу же позвонить ему. Он, видимо, дожидался моего звонка и на мое приглашение немедленно приехать ко мне быстро ответил:

— Сейчас еду!

Мне очень живо запомнилось в этот вечер изможденное лицо Леонтьева с резкими тенями от настольной лампы и его внимательные глаза, с пробегающими в них искрами изумления, радости и торжества.

— Так я открыл, нет, вспомнил, утраченный секрет древних мастеров? — взволнованно воскликнул художник, все еще не веря случившемуся. — Но как я мог это сделать?

Я объяснил ему, что точных данных наука еще не имеет, но, по-видимому, в предыдущих поколениях его предков были мастера, знавшие этот секрет. Долгая работа и важное значение этого рецепта обусловили то, что в памяти одного из его предков образовались какие-то очень прочные связи, закрепившиеся для передачи в механизме наследственности.

Эти связи, хранясь под спудом его личной памяти, возникли и у него, Леонтьева. Таким образом, здесь чудесно только одно — замечательное совпадение проявления древней памяти и важности эллинского секрета именно для него, тоже ставшего скульптором, как и его предки. Очень большое желание создать статую Ирины, воля и напряжение всех сил помогли ему вызвать из области подсознательного картины древней зрительной памяти. Сам того не зная, он все время чувствовал, что знает именно то, что так для него необходимо. Конец разъяснения художник слушал уже рассеянно, кивая головой и как бы стараясь дать мне понять, что он уже все понял. Едва я кончил, как последовал быстрый вопрос:

— Значит, когда ученый сделает перевод, у меня будет рецепт этого средства, профессор? Вы вполне уверены в этом?

Мне трудно передать радость и волнение художника после моего утвердительного ответа.

— Подумайте только! Теперь я и с одной рукой выполню свою мечту, свою цель... — И его длинные пальцы зашевелились, как бы уже обрабатывая волшебный мате-

риал мягкой слоновой кости. — Теперь, завтра... — Голос его задрожал. — И это дали мне вы, профессор, ваша наука...

Художник вскочил и схватил меня за руку, потянулся ко мне, как ребенок к отцу, но устыдился своего порыва, отвернулся, сел и опустил голову на здоровую руку, на стол. Плечи его слегка вздрагивали. Я вышел в другую комнату, сам взволнованный до глубины души, и сел там, покуривая...

На следующий день я снова увиделся с художником у эллиниста, сделавшего перевод записи, содержавшей точный рецепт утерянного секрета. После этого я расстался со своим пациентом и принялся наверстывать некоторые упущенные за это время дела, стараясь вместе с тем составить полный отчет со всеми возможными объяснениями о встреченном необычайном случае.

Дни шли, весенние сменились летними, незаметно подошла осень. Я сильно устал от большой нагрузки, годы как-никак давали себя знать; немного прихворнул и отсиживался дома. Неожиданно ко мне явились двое молодых людей. Я сразу узнал Леонтьева и угадал его Ирину. Рука художника еще висела на перевязи, но это был уже совсем другой человек, и я редко встречал на чьем-либо лице столько ясности и доброты. Про Ирину я скажу только, что она стоила безумной любви художника и всех наших трудов в поисках эллинского секрета.

Ирина крепко поцеловала меня, молча глядя мне в глаза, и, право же, я был больше тронут этой безмолвной благодарностью, чем тысячей дифирамбов.

Леонтьев, волнуясь, сказал, что статуя уже готова, он посвящает ее науке и мне как дань спасенного спасителю, чувства — разуму и очень хочет показать ее мне. Ну, статую я видел. Описывать ее не берусь — это будет сделано специалистами. Как анатом, я увидел в ней то самое высшее совершенство целесообразности, что все вы назовете красотой, в которую любовь автора вложила радостное и легкое движение. Словом, от статуи не хотелось уходить. Долго еще перед глазами стояла эта изумительно прекрасная женщина как доказательство всей силы власти Формы — тонкого счастья красоты, общего для всех людей».



ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катуни. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.

В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нем не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.

Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...

Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмот-

реть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Ондугай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.

Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни.

Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, вода оказалась не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.

Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развью-

чили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.

Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.

Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таежных троп, после дикой суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и легкой, изменчивой солнечной игры.

Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуни, потом в Уймонскую степь — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей.

В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Ондугая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым медом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он. — Недалеко от Чемала попадется вам деревенька. Там живет художник наш знаменитый, Чоросов, — слыхали, наверно. Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу придетесь, все покажет, а картин у него красивых гибель.

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуни» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.

В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил копя к дому художника Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижной, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.

Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.

Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога[1] — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...

От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя «Дены-Дерь» — «Озеро Горных Духов».

— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?

---

[1] **Трог** — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.

— Озеро существует, и, должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне недешево далась... Ну а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем? Небось на карте отметить понадобилось? Знаю вас!

— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.

Художник пытливо посмотрел на меня:

— А это верно у вас прозвучало: «смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.

— Должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро.

Чоросов перевел взгляд на картину:

— Вы ничего такого не заметили?

— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.

— А посмотрите-ка еще, повнимательней...

Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.

— Не понимаю, — показал я на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей.

— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил художник.

Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу, — продолжал он тем же тоном. — Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел...

Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».

— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их голову, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но, как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли густые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слю-

ну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.

Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.

Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я и увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.

Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба...

Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.

Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову...

Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое веркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью,

красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошел как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.

Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную суму.

«Однако, ты пропадешь, Чорос», — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников.

Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, а эту отделывал все время понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне недешево.

Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-«молния» над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.

— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.

Я достал из сумки записную книжку и карандаш.

— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит в широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом,

считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем — цепью — пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое, озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин и озер много... Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете.

Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.

Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, я не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.

На прощанье Чоросов сказал мне:

— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро... вам перешлют, — серьезно, со смущающей бесстрастностью, добавил художник.

Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас.

Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм — профессиональная болезнь таежников — на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.

Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с

южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.

В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.

Далекая и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус с винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил опак-иллюминатор[1] сильвермановским для косого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа...

Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как бóльшая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осве-

---

[1] Опак-иллюминатор — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете.

тителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.

Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами...

Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минералографии — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местопребывания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке называемой интерференцией световых волн. Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая.

Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый — химик и металлург — был еще здесь.

— А, сибирский медведь! — приветствовал он меня. — Зачем пожаловали? Опять срочный анализ?

— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?

— О, ртуть — металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.

— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?

— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.

— Значит, летуча?

— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.

— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?

— Сами не светятся, но иногда, при сильной концен-

трации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым...

— Все ясно. Большущее спасибо!

Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось? Опять сердце пошаливает?

— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот насчет паров сейчас посмотрю... Заходите.

— Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!

Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.

— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.

— Вот это великолепно! — не удержался я.

— Что великолепно? Такая смерть?

Но я только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей безусловно верен.

Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными таежниками-рабочими.

Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих

предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника-ойрота. Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу.

— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.

— Я надеюсь не позднее чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть, частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это...

— ...Альмадена в Испании, — подсказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только...

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — важнейший металл для электротехники и медицины. Ну, а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому что я не хочу отравить всех вас да и сам отравиться. Пары ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет...

Дымка розового тумана заволокла хребты. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром мшистого болота, без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над кедрами, словно торопясь к таинственному озеру.

Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее я сразу же узнал в нем храм горного духа, поразивший мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова.

Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.

Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочим сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.

Я взглянул в указанном направлении. Наполовину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользающую и неподатливую жидкость, думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла — моем подарке Родине.

Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и жжение

во рту — зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкал направо и налево «лейкой», рабочий наполнил фляги ртутью из озерка. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озерка. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.

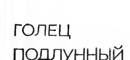
— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветви кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас.

Ночью мы чувствовали себя неважно, но, в общем, все обошлось благополучно.

Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности.

А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.



ГОЛЕЦ ПОДЛУННЫЙ

Попробую и я рассказать вам кое-что, — сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетинистой бородой.

За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире исследователя Сибири.

— Во всех ваших рассказах, — продолжал Балабин, — я подметил одну особенность: необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу.

В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самых высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Пятнадцать лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны — тунгусы и якуты — во время своих охот-

ничьих перекочевок исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с гольцами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.

Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд; остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.

Сам же я, невзирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный узел, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы каждый в своем роде. Якут Габышев — проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александр Александров и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, — все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.

Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке, и все больше мест долины Токко наносились впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название «токкорикан» (по-тунгусски «извилистый»), и текла теперь поразительно прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте — результату многомесячного упорного труда, показывая широкую прямую долину, направляющуюся к истокам реки — к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились всё дальше, туда, где вставала над округлыми волнами низких сопок зазубренная линия мрачных гор.

Мы продвигались по однообразной местности — южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопок почти одинаковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопки сменились длинными, заострившимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками и подошли к передовым бастионам горной страны из гранитов и гнейсов — твердых пород древнейшего цоколя материка, поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживление геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей нарте со съемочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.

Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над преддверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей. Я удобно расположился на широких грузовых нартах, на вещах, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки замерзания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно прикончили наш запас масла — это понижало сопротивляемость холоду.

Серые облака впереди окрасились красным, и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилину, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилина вершины Токко в месте впадения крупного левого притока Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов про-

довольствия. Свернув в долину Токко, уже в сумерках мы быстро выбрали место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечерние работы производились с быстротой и я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. В сгущающейся темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением обеда. Из торчавшей сбоку от входа в палатку печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы вошли в палатку и, осторожно миновав раскаленную печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудового дня на жестоком морозе? Яростно срываешь с себя обледенелый мокрый шарф, закрывающий лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения — и оленьи шкуры постланы на лиственничных ветках, набросанных на мерзлую землю, развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуриваешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.

Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество горячего чая в ожидании, пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки, хмурые, обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались. Наконец в печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надевать ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно закупориваясь. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол вьючного чемодана. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда, треск лопающегося дерева, беготня согревающихся оленей...

Следующий день, день зимнего солнцеворота, принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высокое и ясное. В недвижном воз-

духе морозного утра пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршание. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голой рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления: стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовый термометр, который вскоре показал почтенную цифру —57°.

Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог поехал на нартах вверх по Чироде, проводник ушел проверять оленей, Алексей — промывать золото. Я решил взобраться на голец, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность. Иначе трудно было разобраться в частоколе горных пиков.

Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немыслимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили: приходилось цепляться за стволы деревьев. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это очень утомляло; крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и оглянулся кругом.

Позади склон гольца круто обрывался в широкий распадок, густо заросший кедрачом и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темно-зеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо такая же полоса обозначала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значительно превосходивших по высоте все виденные здесь мною.

Один голец особенно привлек мое внимание. Он стоял

впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко подымаясь, как гигантская, слегка суживающаяся кверху башня, верхушка которой увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в коченеющих руках карандашом, я зарисовал виденное и взял компас засечки. Пора было спускаться.

Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. По-прежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе...

Еще с детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном материке, полном загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества — ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны вместе с потоком переселившихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки — о могучей, все побеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...

Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Черного материка. Моя северная Родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа — от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, такой интересной, манящей и недоступной...

Беспощадный мороз вернул меня к реальности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже зашло за голец, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил котел с замерзшим чаем и опустился на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться.

Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были

трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопающихся и оседающих льдин. Местами изо льда торчали острые зубья камней.

Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, нависшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности — копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.

Из глубины ущелья послышался глухой шум, который все нарастал и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы приблизились к одному из самых больших порогов, мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти на половину высоты его отвесных стен из темно-серых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехметровую высоту, переваливалась вниз, разбивалась в пену и брызги об острые камни и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.

Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку — ремень, соединяющий недоуздки каждой пары оленей, — и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя. Я встал между головами своих быков, беспокоившихся и неторопливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог: нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, выигранный в начале прохода, правее, к стене ущелья, имел решающее значение. Упряжка гео-

лога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край льдины, к дымящимся волнам ревущего порога. Олени падали и снова вскакивали. Метр, полметра... Если левый бык упадет еще раз, все пропало. Бык не упал. Еще минута — и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня носами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий; затем мы перевели грузовые нарты.

Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его рев убаюкивал нас ночью. Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не согреешься. Шум и свист ветра заглушали все звуки...

К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения. Проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобных голубых сумерках, предвещавших ясный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протаптывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными

скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покурив, мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходившему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах, притоку Чары.

Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой винчестер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек [1]. Щелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги вздрогнули. Внимательные черные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор автомата не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаясь дослать патрон; кабарги взвились по склону и исчезли в гуще лиственок.

Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.

— Тохто-о-о!.. [2]

Внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика; олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху, цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарты наступил мне на руку. Новый вопль:

— Тохто!

Из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось — просто крутизна спуска внезапно превысила допустимый для проезда нарт предел. Мы обрушились на дно распадка. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне обрыва появились олени Алексея, отставшего от нас. Увидев груду тел

---

[1] Кабарга — жвачное млекопитающее из семейства оленей.
[2] Тохто! *(якутск.)* — Стой!

и нарт, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того чтобы спрыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты перенеслись через лежавшего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились.

Выяснив, что все олени целы и вещи не повреждены, мы посмеялись над своим приключением и решили ввиду поломки нарт добраться до ближайшего корма и ночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал — лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, — самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а кроме того, разожгли громадный костер, чтобы отогревать и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли на ближайший ключ сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки.

Стемнело. Мы пообедали и напились чаю, а товарищи всё не возвращались. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу.

— Золотишко тут должно быть, — сказал геолог. — Правда, Алеша?

— Подтверждаю, — отозвался рабочий.

Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слоем искрящегося матового серебра.

— То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? — спросил геолог и указал вверх по долине Тарыннаха.

Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножия гольцов, а холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие планы. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, замеченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершиной пик словно касался

луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны.

— Вот и название хорошее для вашего пика, Георгий Петрович, — снова нарушил молчание геолог. — Голец Подлунный. Видите, уперся своими зубцами в луну...

— Очень хорошо, — согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку.

Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...

Работы по починке нарт были закончены к полудню, и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два — по котловине до поселка. Пять дней — и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует... Послушать московские новости, если есть приемник!

Мы решили немного понежиться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.

Мечты наши были прерваны неожиданными звуками — хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес:

— О-хо! Улахан тойон (большой начальник).

Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон-Кихота.

Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо: раз «улахан тойон», так примем с подобающим почетом. Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу:

— Капсе, тогор (рассказывай, друг).

— Со-охх, ень капсе (нет, нечего рассказывать, ты рассказывай), — протянул старик.

Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски; затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоминании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но благодаря большому опыту странствований я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какую я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.

— Ты знаешь этого старика? — спросил я у Габышева.

— Знаю, — отвечал проводник. — Его Кильчегасов фамилия. Охотник хороший, всякий место знает.

Старик вернулся в палатку, и я прекратил расспросы.

— Такой видел на Токко? — хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта.

Я объяснил старику, что это бивень мамонта, и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился, видя мою осведомленность, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыве берега, он и совсем погрустнел.

— Много знаешь, начальник, — покачал он головой.

Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле вперемешку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись.

— Твой умный человек, начальник, оннако, наши охотники тоже знают, чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес лежит. Его, оннако, не кривой, какой я нашел, а прямой, мало-мало кривой.

— Это интересно! — удивился я.

Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то.

— Мой отца брат согджоя[1] гонял, ходил очень дале-

[1] Согджой — дикий северный олень.

ко, туда, — Кильчегасов махнул рукой на восток, — видел, потом рассказывал. Ты слыхал, оннако? — обратился он к проводнику.

— Слыхал. Думал — врал, — равнодушно отозвался Габышев.

— Оннако, не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел.

— Где же этот голец? — спросил я старика.

— А если близко, пойдешь смотреть?

— Конечно, пойду, — кивнул я.

Минутная пауза, и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло.

Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место гольца Подлунного.

— Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко, много большой голец, прямо куча.

— Верно! — отозвался я.

Но старик не обратил на мой возглас никакого внимания.

— Вершина Чирода и Чиродакан около есть самый большой голец, как высокий пень. (Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника — голец Подлунный.) Это голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий, ровный, чистый место — все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там есть еще дырка большой, и там тоже рога.

— А как отсюда, далеко будет? — спросил я, загоревшись любопытством.

— Этот место недалеко-о, — протянул старый якут. — Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талумакит. Токко вершина, оттуда налево будет речка небольшой... Киветы скала режет — все равно нож. Оннако, Киветы пойдет тот плоский место... — Кильчегасов подумал и сказал: — Верста девяносто ли, сто ли будет...

Старик умолк. Молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, по труднопроходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику по-якутски, и оба

они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знакомых слов: «большой порог... корма много... нартами не проехать... черта много...»

— Где это много черта, Габышев? — вмешался я в их разговор.

Я знал, что под «чертом» тунгусы и якуты подразумевают не объяснимые с их точки зрения явления природы.

— То место я слыхал, там черта много, — подтвердил проводник, — оннако, еще большой порог есть, там смерть близко ходи.

— Какой порог? Речки-то все маленькие.

— То не речка: порог большой — весь дорога.

Мы поняли, что речь идет о ригеле — отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая виду. В конце концов, сто километров в один конец по сибирским масштабам — пустяки. Вопрос в лишних днях, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется.

Я кивнул на Кильчегасова:

— Пойдешь с нами до того места?

По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога:

— Как вы думаете, Анатолий Александрович?

— Ну, ясное дело, слазаем, посмотрим, — одобрительно отозвался он.

— А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней?

— В обрез хватит: мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов...

После раздумья старик согласился сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым.

— Как, Василий, пойдешь? — спросил я. — Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой.

Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.

— Пойдем, начальник, — спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: — Оннако, мы пропадем, я думай...

Я крепко пожал руку этому славному якуту, считав-

шему наше предприятие опасным и тем не менее спокойно шедшему навстречу этой опасности.

До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарыннах, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха.

По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей. «Тарын» и значит по-якутски «наледь». Иногда воды было немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину, — знаменитый уступ в добрые четверть километра высоты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем.

Наутро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Запасные олени шли следом, несмотря на страх, внушаемый им крутизной подъема. Медленно-медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз на оленей. Большой черный бык подхватил его на свои рога и в диком страхе двумя сильными рывками добрался до бровки обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения — олени и люди, едва живые от изнеможения.

— Вот порог так порог! — воскликнул Алексей. — Страх берет вниз посмотреть... А если бы кто туда сорвался?

— От нарты один спичка останется, а от тебя один

печенка вниз прилетит, — невозмутимо ответил проводник.

Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы, казалось, проще, но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть начеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неудержимо сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий, звенящий голос проводника:

— Держись, смерть близко ходи!

В страхе за судьбу товарищей я метнулся вперед, уцепился за задок наиболее далеко сползших нарт, поскользнулся снова и упал. Девяносто килограммов моего живого веса, обрушившись на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и таким образом я получил наконец твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятые нарты, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка, в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места.

Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце излучало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чертова места.

Наконец спуск с перевала закончился. Котловина, в которую мы спустились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочнобелом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель — то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.

Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные

дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от черта. Он и в самом деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздались жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхом, произвели на меня такое впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления черта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем неверном свете.

— Вот они! — вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скорченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха.

Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остолбенели. Гром усилился; стихая затем, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновенном вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только с иным, молочно-белым цветом оперения, с черными пятнами и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки: вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь черта еще будет много.

Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по уверениям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться на плато с бивнями. Проводник не решался идти с нами: больные ноги не давали Кильчегасову этой возможности. Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли идти я и геолог.

Только что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотанье закончились адским, долго не стихающим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал:

— Это скала рухнула, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны вследствие больших молодых сбросов, так что, наверно, часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо. В нем-то и заключается весь черт.

Мы рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.

Ночью ослабевший за два последних дня мороз стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз[1]. Ветер дул как раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стенке бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка и, трясясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе, и вдруг отчетливо услышал тяжелые шаги — грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли палатку кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился, близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который, против обыкновения, взял в палатку, чтобы отогреть, а в случае чего и испробовать на черте действие свинцовой пули 351-го калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать. Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем появлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил:

— Ну, чего видел?

— Ничего.

— Так... И завтра след никакой не найдешь.

— А что это было, по-твоему?

— Здешний хозяин ходи.

— Какой хозяин?

— Чего тебе не понимай? — рассердился якут. — Хозяин, я говорил!..

Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его,

[1] Хиуз — поземка, устойчивый холодный ветер.

хотя так и не мог понять, что за «хозяин» бродил вокруг палатки.

Предрассветная мгла еще наполняла котловину, когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить — путь был не близкий, и нужно было идти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с анероидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым. Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...

Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами.

— Опять под шестьдесят! — недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа.

Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычаен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто боялись оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие угольно-черные стены вздымались кверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах ущелья вода высверлила глубокие ниши и ямы — мельничные котлы; в них лежали круглые валуны диаметром с автомобильное колесо.

Замерзшее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаса наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаса отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились все круче. В другое время, не зимой, речка представляла собой ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен — все это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около девяти километров вверх по уще-

лью, когда оно повернуло к югу и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась, и слагавшие ущелье породы выступали в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. Словно куски серебряного и золотого шелка, горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам — и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался голец Подлунный, как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода — и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути — небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кустами кедрового сланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных удивительно правильно — в виде буквы «П».

Продравшись сквозь заросли кедрового сланца, мы нашли на большой поляне несколько слоновых бивней — не мамонтовых, закругленных в полукольцо, а громадных, слабо изогнутых бивней, похожих на бивни самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали, наваленные как дрова, занимая большую площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притрагивались к ним.

Недалеко от вершины холма между острыми камнями виднелась глубокая промоина: не та ли «дырка в голь-

це», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскали широкий заваленный вход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которой суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну важную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких, отвесных стенах пещеры при свете свечи виднелись грубые, громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками — черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно и с удивительной выразительностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми.

Вне себя от удивления, я смотрел, как на черных стенах развертывалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов...

— Черт возьми, носороги и слоны-то ведь африканские! — вскричал я.

Мы находили все новые рисунки. Вот пятнистая гиена с покатой спиной, жирафы, полосатые зебры. Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледеневшие торбаса; мне было жарко, словно меня коснулся знойный пламень африканского неба.

Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут были собраны особенно большие, до четырех метров в длину. Сложенные штабелем, как дрова, они поблескивали под огнем свечи своей гладкой черно-желтой поверхностью.

Я увлекся и побежал было в другое большое разветвление пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов: нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было слишком опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных.

Нам хотелось как можно больше узнать о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.

Солнце уже спустилось низко за горы, когда, навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окинули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки — место, куда до оледенения докатилась волна переселений.

Случилось действительно необычайное: тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то, значит, они принадлежали к очень древней расе. В то же время эта раса была уже сравнительно высокоразвитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Таких рисунков в Сибири и вообще в СССР пока никто не находил. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего эти люди пришли сюда из Африки следом за потоком переселявшихся животных — древние племена художников и мужественных охотников на гигантских слонов.

Ошеломленный находкой, я, по обыкновению каждого исследователя, быстро соображал, пытаясь сразу же найти наиболее правдоподобное объяснение. И только постепенно я начал сознавать все значение нашего открытия. Теперь может быть решен старый спор ученых об одном или нескольких оледенениях, решен в пользу одного оледенения. Совсем по-новому придется пересмотреть прежние взгляды геологов на историю этой области Сибири в четвертичный период и представления зоологов о распространении животных и происхождении современной наземной фауны. И, наконец, самое интересное — люди, самые древние обитатели Центральной Сибири, не-

ожиданно оказавшиеся современниками и, возможно, родственниками тех, которые до сих пор были найдены только на западе и юге. Да, ученым придется теперь всячески обдумывать открытие, добытое в результате труда и упорства кучки людей здесь, в оледенелых горах, под жестоким морозом...

Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что́ я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками.

— Да, я тоже думаю, что эти куски и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, — сказал он. — Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подверглась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни поднимались кверху и образовывали горные хребты, другие спускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, — словом, небольшой участок древней почвы — был поднят на меньшую высоту, чем другие, и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохранилось нетронутым... ну, конечно, не считая атмосферных влияний...

На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредоточить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вступили в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Кпветы. Мы то и дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбасах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было избито. Не знаю, сколько километров мы прошли таким образом, но в конце концов мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: нужно идти дальше — долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности — кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что

я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть, как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны — можно было осторожно скользить и скатываться по ним. Остатка толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья осталось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу, в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было, а следовательно, и тут сделать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь: почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой, тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по ущелью, и при всем этом — невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха...

Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? Мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение геолог выполнил, не теряя ни секунды.

Мы едва плелись по гулко хрустевшему снегу, подбадривая друг друга. Силы убывали с каждым шагом. Еще полкилометра, километр — и геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, идти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров ощутил, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать — больше ничего!.. Слабо шевельнулась мысль, что заснуть — значит умереть... И я рассердился, услыхав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и идти. Не помню, сколько еще времени мы шли

бок о бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...

Я наступил на тонкую ветку или сучок, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все: и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загремел, как пушка. Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремящий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики. Я сунул пистолет в карман и, едва разжав сведенные пальцы, опустился на колени рядом с геологом.

Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом: к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе, и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.

Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать нарты, и тихо сказал:

— Я понимал, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, это олень наш ходи...

Проводник весело рассмеялся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.

Обратно по знакомой, проторенной дороге мы подвигались гораздо быстрее.

Второй день нового, 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму в ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подо мной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...



АЛМАЗНАЯ ТРУБА

Начальник главка раздраженно отодвинул наполненную окурками пепельницу и негодующе посмотрел на собеседника.

Тот, худой, маленький, седобородый, утонул в большом кожаном кресле, сжавшись, подобрав ноги. Глаза его поблескивали сквозь очки непримиримым упорством.

— Третий год работает Эвенкийская экспедиция — и никаких результатов! — бросил начальник.

— Как — никаких? А кимберлиты? [1]

— Вот, кстати, о кимберлитах. Вы знаете, что академик Чернявский дал о них отрицательное заключение? Он не признает эту породу за кимберлит. И вообще, Сергей Яковлевич, лично мне все ясно. Это ведь огромная, почти не исследованная страна. Экспедиция стоит дорого, особенно после того, как вы прибавили к ней маятниковую партию. Результатов же нет. Я категорически настаиваю на прекращении работ! У нашего института много более неотложных задач, и расходование крупных ассигнований на такого рода изыскания идет в ущерб практике. На этом кончим...

Начальник главка, недовольно морщась, бросил папиросу. Сидевший в кресле директор института, профессор Ивашенцев, резко выпрямился:

— Вы прекращаете дело, которое должно принести стране миллионы, и не только экономии, но и прямых доходов от экспорта!

— Это дело принесло пока только разочарования.

---

[1] **К и м б е р л и т** — плотная туфообразная горная порода из группы ультраосновных, то есть с малым содержанием кварца и увеличенным — железа и магния.

Впрочем, я уже сказал, что для меня все ясно. Решение мое окончательное.

Начальник встал. Рядом с ним профессор казался совсем маленьким и беззащитным. Он молча поднялся с кресла, поправил очки. Потом пробормотал что-то невнятное и протянул начальнику круглый камень.

— Я уже видел это, — сухо сказал тот. — «Река Мойеро, река Мойеро»! Три года слышу! И эту грикваитовую породу[1] вы мне тоже показывали.

Профессор сгорбился над портфелем, застегивая непослушный замок.

Начальнику стало жаль ученого. Он подошел к Иващенцеву:

— Сергей Яковлевич, вы должны признать мою правоту. Но извините, я не понимаю вашего упорства в этом вопросе...

— Всякой работой, — перебил Иващенцев, — легче управлять, когда относишься к ней беспристрастно. А я не могу быть беспристрастным. Понимаете ли, я уверен в этом деле горячо, всей душой! Только огромные неисследованные, малодоступные пространства стоят между теоретическим заключением и реальным доказательством. Вы скажете, конечно, что этого уже достаточно для провала дела. Да, знаю: государственные деньги и все такое!.. — начал сердиться профессор, хотя начальник и не думал возражать. — Железный закон экономики знаете? Чтобы миллион добыть, нужно семьсот тысяч затратить! А мы ведь десятки, сотни миллионов ожидаем...

С этими словами он направился к дверям.

Начальник посмотрел ему вслед и покачал головой.

Вернувшись в институт, профессор Иващенцев приказал секретарю немедленно вызвать к нему начальника производственного отдела.

— Какие у вас последние сведения от Чурилина? — спросил он, когда тот вошел в кабинет.

— Последние сведения были месяц тому назад, Сергей Яковлевич.

— Это я знаю. А новостей никаких нет?

— Нет, пока ничего.

— Где они сейчас, по-вашему, могут быть?

— Чурилин сообщал о приходе на озеро Чирингда,

---

[1] **Грикваит, грикваитовая порода** — порода из смеси гранита и оливина из очень глубоких зон земной коры.

на факторию. Они выступили вниз по Чирингде на Хатангу, а оттуда должны были перевалить вершину Мойеро. Пожалуй, теперь они уже закончили этот маршрут и могут подходить к Туринской культбазе — таков был их план. Но план — одно, а тайга — другое...

— Это мне хорошо известно, благодарю вас.

Оставшись один, профессор Ивашенцев откинулся на спинку кресла и задумался. Перед его мысленным взором возникла карта огромной области между Енисеем и Леной. Где-то в центре ее, в хаосе невысоких гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом, находилась экспедиция, посланная им за... мечтой. Профессор достал из портфеля камень, который он показывал начальнику главка. Небольшой кусок темной породы был плотен и тяжел. На грубозернистой поверхности скола мелкими каплями сверкали многочисленные кристаллы пиропа — красного граната — и чистой, свежей зеленью отливали включения оливина. Эти кристаллы отчетливо выделялись на светлом голубовато-зеленом фоне массы хромдиопсида. Кое-где сверкали крошечные васильковые огоньки дистена[1]. Порода очаровывала глаз пестрым сочетанием чистых цветов. Профессор повернул образец другой стороной, где на мазке белой эмалевой краски стояла надпись: «Река Мойеро, южный склон Анаонских гор, экспедиция Толмачева, 1915».

Ивашенцев вздохнул: «Ведь это типичный гриквант Южной Африки! Ни в Анаонских горах, ни в долине Мойеро не удалось обнаружить даже признаков подобных пород. И в этом году опять неудача: Чурилин молчит. Значит, мечта не сбылась».

Ивашенцев взвесил камень на руке и запер в нижний ящик письменного стола. Потом решительно снял трубку внутреннего телефона:

— Отправьте Чурилину телеграмму: «Отсутствии результатов ликвидируйте экспедицию возвращайтесь немедленно...» Да, я подпишу сам, иначе он не послушает. Куда? На Туринскую культбазу. Ну, разумеется, по радио, через Диксон.

Звякнул рычаг телефона, оборвав разговор и все возможности осуществления давнишней мечты Ивашенцева. Он снял очки и прикрыл глаза рукой.

---

[1] Хромдиопсид и дистен — породообразующие минералы глубинных основных пород.

Ивашенцев мечтал хотя бы на склоне лет добиться постановки исследования глубоких зон земной коры путем бурения скважин особой мощности. Но даже первые шаги к решению задачи — погоня за мечтой, скрытой в лесах и болотах Средне-Сибирского плоскогорья, — оказались напрасными. Ничему, как видно, не научила жизнь, и на шестом десятке профессор остался мечтателем, стремящимся к слишком большому размаху исследований.

Радиоволны понеслись из Москвы на северо-восток — над тундрами Севера, холодными просторами Ледовитого океана — и достигли высоких мачт радиостанции на голом острове. Через два часа новые волны промчались отсюда на юг, миновали хребет Бырранга, болота Пясины и пронеслись над бесконечными лесами. На Туринской радиостанции застучал аппарат, и радиоволны запечатлелись в короткой фразе, четко написанной на голубом бланке.

— У тебя есть кто-нибудь из корвунчанских эвенков, Вася?

— А что?

— Срочная телеграмма экспедиции Чурилина. Они сейчас на вершине Корвунчана.

— Корвунчанских нет, однако завтра поедет Иннокентий к себе на Бугарихту. Парень хороший, пятьдесят километров лишних сделает, особенно если ты ему скажешь.

— Пойдем вместе его искать, я сразу и отдам ему телеграмму.

* * *

На широкую долину речки Никуорак, в трехстах километрах от Туринской культбазы, опускались сумерки. Пологие склоны щетинились еловым лесом, угрюмо черневшим внизу. На плоском холме, загромождавшем с севера круглое болото, было еще совсем светло. Между редкими лиственницами стояли четыре темно-зеленые палатки, а перед ними на ровной площадке, покрытой светло-серым оленьим мхом, горел костер. Огня почти не было видно. Густой коричневый дым с резким, одуряющим запахом багульника расплывался в спокойном воздухе. По правую сторону площадки возвышалась груда вьючных ящиков, сум, тюков и седел. Туча мошки и комаров ви-

села вокруг костра, за спинами людей. Сидевшие у костра старались держать головы на грани дыма и чистого воздуха, что давало возможность дышать и в то же время избавляло от упорно лезущего в глаза, нос и уши гнуса.

— Чай готов! — провозгласил черный, насквозь прокопченный дымом человек и снял с огня большое ведро, наполненное темно-бурой жидкостью.

Каждый из сидевших у костра вооружился объемистой кружкой и взял по огромной тунгусской лепешке, тяжелой и плотной, — своеобразный хлебный концентрат. Мошка покрывала поверхность горячего чая серым налетом, который приходилось сдувать через край кружки. Люди с наслаждением прихлебывали чай, перебрасываясь короткими фразами.

В редкое позвякиванье ботал разбредшихся внизу лошадей вплелся размеренный отдаленный звон.

— Слушайте, товарищи! Никак наши идут.

Молодежь бросилась к палаткам за ружьями. Встреча отрядов одной экспедиции после долгой разлуки всегда является торжественным моментом в жизни таежных исследователей. Сумерки еще не успели сгуститься, как на большой прогалине северного склона водораздела появилась цепочка худых утомленных лошадей, вяло поднимающихся вверх. Ободранные вьюки, обвязанные измочалившимися веревками, свидетельствовали о долгом пути через густые заросли.

Загремели выстрелы. Прибывшие ответили нестройным залпом. К палаткам подъехал угрюмый плотный человек — геофизик Самарин, начальник маятникового отряда. Он грузно слез с лошади. Шея его была кое-как обмотана грязным бинтом. Он поднял с лица черную сетку и шагнул навстречу начальнику экспедиции Чурилину — высокому гладко выбритому человеку.

— Привет, товарищ Чурилин, — глухо сказал Самарин в ответ на дружеское приветствие начальника.

— Вот хорошо, как раз к чаю! Ну, что интересного?

— Кое-что есть. А пришлось тяжело... Я заболел, трех лошадей потеряли...

— Что с вами?

— Дрянь какая-то — мошка разъела, кругом воспаление.

— Чесались?

— Еще бы не чесаться! — сердито проворчал Самарин в ответ на укоризненный взгляд Чурилина. — У меня ко-

жа не такая дубленая, как у вас. Теперь не знаю, как пойду в следующий маршрут.

Чурилин распорядился выдать всем понемногу из драгоценного запаса спирта. Прибывшие также расположились у костра. Громкие, веселые голоса перебивали друг друга, люди рассказывали о разнообразных приключениях. Начальник экспедиции уселся рядом с геофизиком, который, выпив чаю и закусив, немного обмяк и пришел в себя.

— Модест Африканович, жажду ваших сообщений!

Самарин рассказал о пройденном им маршруте, широким углом охватывавшем район от реки Джеромо до вершины Вилючана. На этом пути удалось сделать больше двадцати измерений силы тяжести [1].

— Везде довольно большие положительные аномалии [2] — шестьдесят, восемьдесят. Но вот в одном месте я сделал даже три измерения подряд на небольших расстояниях. Получилось... — Геофизик сделал паузу.

— Не томите, Модест Африканович! — быстро сказал Чурилин.

Самарин довольно усмехнулся и продолжал:

— Получилось двести...

— Ого!

— Погодите: двести семьдесят и триста пять!

— Где? — взволнованно воскликнул Чурилин.

— Амнунначи... Обширное низкое плато, сплошная болотина, к западу от Мойерокана.

— Мойерокана! Вот тебе и на!

Разговоры у костра стихли. Вновь прибывшие разошлись спать. Только сотрудники Чурилина, отдохнувшие за четырехдневную стоянку, остались у костра, с интересом прислушиваясь к разговору начальника с геофизиком.

— Ну, я замучил вас, Модест Африканович, — сказал Чурилин, — извините меня. Идите скорее отдыхать. Мы-то здесь уже так откормились, что не ложимся раньше полуночи.

Самарин неохотно поднялся и, стоя на коленях, свернул последнюю папиросу.

Чурилин некоторое время пристально всматривался в его усталое, опухшее лицо.

---

[1] Сила тяжести — подразумевается сила земного тяготения.

[2] Положительные аномалии — местные увеличения силы тяжести.

— Хорошо быть геофизиком, Модест Африканович, — сказал он, — точные задачи, ясные ответы — вот как у вас, например.

— Нашли чему завидовать!

Лицо Чурилина было серьезно.

— Я сравнивал мои и ваши исследования. Я восхищен могуществом геофизики! Я плохой физик и еще худший математик. Может быть, поэтому, как всякая незнакомая научная дисциплина, ваша работа представляется мне гораздо более значительной, чем моя. Посмотрите хотя бы со стороны: прибор Штюкрата[1] устанавливают на намеченной точке. Внутри него мерно качаются два коротких тяжелых маятника, снабженных зеркальцами, отражающими свет от крохотных лампочек. И это всё. В дальнейшем нужно только наблюдать совпадения периода качания маятника с ходом астрономических часов — хронометров. Впрочем, конечно, — спохватился Чурилин, — до этого еще нужно тщательно выверить прибор, провести наблюдение звезд для проверки часов. Но, в общем-то, как гениально просто! Качается маятник и едва уловимо отзывается на увеличение или уменьшение силы тяжести в данном месте. А в руках геофизика это сказочный меч, незримо рассекающий на несколько километров в глубь толщи горных пород, это глаз, показывающий недоступные подземные глубины.

Самарин бросил в костер окурок и усмехнулся:

— Я, наоборот, ясно представляю себе всю беспомощность геофизики, обилие не разрешимых еще вопросов, несовершенство методов. И ваша геология кажется мне более ясной, более могущественной наукой, имеющей в своем распоряжении неизмеримо большее число фактов... Ну, я иду спать.

С уходом геофизика у костра наступило молчание. Столб пламени в высоте окаймлялся звездным венцом, едва слышно шипели дымокуры, и неумолимо ныли комары. Из долины по-прежнему доносилось позвякиванье ботал лошадей.

— Максим Михайлович, неужели геофизика может легко решить то, над чем мы так долго бьемся? — осторожно спросил молодой геолог.

Чурилин невесело усмехнулся:

---

[1] Прибор Штюкрата — маятниковый прибор для измерения самых незначительных колебаний силы тяжести.

— Я говорил о могуществе геофизики не в этом смысле. Мы ищем алмазные месторождения. Почему мы ищем их именно здесь? Пять лет назад наш директор первый обратил внимание на необычайное сходство геологии здешних мест и Южной Африки. Средне-Сибирское и Южно-Африканское плоскогорья обладают поразительно сходным геологическим строением. Там и здесь на поверхность прорвались колоссальные извержения тяжелых глубинных пород. Сергей Яковлевич считает, что извержения были одновременными у нас и в Южной Африке, где они закончились мощными взрывами скопившихся на громадной глубине газов. Эти взрывы пробили в толще пород множество узких труб, являющихся месторождением алмазов. На пространстве от Капа до Конго известны сотни таких труб, и, несомненно, огромное их количество еще скрыто под песками пустыни Калахари. Алмазов хватило бы на весь мир. А вы знаете, как необходимы они в промышленности и для нашего дела — в бурении. Крупные компании скупили все месторождения. Из десятков богатых труб разрабатываются только пять, остальные обнесены проводами высокого напряжения и охраняются часовыми. Оно и понятно: пустить в разработку все месторождения — значит резко удешевить алмазы. В Советском Союзе не обнаружено до сих пор сколько-нибудь значительных месторождений, и если нам удастся отыскать подобные трубы, сами понимаете, как это важно! Здесь все удивительно сходно, кроме алмазов, с Южной Африкой — и платина, и железо, и никель, и хром; на этом Средне-Сибирском плоскогорье один и тот же тип минерализации. Сергей Яковлевич подметил, что те районы в Южной Африке, в которых обнаружены алмазоносные трубы, отличаются положительными аномалиями силы тяжести. Она больше нормальной, потому что из глубин к поверхности поднимаются массы тяжелых, плотных пород — перидотитов[1] и грикваитов. Аномалии доходят до ста двадцати единиц. Здесь в первый же год работы с маятником мы сразу уловили аномалии от сорока до сотни, и теперь... теперь вот обнаружились аномалии до трехсот единиц. Значит, здесь мы имеем большие скопления тяжелых пород. Но до решения нашего вопроса еще далеко. Маятник подтвердил нам еще одну

[1] **Перидотиты** — глубинные изверженные породы, состоящие преимущественно из оливина (ультраосновные).

черту сходства с Южной Африкой и дал косвенные указания на районы, в которых могут быть обнаружены месторождения алмазов. Я говорю «могут быть», но ведь столько же шансов, что и не будут обнаружены. В Южной Африке легко искать — там сухие степи, почти без растительного покрова, с энергичным размывом. Первые алмазы и были найдены в реках. А у нас здесь — море лесов, болота, вечная мерзлота, ослабляющая размыв. Все закрыто. И пока за три года работы мы имеем то же, с чего начали: только таинственный кусок грикваита, найденный в гальке реки Мойеро! Эта порода из смеси граната, оливина и диопсида встречается только в алмазных трубах в виде округлых кусков в голубой земле, содержащей алмазы. И вот мы прошли всю верхнюю Мойеро, обследовали множество ключей и речек бассейна...

У потухавшего костра наступило молчание. Собеседники расходились один за другим. Чурилин сидел, глубоко задумавшись. Последние вспышки пламени бросали красные отблески на его сухое индейское лицо. Против Чурилина сидел, облокотившись на вьючную суму и спокойно посасывая трубку, чернобородый, похожий на цыгана его помощник Султанов.

Ковш Большой Медведицы перекосился в черном небе — подступало глухое время ночи.

«До окончания полевого сезона осталось не больше месяца, — думал Чурилин, — еще один короткий маршрут... И если вернуться опять с неудачей, наверное, работы будут прекращены. В этих необъятных залесенных горах нужны десятки партий, десятки лет исследования. Но, во всяком случае, необходимо задержать экспедицию как можно дольше, нужно разбить ее на маленькие группы, чтобы успеть выполнить побольше маршрутов».

На южном склоне посыпались мелкие камни. Чурилин и его помощник насторожились. Неясный шум приближался. Затем в световой круг костра из темноты просунулась собачья морда с острыми, торчащими ушами. Послышалось тяжелое дыхание верхового оленя. К костру подъехал эвенк с пальмой [1] в руке. Опираясь на нее, он легко спрыгнул с оленя, и олень сейчас же лег. Круглое лицо эвенка улыбалось.

[1] Пальма — тяжелый нож-секач на длинной рукояти.

Он осведомился, где начальник, и протянул Чурилину конверт с огромной сургучной печатью.

Чурилин поблагодарил вестника, пригласил поесть и обещал два кирпича чая. Разворошив костер, Чурилин вскрыл конверт и, развернув листок голубой бумаги, прочитал. Глаза его сузились и заблестели недобрым огоньком.

Султанов внимательно посмотрел на него и вполголоса спросил:

— Плохие вести, Максим Михайлович?

Вместо ответа Чурилин протянул ему листок. Султанов прочитал и закашлялся, поперхнувшись слишком глубокой затяжкой. Оба они молчали. Потом Султанов тихо сказал, глядя поверх костра в ночь:

— Что ж, это конец...

— Посмотрим! — ответил Чурилин. — Только молчание, Арсений Павлович.

Чурилин взял телеграмму и бросил в костер. Затем они уселись у костра. Султанов достал листок бумаги и начал покрывать его вычислениями. Заготовленные к утру дрова кончились, когда Чурилин и Султанов ушли от угасавшего костра.

* * *

На рассвете следующего дня Чурилин поднял всех затемно. Два каравана разошлись в разные стороны. Один, в двадцать восемь лошадей, растянулся длинной цепочкой между елями в долине Никуорака, направляясь с веселыми песнями на юг, домой. Оставшиеся четыре человека — Чурилин, Султанов, рабочий Петр и проводник Николай — с пятью лошадьми, навьюченными до предела, дали два прощальных залпа, поглядели несколько минут вслед уходящим и стали спускаться с холма в противоположную сторону. Там, за рядами однообразно расплывчатых гор, чернели кедровники высокого плато в вершине Люлюктакана...

* * *

Движение вьючного каравана сквозь тайгу, поход через неисследованные области, «белые пятна» географических карт... Казалось бы, что может быть романтичнее покорения неизвестных пространств! На самом же деле только тщательная организация и твердая дисциплина мо-

гут обеспечить успех подобного предприятия. А это значит, что обычно не случается ничего непредвиденного: день за днем тянется размеренная, однообразная тяжелая работа, рассчитанная далеко вперед по часам. Один день отличается от другого чаще всего числом преодоленных препятствий и количеством пройденных километров. В тяжелом походе душа спит, впечатления новых мест скользят мимо, едва задевая чувства, и механически отмечаются памятью. Потом, в более легкие дни или после вечернего отдыха, а еще вернее — после окончания похода, в памяти возникает вереница воспринятых впечатлений. Пережитая близость с природой, обогащая исследователя, заставляет его быстро забыть все невзгоды и снова манит, зовет к себе.

Наступили жаркие дни. Солнце поливало тяжелым, густым зноем мягкую, мшистую поверхность болот. Его свет казался мутным от влажных испарений перегнившего мха. Резкий запах багульника походил на запах перебродившего пряного вина. Зной не обманывал: обостренные длительным общением с природой чувства угадывали приближение короткой северной осени. Едва уловимый отпечаток ее лежал на всем: на слегка побуревшей хвое лиственниц, горестно опущенных ветках берез и рябин, шляпках древесных грибов, потерявших свою бархатистую свежесть...

Комары почти исчезли. Зато мошка, словно предчувствуя грядущую гибель, неистовствовала, сбиваясь в мерцающие рыжевато-серые облака.

Маленький караван Чурилина уже давно шел через обширные болота Хорпичекана.

В сердце тайги царит душная неподвижность. Ветер, отгоняющий назойливого гнуса, здесь редкий и желанный гость. На ходу мошка еще не страшна — она облаком вьется сзади путников. Но стоит остановиться, чтобы осмотреть породу, записать наблюдения или поднять упавшую лошадь, и туча мошки мгновенно окутывает вас, липнет к потному лицу, лезет в глаза, ноздри, уши, за воротник. Мошка забирается и под одежду, разъедает кожу под поясом, на сгибах колен и щиколотках, доводит до слез нервных и нетерпеливых людей. Поэтому мошка является своеобразным «ускорителем», определяющим убыстренный темп работы на случайных остановках и сводящим к минимуму всякие задержки. И только во время длительного отдыха, когда разложены дымокуры

или поставлена палатка, появляется возможность неторопливо оглянуться на пройденный путь.

Чвакали копыта лошадей, поскрипывали ремни и кольца вьюков на седлах. Громадное болото скрывалось впереди в зеленоватой дымке испарений. Покосившиеся столбы сухих лиственниц возвышались над редкими и чахлыми елями. Сосредоточенное молчание, в котором двигался отряд, иногда прерывалось вялой бранью по адресу того или другого коня. Впрочем, лошади, хорошо освоившиеся с тайгой за лето, трудились добросовестно. Понурив головы, они шли цепочкой без всяких поводков. Эвенк Николай в мягких мокрых олочах, с палкой в руке и берданой за плечами, как-то особенно расставляя согнутые в коленях ноги, быстро семенил впереди каравана.

Позади всех шел со съемкой Султанов. На его раскрытую записную книжку падали капли пота, липли мошки, оставляя на страницах расплывчатые розоватые пятна крови.

— Далеко до Хорпичекана? — задал Чурилин проводнику обязательный вечерний вопрос.

Холодная ночь заставляла всех придвигаться поближе к костру, разложенному на небольшом сухом бугре.

— Не знаю, наша тут не ходи, — ответил проводник. — Я думай, его шибко далеко нету.

Чурилин с Султановым переглянулись.

— Двадцать дней уже крутимся вокруг Амунначи, — тихо сказал Султанов. — Собственно, Хорпичекан — последняя речка.

— Да, — согласился Чурилин, — больше нет никакой зацепки. Всё Амунначи — сплошная болотина, низенькое, ровное плоскогорье. Если Хорпичекан ничего не покажет, придется поворачивать ни с чем. И так без лошадей можем остаться, зимы хватим.

Только на второй день удалось дойти до таинственного Хорпичекана, ничем не замечательной речки с темной водой, быстро струившейся между извилистыми берегами. С высоких подмывов почти до воды свисали жесткие косы густой травы. При ширине не более трех метров речка была глубока.

Дрова из ивняка и черемухи плохо грели, костер шипел и сильно дымил, разгоняя мошку. Эта неудобная стоянка была решающей. Но что могла дать глубокая болотистая речка, лишенная всяких обнажений коренных пород? Даже гальки — показателя состава пород в вер-

ховьях речки — не нащупывалось на вязком, илистом дне.

В этот вечер луна не светила на мрачное болото: приход на Хорпичекан совпал с переменой погоды. Редкие тусклые звезды загорались и гасли, показывая передвижение невидимых облаков. К полуночи молчаливое болото ожило — зашумел ветер. Стал накрапывать редкий дождь.

Утром холодный туман быстро поднялся вверх: признак ненастья. Без солнца невеселая местность стала еще угрюмее, рыжеватая площадь болота посерела, воды Хорпичекана казались совсем черными.

Султанов длинным шестом ткнул в дно:

— Придется нырять!

Нащупав мелкое место, в котором палка сквозь жидкую глину упиралась в какие-то камни на дне, Чурилин первым разделся и бросился в ледяную воду.

— Вот вам три камня! — крикнул он, вылезая на берег. — Бегу одеваться в палатку, а то мошка съест. Бейте, Арсений Павлович!

— Углистый сланец и диабаз[1], — сказал Султанов, заглядывая через несколько минут в палатку. — Все то же самое!

— Нет, не могу я так бросить начатое дело! — Чурилин взглянул на Султанова. — Мы пойдем в вершину Хорпичекана, в центр Амнунначи. У меня какое-то предчувствие: здесь что-то есть, или вся наша затея — погоня за несбыточным... Давайте завьючиваться, не теряя времени.

— Ух и надоело! — засмеялся Султанов, обвязывая свернутую в тюк палатку. — Подумайте только, который уж месяц! Вечером все развязать, разложить, утром собрать и снова связать. И так каждый день...

* * *

Шесть дней под непрерывным мелким дождем шел караван на северо-восток. Следы человека, зимних кочевок эвенков исчезли; ни одного порубленного дерева не встречалось маленькой партии. Вершина Хорпичекана пряталась в чаще густого мелкого ельника. Оглянувшись назад, перед тем как войти в заросли, Чурилин увидел позади

[1] Диабаз — излившаяся глубинная древняя порода, аналогичная базальтовым лавам.

почти весь путь последних двух дней. В прояснившемся на несколько часов воздухе дрожали влажные испарения, придавая обширному пространству болота призрачный вид.

Чурилин и его товарищи насторожились: болото пересекали два больших лося. Они шли спокойно, не видя людей. Высокие ноги животных двигались неторопливо, но размашистый шаг легко и быстро нес массивные тела по топкой, пропитанной водой толще мха. Передний лось закинул назад огромные рога, поднял голову и каким-то презрительным взглядом оглядел покорные ему пространства болот. Животные скрылись за неровной серой гребенкой сухих лиственниц.

— Досадно смотреть! — произнес Султанов. — На этаких длинных ногах никакое болото не страшно. В день по двести километров можно делать! — Он с огорчением поглядел на свои ноги в тяжелых сапогах.

Чурилин рассмеялся, а проводник расплылся в улыбке, хотя и не понял, о чем шла речь.

— Мясо, однако, здесь будет! — весело сказал эвенк.

Чувство тревоги не оставляло Чурилина. Времени на работу, собственно, уже не было. Они двигались вперед за счет срока, необходимого на возвращение. И все-таки маленький отряд все глубже забирался в удаленные от больших речек, безлюдные болота.

Центр Амнунначи вполне соответствовал данному эвенками названию: это была совершенно безлесная равнина, покрытая кочковатой сухой травой, на серо-желтой поверхности которой выделялись темные пятна моховых полян. Равнина постепенно понижалась, охваченная вдали едва видной щеткой низкого леса. Только налево горизонт закрывался чернеющей ровной полосой: там местность, видимо, имела более крутой спад и выступали далекие горы. Вскоре небо затянулось ровной свинцовой пеленой, снова заморосил дождь. Огромное пространство труднопроходимых болот, в которых затерялись четыре человека, давило и угнетало, внушая мысли о недостаточности человеческих сил. Как бы ни хотелось человеку выбраться отсюда, но только недели, только месяцы могли освободить его из этого плена. И не случайно Султанов позавидовал лосям: самый сильный человек, самые привычные ноги смогут сделать за день по мягкому моховому покрову, хлюпающей грязи, цепляющейся траве и багульнику не более тридцати тысяч шагов. И если их

нужно полмиллиона, чтобы выйти из этих болот, кричите, бейтесь в тоске, зовите кого хотите — ничто вам не поможет. Тридцать тысяч шагов, и из них ни одного неверного. Иначе, попав между кочками, корнями, в щели каменных глыб россыпей, треснет хрупкая кость. Тогда — гибель.

Караван повернул под прямым углом налево, к далекой долине Мойеро. За сеткой дождя ничего не было видно, целыми днями шли только по компасу. Чурилин и Султанов почти не разговаривали, рабочий с звенком тоже молчали. Ночью жалобно звенели ботала лошадей, голодные кони толклись вблизи палатки. Иногда раздавался хриплый короткий рев лося — началось время осенних боев между самцами...

* * *

На повороте только что проложенной тропинки Чурилин увидел остановившийся караван. Лошади сбились в кучу.

— Максим Михайлович, идите скорее! Воронок напоролся! — крикнул Петр с отчаянием в голосе.

Чурилин подошел. Молодой вороной конь был уже освобожден от вьюка и седла и стоял в стороне. По коже его пробегала крупная дрожь, задние ноги подгибались.

— Провалился сразу обеими ногами — и на пенек брюхом, — мрачно пояснил Султанов.

Кровь широкой струей сбегала по левой задней ноге Воронка. Конь пошатнулся и поспешно лег.

— Что делать, Арсений Павлович? — осмотрев рану, спросил Чурилин.

— Что тут сделаешь? — Султанов отвернулся и пошел в сторону. — Только я не могу...

Жалость к животному больно кольнула Чурилина. Но караван стоял, и Чурилин, слегка побледнев, взял бердану и лязгнул затвором. Ствол стал медленно подниматься к уху Воронка. Петр, застывший было в горестной неподвижности, сорвался с места и вцепился в бердану:

— Максим Михайлович, не стреляйте! Говорю вам, Воронок поправится, сам пойдет за нами...

Слезы текли по его щекам.

Чурилин охотно уступил просьбам Петра. Груз, который нес Воронок, распределили между тремя другими лошадьми, седло взвалили на четвертую. Воронок лежал

и, вытянув шею, следил за исчезавшим вдали караваном...

Справа, у крутого бугра, из расплывчатой светлой грязи талика совсем незаметно возник маленький ручеек.

— Камни, Максим Михайлович! — И Султанов указал на небольшую возвышенность посередине ручья.

Крупные округлые гальки с красным налетом железа просвечивали сквозь воду.

— Я посмотрю. — Чурилин шагнул к ручью. — А вы скажите Николаю, что сегодня будем идти до темноты.

Султанов поспешил к проводнику. Эвенк, выслушав распоряжение, хмуро кивнул головой и объявил, что сам знает: надо торопиться.

От ручья донесся голос Чурилина:

— Стой, Арсений Павлович!

Сердце Султанова учащенно забилось. Он бросился назад. Чурилин размахивал куском камня и от волнения не мог произнести ни слова. Он молча сунул Султанову разбитый камень, а сам принялся лихорадочно выбрасывать на берег один за другим ослизлые валуны. Султанов взглянул на свежий раскол породы — и вздрогнул от радости. Кроваво-красные кристаллики пиропа выступали на пестрой поверхности в смеси с оливковой и голубой зеленью зерен оливина и диопсида.

— Грикваит! — крикнул Султанов.

И оба геолога принялись ожесточенно разбивать набросанную Чурилиным гальку.

Вязкая, плотная порода с трудом поддавалась ударам молотка. Каждый новый раскол открывал ту же пеструю грубозернистую поверхность. Султанов полез в ручей за новыми камнями, и только когда перед геологами предстал излом другого характера — темной, почти черной поверхности с зелеными точками, — Чурилин выпрямился и вытер пот с лица...

— Уф! — вздохнул Султанов. — Почти сплошь галька из грикваита. А этот уж не кимберлит ли?

— Думаю, что да, — подтвердил Чурилин. — Из неразрушенной части интрузии [1].

Руки Чурилина, свертывающие папиросу, дрожали.

— Это не галька, Арсений Павлович, — тихо и тор-

---

[1] **Интрузия** — внедрение расплавленных пород (магмы) в трещины, пустоты или между слоями в отдельных участках земли.

жественно проговорил он. — Такие валуны слишком крупны для маленького ручейка.

— Значит, ручей размыл... — Султанов в нерешительности остановился...

— ...элювиальную россыпь[1] грикваитовой породы! — твердо окончил Чурилин. — Вспомните-ка, ведь грикваитовые обломки встречаются в африканских трубах в виде валунов, они округлены при извержении.

Впервые за много дней Чурилин широко и светло улыбнулся.

— Та-ак... — протянул Султанов. — Значит, нам нужно к вершине ручья, туда, где еловая релка...[2] Поворачивай обратно! — крикнул он подошедшим Николаю и Петру.

Эвенк, сощурившись, внимательно следил за радостными лицами своих начальников, а Петр хлопнул Буланого по крупу:

— К Воронку вертаемся, дурья башка!..

* * *

С треском рухнула срубленная ель, за ней повалилась другая. В молчании темного леса гулко разносились удары топора.

Усталые люди присели покурить.

— Воронок-то наш поправляется, только еще хромает, — сообщил Петр, ходивший смотреть коней. — Я что говорил?.. Только тощают конишки, прямо тают — трава вся посохла.

Севший с вечера туман к утру лег сплошным покровом инея. Болото заискрилось, засверкало. Под елями попрежнему было темно. В сумраке громоздились поваленные стволы, покрытые наростами грибов. Грибы волнистыми оборками торчали на пнях и корнях, цвели всевозможными оттенками красного, зеленого и желтого, издавали гнилостный запах и по ночам отливали едва заметным фосфорическим светом. Бугор был обиталищем сов. Пучеглазые любопытные птицы в сумерках восседали на ветвях близ лагеря и, склонив набок головы, рассматривали людей яркими желтыми глазами. Ночью их крики над-

[1] Элювиальная россыпь — месторождение, образовавшееся на месте без переноса или смещения продуктов разрушения горных пород.

[2] Релка — залесненный бугор посреди болота.

рывно разносились в гуще ветвей, перекликаясь с ревущими на болоте лосями.

Люди рылись в земле, изредка уделяя время сну и еде, ожесточенно долбили кирками твердую и вязкую глину. Не хватало инструментов. Вечномерзлая почва плохо поддавалась. Только огромные костры, разложенные в шурфах[1], заставляли ее уступать. Тогда на смену появлялся другой враг — вода. Два шурфа пришлось бросить: они попали внизу на талики и мгновенно заполнились водой.

Чурилин рассчитывал встретить коренную породу[2] на двух-трех метрах от поверхности. Однако и эта ничтожная глубина давалась с большим трудом.

Еще один шурф был заложен на самой вершине холма. Дым от костра заполнял еловую рощу, стелился над мохнатыми ветвями, длинным сизым языком выползал на болото и смешивался вдали с холодной, сырой мглой.

Проводник принес на плече еще один сухой еловый ствол, бросил в костер и решительно подошел к Чурилину:

— Начальник, говорить надо. Кони скоро пропади, наша тоже пропади. Мука кончай, масло кончай, охота ходил не могу, работай надо. Плохо, шибко плохой дело, ходить надо ско-оро!

Чурилин молчал. Проводник лишь высказал вслух давно мучившие Чурилина мысли.

— Максим Михайлович, — вдруг предложил Султанов, — пускай он с Петром уводит лошадей, а мы с вами добьем шурф. Инструмента все равно только на двоих. А мы потом по реке, на плоту...

Чурилин быстро шагнул к своему помощнику, внимательно взглянул в его похудевшее, заросшее черной бородой лицо, в покрасневшие от дыма и бессонницы глаза и отвернулся...

— Вы пойдете со всем грузом прямо на Соттыр, — спокойно говорил он через несколько минут проводнику и помрачневшему Петру. — Там, в поселке, сдадите лошадей. Я обо всем договорился еще весной с начальником полярной станции. Я дам письмо, чтобы вас снабдили продуктами, а Петра доставили в Джергалах. Там он пусть

---

[1] Шурф — колодцеобразная разведочная выработка.

[2] Коренная порода — твердое основание под рыхлыми, молодыми наносами.

заготовит лодку и ждет нас. Может быть, успеем сплавиться по Хатанге до аэропорта. Николай получит в Соттыре продуктами, деньги выдам сейчас — пусть возвращается к себе. Как дойдете до Мойеро, оставьте все продовольствие, какое сможете выделить, на видном месте. Путь отмечайте засечками, мы пойдем следом. Сколько отсюда до Соттыра?

— Не знаю. — Эвенк покачал головой. — Километра триста будет, однако.

— Ну вот, а до Мойеро пятьдесят.

— Нет, здесь тебе Мойеро ходить нельзя: шибко большой порог много. Через горы, та сторона ходи, тогда останется только маленький порог.

— Ну, сто километров?

— Сто ли, сто двадцать, однако, будет...

* * *

На еловом бугре стало совсем одиноко и тихо. Палатку увезли; вместо нее был устроен балаган из еловых лап. Горевший перед ним костер чуть дымился под дождем.

Султанов проснулся ночью от холода. Все тело ныло. Мучительно не хотелось вставать, казалось просто невозможным пошевелить рукой. С огромным усилием Султанов поднялся и разбудил Чурилина. Тот быстро встал, выпил кружку пустого чая и начал искать впотьмах лежавшую где-то у костра короткую шурфовочную кайлу.

Пламя костра заметалось, оживленное новой порцией сухих дров. В шурфе, углубившемся в землю уже на два с половиной метра, было совершенно темно. Чурилин долбил кайлой наугад, выгребая комья глины руками в ведро, которое время от времени поднимал наверх на веревке Султанов.

Боясь затопления, геологи не протаивали мерзлоту огнем, предпочитая мучительно медленную, но более верную работу в мерзлой почве. Вода и так уже стояла в яме на четверть, и каждый удар кайлы сопровождался громким всплеском.

Чурилину казалось порой, что он работает согнувшись в этой тесной, сырой яме уже много лет. Уже давно он только и слышит глухое бунчанье породы, звяканье ведра, копается ободранными, распухшими пальцами в жидкой ледяной грязи.

— Довольно вам, уже двадцать пять ведер нарыли! Теперь моя очередь! — крикнул сверху Султанов как раз в тот момент, когда Чурилин почувствовал, что больше не сможет поднять кайлу.

Он выбрался из шурфа, упираясь в стенку ногами и руками, и тяжело опустился на мокрую глину.

Султанов исчез в яме, и оттуда послышался его приглушенный голос:

— Подходяще! Ну и сила у вас, Максим Михайлович! Еще четверть метра осталось, мелкие камешки уже звякают... Нет, дальше опять глина.

В то же время Султанов ощутил, что глина пошла несколько другого рода: по-прежнему плотная, она отворачивалась крупными кусками; неподатливая, липкая вязкость исчезла.

Ведро за ведром таскал Чурилин, и горка вынутой глины все увеличивалась. Уже подходила к концу длинная осенняя ночь, когда Султанов слабо и хрипло крикнул из шурфа:

— Камни пошли! Один крупный есть, тащите!

Последнее ведро показалось Чурилину невероятно тяжелым. Он извлек липкий, холодный и тяжелый кусок породы и у костра разбил его молотком. Темная матовая порода в мерцающем свете пламени ничем не отличалась от надоевших за время пути диабазов.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Султанов.

— Не знаю, темно, — не желая огорчать товарища, ответил Чурилин и бросил куски камня на кучу вырытой глины. — Вылезайте, нужно поспать. Шесть часов, скоро рассвет.

* * *

Хотелось долго-долго спать. Но время текло неумолимо, и в девять часов оба геолога были уже на ногах и готовили скудный завтрак.

— Как ни тяжела работа, а порции придется уменьшить, — сумрачно сказал Чурилин. — В мешке совсем мало муки.

Султанов усмехнулся, помолчал. Затем, подняв кружку с чаем, торжественно продекламировал:

— «Погибель верна впереди... и тот, кто послал нас на подвиг ужасный, — без сердца в железной груди...»

— Еще ужасней, что никто нас не послал. И пожаловаться не на кого.

— Да, черт возьми, кто, собственно, держит нас здесь? — тихо сказал Султанов, опустив голову.

Товарищи медленно поплелись к шурфу. Вдруг Султанов крепко впился пальцами в локоть Чурилина:

— Максим Михайлович, желтая земля!

На верху кучи вынутой породы кусками лежала какая-то особенная, зернистая и в то же время плотная глина рыжевато-желтого оттенка. Чурилин поспешил поднять расколотый ночью камень. Это была тяжелая, жирная на ощупь сине-черная порода. Наружный слой камня был мягким и более светлого, синевато-серого оттенка.

— Воды, Арсений Павлович, побольше воды! — прошептал Чурилин. — Да вот в затопленном шурфе возьмем. Выливайте чай, черт с ним! Нужно второе ведро. Вы начинайте промывку желтой породы, доведете на лотке, а я займусь осколками камней.

— Неужели... — начал Султанов.

— Подождите! — резко оборвал Чурилин.

Неторопливо, словно нисколько не волнуясь, Чурилин принялся промывать все добытые кусочки твердой черной породы, отчищая рыхлые корки и грязь.

Позабыв про все на свете, геологи занимались своим делом. Внезапно Чурилин издал приглушенное восклицание и торопливо достал из нагрудного кармана складную лупу. Султанов бросил лоток и подбежал. На синевато-черном фоне небольшого куска породы сидели почти рядом три прозрачных кристаллика с горошину величиной. Треугольные площадки их граней не были абсолютно гладкими, но тем не менее ярко блестели. Каждый кристалл представлял собою две соединенные основаниями четырехгранные пирамиды. Геологи не спускали глаз с кристаллов. В глубоком безмолвии леса слышалось лишь прерывистое дыхание людей.

— Алмазы, алмазы! — Горло Султанова сжалось спазмой.

— Да, типичные октаэдры, как в Южной Африке, — произнес Чурилин. — Чистой воды, хоть и не голубоватые. По тамошней номенклатуре — второй сорт высшего класса; так называемый первый — Капский. Вот и все, Арсений Павлович, наше дело сделано. Это вы... — Чурилин не договорил, сжал испачканную глиной руку Султанова.

Тот устало опустился на забрызганный грязью примятый багульник.

— Значит, эта рыжая глина и есть «иэллоу грунд» — желтая земля африканских копей, — говорил Чурилин, — самая верхняя и вдобавок всегда обогащенная алмазами покрышка алмазной трубы. Несколькими метрами ниже пойдет «синяя земля» — «блю грунд», вот эта самая, черная, куски которой мы нашли в желтой земле. Это менее разрушенная, менее окисленная кимберлитовая порода. А наш еловый холм, без сомнения, оконтуривает границу алмазной трубы. Такие холмы часто помогают в Южной Африке при поисках алмазных месторождений, показывая выступающую на поверхность, но скрытую под почвой верхнюю, расширенную часть трубы. И помните, дорогой Арсений Павлович, — основная заповедь африканских охотников за алмазами: где одна труба, там ищи еще несколько. Они никогда не бывают в одиночку! Теперь нам нужно промыть всю нарытую желтую землю, тщательно отобрать образцы. Чтобы нести их, придется отказаться от части продовольствия. Репер [1], заявочный столб, — и с рассветом уходим отсюда: наши жизни теперь особенно драгоценны.

Султанов в последний раз встряхнул лоток и высыпал на листок чистой бумаги все, что осталось после промывки целой тонны желтой земли. На белом листе рассыпались мелкие кристаллы — столбчатые, призматические, многоугольные — красного, бурого, черного, голубого, зеленого цветов. Это были сопутствующие алмазу ильменит, пироксен, оливин и другие стойкие минералы. А среди них, подобно кусочкам стекла и все же не сходные с ним своим сильным блеском, выделялись мелкие кристаллы алмазов. Здесь были белые, чистой воды камни, были и покрытые шероховатой бурой корочкой. Некоторые кристаллы имели розоватый или зеленый оттенок.

— Вот посмотрите, кроме октаэдров — ромбододекаэдр [2]. — Чурилин отделил спичкой зеленый двенадцатигранник. — Этот вид алмаза отличается необыкновенной даже для этого камня твердостью. В Африке такие алмазы встречаются преимущественно в трубе Фоорспед. А это борт [3], — он указал спичкой на округлое зернышко черно-

---

[1] Репер — высокий сигнальный или опознавательный знак.
[2] Ромбододекаэдр — двенадцатигранник, каждая грань которого имеет очертание ромба.
[3] Борт — вид алмаза, образованный сростком микроскопических кристаллов.

го цвета, — сросток мельчайших алмазных кристалликов. Я измерил диаметр нашего холма, — продолжал Чурилин. — Эта алмазная труба не из маленьких, не меньше четверти километра в поперечнике, Правда, в Южной Африке есть и больше; например, Дютойтспан — чуть не семьсот метров. То уже не труба, а целое вулканическое жерло.

Султанов задумчиво глядел на холм. Он старался представить себе огромную трубу, входящую почти отвесно на глубину в несколько километров и заполненную драгоценной черновато-синей породой с алмазами. И это было здесь, в заболоченной, мрачной равнине, под мхом и грязью, едва прикрывавшими панцирь вечной мерзлоты!

Молчал и Чурилин. Он ссыпал в мешочек алмазы, написал этикетки к кусочкам пород, тщательно завернул образцы и принялся вычерчивать подробный план месторождения.

Все это геолог делал без всякого воодушевления, будто сейчас, у достигнутой наконец цели, куда-то исчезли все владевшие им ранее стремления. Усталость была слишком велика...

Султанов обтесал высокий пень в виде столба и, раскалив кайлу, выжег на нем несколько букв и цифр. Вскоре был готов репер — высокая ель с обрубленными сучьями и перекладиной наверху.

* * *

Путь прямиком через горы был нелегок: пересекая множество распадков [1], приходилось преодолевать до пятнадцати перевалов в день. Геологи механически шагали, без слов и мыслей. Ничтожных порций пищи не хватало на покрытие огромной затраты сил. Передвижение начиналось при первых проблесках утреннего света, а кончалось далеко за полночь. Осыпалась ярко-желтая хвоя лиственниц, лес был насыщен водой от непрерывного дождя. Ватники геологов быстро промокали насквозь и вечером долго дымились у сильного огня, а на следующее утро снова пропитывались влагой в первый же час пути. Вода выступила на болотах, покрыв на четверть высокие кочки, между которыми при малейшем неверном шаге люди проваливались по пояс. Тонкий ледок хрустел под размок-

[1] Распадок — короткая, обычно сухая долина.

шими сапогами. Никакой дичи не встречалось на пути — горы словно вымерли, и бердана попеременно давила плечи бесполезным грузом.

Утро четвертого дня застало Чурилина и Султанова взбирающимися на крутой подъем. На вершине перевала перед путниками расступилась красновато-серая дымка тумана и открылся обширный пологий спуск, образованный россыпью огромных остроугольных каменных глыб. Вдали вставал стеной темно-синий, испятнанный рыжим противоположный склон долины большой реки.

— Ну, вот и Мойеро! — Чурилин, присев на камень, вывернул карман в поисках последних крошек махорки. — Как они тут прошли с лошадьми? Последняя затесь — на вершине, а дальше ничего не видно.

— Спустимся прямо по россыпи в долину и пойдем вниз по реке, — предложил Султанов, — потом вернемся вверх. Где-нибудь обязательно пересечем их след.

* * *

Начальник производственного отдела института вошел в кабинет Ивашенцева и молча опустился в кресло.

— Серьезно тревожусь за Чурилина, — озабоченно сказал профессор, — этот человек слишком упрям, чтобы быть осторожным. Самарин приехал уже месяц назад, а Чурилин с Султановым остались в тайге. Нужно послать телеграммы всюду, куда можно, с запросами: в Соттыр, на Туру, Хатангу, Чирингдинскую базу Союзпушнины...

И с высоких мачт радиостанции острова Диксон опять понеслись над тайгой колебания эфира. Прерываясь, снова возобновляясь, они несли один и тот же вопрос: «Хатанга, Соттыр, Тура... Сообщите срочно, имеются ли известия экспедиции Главминсырья инженера Чурилина...»

Радиоволны достигли высокой каменной россыпи. Но оба геолога, конечно, не знали и не чувствовали, что пространство насыщено вопросами об их судьбе. Они осторожно балансировали на скользкой, покрытой лишайниками поверхности громадных каменных плит, перепрыгивали глубокие провалы между глыбами, карабкались по острым граням и ребрам.

Россыпь растянулась на несколько километров невероятным хаосом изломанного камня — сплошное мертвое поле, покрытое серыми костями гор. Будто столкнувшиеся в страшной битве силы земной коры разбили, исковер-

кали, рассыпали горные вершины, и они повалились здесь поверженными скелетами, выставив обнаженные острые ребра...

— Сергей Яковлевич! Соттыр сообщает: вчера прибыли рабочий и проводник Чурилина с лошадьми; геологи остались в тайге. Вот телеграмма.

Профессор яростно стукнул кулаком по столу:

— Так и знал! Погибнут ни за что! Телеграфируйте в Соттыр... Впрочем, кто же передаст им? Экспедицию снаряжать надо... — Ивашенцев, волнуясь, стал перебирать бумаги на столе. — И, главное, упрямство-то бесполезное: раз за три года ничего не нашли, так и в один лишний месяц ничего не добьешься.

* * *

— Молодцы! Смотри-ка, Арсений Павлович: плотишко приготовили из сухих еловых лесин. Молодцы! Продуктов примерно на неделю. Ну, не беда: река быстра, понесет хорошо. А ну, берем. Раз-два!..

Маленький плот закачался на воде, повернулся и, направляемый шестами, быстро поплыл посередине реки. Здесь Мойеро еще не была глубокой, под плотом быстро мелькали на дне длинные гладкие гальки. Оба геолога впервые почувствовали за много тяжелых дней радостное облегчение. Котомки не давили больше натруженные плечи, истертые расползшимися сапогами ноги наслаждались отдыхом, а река несла плот со скоростью не меньше шести километров в час. Пожалуй, в этом и была главная радость — сидеть, покуривая оставленную Николаем махорку, изредка выправляя плот толчками шестов, и в то же время сознавать, что продвигаешься вперед, что с каждым часом уменьшается бесконечный путь.

Можно было позволить себе роскошь подумать, вспомнить, что существует другой мир. Плеск воды, переливы ее журчанья на узких галечных косах, быстрое движение маленьких волн — все казалось полным веселой жизни после гнетущего молчания, однообразия и неподвижного воздуха огромных болот.

Мойеро текла извилисто, описывая крутые кривуны. Мимо проплывали низкие берега. Широкая пойма осталась позади; лес подошел прямо к речке и зажал ее русло в темные высокие стены. Плот шел, словно по коридору, меж густых елей. Многие деревья, подмытые рекой, скло-

нялись к воде. Вдали лесной коридор, казалось, суживался; вершины наклоненных с противоположных берегов лесин скрещивались над водой, терявшей свой живой блеск, выглядевшей сумрачно и холодно.

Огромная, недавно поваленная ель лежала поперек реки, почти касаясь своей еще зеленой вершиной широкой отмели левого берега. Геологи отвели плот к берегу и, спрыгнув в воду, протащили его по гальке. Дальше попалось еще несколько таких деревьев, задерживавших ход плота, но все это казалось Чурилину и Султанову пустяками, пока из-за крутого поворота реки они не услышали громкое журчание и плещущие удары.

— К берегу, живей к берегу! — крикнул Чурилин. — Впереди залом!

Но было уже поздно — плот шел слишком быстро. Шест воткнулся в дно реки, с треском сломался, и плот, как слепой, устремился прямо на высокую груду древесных стволов, перегораживающих реку.

Направо, где нагромождение деревьев было более редким, вода, громко клокоча, устремилась под завал. Ветки и тонкие стволы пружинили и вибрировали под напором воды, производя характерные всплески, похожие на удары гигантского валька.

Султанов и Чурилин бросились к заднему концу плота и схватили драгоценные мешки, топор и бердану. В ту же секунду плот нырнул под залом, остановился и начал подниматься вертикально, уходя все глубже под воду. Сильный толчок бросил товарищей вперед, но им удалось прыгнуть на залом. Вода взревела, пучась валом за плотом, загородившим часть узкого прохода. Не теряя ни минуты, Чурилин с Султановым принялись поочередно рубить стволы единственным топором. После двух часов тяжелой работы можно было высвободить плот и с помощью веревки подтащить его ближе к берегу, где у края завала воды было по пояс. Борясь со сбивавшей с ног ледяной водой, геологи насилу подняли плот повыше и проволокли его в прорубленную брешь через толстые скользкие бревна, лежавшие под водой в основании залома. Дальше путь был свободен, но, увы, всего на полтора километра! И снова перед плотом вырос лесной залом, с еще более широким нагромождением побелевших окоренных бревен, между которыми грозными пиками торчали толстые сучья и корни глубоко зарывшихся в гальку деревьев.

* * *

На белесой песчаной косе горел большой костер. Плот стоял, приткнувшись к берегу. Чурилин и Султанов сидели лицом к реке, повернув к огню дымящиеся мокрые спины. Над песком круто поднимался берег, сухая трава на нем золотилась под ярким солнцем, разбудившим тучи окоченевшей было мошки.

Султанов вдруг поднялся и неверными шагами направился в сторону. Его тошнило: желудок отказывался принимать только что съеденную пищу. Чурилин с тревогой следил за своим помощником. Он и сам чувствовал себя плохо. Истомленное непомерной работой, долгим недоеданием, бессонницей сердце то падало и билось тяжело и редко, то учащенно и слабо трепыхалось, требуя отдыха, длительного покоя.

Темный страх перед цепкими тисками лесной пустыни наполнил душу исследователя. Нужно было проплыть около четырехсот километров рекой. А они вот уже второй день пробиваются сквозь заломы и проплыли за эти два дня семь километров. Семь километров! Еды осталось на четыре дня при самых маленьких порциях. А сколько предстояло еще непосильной работы по плечи в холодной воде: рубить толстые бревна; надсаживаясь, перетаскивать плот... Больше нет сил! Вряд ли они выдержат еще хотя бы один день. Кто знает, сколько впереди заломов — один или сотня?

Султанов вернулся к костру и лег на песок. Чурилин подвинул под голову товарища сумки и стал на колени.

— Полежите, Арсений Павлович, я пройду вперед. — Он показал налево, где за широкой отмелью и сверкающей в солнечных лучах водой громоздилась груда переплетенных серых бревен.

Султанов сел.

— Максим Михайлович, вот что... — Он замялся. — Если я совсем разболеюсь, так вы идите один. Нужно, обязательно нужно кому-то спастись. Я серьезно, я не шучу! — Султанов рассердился, увидев улыбку Чурилина.

— Бросьте, дорогой! Отдохните, и все пройдет. Если выйдем, так оба! — громко сказал Чурилин, сам не находя в своем тоне нужной уверенности. — Ну, я пошел! — И, подняв бердану, он медленно поплелся по песку и хрустящим галечным отмелям на пересечку крутого кривуна.

Чурилину хотелось пройти дальше вниз по реке, чтобы осмотреть долину ниже залома.

Страх, охвативший его, не проходил, как ни пытался Чурилин справиться с ним. Ему хотелось скорее вернуться в привычный мир карт, книг, научных исследований, отдать своей стране богатства, спрятанные под мхами и мерзлотой болот Амнунначи, иметь время для тихого, спокойного раздумья за микроскопом, для бесед с товарищами. Неужели так и не удастся вернуться туда, где нет мошки, вечно мокрой одежды, едкого дыма и беспросветной гонки вперед, вперед?

Чурилин пересек кривун и повернул вдоль берега.

Он шел и думал о Султанове: «Что заставляет людей идти на такие невиданные, никому не известные подвиги? Если мы выйдем, разве кто-нибудь узнает о стойком героизме этого человека? Пережитое быстро сотрется, забудется, покажется тяжелым сном... Кто же рассказывает всерьез о снах? А если мы не выйдем, тоже никто не узнает. Больше того: скажут — погибли от неумелости, неосторожности. А у Султанова там, в далеком мире, за тысячи километров... жизнь, счастье, любимая женщина, ожидающая давно, тревожно и нетерпеливо».

Справа, на противоположном берегу, послышался шум. Хрустела галька, тихо шелестела сухая трава. Чурилин очнулся, посмотрел, и сердце его бурно заколотилось.

Под уступом берега, погрузив копыта в воду, стоял огромный самец-лось. Могучее тело его казалось издали совсем черным. Широкие рога, как ладони гиганта с растопыренными острыми пальцами, были светлые, а между ними, обращенные в сторону Чурилина, ижицей торчали большие раструбы ушей. Лось всматривался в застывшего на месте геолога, склонил голову, выставив рога, и издал хриплое «уоп». Чурилин не шелохнулся, до боли зажав в кулаке ремень берданы.

Лось повернулся и сразу стал другим — поджарым, горбатым, на высоченных ногах. В повадке животного чувствовалась ежесекундная готовность к стремительному бегу, скрытая энергия взведенной пружины. Мощная горбоносая голова поднялась, на горле растопырилась жесткая черная борода, крутой загривок обозначился еще резче. Затем лось расставил широко ноги, ткнулся носом в воду и вошел в реку. Чурилин рванул с плеча бердану. Лось молниеносно прыгнул на берег. Щелкнул снятый с предохранителя затвор, и Чурилин послал пулю в высо-

кий загривок. Лось споткнулся, упал, вскочил опять. Гром второго выстрела разнесся по реке, и животное исчезло в кустах. Вне себя Чурилин бросился в реку, высоко поднимая бердану. Течение сбивало его с ног, но он справился с ним и вскоре был на противоположном берегу. В десяти метрах от воды в высокой траве виднелось черновато-бурое тело. Чурилин осторожно приблизился к нему и убедился, что зверь мертв. Лось лежал, запрокинув упершуюся на рог голову; передние ноги согнулись в коленях. Великолепная мощь животного чувствовалась и в неподвижном теле.

Чурилин не был настоящим охотником. Став на одно колено, он погладил морду лося, сожалея о случившемся. Как бы то ни было, но шестнадцать пудов превосходного мяса меняли судьбу геологов.

Чурилин выпрямился, опершись на бердану, оглянулся и увидел на реке еще один залом, в четверть километра ниже. Дальнейший путь реки скрывался густым лесом, казавшимся темной щеткой. Однако эта щетка в одном месте понижалась, и там виднелся горный склон, подходивший вплотную к реке.

«Если река пойдет в ущелье, будут пороги, но заломы окончатся», — подумал Чурилин. Он быстро выпотрошил лося, взял губы, сердце, кусок мяса, отметил место высоким шестом и перебрался через реку по верхнему залому, кстати тщательно осмотрев его.

Обильная мясная еда сначала еще больше ослабила путешественников, но наутро Чурилин и Султанов заметно приободрились.

* * *

За последним заломом Мойеро приняла в себя справа большую речку. Долина сужалась, отроги пятнистых, черно-желтых от осенних лиственниц гор спускались к реке, течение которой все убыстрялось. Тусклая свинцовая поверхность воды словно дышала, плавно вздымаясь и опускаясь. Галечные косы возвышались как крепостные валы. Быстро неслись назад отмели, деревья, черные промоины. Вот скалы надвинулись совсем близко, зашумели волны, вся река покрылась струйчатыми бороздами и островерхими пенными гребешками. Вода заливала несшийся по шивере плот. Несколько тревожных минут — и плот снова вышел на мерно вздымавшуюся просторную воду.

Быстрое движение бодрило истомившихся людей. Наконец в полной мере их охватило веселье одержанной победы.

Пройдет немного времени — и тысячи людей придут туда, где томились они оба в плену лесов и болот. Могущество труда рассечет непроходимые пространства дорогами, расчистит леса, высушит болота. Шум машин и яркий электрический свет нарушат темное молчание тайги.

* * *

— Сергей Яковлевич, телеграмма из Хатанги. Наверно, от Чурилина.

— Что? Давайте скорее! — Профессор поспешно вскрыл и прочитал телеграмму. Она выпала из его рук. — Ничего, я сам подниму... Идите, с ними все благополучно, возвращаются.

Оставшись один, Ивашенцев перечитал короткий текст: «Все что искали найдено возвращаемся самолетом здоровы тчк Чурилин Султанов».

Профессор Ивашенцев встал и низко поклонился телеграфному бланку, который он бережно положил на стол.

Посвящается инженеру
А. В. Селиванову



ЮРТА ВОРОНА

Хюндустыйн Эг

Поздняя тувинская весна уступала место лету. Койка стояла у западного окна полупустой палаты. Солнце глядело сюда с каждым днем все дольше. Новенькая больница белела свежим деревом, сладковатый аромат лиственничной смолы проникал всюду — им пахли подушки, одеяло и даже хлеб.

Инженер Александров лежал, отвернувшись к окну, глядя сквозь прозрачную черноту металлической сетки на голубые дали лесистых сопок и слушая глухой шум влажного весеннего ветра.

Четыре дня назад здесь побывал знаменитый хирург из Красноярска и погасил последний огонек надежды, еще теплившийся у Александрова после полугода страданий. Никогда больше крепкие ноги с широкими ступнями, с узлами верных мышц не понесут его по горам и болотам, через бурелом и каменные россыпи к заманчивым и непостоянным целям геолога — на поиски новых горных богатств. Так сказал хирург после изучения рентгеновских снимков, мучительных осмотров и совещаний с местными врачами. Александров и сам это чувствовал, доверяя врачам больницы и вызванному из Кызыла специалисту-невропатологу. Но человеческая вера в необычайное неистребима, и... почему бы известному хирургу не знать нечто новое, только что открытое, что смогло бы вернуть его неподвижным, расслабленным, как тряпка, ногам былую неутомимую силу?...

Хирург — небольшой, быстрый, суховатый, с острым лицом и острым взглядом — не понравился геологу. Может быть, потому, что, прощупывая позвоночник и сверяясь со снимками, которые высоко поднимал, закидывая

голову с вызывающе торчавшим подбородком, хирург вяло спросил стандартными «докторскими» словами:

— И как это вас угораздило?

Александров, скрывая раздражение, рассказал, как он осенью проверял разведку интересного месторождения, увлекся и забыл, что запоздалые проливные дожди размочили пласт мылкой глины в старом шурфе. Туда ему понадобилось спуститься испытанным горняцким способом — в расклинку. Но глина подвела, и он рухнул на дно шурфа, на глубину двадцать два метра, сломав ноги и переломив позвоночник.

Геолог повторял эту историю уже много раз и говорил сухо и равнодушно, как будто речь шла о ком-то совершенно ему безразличном. Он лишь не мог вспоминать о пережитом ужасе на мокром и темном дне шурфа, когда, очнувшись, он понял, что ноги у него парализованы и сломана спина. При этом воспоминании он и сейчас содрогнулся. Хирург, положив ему на плечо твердую руку, тем же «докторским» тоном посоветовал не волноваться.

— Давно перестал, — с досадой ответил геолог. — Только зачем вы расспрашиваете? Я вижу, что вам неинтересно.

— А я не для праздного интереса, — сухо возразил хирург. — Мы, врачи, не должны упускать ни малейшей подробности, когда даем ответственное заключение. Вы понимаете, к чему я вас должен приговорить?

Александрову стало жарко.

— Кое-что с годами восстановится, — продолжал, помолчав, хирург, — но ходить не придется... А мне нужно, чтобы вы ходили, и потому каждая деталь важна, даже то, в каком настроении вы упали; да, не удивляйтесь. Если, например, вы просто свалились на улице, оступившись, но бодрый, подтянутый, с крепкими мускулами, — ничего не случится. Но если в тот момент вы шли удрученный, больной, расслабленный — грохнулись, как дрова, — вот, по пословице, много дров и получится. И чтобы разбираться во внутренних повреждениях, наблюдать заживление которых трудно, то ваше состояние в момент падения немаловажно.

— Ну, так я именно свалился, а не грохнулся, а бодрости было хоть отбавляй! Вспомнил вдруг, что этот сорок первый шурф пересек край порфиритовой дайки, и поспешил за контрольным образцом... проверить свою догадку!

— Так, так! А лет вам сколько?

— Сорок один.

— Ого, сорок один год и шурф тоже сорок первый — для суеверного человека тут...

— А я не суеверен! — ответил геолог с едкой насмешкой, встретил проницательный взгляд врача и понял, что хирург изучает его психологически, вероятно, чтобы убедиться в отсутствии мнительности или истерии. Александрову стало неловко, и он угрюмо отвернулся.

В последующие два дня повторялись рентген, спинномозговая пункция, надоевшие поиски чувствительных точек на пояснице и омерзительно недвижных ногах. Настал час, который запомнился геологу на всю жизнь. Хирург пришел вместе с тремя врачами больницы. Низко склонившись над распростертым на спине геологом, он взял его за руку. Александров почувствовал, что рука хирурга чуть заметно дрожит. Сердце замерло в ощущении непоправимого. Как ни готовился геолог к этому удару, он оказался слишком тяжел. Ему пришлось долго лежать, отвернувшись к окну, борясь с душившим его комом в горле, а четверо врачей молча сидели, избегая взглядов друг друга.

— И это... навсегда? — еле слышно произнес геолог.

— Я не могу вас обманывать, — угрюмо сказал хирург, — однако наука развивается сейчас быстро! Мы спасаем от таких болезней, в которые двадцать лет назад даже не смели вмешиваться...

— Двадцать лет... — беззвучно шепнул Александров.

Но хирург расслышал.

— Почему обязательно двадцать? Может быть, пять. Но если вы хотите, мы отправим вас в Москву, в институт Бурденко...

— Вы же считаете это напрасным, я вижу.

— Собственно, да! Операция и повторная операция были проведены правильно. Повреждение нервного ствола — куда денешься, если раздроблен один позвонок и второй сместился. Счастье еще, что так! Одним позвонком выше, и... вряд ли бы удалось вас спасти!

— Счастье? — звенящим от боли голосом спросил геолог. — Вы считаете — это счастье?

Врачи переглянулись, и тотчас за ними возникла медсестра со шприцем в руках. Оглушенный морфием, Александров смирился.

И теперь улетел хирург и с ним все былые надежды.

Геолог молча лежал, пытаясь найти свое место в жизни, которая предстояла ему. Точно громадная пропасть отделила от него прежний мир увлекательного и нелегкого труда, уверенной силы ума и тела в борьбе с бесчисленными препятствиями, радости мелких и крупных побед, огорчений и последующих утешений, жизни, согласной с природой человека и природой сурового таежного края, поэтому полной и здоровой. Никогда Александров не задавался мыслями о перемене профессии — она была интересна и в голых горах Средней Азии, и в болотистых лесах Якутии, или здесь, в Туве, где он закрепился еще до войны. Он был прирожденным геологом, полевым исследователем и так упорно отказывался от всех предложений переехать в крупный центр и занять руководящий пост, как надлежало ему по опыту и заслугам, что начальство перестало его тревожить.

И вдруг нелепый случай, неверный расчет, один миг отчаянной борьбы, и вот шестой месяц он лежит на койке и никак не может привыкнуть к своей ужасной беспомощности, к нечувствительным, неподвижным ногам. Испытанные верные друзья — ноги... Какие они жалкие, как беспомощно волочатся они мертвым грузом, когда он учится ходить! Нет, кощунство назвать это ползание на костылях ходьбой! И это будет всегда, до конца жизни, если то, что будет дальше, можно назвать жизнью. Жизнь, которая хуже смерти... Как найти в ней себя?

Его утешали примером Николая Островского. Действительно, положение этого стального коммуниста было гораздо тяжелее. Слепой, с окостеневшими, неподвижными суставами, он боролся до конца и создал бессмертную книгу, а своим примером — неумирающий образ комсомольца-героя. Но Александров, простой геолог, был силен лишь в борьбе с природой выносливостью и сноровкой опытного путешественника. А на борьбу с ужасом вечной постели, с ничего не чувствующими, точно чужими, ногами у него не хватает мужества. Нет никакой зацепки, опоры, будто летит он в черноту бездны и нет ей конца! Написать книгу — о чем? Даже если бы у него вдруг оказался талант, его жизнь так же проста, как у многих сотен тысяч жителей Сибири. Хорошо было Николаю Островскому, вся жизнь которого — непрерывный революционный подвиг. Впрочем, как это хорошо? Что за глупость лезет в голову! Слепота — что могло быть страшнее для него, сильного, жизнелюбивого человека!..

Стискивая зубы, Александров старался прервать думы, клубок которых ощутимо душил, давил его. Не мигая, геолог смотрел в окно, гипнотизируя себя видом меркнущей на закате горной дали, и наконец заснул.

Александров очнулся в сумерках и почувствовал присутствие жены. Почти каждый день в эти бесконечные полгода, едва окончив работу, Люда прибегала сюда, сидела у его изголовья, страдающая и молчаливая.

Веселая и здоровая, ярая спортсменка, Люда привыкла на все в мире смотреть с уверенным эгоизмом красивой молодости. Она оказалась совсем не подготовленной к удару, поразившему ее умного и сильного друга — мужа. Катастрофа надломила ее. Люда растерялась, не зная, как лучше ей поддержать любимого в тяжелом несчастье. Проливая потоки слез от жалости к нему и к себе, она продолжала искать в нем прежнюю верную опору, не ощущая или не понимая, что он нуждается или в уверенной поддержке, или хотя бы в покое от ее страданий и забот. Люда мучилась сама и терзала мужа, полного острой жалости к своей подруге, хорошей и верной, только лишь оказавшейся неумелой и слабой в час испытания. Но постепенно геолог привык к тому, что Люда приходила то наигранно-бодрая, невольно раздражавшая его своим цветущим здоровьем, то печальная, очевидно решив, что показная бодрость не дает нужного результата и лучше быть самой собой. И сейчас она тихо сидела на белом табурете, не сводя грустных голубых глаз с постаревшего лица мужа.

Александрову не хотелось расставаться со сновидением. Он увидел себя молодым студентом третьего курса, приехавшим на Урал для геологической съемки. Неутомимо лазал он по обрывам холодной Чусовой, ночевал или прямо на берегу реки, или поднимался по шатким лестницам на душистые сеновалы. Засыпал накрепко, полный беспричинной радости и ожидания всего интересного, что обещал ему следующий день. Хозяйки встречали его приветливо, пригожие девушки улыбались, когда, усталый, он появлялся в той или другой деревне, прося ночлега и пищи. Захватывающе развертывалось перед ним давнее прошлое Уральских гор — тема его будущей дипломной работы. Как всегда бывает во сне, этот кусочек прошлой жизни казался особенно легким, светлым, и он отчаянно цеплялся за него, чтобы не очутиться в безрадостном настоящем.

Жена встревожилась, коснулась губами его лба, определяя жар, и шепнула осторожно:

— Что с тобой, мой Кир?

Юной практиканткой Люда приехала в его партию. Александров показался Люде похожим на древнего владыку и тайно назывался царем Киром. Прозвище сделалось нежным именем мужа.

— Я видел хороший сон, — тоска заставила дрогнуть его голос, — как будто я молодой, и лазаю по обрывам Чусовой, и брожу сам по себе от села до села, и... — Геолог умолк и лежал молча, не глядя на жену, слыша лишь ее участившееся дыхание.

Слеза капнула на подушку рядом с его ухом, потом и на ухо. Жалость, горькая в своей беспомощности, стеснила его грудь. Александров открыл глаза и положил руку на плечо жены.

— Не плачь, мне было хорошо. Почаще видеть сны и подольше бы спать — время шло бы скорее...

Люда заплакала навзрыд, и он смущенно улыбнулся.

— Ну вот, хотел тебя утешить, а ты — что ж? Кстати, я сегодня думал о тебе и...

Жена настороженно выпрямилась, утирая слезы.

— Я никуда не поеду, я тебе сказала раз навсегда.

— Если ты хочешь, чтобы мне было еще тяжелее, — безжалостно сказал Александров.— Надеяться больше не на что. Перевезешь меня домой, Феня будет присматривать, а я... учиться жить по-новому. Время уходит, твоя партия в поле, и ты теряешь драгоценные дни! Нечего скрывать, я ведь знаю, что в этом году надо защищать запасы твоего Чамбэ, разведки которого ты добивалась шесть лет...

Люда упрямо мотала головой, всем видом показывая, что не хочет слушать.

Александров рассердился:

— Смотри, я ведь могу и прогнать тебя!

— Нет! Я уеду, но не сейчас. А сейчас я нужна тебе. Ты еще должен поехать в санаторий под Кызылом...

— Нужен мне этот санаторий!

— Только для перемены обстановки, милый! Уйти от всего, что здесь выстрадано, найти себя снова...

— Меня, геолога Кирилла Александрова, уже полгода как нет и не будет больше... не будет и твоего Кира, таежного владыки. Оба умерли, будет теперь кто-то другой, обитающий в четырех стенах...

Люда резким движением откинула со лба волосы.

Дверь палаты распахнулась, и дюжие санитарки внесли носилки с больным. Сестра обогнала их при входе и приблизилась к койке Александрова.

— Не возражаете, если положим рядом с вами? Больной стал просить, как только узнал, что вы здесь.

— Кто это? Впрочем, конечно, не возражаю. У окон лучше!

С носилок поднялась голова с взлохмаченными седыми волосами.

— Кирилл Григорьевич, вот где пришлось встретиться!

— Фомин, Иван Иванович! Как хорошо! Но что же это с вами? — обрадованно и встревоженно воскликнул Александров.

— Со мной малая беда — ревматизм одолел, — ответил старик, подпирая голову согнутой в локте рукой, — а вот с вами, я слыхал, большая. Да, большая... Сколько мы не виделись? Скоро уж лет двадцать?

— Двадцать, точно. Люда, это Иван Иванович Фомин, мой старый забойщик, с которым я сделал свои первые таежные экспедиции. Сразу же после окончания института...

— О, я много о вас слышала! Кирилл любит про вас вспоминать. Первая геологическая экспедиция — первая любовь!

Сестра сделала Люде знак, и та заторопилась.

— Ухожу! Действительно, поздно. Но сегодня я спокойней тебя оставляю.

Приветливые серые глаза старого горняка чем-то успокоили Люду.

* * *

— Это что же за специальность такая — забойщик? — спросил скептически молодой сосед по палате, радист, сломавший руку при падении с верхового оленя.— Шахтер, что ли, по углю или по руде?

— По старому счету — горняк на все руки: и по углю и по руде, хоть по соли, а золота-то не миновать стать! — весело ответил старик, с кряхтеньем поворачиваясь к собеседнику.

— На все руки — это хорошо. А разряд какой?

— Что тебе? — не понял Фомин.

— Разряд, спрашиваю, какой? Ну, ставка тарифной сетки.

— Вот ты про что, — протянул старик. — Ставки бывали разные, и малые и большие, только интерес непременно большой.

— И много ты заработал с этого интереса — койку в больнице?

— Между прочим, и Ленинскую премию, — спокойно сказал Фомин.

— Как это — Ленинскую? — остолбенел молодой радист. — За что это?

— Стало быть, есть за что, — не скрывая насмешки, ответил Фомин.

— Погодите-ка, Иван Иванович, — вмешался Александров, — я припомнил, читал в приказе по министерству. Вас представили к премии за открытие важного месторождения вместе с инженером... забыл, как его...

— Васильев Семен Петрович. Это точно, мы с ним вместе!

— Пофартило, значит, в тайге,— с завистью сказал радист. — Конечно, горняку лучше, не то что нашему брату. Больше десятипроцентной надбавки не выслужишь!

— Фарт — не то слово, паря,— недовольно возразил забойщик.— Фарт — когда дуром наскочишь па шальное счастье. Как назвать его, если долго ищешь, ниточку найдешь, потеряешь, обратно найдешь, и так не один год. Да и не в тайге вовсе, на угольных шахтах это было!

Александров, по-настоящему заинтересованный, попросил Фомина рассказать, и старик охотно согласился.

— Встань-ка, паря, — обратился он к радисту, — да окошко отвори. Продух будет, я покурю тишком.

Старик молниеносно свернул самокрутку, чиркнул спичкой и выпустил густую струю дыма. Радист последовал его примеру, извлек из-под тюфяка измятую пачку сигарет и уселся на койку в ногах у Фомина. Тот поморщился и пробормотал:

— Сел бы ты, паря, лучше к себе...

— А чем я тебе помешаю? — оскорбился радист.

— Не то дело, паря, уважения в тебе к старшим нету: не спросясь — плюх на чужую койку. А мне с тобой панибратствовать пи к чему: еще невесть какой ты человек.

Молодой радист обиделся, отошел к окну и стал выдувать дым сквозь сетку, внося панику в ломящуюся снаружи тучу комаров. После утреннего обхода и процедур в больнице стало тихо. Во дворе негромко переговаривались няни.

— Рассказывать тут долго нечего, — начал Фомин. — Утомился я от таежного поиска, ребята подросли, надо было учить их в хорошем месте. Словом, я вышел в жилуху и стал работать на угольных шахтах, да не год, не два, а девять кряду. Сначала вроде в тайге вольнее казалось, а потом попривык, обзавелся домом, детей выучил и сам умнее стал — книжек-то побольше, чем в тайге, читать довелось. Кирилл Григорьевич знает: такая у меня манера — доходить до корня, везде интерес иметь, к чему, казалось бы, нашему брату и не положено. Узнал я много преудивительного: как столь давно, что и представить не можно, был на нашей земле сибирский климат вроде африканского и повсюду огромадные болота, а в них леса, тайги нашей густее. Росли тогда деревья скоро, пропадали тоже скоро, и гнили они тыщи лет. Торфа из них пласт за пластом вперослойку с глинами накладывались, прессовались, уплотнялись — так угли наши и получились. Сам я стал присматриваться к углю и находить то отпечатки невиданных листьев, как перья павлиньи, то стволы с корой точно в косую клетку, то плоды какие-то. Иногда встречались нам в подошве пласта высоченные пни с корнями, прямо в ряд стоят, будто заплот. А в кровле то рыбки попадутся, то покрупнее звери, вроде зубастые крокодилы, только кости расплюснуты и тоже углем стали. Меня уж стали знать на шахте. Сначала смешки, горным шаманом прозвали, а потом стали мне диковины приносить и расспрашивать. Я, конечно, писал о находках в Академию наук, оттуда приезжал молодой парень. Видит-то плоховато, а все досконально знает, наперед говорит, что где должно быть. Подружился я с ученым, он мне книжки, опять же как приедет — лекции для всей шахты. Куда как интересней стало работать, как понимать начал я эту угольную геологию...

— За это и премию сгреб? — недоверчиво хмыкнул радист.

— Заполошный ты какой! — рассердился Фомин.— Это я свой путь рассказываю, чтоб тебе легче понять, откуда что взялось... Ну вот, пошел в эксплуатацию западный участок — там угли длиннопламенные, хороши

для отопления, их в город больше брали. Заметил я, что уголь местами изменился. Конечно, ежели без внимания, то, как ни смотри, все такой же он. Знаешь, если длиннопламенный, то на изломе восковатый и не так в черноту ударяет, но и металлом не блестит, как сухой металлургический. Приметил я в угле светлые жилки, короткие и тоненькие совсем, иногда и частые. В котором слое словно сеткой подернуто. Этот уголь по всему западному участку, на втором и третьем горизонте, в разных лавах. Только слойки с жилками, где потоньше, а где и во весь пласт. Чем-то поманили меня эти светлые жилки, собрал я изо всех забоев, нашел такие, что не как волоски или сосновые хвоинки, а будто тоненькие веревочки. Дознавался я, что это такое, да наш штейгер и начальник участка только мычали: бывает, мол, в угле всякое и раз угля не портит, то какое нам дело.

Стал я жечь этот уголек у себя в печке и на дворе. Уголь как уголь, только от него дымок голубоватый, с белесым поддымком и запах другой, нежели у простого угля. На вьюшках от него налет тоже сизый. Покрутился я со светлыми жилками — нет ходу, не пробьюсь. Знанья нет, чтобы определить, что́ не годится, и чтобы доказать, что́ годится. Решил рукой махнуть. Светлые жилки эти мне покоя года полтора не давали. Металлургический уголь стали работать на северном, тут бы всему и конец, не вмешайся инженер Васильев как снег на голову.

— Это кто же, новый какой назначенный? — спросил радист, заслушавшийся старика так, что забыл про папиросу.

— Вовсе нет! Никакого отношения он к шахтам не имел, жил в городе, за триста верст от наших шахт, и не горняк он, а химик.

— Как же это он сквозь землю смотрел?

— Сквозь землю это я смотрел, на подземной ра́боте, а он, наоборот, в небо и там второй конец моим светлым жилкам нашел.

— Ого, как интересно! — воскликнул Александров. — И меня забрало!

— Инженер Васильев, — продолжал Фомин, ободренный вниманием слушателей, — хоть и городской житель, но по зоркости не хуже любого таежника. Живет он в большом доме, на десятом этаже, из его окон — весь город как на ладони. На отдыхе сиживал он у окна, любуясь городом и раздумывая о том и сем. И вот как мне

светлые жилки, так и Васильеву приметилась дымка над городом, белесая или голубоватая; когда она есть, а когда и нет. И запах тоже в воздухе, когда дымка, особенный, не сильный, а заметный. Помогло Васильеву, что он химик, знал: такой дымки ни от какого завода в городе быть не могло. Раз так, то, значит, дело в угле. Инженер рассудил, что дымка похожа на окисел какого-то металла, и решил дознаться, нет ли чего в угле. Собрал он налет с трубы какой-то — и под прибор. А прибор такой, что, будь там самая малейшая крошка какого металла или состава, такая малость, что ни на вкус, ни на запах, не говоря уж про химию, никак не возьмешь, — прибор берет. Инженер Васильев мне показал. Что нужно разведать, то в пламени жгут, пламя в трубу зрительную смотрят, а в трубе какие-то там линии...

— Да как он называется, твой прибор? — не утерпел радист.

— Это тебе знать, небось десятилетку кончил, а у меня нет памяти на мудреные слова. Постой-ка, записал я его название: думаю, не раз еще пригодится! — И забойщик с кряхтеньем полез в тумбочку у постели.

— Не трудись, Иван Иванович, — вмешался Александров, — прибор этот — спектроскоп, а то, что сделал Васильев, — это спектральный анализ.

— Ну, точно, — успокоился старик, — я и говорю. Пехтоскоп показал: есть признаки металла, и не одного, а трех. Васильев Семен Петрович стал дознаваться, с каких шахт, с каких участков уголь в те дни, когда дымка. Сейчас вам рассказать — оно быстро, а потратил он, пока дошел, тоже, почитай, два года: ведь занято́й человек, когда не додумал, а когда и упустил... Ну, короче, приехал он на нашу шахту и стал дознаваться насчет угля. А у нас западный участок давно прикрыли. Показывают ему металлургический с северного. Он анализ за анализом берет — ничего. Да и не могло быть. Так и не вышло бы, да тут один молодой парень присоветовал ему со мной потолковать. И пяти минут мы не проговорили, как понял я, куда мои светлые жилки ведут. Полезли с ним в западный участок — к тому времени я все свои образцы уже извел. А там и крепь вынута, и кровля обрушена. Повертелись туда-сюда. Вижу, что и человека могу погубить, и времени у него не хватит. Отправил его в город, а сам думал неделю, пока не сообразил. С третьего, незатопленного горизонта спустились мы — ребят у меня

подручных набралось чуть не вся шахта — по восстающим на пятый, прошли совсем маленький ходок и добрались до пласта со светлыми жилками. Набрал я образцов — и в первый же выходной в город. Васильева дома не оказалось. Я пакет в два пуда ему оставил и расписал, откуда взято. Не прошло и недели — телеграмма мне, чтоб немедленно приезжал. Поехал. Васильев встречает и прямо облапил меня, крепко стиснул и в обе щеки целует.

«Ну, если бы не вы, Иван Иванович, все бы пропало!» — «А теперь?» — спрашиваю. «А теперь сделали мы Советскому Союзу и нашей стороне сибирской пребольшущий подарок: в угле-то, в светлых жилках ваших, — целое месторождение». Три металла — германий и ванадий, это я точно запомнил, — добавил Фомин, как будто опасаясь, что собеседники усомнятся в его знаниях, — а вот третьего никак не помню и не записал сдуру, на радостях. Спрашиваю: «Для чего они, металлы эти?» Васильев объясняет, что очень важные металлы. Нужны они для самых что ни на есть сложных машин. «И много этого германию?» — спрашиваю. «Не так чтобы очень, даже совсем мало. Но угля количество огромное, миллионы тонн, и германий с ванадием пойдут как попутные продукты, когда уголь начнем на химическое сырье перерабатывать. А эти попутные продукты сами по себе всю стоимость добычи окупают... Теперь без германия ни один телевизор или радиоприемник не обходится».

— Слыхали, — важно сказал радист, — из него полупроводники делают.

— Полупроводника или даже целый — не в этом дело, а в том, что этот металл сейчас самый нужный, а ведь с ним еще и ванадий. Но вот для чего ванадий, запамятовал.

— Я подскажу. — откликнулся Александров. — Сталь ванадиевая — самая нужная для автомобилей и вообще тех машин, где требуется высокая прочность. Жаль, что забыли третий металл, — тоже, наверно, полезный.

— И очень даже нужный, но хоть убейте — не помню. Названия все мудреные...

— Как, такое добро — и в простом угле оказалось? — Тон радиста стал гораздо более уважительным.

— Это самое и я спросил у инженера Васильева. Тот мне объяснил так: когда угли эти еще были в незапамят-

ные времена как огромаднейшее торфяное болото, то сквозь них сочились воды. Воды, ручьи или речки, что ли, размывали горы, где залегали металлы, растворяли их понемногу и переносили в торфа. Торфа гнили, и металлы эти осаждались на них, накапливались. Целые тысячелетия прошли, воды всё протекали и протекали, и так исподволь накопилось и германия, и ванадия, и того третьего.

— А потом как?

— Потом торфа заносило песками и глиной, они затвердели, оборотились в уголь, получился диковинный уголь со светлыми жилками.

— За это премию Ленинскую получили? Вдвоем, что ли?

— Вдвоем, пополам, потому один без другого ничего не нашел бы. Как сказал уже: я под землею смотрел, а он — по небу.

Три собеседника в палате долго молчали. Фомин взялся было за самокрутку, но, заслышав голос дежурного врача, спрятал свои приспособления. После короткого обхода принесли обед, и разговор возобновился лишь во время мертвого часа, когда больница опять притихла.

— Да, хорошо светлые жилки найти, — мечтательно произнес радист, поднимая глаза к потолку. — И как это вам удалось уцепиться?

— Светлые жилки должны быть у каждого, — ответил Фомин, — без них и жить-то вроде принудительно. Не ты своей жизни хозяин, а она тебя заседлает и гнет, куда захочет.

— Вот и я про то же, — подхватил радист, — схватишь полста тысяч, ну, пусть вы тридцать семь получили, тут жизни можно не так опасаться, не согнет!

Старик даже сел, с минуту мерил глазами невозмутимо лежавшего радиста и упал на подушку.

— Подсчитал уже, сколько я получил, уголовная твоя душа! — вымолвил он с горьким негодованием.

Настала очередь подскочить радисту.

— Как — уголовная душа? — завопил он, поворачиваясь то к Фомину, то к Александрову, будто призывая геолога в свидетели. — За что же вы оскорбляете меня, дядя? Я что, блатюк, что ли?!

Старый горняк уже остыл.

— Не знаю я тебя и никаких прав блатюком счесть не имею. Однако сам ты меня обидел... Всё на деньги да на фарт меряешь. А я тебе про интерес, про заветные думки, без которых человеку жить — будто скоту неосмысленному...

— Дак разве интереса к фарту быть не должно? Что я, на счастье прав не имею? Мудрите, дядя... Конечно, жизнь ваша уже недолга осталась и заботы меньше. А мне еще жить и жить, и что плохого, если лучшего хочется?

— Кому не хочется, — уже спокойно отвечал Фомин, — дело не в этом. Ежели ты себя в жизни так направил, чтобы вместе со всеми лучше жить, и на то ударяешь, тогда ты человек настоящий. А мне сдается: ты как есть только о себе думаешь, себе одному фарту ждешь — тогда тебе всегда к старой жизни лепиться, на отрыв от всякого нового дела. Может, и сам того не осмыслив, ты хочешь перед другими выделиться, не имея за душой еще ничего. Вот тут и приходится о фарте мечтать. Встречал я вашего брата. Уголовными душами их зову — сообрази-ка, в чем сходство с блатюками.

— Никакого сходства не вижу, выдумки одни! — зло ответил радист.

— Самое прямое. Уголовник почему на преступление идет? Да потому, что хочет хватануть куда как больше, чем ему по труду, да по риску, да и по соображению полагается. Человечишко самый негодный, а туда же: хочу того да сего. Опять же, другой и способность имеет, и силу, и риск, а запсиховал — работать скучно, не для меня это, не желаю. Однако деньги-то и побольше, между прочим, подай. Вот в чем уголовная-то суть. Ты хочешь себе не по заслугам, не по работе, а о фарте мечтаешь — тот же уголовник ты! Только закону боишься и хочешь, чтоб само свалилось.

— Один я, что ли, так? — уже тише отвечал радист.

— Горе, что не один. Таких, как ты, есть еще повсюду и середь нашего брата рабочего, и середь кого хошь — инженеров, артистов, ученых... Эту уголовную болезнь и надо лечить в первую очередь, чтоб скорей в коммунизм войти...

— А лечить чем?

— Ну, «чем, чем»... Сызмальства воспитанием настоящим, учением, а потом знанием. Только знание жизни

настоящую цену дает и широкий в ней простор открывает. А то бьешься, бьешься, чтоб понять, как я со своими жилками!

— Это вы правильно, — покорно согласился радист,— с образованием куда легче. Диплом — он цену человеку поднимает, разряд, так сказать.

— И кто тебе так мозги повернул? — снова начал сердиться старый горняк. — Только разряд у тебя в голове. Книг, что ли, таких начитался, было их раньше много. Вывели те писатели так, что без высшего диплома и не человек вроде... девку замуж не возьмут без диплома. А для какого лешего ей диплом, ежели она к науке склонности не имеет? Вот и явились теперь такие, с порчеными мозгами. Какая ни на есть работа через силу вами делается, а почему, ты мне ответь!

— Не могу ответить, только верно, есть люди без интересу к своей работе.

— А все потому, что не на месте они: один в науку ударился, как баран в чужой двор, другая — инженер, электрик или химик по диплому, а по душе — самая хозяйка толковая, и мужа бы ей хорошего да ребятишек пяток и по сельскому хозяйству фрукты какие сажать да птицу разводить. Вот оно и получается, что работа не мила, а немилая работа хуже каторги, если ты век свой должен на ней стоять. За дипломом погонятся, а себя вроде как к каторге приговорят, несмышленыши. Писатели, опять же, — где бы добрый совет подать — лупят без разбору: гони диплом, а то и герой не герой, и женщина не женщина, а вроде быдло отсталое. Неправильно это, и ты неправильно рассуждаешь со своим дипломом!

— А как же правильно?

— По-моему, вот как: знание — это не то, что тебе в голову в обязательном порядке набьют, а что ты сам в нее положишь с любовью, не спеша, выбирая как цветы или камни красивые. Тогда ты и начнешь глядеть кругом и с интересом и поймешь, как она, жизнь-то, широка, да пестра, да пресложна. И житьишко твое станет не куриное, а человечье, потому человек — он силен только дружбой да знанием и без них давно бы уже пропал. Житья бы не стало от дураков, что ничего, кроме своего двора да животишка, не понимают...

Радист умолк и долго не подавал голоса. Старый забойщик удовлетворенно усмехался, поглядывая в сторону Александрова, как бы призывая его в свидетели своей

победы. Геолог кивнул ему, слегка улыбаясь. Он смотрел мимо старика и ничего не сказал.

— Вот, Кирилл Григорьевич, верно я говорю? Каждому надо свои светлые жилки искать...

— Это так. Только всегда ли найдешь? Да и каждому ли дано?

— Знаю, о чем думаете, Кирилл Григорьевич! Как вам теперь быть без тайги, без гор... Оно понятно! Только найдете вы свои жилки непременно, другие, но найдете.

— Других не хочу, не верю! А если не верю, то как пойму я, что другие — настоящие? И где искать, куда кинуться... мне? — Геолог кивком показал на свои ноги, аккуратно уложенные под одеялом.

— Конечно, трудно, особо если подумать куда. Ну, а насчет того, настоящие или нет, на то есть верная указка, и вы ее знаете...

— Нет, не знаю!

— Указка одна — красота. Это я хорошо понимаю, да объяснить не сумею, однако вам надо ли... разве ему...— И забойщик ткнул пальцем в радиста, ничем не отозвавшегося на выпад.

— Красота... правильно. Но мне... ползучий я будто гад!.. Сейчас для меня все серым кажется, потому что внутри серо!

— Неправильно, Кирилл Григорьевич! Вспомните, как шли мы в тридцать девятом от шиферной горы сквозь тайгу голодом. Припозднились на разведке, продукты кончились, снег застал...

— Конечно, помню! Тогда мы лунный камень нашли.

— Так я насчет его. Помните, перевалили мы Юрту Ворона и двое суток шли падью. Мокрый снег с дождем беспеременно, ватники насквозь, жрать нечего...

— Да, да, и вечером... — встрепенулся геолог. — Расскажите, Иван Иванович, я не сумею. А наш Алеша пусть послушает, — кивнул он радисту. Скептически настроенный юноша старался скрыть свой интерес.

— Точно, вечером поперли мы из пади через сопку. Крута, ичиги размокли, по багульнику осклизаешься, а тут еще навстречу стланик разрогатился, хоть реви. На гребнюшке ветер монгольский морозом хватанул. Покатились мы вниз едва живы. Тут место попалось, жила или дайка стоячая, вдоль нее склон отвалился, и получилась приступка, а далее, в глубь склона, пещерка не пещерка, а так, вроде навесу. Забились мы туда, дрожим,

огонь развести — силов нету, дальше идти — тоже, и отдыхать невозможно — холодно. Тут уж мы не серые ли, по вашему слову, были? Куда серее, насквозь. Оно получилось наоборот. Помните, Кирилл Григорьевич?

Геолог, ушедший в прошлое, кивнул забойщику:

— Все помню, рассказывайте!

— Холод потому сильней прихватывал, что разъяснивать стало. Тучи разошлись, и над дальним западным хребтом солнышко брызнуло прямиком в наш склон. Глаза у меня заслезились, я отвернулся — и обмер. Нора наша продолжалась узкой щелью, а в той щели, на выступе, будто на подставке какой, громаднейший кристалл лунного камня, с голову... да нет, побольше! Засветился огнем изнутри и пошел играть переливами, струйками, разводами... Будто всамделе взяли лунный свет, из него комок слепили, огранили, отполировали да еще намешали туда огней разноцветных: синих, сиреневых, бирюзовых, багряных, зеленых — не перечесть. И не просто светит, а переливается, гасится да снова вспыхивает. Тут мы — шестеро нас было разного народу, молодого и старого, ученого и неученого,— как есть голодные и мокрые, про все забыли и перед кристаллом замерли. Будто теплее стало и есть не так хочется, когда глядишь на такую вот вещь... — Фомин заволновался и ухватился за свою жестянку для махорочного курева.

Александров прикрыл глаза, так остро возникло перед ним воспоминание о редчайшей находке — огромном кристалле особой разновидности прозрачного ортоклаза, внезапно представшего перед ними в расщелине обвалившейся жилы пегматита.

— И что дальше? — понукнул радист.

— Дальше вот что. Откуда силы взялись — собрали топливо, развели костер, обсушились да обогрелись, чайник кипятку выдудили. Топор да молоток геологический изломали; как сумели из крепчайшей породы волшебный кристалл вырубить целехоньким, до сих пор не пойму! Поволокли его в заплечном мешке попеременке, а он весом поболе чем полтора пуда. Судьба переменилась — конечно, это мы ее переменили, как приободрились. К ночи доперли мы до зимовья, кое-какие продуктишки там нашли, а лучше всего — положила там добрая чья-то душа пачку махорки. По гроб буду того человека добром поминать!

— А потом?

— Потом всё! В зимовье день отдохнули и через сутки пришли в жилое место.

— А камень?

— Камень там, где надлежит ему быть: в музее московском альбо ленинградском. Может, вещь драгоценная из него сделана и цены ей нет! Вот никогда не говори: красота — пустяк. Вовсе она не пустяк, а сила большая, через нее и жизнь в правильное русло устремляется!

Александров приподнялся на локте. Воспоминания давно забытого таежного похода, стертые множеством последующих впечатлений, встали перед ним остро и ярко. Забракованное месторождение шиферной горы, странное место — перевал Юрта Ворона... Юрта Ворона — «Хюндустыйн-Эг» по-тувински... Это широкое болотистое плоскогорье на голом хребте, использовавшееся как перевал аратами, перегонявшими стада из монгольских степей и обратно в конце июня — начале июля, в период гроз. Перевал издавна известен по необычайно частым и мощным грозам. Много скота погибало здесь от молний. Трупы, валявшиеся постоянно на перевале, служили пищей целой колонии обитавших тут же воронов. Вот откуда возникло странное название местности. Александров отчетливо вспомнил унылую вершину перевала с белесоватыми глыбами камней, выступавших там и сям среди редкой зелени мхов подобно костям и черепам погибших чудовищ. В пологих промоинах, спадавших на юго-восточную сторону хребта, росли корявые, полузасохшие деревья, побелевшие от помета птиц. Дальше вниз, к долине, болотистый купол полумесяцем охватывала темная тайга — вековые ели с древним буреломом, покрывшимся светлым и пухлым покровом мха. Там, должно быть, гнездились вороны, если только они не прилетали из скалистых монгольских гор на время гроз, когда появлялась добыча.

Двадцать лет назад молодой геолог долго ломал голову над вопросом, почему это место, казалось ничем не выделявшееся среди тысяч таких же в море сопок и хребтов тувинской тайги, разрезанной клиньями монгольской лесостепи, странным образом притягивало грозовые разряды — молнии. В полевой книжке — дневнике того времени — Александров вычертил план Юрты Ворона и записал родившиеся в пути догадки. И в памяти возникли не мысли, не ощущения, а страницы дневника. У геоло-

гов обычно хорошо тренирована зрительная память, и Александров не составлял исключения. На плане перевала Александров обозначил направления летних ветров — гигантских потоков нагретого воздуха, прилетавших из Монголии. Среди десятка хребтов, загораживавших им путь на север, был выбран именно этот, не выделявшийся высотой. Уже двадцать лет назад Александров понял, что если скопище гроз над Юртой Ворона не вызвано географическими причинами, то должны быть другие, так сказать, внутренние или геологические причины. В составе пород, или геологической структуре района перевала, крылась сила, заставлявшая грозовые облака, прилетавшие из далеких пустынь, отдавать свои колоссальные электрические заряды только здесь, на этом пологом перевале, а не рассеиваться по бесчисленным толпам тувинских гор.

Большое скопление минералов с хорошей электропроводностью — металлических руд, скорее всего железа, — могло скрываться под покровом обширного болота, редких кустов и замшелых каменных россыпей. Состав горных пород хребта, в общих чертах известный, не противоречил такой возможности. Накануне войны по заявке Александрова и просьбе Тувинской Народной Республики — тогда Тува еще не входила в состав Советского Союза — была произведена магнитометрическая авиаразведка хребта новыми, только что созданными приборами. Полнейшее отсутствие признаков железных руд дало повод к недовольству геологического начальства и дружеским насмешкам товарищей-геологов. Но напряжение военной работы сразу отбросило в далекое прошлое все удачи и ошибки довоенного времени. Забыли о Юрте Ворона и неверных догадках и сам фантазер-исследователь и его товарищи.

А теперь, в особенной обостренности воспоминаний о счастливом, здоровом прошлом, Александров вспомнил еще одно соображение тех времен, заставившее его сжать кулаки в напряжении раздумья. «Если бы кто-то, не побоявшийся смертельной опасности, смог в разгар сильной грозы проследить места непосредственных и наиболее частых ударов молний и остаться в живых, то, пожалуй, так можно было бы добиться разгадки Юрты Ворона дешевым и простым способом. Ведь, кроме железа, там могли залегать немагнитные руды цветных металлов, особенно такие электропроводные сульфидиды, как галенит —

свинцовый блеск, аргентит — серебряный блеск, сфалерит — руда цинка. Мощные жилы этих руд должны притягивать молнии тем сильнее, чем больше масса руд, залегающая под землей, чем длиннее и глубже жилы. Что-то похожее сохранилось в глубине памяти из старинной истории свинцовых месторождений и горных разведок в Германии». Геолог закрыл глаза, сосредоточиваясь.

«Свинец... поверхностное и большое месторождение свинца... этого столь необходимого в эпоху атомной энергии металла... Если бы свинец! Давно уже выработаны его мировые поверхностные месторождения, а потребность в нем все растет... Впрочем, и цинк или серебро тоже неплохо, но лучше всего свинец!» Александров представил тяжелые слитки-чушки серого мягкого металла, сверкающе-синеватые на разрубе, — металла, так хорошо знакомого каждому промышленнику Сибири, каждому охотнику, вселяющего уверенность в успехе охоты, в борьбе с опасными зверями, добыче сторожкой дичи. Ленты и диски пулеметных патронов, готовые к отражению врага... детали для технических приборов и аппаратов, приготовляющих и исследующих ядерную энергию. С ними дело обстояло хуже: геолог смог вообразить лишь толстые листы и пластины свинца — могучую броню от вредного излучения.

— Кирилл Григорьевич, чего задумались? Застыли, будто на подсидке... Небось вспоминали тот поход? Растравил я вас, каюсь. Вот в окно вижу: жена ваша идет и с ней еще кто-то.

— Один мой сотрудник, — ответил геолог, — бывший мой, — поправился он, нахмурившись.

Привычка все замечать и мгновенно отдавать себе отчет в увиденном помогла разглядеть усталую походку и опущенную голову Люды. Она шла медленно, будто обремененная заботами старая женщина. Снова жалость больно уколола геолога. Не только забота, хуже — обреченная безнадежность, бесплодные усилия помочь любимому человеку. Нет, кажется, он начинает нащупывать почву в дне безысходного болота, в котором барахтается уже много месяцев.

Старый забойщик по-своему понял хмурую сосредоточенность Александрова.

— Мало ли, что теперь не с вами работают, небось часто бегают за советом?

— Ходят, а что?

— Я к тому, что советами тоже можно большую пользу принести... у вас опыт-то вон какой!

— Эх, Иван Иванович, добрая душа! — улыбнулся геолог. — Только советами не проживешь. Может, будь я очень старым, когда душе и телу мало чего нужно, тогда бы я жил... Посоветую дельное — и доволен! А сейчас хоть половина меня мертвая, зато другая — полна жизни по-прежнему... Да что говорить, ревматизм вас скрутил, а разве вы думаете на пенсию? Вы-то сами советами проживете?

Фомин насупился, вздохнул и, чтобы перевести разговор, спросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

— Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

— Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

— Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщин не было профессий, и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю — полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

— Так и раньше называли, к примеру: врачиха, кондукторша...

— Это неправильно. Так исстари называли жен по специальности или чину их мужей. Вот и были мельничиха, кузнечиха, генеральша. Тоже отражается второстепенная роль женщины!

Старый горняк расплывался в улыбке.

— Геологиня — это как в старину княгиня!

— В точку попали, Иван Иванович! Княгиня, графиня, богиня, царица — это женщина сама по себе, ее собственное звание или титул. Почему, например, красавица учительница — это почтительное, а красотка — так... полегче словцо, с меньшим уважением!

— Как же тогда — крестьянка, гражданка?

— Опять правильно! Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Это ведь уменьшительная приставка. И женщины сами за тысячи лет привыкли... Разве вам так не покажется — прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное — гражданин и уменьшительное — гражданка. А если правильно и с уважением, надо гражданиня или гражданица!

— Верно, бес его возьми! Чего же смотрят писатели или кто там со словами орудовать обязан? Выходит, что они о новом не думают, какие настоящие слова при коммунизме должны быть.

— Думать-то думают... да неглубоко, пожалуй, — вздохнул Александров.

В этот момент дверь палаты раскрылась и вошли посетители.

По обыкновению Люда уселась поближе к голове Александрова, предоставив товарищу стул в ногах постели. Пришедший геолог развернул профиль, и они занялись обсуждением наиболее экономичной разведки недавно найденного месторождения «железной шляпы».

Когда молодой геолог ушел с извинениями, Александров откинулся на подушку, чтобы дать отдых уставшей шее. Люда воспользовалась этим, чтобы уловить взгляд мужа.

— Кир, ты сегодня другой, я это услышала, когда ты говорил с Петровым.

— Не слишком ли ты изучаешь меня? — деланно усмехнулся Александров.

Молодая женщина глубоко вздохнула:

— Родной мой! Я чувствую у тебя в глубине глаз твердую точку, этого давно не было. Что случилось? Или этот славный старик, — она перешла на шепот и оглянулась на койку Фомина, — сумел чем-то подействовать на тебя? Почему у него вышло так легко? Я не могла...

— Фомин тут ни при чем, хотя он гораздо больше,

чем просто славный... Но я думал, думал и понял, что должен сделать все, что могу... — Геолог умолк, подбирая слова.

— Что можешь, чтобы поправиться?.. — Голос жены дрогнул.

— Ну, хоть не поправиться, но нервы привести в порядок — это прежде всего! Я слишком много бился о непроходимую стену... слишком долго переживал свое несчастье. Это не могло не сказаться, и я калека не только физически, но и духовно. Так надо попробовать вылечиться духовно, если уж физически нельзя!

Люда низко опустила голову, и слезы часто закапали на край подушки геолога. Александров погладил жену по горячей щеке.

— Не горюй, Людик! Как врачи отпустят, поеду в санаторий. Еще недельки две... Хорошо будет переменить место.

— Я не от горя, Кир. Я оттого... — жена громко всхлипнула и сдержалась отчаянным усилием, — что ты как прежний, не сломанный.

— Вот и хорошо. Теперь ты тоже можешь поехать...

Люда с острым подозрением посмотрела на мужа. Тот спокойно встретил ее испытующий взгляд. Жена молчала так долго, что Александров заговорил первым:

— Люда! Обмана нет, сама видишь, все чисто.

— Д-да... у тебя твердые глаза и вот морщинка, — Люда провела мизинцем около рта мужа, — горькая, усталая, но больше не жалобная... Все так внезапно...

— Всякий перелом внезапен. Но ты ничем не рискуешь — я буду в санатории, никуда не денусь, если что — приедешь.

— Будто ты не знаешь, что там у меня со связью неважно. Пока туда и назад — целый месяц.

— А я в санатории должен быть три месяца!

— Хорошо, поговорим потом. — В тоне жены Александров уловил нотку неуверенного согласия. — Я хочу расспросить Ивана Ивановича, чем он на тебя подействовал.

— Светлыми жилками! Еще, Люда, чтобы не позабыть: в моем столе в нижнем ящике — знаешь, где старые материалы, — мои дневники тридцать девятого года. Принеси, будь добра!

— Хорошо. Что-нибудь вспомнилось?

— Иван Иванович напомнил насчет лунного камня... Надо найти характеристику пегматитов той жилы...

* * *

— Значит, уезжаете, Кирилл Григорьевич?

— Завтра! Вы что-то задержались здесь, Алеша!

Унылый радист по-детски обиженно сложил губы.

— Черт, не зарастает рука, и держат и держат... Иван Иванович уехал в прошлую среду, завтра — вы. Совсем пропаду тут один. Привык я к вам, а Иван Иванович уехал — так что-то оборвалось во мне, будто отца проводил.

— А сначала-то спорили!

— Так ведь от неосмыслия. Какой старикан хороший! Около него и жизнь полегче кажется. Было бы таких людей побольше, и мы побыстрей до настоящей жизни доходили...

— Это вы правильно, Алеша! Молодец, что поняли...

— За вами кто приедет, тетя Валя?

Александров представил себе маленькую, очень молодо выглядевшую женщину-шофера и улыбнулся. Валя всегда казалась ему девчонкой по первой их встрече.

— Какая же она тетя? Разве вы ее не видели?

— Видел. Кто ее не знает! Она, как вы, еще в республике начала работать. Только ведь женщина на возрасте, неудобно Валей называть. Это для вас — другое дело, уважает она вас очень здорово, сама говорила. Чем-то вы ей помогли.

— Да ерунда, ничем не помог. А возраст ее разве такой большой?

— Тетя Валя и не скрывает: она двадцать четвертого года рождения.

— Ну, понял теперь! Если вы — сорокового года, тогда она для вас тетя.

— Точно, сорокового. Вы как угадали?

— По разговорам вашим с Иваном Ивановичем.

Радист хотел что-то спросить, но вошедшая сестра позвала его на рентген.

Александров, оставшись один, с удовольствием подумал о завтрашней встрече с Валей. Геолога и шофера связывала крепкая дружба, не ослабевавшая, несмотря на

годы и редкие встречи. В разгар Отечественной войны в далекой тайге они встретились — девятнадцатилетняя девушка, ставшая шофером, чтобы заменить ушедших на фронт, и геолог, исполнявший правительственный приказ: найти нужное для войны сырье. С тех пор прошло шестнадцать лет, очень многое изменилось в жизни и в республике, теперь ставшей областью Советского Союза. Валя — твердый и верный человек, и она вспомнит, как когда-то сказала, что все бы сделала для него. Теперь пусть сделает!

* * *

Валя согласилась. Весь персонал больницы вышел провожать геолога, когда тот, неуклюже переставляя костыли, влачил свое огрузшее и ослабевшее тело через залитый солнцем двор, наотрез отказавшись от предложения внести его в машину. Опечаленный радист нес в здоровой руке небогатый скарб Александрова. Короткое сердечное прощание, и зеленый ГАЗ-69 понесся по гладкому шоссе в направлении поселка. Александрову надо было заехать на квартиру, чтобы взять нужные вещи. Никто не мог помешать ему: Люда уже около двух недель находилась в тайге. Валя отвезет геолога вместо санатория... так близко к Юрте Ворона, как сможет подойти машина. Александров помнил избушку промышленника, стоявшего всего в шести километрах от перевала. Правда, это было в тридцать девятом и зимовье давно могло разрушиться, но наверняка появились новые. Конец не близкий. Пока он будет собираться на квартире, Валя договорится с начальством. А санаторий получит телеграмму с извещением, что больной приедет с опозданием недели на три из-за большой слабости.

Простой план удался, как был задуман. Асфальтовое шоссе сменилось гудроном, гудрон — серой щебенкой, а «газик» бежал и бежал, взвивая редкую пыль, на юг, к желтоватому небу Монголии, переваливал хребет за хребтом. Геолог молчал, сидя в неудобной позе. Сильно согнувшись, он вцепился в дужку на переднем щитке и смотрел на дорогу. После шестимесячного заключения в постели ход машины казался полетом, а таежные сопки, оголенные хребты и степные долины — родным домом, более приветливым, чем удобная квартира в городке.

Александров не замечал, что Валя искоса следила за

ним, насколько позволяла дорога. В серых добрых глазах молодой женщины иногда показывались слезы. Слишком велик был контраст прежнего, мужественного, полного веселой энергии геолога и молчаливого беспомощного человека с бледным, одутловатым лицом и рыхлым, располневшим от лежания телом. Где он, тот сильный друг, к поддержке которого она прибегала в такие минуты жизни, когда каждый, а женщина в особенности, нуждается в ощущении верной руки, в надежной помощи и правильном совете? Никогда не забудет Валя их первой встречи. Она вызвалась сама в далекий рейс по глухой таежной дороге — прииск нуждался в муке, но больше одной машины по военным условиям не смогли выделить. Старенький ЗИС нагрузили добросовестно — едва не четырьмя тоннами, и Валя пустилась в пятисоткилометровый путь с бодрой независимостью своих девятнадцати лет и годового стажа. Мороз свободно проникал в щелястую, расхлябанную кабину. Солнце яркого зимнего дня пригревало, сгоняя серебристый узор изморози с пожелтевших от времени триплексных стекол. Лишь потом Валя поняла, что подобный рейс зимой на старой и одиночной машине был нелегок и для опытного шофера. Видимо, уж очень был умучен и задерган их больной завгар, что уступил Вале и согласился отправить ее одну. Выносливый ЗИС старательно преодолевал подъем за подъемом, и только гулкий треск мотора и надсадный вой передач свидетельствовали о том, как тяжко трудится машина. С перевалов машина мчалась бесшумно, но Валя, понимая, что не сможет удержать ЗИС его ненадежными тормозами, опасалась давать машине сильный разгон. И снова выла первая или вторая передача с самого начала следующего подъема, грелся и дымил старый мотор и требовал добавочной порции масла. Валя проехала двести восемьдесят километров. Кончились последние придорожные избушки — зимовья, где у обитавших в них охотников или лесных объездчиков можно было обогреться и напиться чаю, перекусив простецким шоферским запасом. Солнце село, глубокие синие тени стали заполнять пади и распадки, огоньки звезд зажглись над почерневшими хребтами справа. Мороз крепчал, тонкая пленка ледяных кристаллов стала затягивать стекла кабины, вынудив Валю приоткрыть ветровое стекло. Ветер резал как нож, глаза слезились, лицо ломило, и застывали руки в вытертых меховых варежках. Дорога

скрылась в сумерках, и Валя зажгла фары. Фары и тормоза — два недостатка старой, во всем остальном превосходной машины. Слабый желтый свет не доставал до изгибов дороги — казалось, что накат исчезает в неведомом направлении, сливаясь на ровных участках с поверхностью снега. Откосы вставали внезапными чернеющими громадами, склоны долин вдруг обрывались в загадочную глубину. Ели, покрытые толстыми снежными шапками, стояли, будто не тронутые веками. Опасение стало закрадываться в отважную душу девушки. Как никогда, отчетливо почувствовала она полную зависимость от исправности своей машины. Она прошла уже много десятков тысяч километров, много раз ремонтировалась. Кто может определить, какая часть мотора или шасси сейчас находится на пределе износа или усталости металла? Любое повреждение грозит тяжелыми последствиями. Валя не думала о себе, а о людях, которые ждут муки на затерянном в тайге, среди жестокой стужи и снега, прииске. Она старалась представить себе суровых приискателей, их озабоченных женщин, в ожидании слушающих машину — звук мотора в молчаливой зимней тайге разносится на десятки километров. Валя знала, что транспорт муки запаздывал — нередкое событие во время военных трудностей. И если могучая сила ее машины застынет на зверском морозе здесь, где сто пятьдесят километров от жилья в ту и в другую сторону, найдутся ли у нее силы дойти до прииска за помощью? Девушка почувствовала настоящий страх — впервые ответственность водителя в дальнем зимнем рейсе представилась ей с полной ясностью.

Валя остановила машину. Не выключая мотора, она долго прыгала и бегала по узкой дороге, чтобы хорошенько согреться. Потом зажгла переноску и тщательно осмотрела машину. Мотор тихо урчал на малых оборотах, будто радуясь отдыху.

Валя с нежностью погладила облезлый широкий капот, укутанный двойным утеплителем. Бензина оставалось не больше полубака, и девушка решила заправиться. Чтобы скорее налить ведро, она попыталась повернуть бочку в задке машины, открыла борт и упустила ее. Бочка слетела на дорогу, и девушка оказалась не в силах поставить ее обратно без накатных жердей. Идти далеко по глубокому снегу за жердями девушка не решилась, боясь оставить работающую машину. Однако Валя бы-

стро сообразила, что, залив полный бак, она может оставить бочку у дороги, с тем чтобы взять ее на обратном пути. После второй заправки Валя смогла бы втащить ее в машину. Ободренная найденным выходом, девушка тронулась в путь. Недавний снег, рыхлый и крупный, покрыл дорогу неглубоким слоем, искрившимся в свете фар, предательски скрывая границу твердого наката. Чуть в сторону — и машину цепко захватит мягкий снег, потащит с дороги. Для одинокого водителя это будет равносильно серьезной поломке. Валя крепко сжала негладкий черный руль, удерживая тяжелую машину по углубленным канавкам наката, намечавшимся под пушистым сверкающим одеялом. Рыхлый снег скрадывал звуки, машина будто погружалась в бездну молчания, и даже громкий сухой треск, столь характерный для ЗИСа с его легким глушителем, не разносился более по распадкам и склонам. Свет фар низко стелился по широкой канаве дороги, точно стекая по ней в чернеющую впереди пропасть. Над этой световой речкой нависало угольно-черное от контраста небо, вызвездившееся от свирепого мороза, крепчавшего с каждым часом. Ни огонька, ни дымка, никакой жизни в оцепенелой череде лесистых сопок и заметенных ущелий!

Час-другой машина упорно шла. Спидометр давно был испорчен, и Валя могла лишь приблизительно оценивать пройденное расстояние по времени. Увы, оно не могло быть велико — необходимость осторожности на узком накате горной дороги заставляла ехать со скоростью около тридцати километров. Но и такая скорость требовала большого напряжения. Стекла кабины покрылись слоем наморози, но Вале было жарко от волнения и тревоги. Темное чувство близкой беды не отступало, а усиливалось, как будто на этом перегоне машиной владела не она, а недобрые силы горных высот, снегов и мороза. Но машину одолели не силы таежных просторов, а крохотные частицы воды и грязи в плохом горючем военного времени. Оно выдержало сотню переливов, прежде чем попало в старую бензобочку в кузове Валиной машины. Уронив бочку на дорогу, девушка взболтала отстой, прибавив еще ржавчины со дна бочки.

Когда лучи фар уперлись в очередной подъем, сократив видимость, ближе придвинулась стена темноты. Мотор дал первый перебой. Неровные, резкие выхлопы учащались, сила двигателя падала, машина начала дергать-

ся, будто спотыкаясь. Валя включила первую передачу, вытянула подсос и прибавила оборотов, надеясь прочистить подачу собственной тягой мотора. Несколько минут, закусив губы, девушка маневрировала скоростями и оборотами, надеясь дотянуть хотя бы до вершины перевала. Если бы дойти туда, тогда не страшно остановить мотор и прочистить подачу: потом, на спуске, легко завести мотор накатом машины. Старый, разваливающийся аккумулятор обладал малым запасом электрического заряда, а старый мотор с подношенными контактами заводится нелегко — это девушка хорошо знала и знала еще, что для ручной заводки ЗИСа надо иметь мужскую силу.

Худшие опасения Вали оправдались. Мотор окончательно заглох, так и не подняв машину на перевал. Валя выскочила и подбросила под колеса поленья, которые возила с собой вместо горного упора. Экономя заряд, она, не пользуясь переноской, сняла отстойник, продула бензопровод и как бешеная скакала на темной дороге, хлопая себя застывшими руками. Потом, забравшись в заледеневшую кабину, Валя с замирающим сердцем нажала на стартер. «В-ввв... В-ввввв...» — лениво, точно спросонок, завращался двигатель, другой, третий раз. Валя скупилась расходовать драгоценную зарядку. Мотор не пошел. Девушка прижала кнопку подольше, глухо зашумел набирающий обороты двигатель, но даже не чихнул. А свирепый мороз старался забраться под накрытый Валиной шубой капот и сделать двигатель таким же недвижным и застылым, как все на огромном пространстве в зимней ночи, среди тувинских гор.

Девушка действовала с быстротой отчаяния, думая лишь о том, как успеть в состязании с жестоким холодом. Чтобы не рисковать больше, продула карбюратор, еще раз проверила бензопередачу, прочистила контакты прерывателя. И опять попытка завести мотор кончилась протяжным звоном отказавшего стартера. Еще раз... еще... Больше нельзя было рисковать разряжать аккумулятор на морозе, и оставалась надежда только на ручку.

Напрягая все силы, обливаясь пóтом, замерзавшим по краю шапки, с растрепавшимися и заиндевевшими волосами, девушка вращала рукояткой неподатливый шестицилиндровый двигатель, упрямо не заводившийся. Только один раз он слегка фыркнул и осторожно повернулся, как поворачивается, пытаясь подняться, тяжко упавший человек, но тут же затих, уступая цепенящему холоду.

Валя выбилась из сил. Где ей, самонадеянной, слабой девчонке, завести могучий мотор! Где ей выполнить важное назначение — доставить муку голодным работникам прииска! Как глупо было браться за это суровое дело! Вот что получилось — она наедине с застывающей машиной, без сил, без настоящего уменья. Придется сливать воду и масло, разводить костер, греть то и другое, а у нее лишь одно ведро. Затем снова пробовать крутить двигатель, задыхаясь и надсаживаясь, а он поворачивается так медленно! Будь сила, рванула бы рукоятку покрепче, завертела быстро-быстро, как это делают товарищи шоферы. Нет сомнения, что мотор уступил бы и налился теплом, дал заряд в чуть живой аккумулятор... Почему мало силы у нас, женщин? Есть же такие, которые не уступят любому мужчине... Почему она так постыдно слаба?! И почему это должно было случиться тут, где нет ни одной живой души на сотню километров? Как злобна судьба! Мог бы встретиться охотник, проезжать другой водитель или любой путник-мужчина...

Валя вытерла затвердевшим рукавом слезы и пот с лица, зябко вздрогнула всем телом. Мороз одолевал ее, обессилевшую, а шуба лежала на моторе, спасая последние крохи оставшегося в нем тепла.

Опасное оцепенение вкрадчиво охватывало девушку, такую маленькую, бессильную, бесконечно одинокую в грозную зимнюю ночь у замерзающей машины.

Опомнившись, Валя стряхнула забытье и, едва дыша, заметалась перед машиной в попытке согреться. Она хотела только одного: чтобы сейчас здесь оказался путник. Он помог бы ей, и она исполнила бы свой долг!

Невозможная мечта, неисполнимое желание! Здесь, далеко от всякого жилья, даже от избушек охотников, ночью, в такой мороз, кто мог быть он, тот безумный путник? Что могло заставить его появиться, откуда?

Но девушка, загипнотизированная своим желанием, сжимала остро болевшие, засунутые под мышки кулаки, твердя: «Приди, приди сюда, помоги...» Она громко повторяла свой призыв, и ей показалось, что тягостно молчавшая тайга откликнулась. Валя замерла, вслушиваясь в тишину звездной безветренной ночи. Но безмолвие чащи голых лиственниц и заснеженных камней убило ничтожную искорку надежды. Валя умолкла, порыв ее угас. Несколько минут девушка еще вслушивалась в ночь, затем повернулась и понуро пошла к мрачно черневшему

грузовику. Достала ведро, сдернула шубу, закуталась в нее и стала открывать капот, чтобы добраться до спускных краников радиатора. Внезапно едва слышный звук привлек ее внимание. Слева, откуда в долину, по которой вилась дорога, впадал широкий распадок, раздалось слабое пощелкивание. Вне себя девушка отпрянула от машины. Да, слабое пощелкивание!.. Сердце Вали остановилось. Задыхаясь, она втянула ртом жгучий морозный воздух и снова вслушалась.

Легкий хруст и пощелкивание, хруст и пощелкивание... Тупой деревянный удар! Валя достаточно долго работала в Туве, чтобы понять эти звуки — приближение оленьих нарт. Езда на нартах мало принята у местных охотников, предпочитающих зимой и летом верховой способ передвижения. Нартовая езда практиковалась работниками Севера: геологами, приискателями, геодезистами.

Сдавленный вопль вырвался у девушки. Боясь, что неведомый ездок свернет куда-либо в сторону, она закричала испуганно и дико. Совсем близко, за темной стеной леса, громкий мужской голос ответил ей. Высокие беговые нарты вылетели из распадка и раскатились по непривычно широкой для них дороге. Белый беговой олень шарахнулся от черневшей на дороге машины. На таких оленях ездили в одиночной запряжке. Трудно было подобрать пару этим сказочным пожирателям таежных пространств, легко проделывавшим по сто двадцать километров в день сквозь тайгу, замерзшие реки и ледопады, крутые горные тропы.

Крупная фигура в собачьей дохе вывалилась из нарт, проворно ухватившись за задние копылья. Первобытный тормоз действовал надежно. Еще минута — и ездок приблизился к девушке, держа за спиной повод и загораживая путь рвущемуся вперед оленю, нетерпеливо толкавшему его мордой. Это был геолог Александров, тогда двадцатитрехлетний начальник партии, бешено мчавшийся сквозь тайгу с важными пробами из только что пройденной разведочной штольни. С полуслова геолог понял, что случилось. Александров умел водить машины и действовал быстро. Белый бегун, по имени Высокий Лес (все беговые олени имели собственные имена, в отличие от безыменных трудяг, ничем не выделявшихся из общей массы), был отведен подальше и крепко привязан. Остывший мотор еще не успел замерзнуть, и Александров не стал терять время на его разогревание. Пользуясь

своей незаурядной силой, геолог принялся неистово крутить рукоятку, едва только убедился в исправности подачи и зажигания. Все было так, как представлялось Вале в ее мечте. Могучая, широкоплечая фигура, свободно и быстро вращавшая заводную ручку, такую неподатливую для слабых рук девушки. Мотор сначала не отзывался даже силе геолога, но потом, как бы очнувшись, фыркнул раз, другой, громко чихнул и вдруг бодро пошел. Работа двигателя выравнивалась, и, пока он разогревался, геолог заставил измученную девушку выпить немного спирту и поесть. Александров отвернул пробку бензобака и слил весь нечистый бензин с иголками льда, скопившийся на дне бака, чтобы исключить повторение инцидента. Геолог действовал так уверенно, говорил так весело, что все происходившее полчаса назад показалось девушке приснившимся кошмаром. А сейчас разогретый мотор ласково журчал на малых оборотах, путь до прииска был для исправной машины не столь уж велик, и поздняя ущербная луна поднималась из-за хребтов.

Валя совершенно ободрилась, даже усталость прошла под спокойным и приветливым взглядом геолога. Тот обтер руки поданными Валей концами и протянул девушке крепкую горячую ладонь. Валя схватила ее и, волнуясь, не зная, как выразить переполнившее ее чувство, негромко сказала:

— Нет такого, чего я бы не сделала для вас! Спасибо вам, хороший!

— Зачем, Валя! А вы? Разнес бы меня Высокий Лес, и сидел бы я на дороге со сломанными нартами... и тут вы с вашей машиной! — Геолог обвел взглядом девушку, такую маленькую, хрупкую рядом с огромной машиной, заразительно рассмеялся. — Будете трогаться — не забудьте, что мост застыл, да и коробка...

При лунном свете Валя видела, как он отвязал оленя, и тот сразу же понесся с места, взяв размашистой иноходью. Геолог едва успел укрепиться на сиденье, как нарты скользнули за гребень увала и скрылись в темноте.

— Счастливой дороги! — донесся из мрака голос, абсолютно уверенный, что никакой другой дороги и не будет, только счастливая.

Этот одинокий геолог с похожим на белый призрак высоким оленем, как сказочный герой, несущийся в царстве снега и гор, через сотни километров замерзшей тайги, передал девушке свою уверенность. Крикнув что-то

прощальное, Валя влезла в кабину. С минуту она вращала мотором застывшую коробку, потом осторожно включила скорость, дав побольше оборотов. Медленно стронулась тяжелая машина, раза два буксанула на подъеме и пошла послушно преодолевать перевал за перевалом. Угрюмая луна освещала такую же мертвую тайгу, но все было уже по-другому. Сзади мчался, удаляясь, приветливый сильный геолог, а впереди с каждым перевалом близился прииск. Еще не погасли звезды, а Валя явилась туда в облаках пара и, несмотря на крепчайший предрассветный мороз, была встречена всем населением прииска. Сердечное спасибо суровых приискателей и ласковое гостеприимство явились наградой за пережитое...

...Валя очнулась от воспоминаний. Дорога свернула в широкую степную долину, и машина выбросила налево хвост густой пыли. Жаркий день морил духотой, предвещая дождь, и Валя с тревогой посмотрела на Александрова. Он совсем навалился на скобу, почти прижимаясь к ветровому стеклу мокрым от пота лицом. Валя сообразила, что геолог удерживается на сиденье лишь руками, потому что вся нижняя часть его туловища лежит, как неживой тюк.

— Может быть, остановимся? — предложила Валя.

— Как хотите... Вы устали?

— Немного, — солгала Валя.

Александров вздохнул с облегчением. Машина остановилась на сухой просторной поляне, под сенью темных кедров. Валя поставила кипятить чайник, а геолог, шатаясь и вихляясь на костылях, углубился в заросли кустов. Его неважное состояние усугублялось тем, что некоторые естественные потребности превращались в нечто сложное и постыдное из-за тягостной беспомощности.

Валя украдкой посмотрела ему вслед, и жалость снова резнула ее по сердцу. Стараясь отвлечься от невольного сопоставления двух обликов Александрова, она захлопотала с едой. Геолог вернулся багровый от усилий и почти упал на траву у костерка. Валя постелила пальто, положила под голову мягкий вещевой мешок, и геолог, полежав на спине, постепенно ожил. Чашка крепкого чая — и Александров закурил папиросу.

— Вы раньше не курили вроде? — спросила Валя, чтобы как-нибудь нарушить непривычное для нее молчание.

— Всего месяц, как курю... раньше не требовалось, — натянуто усмехнулся Александров.

— Вы зачем едете так далеко? Поискать что-нибудь по вашей части?

— Вы угадали, Валя!

— Я так и знала, что вы иначе не сможете... Только как теперь-то?..

— А ползком! — улыбнулся геолог, и в его лице мелькнула прежняя непобедимая уверенность хозяина тайги.

Сердце Вали радостно ёкнуло. Сквозь незнакомую маску она распознала дорогие черты старого друга.

— Но так ведь нельзя!

— Всем нельзя, мне можно, — в прежнем тоне продолжал геолог. — Сейчас все зависит от вас! Довезите и помогите разыскать промышленника или лесника поблизости от Юрты Ворона.

— Чего вам дался этот перевал? Там, говорят, грозы страшные, нынче как раз время...

— Дело не в перевале, — уклонился Александров. — Ну, это впереди, а мы еще не поговорили о вас. Как вы, Валя?

— У меня по-старому, Кирилл Григорьевич! Работаю, много читаю, опять же общественные дела... Словом... без перемен, — ответила Валя на недосказанный вопрос геолога.

— Жаль! Очень вы хорошая, Валя... и хорошенькая, — грустно и серьезно сказал Александров.

— А мне не жаль — я вам раньше объясняла. Друзья и товарищи мужчины, кто по возрасту бы мне соответствовал, — двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого года рождения. Это те самые годы, что приняли на себя в войну первый страшный удар врага. Мало их осталось в живых, ну, а нас, их подруг, слишком много...

— Ну, а если постарше, разве плохо?

— Кто постарше, вот как вы, например... — Валя вдруг покраснела, — они давно женаты, кто порядочный, а кто меж двор шатается, за тех и идти ни к чему. Как иначе? Хороший, да женатый, да с детьми — я так не могу. Свое счастье с чужого несчастья начинать — не выйдет у меня, а уж если детишки, то и говорить не о чем. Выходит, на нашу долю, кто одного со мной возраста, остались мальчишки — тьфу, ерунда! — либо кто не-

прикаянный, пьяница да бабник остался! Сами видите, получается такое замужество... только себя уронишь...

— Но ведь может же встретиться подходящий и... не женатый еще, а то и вдовец хороший.

— Может, само собой, да не встретился. Ну что говорить, судьба не привела, — лицо молодой женщины посуровело, — но впереди большая радость намечается. Жду ее нетерпеливо!..

— Что же такое? — даже приподнялся на локте Александров.

— Решило наше государство важнейшее дело: чтобы каждый мог получить знания, какие хочет, по собственному желанию и вкусу, — я про народные университеты. Это дело громадное, и тяга у народа к тому, чтобы искусство, книги, науку понимать, несказанная. Не для звания там какого, а для себя, чтобы жизнь интересней стала...

— Эх, Валя, вам бы с Фоминым повстречаться, есть такой старый горняк, вы ему прямо родная душа... я в больнице лежал с ним.

— С горняком вашим когда встретимся, а в университет этот мне поступить сейчас — самая большая забота. Говорят, заявлений столько, что надо еще десять других открывать...

— Я могу написать письмо в Кызыл, чтобы вам помогли. Не помогут поступить, так посоветуют, где добиваться, а это уже полдела, самое важное — знать, куда правильно удариться!

— Ой, Кирилл Григорьевич, дорогой, напишите! У меня есть всякие рекомендации, но у вас будет по ученой линии.

— Напишу сейчас! — Геолог извлек из полевой сумки конверт и бумагу и принялся писать.

Валя с загоревшимися глазами следила за размеренным движением его руки.

* * *

Машина вырвалась наконец из зарослей после долгого мотанья на ослизлых корнях, буксовки в чернеющих торфяной грязью мочажниках. Прекратилось тарахтенье веток по кузову, замолк и мотор. В наступившей тишине стал слышен слабый шум перегретого радиатора.

Александров, едва живой после езды по бездорожью, с облегчением увидел дымок, поднимавшийся из желез-

ной трубы низкого, добротно срубленного зимовья. Кочковатая поляна с севера точно забором огораживалась «флажными» лиственницами — толстыми деревьями, лишенными веток с одной, наветренной, стороны.

На жердинной лавке у входа в зимовье сидел, видимо, давно поджидавший машину пожилой тувинец. Едва ГАЗ-69 остановился, как, собрав в приветливой улыбке все морщины обветренного лица, хозяин поспешил навстречу гостям.

— Хорош машина, куда заехал... пх! Баба-шофер... хорош! А я чай готовил. — Тут он увидел тяжко вылезавшего на своих костылях Александрова и замолк от удивления.

— Ну, Валя, дорогая, спасибо вам! Жив буду — век не забуду! — Растроганный тон геолога был несозвучен полушутливым словам. — Только вы это смогли сделать. Теперь мое дело выйдет: отсюда до Юрты Ворона не больше десяти километров...

Молодая женщина смутилась, покраснела и, ласково взявшись за локоть геолога, сказала:

— Я так рада! Только не понимаю я, что вы тут будете делать, не вижу, чего задумали. Скрываете вы от меня серьезное что-то... Раньше вы так не делали! Значит, дружба дружбой, а табачок — врозь?

— Ладно, Валя, вам я скажу... Но никому ни слова! — И геолог рассказал о своем плане поисков месторождения на перевале Хюндустыйн Эг.

— А вы-то сами?.. Как решились! — В тоне молодой женщины звучал явный испуг.

— Ну, что я? А ваши сверстники, что лежат в украинских степях и лесах Прибалтики, — они могли, если нужно!

— Я не о том. Если это так сильно нужно, то почему же раньше...

— А, понял! Раньше простой расчет, да, расчет, а не чрезмерная осторожность. Результат очень сомнителен, риск безусловно велик, а другого, не менее важного дела — невпроворот.

— Ясно, — протянула Валя. — Теперь вам такому можно идти на очень сомнительный результат. Какой угодно риск, пусть все сто против одного — вдруг да выйдет. Вот как вы себя цените. А о близких вам людях — о жене, о друзьях — подумали?

— Подумал. Жена, друзья — это геолога Александро-

ва, которого уже нет, и только вопрос времени, на сколько у кого хватит памяти.

Валя, словно подхлестнутая, отстранилась от геолога:

— Вот как! Спасибо, отблагодарили! А я сейчас кто? И впредь буду то же, не беспокойтесь!..

— Поймите меня верно, Валя. Если я выиграю этот один шанс... тогда... Ведь я человек самый обыкновенный, со слабостями, и мне нужно выздороветь... душевно. Посмотрите на меня — разве вы не видите, после какой я передряги?

Валя опять залилась краской и вдруг обняла Александрова, всхлипнула и, стыдясь своего порыва, бросилась в машину.

— Я приеду... когда дадите знать... Только, только... берегите себя, как сможете... Я хочу сказать, чтобы вы не смели нарочно...

— Обещаю вам, Валя! — твердо ответил геолог. — Только куда же вы? Сейчас будем чай пить, потом отдохнуть надо.

— Не надо! Боюсь, что просрочила я путевку. И... я, я... реветь буду! — заключила молодая женщина, прикрывая глаза; на руль закапали слезы.

Зафырчал мотор, и не успел геолог двинуться, как машина развернулась и умчалась по извилистой тропе в заросли. Александров долго смотрел ей вслед, слушая замирающий вдали шум мотора.

Хозяин зимовья решился нарушить этикет, заговорив первым:

— Зачем ссорились? Шибко худо получилось — машина уехал, ты остался... Что делать будем? А я чай готовил! Почему не приказал бабе оставайся?

Геолог успокоил лесника. Выпив положенный чай, Александров повалился на нары и забылся тяжелым сном. Он проснулся, когда солнце уже садилось. Дверь в зимовье была открыта. Пучок багульника, тлевший на угольях в старом тазу, распространял резкий аромат, оборонявший спавшего геолога от комаров. Хозяин сидел на пороге с деревянной, окованной медью трубкой в зубах и смотрел на юг. Там громоздились тяжелые тучи, густо-лиловые в свете зари. Сеть далеких молний внезапно зазмеилась в лиловых громадах. Как будто из-под земли донесся дальний раскат, и в нем было столько угрозы, что Александров вздрогнул. Устремленное вдаль лицо лесника было бесстрастно и так неподвижно, что казалось в

сумерках деревянным. Даже трубка не дымилась, крепко зажатая в лежавшей на колене руке. Александров подполз к двери. Хозяин зажег погасшую трубку и поднес спичку к папиросе геолога. Оба молча курили, пока Александров не решился наконец задать важный вопрос о коне для поездки к перевалу. Непроницаемо темные глаза хозяина тщательно оглядели гостя.

— Не понимай я, кто пускал?

— Как — кто пускал? — переспросил геолог.

— Тебя кто сюда пускал? Совсем не можешь ходить, совсем плохой, ай-ай! Зачем приехал? Пропадать приехал, однако!

Геолог стал объяснять цель своего приезда, не говоря правды. Ему надо наблюдать грозу на перевале Юрта Ворона, чтобы понять, откуда приходят тучи и как предсказывать непогоду для путников. Он двигаться не может, но сидеть в шалаше, смотреть и писать может...

Хозяин слушал, не перебивая.

— Кто тебя посылал, все путал, — заговорил тувинец, когда геолог кончил свою речь. — Теперь через Хюндустыйн Эг десять лет скот не ходит. Наша республика, как в Союз вошел, тогда и кончал. Такой опасный дело напрасно получается. Почему так, какой дурак думал?

Александров сообразил, что этот мифический дурак — он сам. Обмануть сына природы с его серьезным отношением к жизни и вдумчивостью таежника оказалось делом не столь простым, как сначала представилось Александрову. Стыдясь своей ненужной лжи, геолог сказал леснику все, как старшему брату или отцу, не утаивая более ни своей болезни, ни конечной цели.

В сгустившейся темноте он не мог разглядеть лица тувинца. Хозяин долго набивал трубку и возился с отсыревшей спичкой, потом курил длинными и редкими затяжками. Вспышки трубки освещали его нахмуренный в усилии мысли лоб и опущенные в землю, прикрытые веками глаза.

— Я тебе помогать буду, — спокойно произнес он, и Александров облегченно вздохнул. — Я думай, ты правильно живешь. Сам тебе помогал бы... да вот один только сынка у меня был, да помер, баба оставил и два ребята. Теперь мне думать надо, опасное дело ходи! Еще сколько лет помогай им надо.

Александров протянул руку и положил ее на костистое, со сморщенной, шероховатой кожей запястье хозя-

ина. Тот понял этот жест безмолвной благодарности и торопливо сказал:

— Теперь чай пьем, потом спи надо. Утром рано пойду за конем. Вещей тебе мало, продукты и тебя сразу свезем, конь сильный. Устал, однако, давай ложись!

Хозяин ловко устроил для геолога удобное ложе, настелив на дощатые нары толстый слой душистых ветвей.

Лесник быстро уснул, а геолог еще долго лежал в темноте, с благодарностью думая об исполненной уважения к чужим чувствам и думам бескорыстной помощи.

Ни Валя, ни лесник не произнесли сакраментальных слов: «Потом отвечай за тебя», — слов, которые так часто попадались в книгах, что он начал думать, будто фальшивый страх ответственности составляет чуть ли не главное ощущение многих людей. А в жизни случилось как раз наоборот. Никто не старался приписать ему свои случайные домыслы и, заподозрив его в нелепых намерениях, обнаружить свою мнимую проницательность. Даже хозяин, который имел бы на это право после того, как геолог пытался солгать ему, сразу же поверил настоящему объяснению. Александров понял, что чуткость помогавших ему людей выработалась в суровой жизни, где каждый немедленно отвечает за свои личные промахи перед самим собой и ближайшими товарищами. Эти люди привыкли полагаться прежде всего на себя и, главное, доверять себе. Геологу привиделась поддержка не двух, а тысяч таких людей, готовых ежеминутно прийти на помощь. Уверенность в невиданной силе коллективов, способных выполнить любую сказочную задачу и составить опору нашего общества, как-то ободрила Александрова. Нервная усталость последних двух дней от огромного напряжения бессильного тела и тревоги за выполнение намеченного отошла, сменилась покоем, растворилась в крепком сне.

* * *

— Э-эээй, э-эээй! — Надрывный крик разносился по пустому плоскогорью Юрта Ворона.

Александров узнал хозяина, выполз из растрепанного ветром шалаша и попытался откликнуться. Простуженное горло издавало лишь сиплые, слабые звуки, но слух таежного охотника не упустил их. Скоро тувинец показался у шалаша Александрова. Он внимательно оглядел

обросшего геолога, закопченного, в отсыревшей и прожженной одежде, изорванной судорожным ползанием по кочкам и багульнику.

— Плохо тут тебе, инженер. Я продукты привези, еще вот — куртка мой. Смотри, совсем рваный стал. Табак вот... Ой, какой ты, паря! — сморщился он от огорчения, когда геолог подполз к уступу, где стояли прислоненные костыли, и поднялся, цепляясь руками за кустарник.

— Ничего, — бодрился Александров, — все в порядке...

За этими незначащими словами стояли две недели жизни на перевале Хюндустыйн Эг, настолько странной, что Александров вряд ли смог бы рассказать о ней.

В знойные дни и душные ночи геолог бодрствовал, поджидая очередное полчище грозовых туч, уже издали возвещавших свой приход тяжелым, вибрирующим грохотом. Днем тучи ползли, как стада воздушных китов, набрасывая на горы серую тень тревожного ожидания. Ночью нечто бесформенное закрывало звезды, словно подкрадываясь для нанесения внезапного и свирепого удара. Страшные удары раскалывали воздух, горы и весь мир, слепящие вспышки учащались, переходили в непрерывное полыхание извилистых полос огня, бороздивших небо по всем направлениям. Иногда гроза была настолько сильной, что от грома и сотрясения почвы мутилось в голове, уши переставали слышать.

Вертикальные столбы молний стояли повсюду, огораживая перевал, как страшную западню. Александров полз туда, где сверкание и грохот превращались в сплошной огонь и рев. Странное покалывание пронизывало все тело, в ноздри бил резкий, кружащий голову запах озона, тело, поливаемое потоками ливня, коченело под порывами ветра. Скоро геолог понял, что его, казалось бы, простая задача очень трудна. Он передвигался ползком слишком медленно, несмотря на лихорадочные усилия. Костыли не держали на скользких камнях и кочках, зацеплялись в путанице жестких веточек багульника, травы и корней. Он подбрасывал свое полуживое тело резкими толчками рук, устремляясь навстречу молниям. Словно по заговору обернувшейся против него природы, скопление молний оказывалось в таком отдалении, что он не успевал доползти, или близкие разряды прекращались слишком скоро. Александров сам себе напоминал черепаху, гоняющуюся за быстрыми птицами. Насмешливо и

свободно молнии уносились вдаль в тот самый миг, когда он, казалось, уже приблизился к месту их страшного буйного танца. Много раз геолог, совершенно выбившийся из сил, впадал в полубеспамятство и лежал, поливаемый холодным грозовым дождем, пока резкий ветер не приводил его в себя. Александров полз к своему шалашу, разжигал дымный костер и кое-как сушился. Несмотря на тучи комаров, он забывался лихорадочным сном, пока грохотанье, от которого содрогалась земля, не возвещало ему о прибытии нового отряда туч. Воля к борьбе не иссякала, но, может быть, только насыщенная электричеством атмосфера гор спасала геолога, когда, казалось, он обязательно должен погибнуть от холода, сырости, переутомления и недоедания. Три-четыре раза молнии ударяли так близко от него, что Александров на время слеп и глох. Окружающее неистовство грома и слепящего огня ускользало из его сознания. В этих случаях Александров упускал возможность проследить за повторными ударами молний и заметить место колышками, связка которых висела у него на шее. Назревала трагедия, сулившая бесплодный конец его усилиям. Близкая молния лишала возможности наблюдать, а только с помощью близких молний геолог мог нащупать место залегания рудного тела.

Наступили ясные, солнечные дни. Александров отдохнул от полубредового напряжения и преодолел странный гипноз горной грозы. Он смог поразмыслить над результатами своего двухнедельного житья среди молний. Геолог уверился, что под болотистыми кочками Юрты Ворона залегают металлические руды. Почти не было сомнения в большом количестве рудных жил, рассекавших в глубине плоскогорье, слабо выпуклым куполом протянувшееся далеко на запад по направлению широкой складки метаморфических сланцев, слагавших хребет перевала. Пляска молний, метавшихся между отдаленными друг от друга участками, внешне абсолютно неотличимыми друг от друга, показывала широкое распространение рудных жил. Возможно, главная масса руды залегала в ядре складки, как в некогда знаменитом богатейшем месторождении свинца Брокен-Хилл в Австралии. Александров покончил с зарисовкой распределения частых ударов молний на площади перевала. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, нащупывалось место наибольшего скопления молний при всякой грозе. Там можно было рассчитывать на самое неглубокое залегание во-

ображаемых жил. Геолог переносил свой шалаш поближе к молниевому центру и с каждой грозой приближался к нему. Но дни шли, период гроз мог внезапно окончиться — Александров жил во все увеличивающемся нервном напряжении. Четвертый день не было настоящей грозы, а мелкий моросящий дождь только порождал тревогу, свидетельствуя, что время гроз проходит. В таком состоянии и нашел геолога хозяин, разыскавший новое место его шалаша, в двух километрах к западу от прежнего.

— Ничего, — повторил геолог, избегая укоризненного взгляда лесника, — теперь уже скоро!

— Почему скоро? — оживился тувинец. — Нашел чего?

— Нет, не нашел, скоро грозы кончаются.

— Да-а, — разочарованно протянул лесник. — Скоро, неделя, я думаю.

— Ну вот, через неделю и приезжай за мной. Еще смотреть буду.

— Пх, пх! — качал головой тувинец, ожесточенно затягиваясь из трубки, но ничего не возразил геологу.

Они выпили чаю с лепешками и медом, привезенными из селения как подарок лесника. Затем тувинец взгромоздился на коня, и Александров остался снова наедине с шелестом ветра на пустынном перевале, с неотвязной болью в пояснице и привычными невеселыми мыслями.

Прошло еще два дня — солнечных, сухих и ветреных, Александров уныло отлеживался в шалаше, поддаваясь гнетущей усталости, не покидавшей его со времени отъезда лесника. Боль в сломанной спине не давала спать, бессонница усиливала дикое нервное напряжение, Александрову казалось, что, если только на секунду он даст себе волю, тогда мрачное душевное угнетение одолеет. Он закричит, завоет, начнет кататься, кусать и царапать землю, поддавшись темному чувству ярости и бессмысленного отвращения к себе и всему миру, не выдержав отчаянной, безысходной тоски. Геолог вцепился пальцами в кочку под головой, чтобы не поддаться накипавшему в душе жуткому желанию, и замер, не обращая внимания на комаров и залепившую глаза и уши мошкару. Александров не знал, сколько времени прошло, когда услышал знакомый грохот. Судьба оказывала ему маленькую милость. Как корка, брошенная умирающему от голода, поможет лишь отдалить смерть и тем продлить ненужные мучения, так и приближающаяся гроза уведет

его от тоски. Еще два-три часа он будет жить полно и радостно, в стремлениях и борьбе исследователя, в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе!

Александров выполз из шалаша. Тусклая серая пелена затянула восточную половину неба и погасила утреннюю зарю. Ее краски померкли, ветер взвыл, покатился по плоскогорью и вдруг утих. Остановленная ночь стала безмолвной, прекратился отдаленный гром. Железное небо тяжко навалилось на придвинувшиеся к перевалу чугунные хребты. Давящая тишина заставила геолога содрогнуться. Надежда на грозу, на возможность забыться в борьбе покидала его в момент, когда дальнейшая жизнь казалась безнадежной и невыносимой. Он отвернулся и хотел заползти в свою сырую нору, как умирающий зверь, для которого отвратительны зовы жизни и свободный простор природы. Чудовищная вспышка и сразу же последовавший за нею оглушительный удар пришпорили его, как смертельная опасность выбившегося из сил коня. Александров рванулся навстречу зеленоватым слепящим столбам, которые встали там, где он ожидал. Гроза была особенно сильной, или он сразу попал в ее центр. Непрерывный грохот будто вдавливал Александрова в землю. Он крепко зажмуривал глаза, чтобы не ослепнуть от встававших перед ним гремящих столбов электрического огня, плясавших, извивавшихся исполинскими бичами, хлеставших по всем направлениям, сотрясая небо и горы. Казалось, все дрожит в ужасе перед силой этих многокилометровых электрических искр.

Геолог упорно полз, обливаясь пóтом под струйками холодного дождя. Оглушительный треск разодрал окружающий мир, и Александров перестал слышать, ощущая раскаты грома лишь по сотрясению тела. В глазах за плотно сжатыми веками струилась светящаяся пелена. Он потряс головой, раскрыл глаза, но пелена не проходила, и геолог лишился ориентировки. Это был конец. Как мог он теперь достигнуть своей цели? Детская обида на нелепую несправедливость судьбы, продолжавшей бить его, нанося удар за ударом, потрясла до глубины души. Александров всхлипнул, опуская отяжелевшую голову на мокрую землю, вжимаясь в глинистую почву пылающим лбом. Прикосновение к земле исцелило его, струящаяся пелена неожиданно отошла от глаз. Геолог поднял взор и увидел совсем близко целый пучок зеленых молний,

ударивших в ничтожный бугор, заметный по тонкому пруту засохшей лиственницы. Там! Ловя ртом воздух пополам с пахнущей озоном водой, охая и всхлипывая от усилий, геолог рывками бросал свое гнусно тяжелое тело, цепляясь за кочки, щебень, кустарник ободранными в кровь руками. Гремящий и светоносный удар отшвырнул Александрова прочь от желанной цели, но не причинил ему ощутимого вреда. Пусть, ничего не страшно! Стена за стеной огня вставала перед геологом, земля непрерывно тряслась, ночь качалась между нестерпимым сверканием и мгновенной глухой чернотой. Но он достиг заветного холмика, разорвал шнурок на колышках и глубоко вонзил один в почему-то теплую мокрую землю. Сознание мутилось. Медленно ворочая мыслями, геолог подумал о совершенной им ошибке. Где же записка на случай, если он не переживет этой рассветной грозы? Едва он полез негнущимися пальцами за отворот куртки, как оно случилось... Все его тело до кончиков пальцев пронзило ужасающее ощущение — обжигающее, рвущее и в то же время оглушившее смертным покоем. Он не увидел и не услышал ничего, а только вытянулся в сильнейшей судороге, когда десятикилометровый искровой разряд ударил в почву рядом с ним, может быть, прямо в него. Геолог застыл ничком, обхватив обеими руками заветный колышек...

Но молния в несчетный раз пощадила его. Александров очнулся под теплым высоким солнцем. Ветер, высушивший одежду на спине, нес свежесть монгольской степной полыни. Пригретое плоскогорье расстилалось под голубым небом. Невозможно было поверить в безумный разгул космических сил, пылавших и грохотавших здесь несколько часов назад. Но колышек торчал тут, воткнутый косо и неуклюже под самым носом геолога. Александров пошевелился, приподнялся и посмотрел вокруг. Слева, всего в километре, виднелся его шалаш. Кто сможет поверить случившемуся, почувствовать бесконечный путь, который привел его сюда в грозовом мраке?

Тупая боль в левом колене удивила его. Посмотрев вниз, геолог потерял дыхание. Приподнимаясь, он сделал то же, что и всякий нормальный человек, но чего не мог сделать парализованный калека! Он подогнул под себя ногу и уперся коленом в землю! Острый камешек под ним дал знать, что нога чувствует! Хрипя разом пересохшим горлом, Александров попытался снова пошевелить

ногами. Они работали, двигались! Безмерно слабые, с болтающимися, как тряпки, мышцами, они жили! Александров боялся поверить себе. Прошло с четверть часа, прежде чем он решился на вторую попытку двинуть ногами, и она опять удалась! Смутное понимание вселило робкую уверенность в потрясенную душу геолога. Один ли убийственный разряд, или неоднократные удары молний, или страшное нервное напряжение, но что-то сделало свое дело — поврежденные нервы ожили. Внезапно Александров попробовал встать, не смог и тяжело упал на бок. Но секунду ему удалось постоять на коленях... постоять на коленях... Мысли оборвались, и прерывистые рыдания огласили безлюдное плоскогорье. Безлюдное?.. Нет, там, вдали, — всадник, это едет лесник. Почему на три дня раньше? Как он узнал?..

— Утром такой гроза был... я подумал, ехать надо, тебя смотреть. Живой ты, инженер, хорошо...

— Живой я, живой! — так закричал Александров, что тувинец вздрогнул.

— Больной, что ли? Собирайся, повезу наш поселок!

— Повези, только сначала прошу: копай тут. — Геолог показал на колышек.

— Нашел? — широко осклабился лесник.

— Нашел! — с непобедимой уверенностью ответил геолог, и тувинец поехал к шалашу за лопатой.

* * *

Александров, опираясь на палку, проковылял к столу и достал из заплечного мешка тяжелый блестящий кусок свинцовой руды — галенита.

— Из жилы нового месторождения «Юрта Ворона», — с торжеством сказал он начальнику управления. — Есть смысл ставить там основательную разведку.



ПУТЯМИ СТАРЫХ ГОРНЯКОВ

Это рассказал горный инженер Капин. Он сидел откинувшись на спинку кресла и говорил как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь:

— Мне хочется рассказать одну простую историю из жизни подлинно горных людей, в свое время сильно захватившую меня.

Двадцать лет назад, в 1929 году, я изучал старые медные рудники недалеко от Оренбурга, ныне Чкалова. Здесь на протяжении едва ли не тысячелетий велась разработка медных руд, и рудники образовали на обширном пространстве запутаннейший лабиринт пустот, пробитых человеческими руками в глубине земли. Рудники эти давно закрылись, и ничего не осталось от их надземных построек. На степных просторах, на склонах и вершинах низких холмов выделяются красивыми голубовато-зелеными пятнами группы отвалов — больших куч бракованной руды, окаймляющих широкие воронки, — а кое-где видны провалы старых, засыпанных шахт. Местами отвалы и воронки сплошь покрывают обширные поля в несколько квадратных километров. Такая земля, по выражению местных хлеборобов, «порченая», запахивать ее нельзя; поэтому изрытые участки поросли ковылем или полынью, воронки шахт — кустарником вишни. Даже в разгар лета, когда все кругом уже выгорело и степь лежит бурая в белесой дымке палящего зноя, холмы с остатками старых горных работ покрыты цветами, которые вместе с зелено-голубыми выпуклостями рудных отвалов, темной листвой вишни и золотистыми колышущимися оторочками ковыля представляют собой причудливое и красивое сочетание неярких тонов. Словно акварели талантливых художников, ле-

жат эти маленькие степные островки на бурой равнине жнивья и паров.

Здесь хорошо отдыхается после однообразного пути по пыльной и знойной дороге. Ветер колышет ковыль и, посвистывая в кустах, наводит на мысль о прошлом, о том, что эти теперь такие безлюдные и заброшенные участки когда-то были самыми оживленными в степи. Раздавались крики мальчишек — погонщиков конного подъема, хлопали крышки шахтных люков, скрипели воротки, грохотали тачки, и слышалась болтовня женщин на ручной разборке руды. Все эти люди давно умерли, но глубоко под землей нерушимыми памятниками их труда стоят в молчании и темноте бесчисленные подземные ходы. Мне удалось проникнуть во многие старые выработки. Я уже в течение двух с лишним месяцев лазил по ним — иногда с помощником, чаще один (помощник боялся опасных мест) — для подземной съемки, поисков оставленных запасов руды и взятия пробы. В этих местах породы сухи, удивительно устойчивы, и многие выработки стоят сотнями лет без всякого разрушения.

Все накопленные с XVIII века архивные планы, карты и данные по оренбургским медным рудникам погибли во время гражданской войны. Поэтому системы старых подземных работ приходилось открывать заново, путешествуя по ним наугад, как по неизвестной стране.

Исследование увлекало меня, и, случалось, я по двое суток не выходил на дневную поверхность, торопясь разобраться в какой-нибудь большой системе выработок. Тьма и тишина лабиринтов штреков, орт[1], извивающихся по всем направлениям, грозно нависшие в высоте над головой дворы засыпанных шахт — во всем этом я находил совершенно особенное очарование. С равномерностью часового механизма падают капли воды в сырых проходах, изредка едва слышно журчит вода, сбегая с верхних горизонтов в нижние.

С фонарем, компасом и записной книжкой я едва пролезал в узкие сбойки[2] или неправильные квершлаги[3], соединяющие одну систему выработок с другой. Иногда про-

---

[1] Орты — поперечные по отношению к штреку горизонтальные короткие выработки.

[2] Сбойка — соединение выработок между собой.

[3] Квершлаг — горизонтальная выработка, в отличие от штрека проведенная по пустой породе.

ход, занесенный песком от проникновения поверхностных вод, был так низок, что по нему приходилось пробираться ползком, сжавшись в комок. Ползешь — и вдруг неудержимо хочется вздохнуть полной грудью, но, как только начнешь набирать воздух, с мгновенным ощущением жути почувствуешь висящие над тобой сотни тысяч тонн горных пород, с невообразимой силой давящие вниз.

А как интересно разгадывать систему взятия рудного гнезда, принесенную старыми мастерами, прослеживая и определяя возраст выработок то в правильно нарезанных, выглаженных вручную кайлами работах середины XIX века, то в широких и прямых, но с изуродованными взрывами стенками самых новых! Еще более странны причудливо изгибающиеся по контуру рудного тела низкие ходы выработок XVIII века или совсем узкие, но правильные и гладкие колодцы и наклонные ходы доисторических времен.

Мечущийся свет фонаря вырывает из густой тьмы то ровную стенку, всю истыканную острием кайл, то мрачно стоящий, черный от времени столб случайно уцелевшей старой крепи, то груды обваленных с кровли глыб, то ровно выложенные клади закатей.

Поражающее впечатление производят огромные черные стволы окаменелых деревьев, иногда даже с сучьями. Гиганты давно исчезнувших лесов, теперь ставшие железом и кремнем, лежат поперек выработок, и часто ход огибает такое дерево сверху или снизу, не в силах пробить его крепкое тело.

О подземных странствованиях того лета можно было бы много еще рассказать, но я лишь кратко очертил их, чтобы дать представление об обстановке всего происшедшего.

Я жил в поселке Горном, находившемся в глубокой долине небольшой речки, меж высоких холмов. В этом же поселке доживал свой век последний из штейгеров старых рудников — Корнил Поленов, девяностолетний, но еще крепкий старик, бывший крепостной владельцев рудников графов Пашковых. Старый штейгер жил в маленьком домишке через дорогу от меня и почти каждый вечер сидел на завалинке у дома, неподвижно глядя на высокий склон с отвалами рудников, поднимавшийся перед ним. Еще в самом начале работы я выспрашивал старика о разных рудниках, которые он знал и помнил великолепно. Однако я видел, что старик мне многое не гово-

рит, отделываясь ссылкой на старость и слабую память. Я пробовал убеждать его, говоря, что напрасно он не хочет рассказать все, что знает, — рудники должны работать. Чем больше мы сейчас соберем сведений о запасах руд, тем скорее и вернее развернется давно замершая работа.

Штейгер молчал, только в глубине глаз пряталась хитроватая усмешка. Как-то раз он сказал: «Много тут инженеров приезжало, все выспрашивали, записывали, обещали награду, обещали начальником над работами сделать... Наболтали много, а ведь сколько лет прошло, — ездят, смотрят, а работы так и не начинают. И никто из этих приезжих ни в одну шахтенку не спустился — грязно, сыро, ну и опасное, конечно, дело. Знаю я!» И старик умолк, важно расправляя окладистую бороду.

Я понял, что в глубине души Поленов затаил обиду на торопливых и поверхностных геологов, побывавших в районе и вместо подлинного исследования ограничившихся расспросами, вытягивая кое-какие сведения из старика путем безответных посулов. Я прекратил дальнейшие расспросы, тем более что мои рабочие отзывались о штейгере так: «Старик — что дикаревый камень: упрется — слова не вытянешь».

Я продолжал свою работу, день за днем разыскивая новые доступные выработки, спускаясь на канате в полуобрушенные шахты, и завоевал прочное уважение у местных жителей — потомков старых горняков. Я забыл сказать, что и сам поселок Горный возник при горных конторах Богоявленского и Архангельского заводов, и жители его были известны у окрестного крестьянского населения под именем «рудашей».

Длинными степными вечерами, отдыхая после работы, я часто приходил на завалинку к старому штейгеру и присаживался с ним рядом покурить. Только теперь я не спрашивал его о рудниках. Беседовали мы с Поленовым о прошлых временах, о житье крепостных горных людей, о старинных способах работы. Старик отмякал, оживлялся и много рассказывал мне, удивляя своей наблюдательностью и меткостью выражений. Мои подземные «подвиги», знание истории местного горного дела и старинных горных терминов тронули сердце старого штейгера, и он стал относиться ко мне с гораздо большим вниманием.

Я заметил, что старик ждет моих расспросов о рудниках. Иногда он сам даже заводил речь о тех или иных

особенностях руды, упоминая несколько новых для меня названий шахт, но я намеренно ни о чем не спрашивал его. Я знал, что душа старого горняка не выдержит и, видя во мне такого же глубоко преданного своему делу человека, штейгер поделится со мной своими знаниями.

Кончался август. Солнце все еще было теплое и яркое, но в степи начали дуть холодные ветры. Было особенно приятно почувствовать при спуске в поселок горьковатый запах кизячного дыма, стлавшегося голубой завесой из десятков труб. Этот дым означал тепло для озябшего тела, еду, хорошую папиросу в постели — словом, все, что нужно для превращения утомленного работой труженика в кейфующего халифа...

Беседы с Поленовым на завалинке прекратились — дни стали короче, и я часто возвращался в темноте. Лишь иногда, когда погода или работа над накопившимися черновиками заставляли меня оставаться дома, в дверях занимаемого мною помещения вырастала высокая, сутулая фигура Поленова. Поглаживая желтоватую бороду и зорко осматриваясь не по-стариковски быстрыми глазами, штейгер заявлял: «Соскучал по тебе, Васильич, давно не беседовали. Ты все без удержу по шахтам лазишь». — «Садись, Корнилыч, чайку нам Настасья Ивановна даст, а конфет хороших мне с Егорьевского привезли», — говорил я, зная пристрастие старика к сладостям. Покряхтывая, штейгер опускался на лавку, я продолжал вычерчивать какой-либо план или профиль, и начинался неспешный разговор. Нам обоим беседа доставляла удовольствие, и мы засиживались допоздна. Я узнал недавно, что Поленов был последним из целого поколения крепостных штейгеров медных рудников. Знания передавались по наследству от деда к отцу, от отца к сыну. В примитивном горном хозяйстве штейгер был одновременно и маркшейдером, и пробщиком руды, и руководителем бурения — словом, универсальным горным специалистом.

Многолетняя, с детства воспитываемая практика работы под землей выработала у Поленовых особое чутье, про которое старик рассказывал так:

— Теперь пошли эти теодолиты, буссоли... Сорок раз вычисляй да исправляй, пока уверишься, что правильно наметил выработку. Если жилу какую-нибудь нужно проследить, куда она, родимая, ушла, начинают горную геометрию разводить, чертят, вычисляют. А вот мы — мой

отец да и я — как работали? Походишь под землей, примеришься и чувствуешь, куда подкоп вести, особенно если на сбойку со встречной или старой работой. Это чутье горное нас никогда не обманывало. Сам небось видел, какие выработки прокладывали. У меня-то его меньше осталось — с буссолью заставляли работать, — но и то иной раз знаю: врет инструмент; ошибки найти не могу, а знаю — врет. Походишь, породу пощупаешь, куда прожилки направлены, куда зерно укрупняется. Начнешь раздумывать, и такая уверенность придет, что прямо приказываю: бей квершлагом сюда вот! И всегда правильно угадывал, а почему — сам объяснить не могу. А то вот видел Петровеликанскую штольню? Ее английские маркшейдеры проводили, сбивая с Михайловской. И как промахнулись: громадная работа пропала! Вот тебе и инструменты!.. Так же точно и воду чувствую под землей, где к водяному слою ближе, где под песчаником вап [1] лежит. Много чего знаю...

И действительно, старик был по-своему прав, только он забыл, что его горной практике нужно было учиться не один десяток лет. С инструментом же любой человек может за короткий срок овладеть искусством прокладки выработок.

Я верил ему и, слушая его, не раз вспоминал о фрейбергских горных мастерах, основоположниках горного искусства в XV веке. У них точно так же из рода в род, из поколения в поколение передавались горные знания и так же было известно множество примеров как бы ясновидения под землей. Эти мастера развивали в себе особое чувство — чувство подземного пространства и направления, заменявшее им точность маркшейдерских приборов и схемы горной геометрии. Без участия минерографии и химии, по тончайшим оттенкам руд, по неуловимому для обычного наблюдателя изменению породы старые горняки предугадывали выклинивание рудного тела, находили обогащенные участки — словом, прекрасно ориентировались в многообразной, занимающей теперь разных специалистов работе по оценке и разработке месторождения. И я думал о том, что напрасно в истории горного дела забыты простые и верные способы, требующие развития наблюдательности и своеобразной духовной остроты человека. Люди стали меньше верить в чудесные возможности,

[1] **Вап** — старинное название известковой твердой глины.

которые таит в себе человеческая природа, в воспитание подлинного мастера — мастера в прекрасном старинном значении этого слова.

В ближайшее воскресенье я решил приостановить полевые работы и подвести итоги своим исследованиям. Разложив снятые карты, я печально смотрел, как посреди огромного рудного поля Ордынских рудников выделялся лишь маленький, мною исследованный участок. Точно так же изученные площади Левских и Смежных рудников были разделены широким промежутком, оставшимся безвестным. Словом, все эти пробелы портили радость большой и интересной работы минувшего лета. Я не мог связать два больших рудных поля.

Мои размышления были прерваны приходом Поленова. В новом рыжем полушубке, в больших сапогах, старик выглядел торжественно и празднично и казался много моложе своих лет. Я сразу заметил, что он чем-то взволнован. В ответ на мое обычное приглашение садиться старый штейгер сбросил полушубок и, усевшись на табурет, спросил:

— Семен болтал, что ты уезжать собираешься, Васильич?

— Собираюсь, Корнилыч, — ответил я. — Жаль, конечно: полюбились мне и рудники и место ваше, но пора заканчивать работу, скоро с меня отчет потребуют.

— Рано ты собрался уезжать, Васильич. Хоть и облазил ты много, да самых интересных мест еще не посмотрел.

— Знаю, да пробраться к ним не могу. Работы самые старые, сверху все завалено. Придется обойтись тем, что мог посмотреть.

Старый штейгер молчал насупившись. Я исподтишка посматривал на него, ожидая, что он скажет. После недолгого молчания Поленов тряхнул головой и с деланным спокойствием сказал:

— Ладно, Васильич, я тебе помогу немного... Еще несколько рудников, как хочешь, а нужно тебе посмотреть...

— Что же, Корнилыч, спасибо тебе!.. Но почему же ты раньше не помог мне? Все говорил, что не знаешь, забыл.

— Я, Васильич, по человеку вижу, нужно или не нужно ему помочь, — ответил старик. — Вот пригляделся к тебе, и теперь ты как родной мне. Настоящий рудаш! И в тебе любовь большая к доброй работе... Ну, что впу-

стошь болтать! Скажи-ка лучше: в Мясниковском старом был?

— Был, Корнилыч, Мясниковский я хорошо знаю.

— Знаешь, да не все. Ты в верхних работал — Ордынская дача по-нашему — ходил, наверху сырта. А вот в самых нижних, по дну лога, в Казенных-то, не был.

По указанию штейгера я проник в самые низкие горизонты древних Старо-Мясниковских рудников и целую неделю изучал огромные камеры между массивами оставленной руды меденосного конгломерата.

Я сделал немало новых открытий, которые, впрочем, имеют интерес только для специалистов. Наконец настал знаменательный день, когда Поленов согласился сопровождать меня в моей попытке проникнуть в огромную подземную систему поля Ордынских рудников, расположенных на высоком степном плато, прямо к югу от поселка Горного.

Штейгер настоял, чтобы я никого не брал с собой и никого не посвящал в тайну похода. По его совету я взял лопату, кайлу, длинную крепкую веревку, два толстых бруска, а также запас свечей и продуктов. Поленов обещал довести меня до шахты, «через которую нужно перепрыгивать», а дальше я должен буду пройти сам и наметить план дальнейшего исследования. Для этого, по его расчетам, мне придется пробыть под землей около двух суток.

В рассветных сумерках, под свистящим в сухой траве ветром мы направились вверх по склону холма, мимо высоких белых отвалов Смежного рудника. Все взятое снаряжение было довольно тяжелым, и я обрадовался, когда старик сказал, что вход недалеко от поселка. Беспредельная, таинственная в сумеречный час степь, озабоченный вид штейгера и наш сделанный украдкой выход создавали несколько приподнятое настроение. Но все оказалось очень простым. Старик в полугоре повернул налево, и, перейдя заросшую густой полынью лощинку, мы оказались вскоре среди множества полузасыпанных шахт, отвалов и обрушенных штолен хорошо знакомого Правого рудника. В жаркие летние дни я много раз бродил по его отвалам, безуспешно пытаясь найти путь в глубоко лежавшие под поверхностью степи выработки.

Штейгер уверенно направился к высокому отвалу в форме ровного конуса. Перед отвалом оказалась воронка

плохо засыпанной шахты, заросшая кустарником. Дойдя до нее, Поленов огляделся кругом, хмурясь и отрывисто бормоча себе что-то под нос. Затем он сделал знак остановиться и начал медленно взбираться на отвал. Он долго стоял на отвале, глядя вниз и для чего-то растопыривая и загибая пальцы своих больших рук. Я смотрел на него и думал о том, какие воспоминания проносятся сейчас в голове старого штейгера.

— Ну вот, Васильич, должно быть здесь, — произнес штейгер, спускаясь с отвала.

Он встал на колени, раздвинул руками кусты. За кустами оказалось отверстие небольшой заваленной штольни, в которое мог бы пролезть разве только ребенок.

— Если в глубине работа не села, пролезем скоро! — сказал Поленов.

Я, не отвечая, сбросил с плеч свой мешок и взялся за лопату. Рыхлая земля, засыпавшая вход, подалась легко, и через полчаса я расширил отверстие настолько, что ползком можно было свободно пробраться в него. Приготовив свечу и спички, я растянулся на мягкой сырой земле, нагроможденной у входа, и привычным движением вниз головой скользнул в узкий, трубообразный проход. Несколько метров я полз вниз по склону земли, осыпавшейся в выработку, затем проход сразу расширился. Верхняя его часть была свободна. Дальше можно было уже ползти на коленях. Я остановился и зажег свечу. Сверху приглушенно донесся голос старого штейгера, спрашивающего, как дела.

— Отлично, Корнилыч! — крикнул я. — Полезай, да и мешок не забудь!

Вскоре я услышал шуршание мешка, скатывающегося вниз, и старческое покряхтывание Поленова. Из мешка мы достали фонарь; лопату оставили у начала расширения и вскоре миновали «хвост» земли, намытой сверху в выработку. Можно было идти почти выпрямившись. В штольне было сухо. Свет фонаря бросал желтоватый отблеск на стены, уходившие далеко в черную тьму. Старик медленно шел впереди. Мне это было на руку, так как я успевал на ходу справляться с компасом и записывать направление и расстояние. Штольня была длинна и низка. Спина начала болеть от согнутого положения, когда мы подошли к рудничному двору шахты.

— Ничего не попишешь! — буркнул Поленов. — На-

чисто засыпали. Придется в юберзихбрехен[1] прокапываться, нечистый его дух!..

Я понял, что старик хочет пробраться через ход, соединяющий большую шахту с соседней, и, не мешкая, приступил к делу. К счастью, в углу потолка рудничного двора земля не насыпалась вплотную к стенке, и мы без особого труда проползли через узкую щель в другой ход. Этот ход привел нас к маленькой шахте, которая не была засыпана полностью. На небольшой глубине от устья шахты было сделано деревянное перекрытие, сверху потом заваленное. Вверх и вниз в черную тьму уходил квадратный колодец около двух метров в поперечнике. К этому времени мы сильно углубились в склон плато, и нависшая над нами толща горных пород была уже большой.

— Теперь куда, Корнилыч? — окликнул я штейгера, склонившегося над шахтой.

Не отвечая, он бросил вниз камень, и вскоре до нас донесся отчетливый всплеск: внизу была вода. Разочарованно я посмотрел на штейгера, но лицо Поленова было спокойно.

— Ну, Васильич, теперь самое трудное начинается — спускаться надо.

— Куда же, в воду?

— Эх, а еще горняк! Или боишься? — поддразнил старик. — Помнишь, я тебе говорил, будет шахта, через которую придется прыгать, — эта самая и есть. Двадцать четыре аршина ниже будет большой штрек среднего горизонта, нам на него выйти надо. Спервоначалу я думал спускаться большой шахтой — тогда надо было через эту перепрыгнуть. Ну, а теперь ты спустишься вниз, раскачаешься и заскочишь в рудничный двор второго горизонта. Веревку петелькой за пояс прикрепи, чтобы не утерять. Да тебя уж учить не надо, практику хорошую прошел. Понял мой план?

— Все понял, Корнилыч. Двадцать четыре аршина — пустяки!

Я достал принесенную веревку, на захваченный с собою крепкий брусок навязал петлю и продел в нее сложенную вдвойне веревку для спуска известным альпинистам способом, называемым дюльфером.

---

[1] Юберзихбрехен — горизонтальная выработка, соединяющая стволы двух соседних шахт.

Пока я готовился к спуску, Поленов присел на мешок около шахты и наставлял меня на дальнейший путь. Основной моей задачей было проникнуть в грандиозные выработки глубочайших шахт района — Щербаковский рудник.

— Дай-ка бумаги, я чертеж тебе сделаю, — сказал старик.

Сдвинув головы к фонарю, мы, как два заговорщика, вполголоса совещались на краю черного отверстия старой шахты. Глубочайшая темнота и тишина окутывали нас. Мы уже настолько привыкли к ним, что, когда где-то в конце пройденной нами сбойки возник негромкий звук, он показался оглушительным. Я повернулся, едва не опрокинув фонарь; штейгер приподнялся, упершись руками в песок. Вытянув шею, вглядывался он в беспросветную черноту, заполнявшую другой конец хода. Звук напоминал шуршание большого куска сминаемой бумаги. Усиливаясь, он перешел в заглушенный гул и закончился тупым ударом. Через несколько секунд волна воздуха зашипела по ходу и донеслась до нас, погасив фонарь и свечу. После этого все стихло, и снова беззвучная тьма воцарилась в подземелье. Догадываясь уже, что произошло, я торопливо нащупывал в кармане спички.

— Ну как, Корнилыч? — спросил я штейгера, и голос мой прозвучал хрипло, неуверенно.

Я зажег свечу. Лицо старика было строго, но спокойно. Только сдвинутые брови и сжатые губы говорили о надвинувшейся на нас опасности.

— Эти заваленные шахты всегда... — Он не договорил, быстро поднялся и взял свечу. — Пойдем, Васильич, поглядим... Только потихоньку.

Мы углубились обратно, в недавно пройденный ход, и очень скоро шаги наши заглохли в мягком песке, толстым слоем устлавшем пол выработки. Я посмотрел на Поленова, он кивнул головой. Слой песка все утолщался, в нем показались крупные глыбы породы. Мы сгибались все ниже и ниже, продвигаясь вперед, и наконец уперлись в насыпь из песка и камней, закрывшую наглухо отверстие штрека.

Дело было совершенно ясным: осела какая-то пустота в большой заваленной шахте. Сотни тонн земли, обрушившись сверху, отрезали нам путь назад... Мы находились в одном краю огромной, площадью во много километров, системы подземных ходов, уходивших в глубь степного пла-

то. Чем дальше, тем шахты становились всё глубже и все были завалены. Да если бы некоторые из шахт и были открыты, разве можно было бы подняться через них из стометровой глубины? Чувство смертельной опасности, охватившее в тот момент, когда я услышал шорох обвала, не оставляло меня. Быстро пронесся рой мыслей о жизни, работе, близких, о прекрасном, сияющем, солнечном мире, который я больше никогда не увижу. Я закурил папиросу и жадно затянулся. Табачный дым низко стлался в сыром и холодном воздухе. Овладев собой, я повернулся к Поленову. Он был хмур, спокоен и молча следил за мной взглядом.

— Что будем делать, Корнилыч? — как можно спокойнее спросил я.

— Сильно сверху надавило; пожалуй, вся труба земли села, — сердито хмурясь, сказал Поленов. — Это мы растревожили, когда прокапывались. Видно, давно уж на волоске висело. Делать нечего, не прокопаешься, опять засыпать будет... Ну, пойдем назад, к шахте. Что мы здесь корячимся.

Не говоря ни слова, я пошел за стариком. Его спокойствие удивило меня, хоть я и понимал, что за свой долгий рабочий век он много перевидал и не раз испытывал серьезную опасность.

Не знаю, сколько времени мы молча просидели у края шахты: старик — в глубокой задумчивости, я — нервно покуривая. И я невольно вздрогнул, когда Поленов неожиданно нарушил молчание:

— Ну, Васильич, выходит, мне с тобой лезть надо. Мне-то уж помирать не страшно — годом раньше, годом позже, а тебе неохота, да и нельзя: полезный ты нашему делу человек. Свечей сколь прихватил с собой?

— Три целых пачки, — ответил я.

— Это дело! Такого запаса хватит, но для всякого случая, как спустимся, вторую свечу гаси — путь длинный... А меня сумеешь ли спустить? Я ведь тяжел. — И на суровом лице старика чуть мелькнула улыбка.

— Спущу, Корнилыч, будь спокоен, — откликнулся я. — Однако как же мы выберемся из глубин Рождественского или Щербаковского рудника? Здесь-то, может быть, и разыщут...

— Ну, какой шут нас найдет! — жестко оборвал старик. — Ищи иголку в степи. Не сказались ведь, куда пойдем. А тут дело вот какое: пройдем мы до Старо-Ордын-

ского — это дорога верная; от Горного, почитай, километров шесть будет, но зато по старым сухим выработкам. А дальше был наверх единственный ход через Андреевский Девятый — этим ходом Андрей Шаврин первый прошел. Он его и обнаружил — рудаши потом по его имени этот отвод назвали. Кроме него, меня да еще одного, никто там и не был, а это ведь семьдесят лет тому назад было. Ну, собирайся: спервоначалу меня опустишь, потом сам. Веревку-то выдерни опосля — пригодится...

Через несколько минут Поленов повис в черном колодце шахты. Медленно выпуская веревку из-под ноги, я следил, как фонарь, прицепленный к груди старика, опускался все ниже.

— Стой! — загудел внизу голос старого штейгера. — Нет, еще аршин выпусти!..

Быстро перекрутив веревку через брусок, я увидел, как штейгер уперся ногами в стенку шахты, раза два качнулся и исчез. Едва заметный след мерцал где-то внизу, на противоположной стенке шахты. Потом веревка ослабла, освобожденная от груза. Я спустил вниз мешок, а затем начал спускаться сам, отталкиваясь ногами от стенок шахты, пока не достиг уровня двора среднего горизонта. Далеко внизу, на нижнем горизонте, плескалась вода, в которую сыпались кусочки породы. Подражая штейгеру, я раскачался и прыгнул в освещенное фонарем начало штрека. Штейгер стоял, прислонившись к песчанику, и тяжело дышал. Только что проделанный спуск отнял у него все силы. Я не спеша освободил и смотал веревку, медленно надел заплечный мешок, приготовил компас и наконец закурил, чтобы дать время старику оправиться. Штрек был большого сечения и, не в пример прочим, довольно высок. Мы свободно пошли, не сгибаясь, в далекую дорогу в подземной глубине, отрезав себе всякую возможность возвращения. Я безусловно доверял старику. Сложнейший лабиринт разновременных выработок где-то мог вновь приблизиться к поверхности. При знании всех подробностей расположения древних и новых выработок мы могли спастись. И это знание было у Поленова, последнего из оставшихся в живых мастеров горного дела прошлой эпохи.

Путь был утомителен и долог. Миновав без особых затруднений большие и правильные выработки Александровского рудника, мы долго пробирались ползком в частично обрушенных и низких работах двухсотлетней дав-

ности, пока наконец не выбрались в длинный штрек английской концессии. Пройдя этот штрек, мы попали в систему больших камер на месте незначительных гнезд сплошь вынутой руды, где должны были разыскать квершлаг — ход, соединяющий эти выработки с выработками соседнего, Щербаковского рудника. Щербаковский рудник отстоял от поселка Горного по поверхности около четырех километров, мы же проделали путь под землей много больший, и к этому времени старый штейгер совершенно выбился из сил. Я постелил на сырой пол камеры свою кожаную куртку, и Поленов в угрюмом молчании опустился на нее. Однако после того, как мы поели и я дал старику шоколаду с добрым глотком коньяка, Поленов заметно приободрился. Я решил не торопить старика, зажег еще одну свечу и с удобством устроился на мешке, покуривая и поглядывая кругом. Потолок камеры едва серел при тусклом свете, неровные, уступчатые стены из плиток голубоватого рудного мергеля были испещрены черными пятнами — обугленными отпечатками древних растений. Здесь было более сыро, чем в выработках, просекавших песчаники, и неподвижная тишина нарушалась мерным, четким падением водяных капель. Местами черные полосы пропластков, обогащенных медным блеском и углистой «сажей» ископаемых растений, резко прочерчивали породу оставленных столбов. В других выступах стены были испещрены синими и зелеными полосками окисленной части рудного слоя.

Влево от нас неровный, изборожденный трещинами потолок камеры быстро понижался к изогнутой полукружием галерее. В галерее чернели три отверстия: одно из них должно было служить нам дальнейшей дорогой. Стараясь угадать какое, я подумал о среднем и оказался прав.

Я докурил вторую папиросу, когда Поленов сказал, что готов отправиться дальше.

— Отдыхай, Корнилыч, — отвечал я, — торопиться некуда, наверху все равно уже ночь.

— И то, пожалуй... — согласился штейгер. — Полпути сделали, а дальше-то хитрей будет.

— А что это за путь, которым мы пойдем, и кто такой Шаврин, открывший его?

— Ну, что за путь — сам увидишь, а про Шаврина могу рассказать — дружок он мой был...

И старик начал свой рассказ под монотонный аккомпанемент капель.

— Дело-то это незадолго перед концом крепостного права было — в пятьдесят девятом году. В ту пору я парнишкой восемнадцатилетним был, однако же по сметке и по выучке горным десятником работал. Андрюшка Шаврин — постарше меня на два года — тоже в горных десятниках ходил. Работали мы оба на Бурановском отводе и в Чебеньках — знаешь, где роща березовая сейчас, на спуске к Уранбашу, где Верхоторская горная контора тогда стояла. Против нее, по ту сторону речки, — Воскресенская горная контора. С Андрюшкой мы дружили, да и кто с ним не ладил — отменный парень был! Ну, не больно красив, но силен да статен, а уж умен да ласков — какой-то прямо особенный! Работу горную очень любил. Еще мальчишкой с моим да со своим отцом все по старым работам ходил: по поручению управляющего смотрели, чтобы потом, что хорошее осталось, взять. Хорошо выучился, книг много разных читал и, не в пример другим, любил вечерами после работы сидеть допоздна в степи и думать о чем-то... Все было бы хорошо. Работал Андрей — не нахвалишься, да только гордый был паренек. Ну, а крепостному-то гордость очень вредная, особо когда управляющий, как наш Афанасьев, строжак был. Графы-то Пашковы, к которым мы были приписаны, в горные дела мало вмешивались. Управляющий и орудовал как хотел. А Шаврин еще с соседями из Воскресенской конторы сдружился. Ихний управляющий — Фомой Рпкардом звали — все его хвалил и к себе звал работать. Да как уйдешь? Кабы государственный был, еще можно бы сделаться... Андрюшка часто у них пропадал и много чего лишнего понахватался — не по чину получилось. И это еще не беда. Нрав у Андрюшки был тихий, да как до Насти дело дошло, тут все перевернулось. Девка тут была одна, плотника Ферапонтова дочка. Ничего себе, красивая, косы длинные, грудь высокая, как сосенка статная. И певунья на редкость — голос на все конторы славился. Андрюшка и втемяшился в нее, она в Андрюшку. Словом, любовь у них такая пошла — сами не свои ходят, как зачарованные. Как вечер, бежит мой Андрюшка на Покровский рудник к своей Настеньке. Узнал про это управляющий и сильно освирепел. Он эту девку давно заприметил и то ли для себя, то ли для своего сына в любовницы прочил. Позвал он Настю к себе. Жил он тогда в большом белом доме на ферме, у Верхоторской конторы. Этот дом не сохранился — в революцию по-

жгли. Стоял он в большом саду, у пруда. А Шаврину управляющий приказ послал: немедля собраться и ехать с завтрашним же обозом, что с рудой на завод в Уфимскую губернию пойдет: переводит он, значит, Андрюшку на Ивановский рудник, что недавно Пашковы за Демой купили. Андрюшка узнал — и свету невзвидел. Как же ему с Настей-то расстаться? Словом, побежал Андрюшка к Насте и узнал, что Настю управляющий к себе потребовал. А уж смеркаться начало... Андрей-то недаром умен — сообразил, что неспроста и его отсылают. Пустился он во весь дух на ферму. С Покровского-то хорошо бежать — вся дорога под гору. Уже стемнело, когда добежал. Быстро, никто его не заметил, пробрался в сад и затаился в кустах под окнами управляющего.

А управляющий как раз в это время Настю улещал. Да девка уперлась — ни в какую, хоть в Сибирь ссылай, хоть убей. Афанасьев в конце разъярился — не привык он к непокорству. Кликнул двух баб домовых — здоровенные такие бабищи были, — одежду они с Насти сорвали при нем и заперли голую в темный чулан, чтобы одумалась. Ну, Настя — девка сильная и, пока они с ней управились, шуму много наделала, и Андрюшка услыхал этот шум, влез на карниз и заглянул в окно. Увидел он, как Настю бабы из комнаты утаскивают, и все в душе у парня перевернулось. Потом уже рассказывал он мне, что не в себе стал, плохо помнит, что было дальше. Высадил раму, в комнату прыгнул — кабинет это был Афанасьева — да прямо к двери, в которую Настю утащили. Афанасьев увидел его — и скорей за ружье, что висело на стенке. Только взять он ружье не успел. Андрей схватил со стола какую-то тяжелую штуку да как ахнет управителя по зубам! Зубами Афанасьев всегда гордился — они у него были, как у цыгана, крупные, белые. Андрюшка их одним ударом вышиб. Парень здоровый, да еще осатанел совсем — ну, ясно, управляющий и покатился, обливаясь кровью. Тут бы его Андрюшка и прикончил, да голос Насти услыхал. Управителя бросил и кинулся искать ее. Пока то да се, по дому тревога поднялась. Афанасьев тоже крепкий был мужик, быстро очухался и заорал: «На помощь!» Сбежались тут конторские сторожа и его, Афанасьева, охранители-кучера: звери, а не люди. Навалились скопом на Андрюшку, сбили с ног, скрутили. Афанасьев на Андрея глядит, ко рту платок прижимает и слова сказать не может — рычит только. Наконец про-

хрипел: «В амбар, завтра рассчитаемся!» Заперли Шаврина в крепкий амбар рядом с кузницей, сторожа выставили. А в доме управителя любушка его сидит — тоже запертая, своей участи дожидается. Вот как счастье-то их в один миг перевернулось, сгинуло!.. Ну ладно... Отдохнули мы, пора и дальше, — неожиданно оборвал рассказ Поленов и, покряхтывая, поднялся с земли.

Идти по широким штрекам в обширных Щербаковских выработках было легко. Но зато воздух здесь был тяжел. Огонек нашего фонаря еле мерцал, не давая даже возможности различить дорогу. Здесь, на наибольшей глубине, естественная вентиляция через системы выработок и продухи не полностью заваленных шахт почти отсутствовала. Дышать было трудно, и я серьезно тревожился за старого штейгера. Вскоре перед нами выросла огромная насыпь крупных глыб и породы, скат которой уходил высоко вверх.

— Наверх, значит, надо лезть по ней, — сказал Поленов. — Только ох как осторожно нужно, Васильич!..

Пробуя, крепко ли лежат куски породы, с глыбы на глыбу, минуя сотни зияющих щелей, поднимались мы метр за метром на горизонт 27-й сажени. Я изо всех сил старался облегчить старику трудный подъем. Поднимались мы очень долго, пока наконец не добрались до желанной цели. Цель эта показалась мне весьма невзрачной. Широкая лавообразная выработка целиком села, от кровли отделились огромные плиты по три-четыре метра толщиной. Между новым потолком и севшими плитами зияла широкая щель, не более полуметра вышины, ведшая в новую неизвестность. Двадцать семь сажен толщины пород по-прежнему отделяли нас от поверхности земли. Но здесь приятно было почувствовать тягу воздуха, вздохнуть как следует. Пламя фонаря вспыхнуло и стало гореть ярче. Долго лежали мы, отдыхая на гладкой плите, похожей на большую льдину. Движение воздуха колебало огонек фонаря и холодило разгоряченное лицо.

— Тянет здорово, Корнилыч, — нарушил я молчание. — Пожалуй, где-то близко выходные выработки.

— Близко-то близко, да не для нас. Это знаешь куда тянет? В большую Покровскую шахту, откуда воду берут в выселке на сырту. Ее второй горизонт примерно с этим сходится, и сбойка была, но нам туда не пробраться — село все, а понизу затоплено. Нет, наша дорога теперь направо, в Верхоторский отвод — Мясниковский Новый

по-другому называется. Ну, давай полезли понемногу — отдыхался я...

Щель, несмотря на свой зловещий вид, оказалась сравнительно легко проходимой. Из нее мы попали в узкий ход, а дальше — в большие, правильные выработки и через несколько узких восстающих поднялись метров на двенадцать выше. Потом потянулись низкие, неправильной формы, изогнутые ходы. Они неуклонно заворачивали к юго-востоку, пока не перешли в широкую галерею.

— Вот тебе и Старо-Ордынский! — обрадованно сказал штейгер. — Эта штольня кольцом вокруг пойдет, а из нее — орты внутрь, как колесные спицы. Посередке большая камера — нам туда и надо... Да вот одна орта, в нее и лезем...

Низкое сводчатое отверстие хода чернело налево у пола галереи. Пришлось снова становиться на четвереньки и, испытывая острую боль в натруженных коленях, продвигаться по слегка наклоненному вверх тесному ходу. Несмотря на всю привычку, я стал уставать от ползанья.

Внезапно орта кончилась, и мы вошли в огромный, почти круглый зал. Как я ни поднимал фонарь, мне не удалось разглядеть потолок, и только когда я зажег свечу, увидел его изрытую подсечками поверхность на высоте больше десяти метров. Огромные черные бревна столбовой крепи стояли колоннадой, подпирая своими терявшимися в темноте верхушками боковые уступы, косо сбегавшие с потолка к стенам зала. Пол был ровен и чист. Против устья орты виднелись высокие закати — штабеля оставленной в выработке бедной руды.

— Ну и чудеса! — воскликнул я в восторге, осматриваясь кругом. — Но как крепи уцелели здесь за сто лет, не понимаю!

— Это дело немудреное. Прежде ведь дубами крепили. А уцелели потому, что не давило здесь. Попробуй-ка крепь — смекнешь сразу.

Я подошел к ближайшему черному столбу и тронул его пальцем. Палец вошел, как в масло, в сырую и черную мякоть, но в глубине нащупывалось твердое дерево. Присмотревшись, я заметил, что древесина окрашена местами в густо-синий, местами в зеленый цвета — значит, насквозь пропитана медными солями.

Мы расположились на отдых у штабелей руды. Часы показывали четыре утра: уже двадцать один час находились мы под землей. Усталость брала свое.

— Много ли осталось, Корнилыч? — обратился я к штейгеру, доставая еду.

— Тут уж пустое. Сейчас в Чебеньки выйдем — и в штольню в Ордынском логу, выше ключа, в леоок.

— Ну и далеко же нас завело! Досталось тебе, Корнилыч!

— И то не думал я, что перед смертью еще раз побываю. После Шаврина я был тут с сыном лет пятьдесят назад...

— Вот что: пока будем закусывать да отдыхать, доскажи-ка мне, что дальше с Андреем было, — попросил я.

— Выпивки-то осталось сколь-нибудь? — спросил старик. — Заморился я. А хорош шоколад-то: как поешь, сразу силы прибудет. В наше время мы его не видывали...

Он молчал, закусывая, и, только основательно заправившись, сказал:

— Ну ладно, слушай дальше... Так, значит, Андрюшка валялся в амбаре, скрученный по рукам и ногам, а мы ничего не слыхали... Либо его связали некрепко, либо ярость в парне больно велика была, только ночью удалось Андрею от пут освободиться. И хитер же он был! Поразмялся маленько и влез на толстенную балку наверху, прямо над дверью, да как завопит диким голосом! Сторож перепугался, вызвал подмогу. Решили посмотреть, что стряслось с Андрюшкой: то ли ума решился, то ли помирает парень. Дверь отомкнули, вошли с фонарем в амбар... Андрюшка прыгнул сверху на последнего, что с ружьем у двери стоял, сбил его с ног, подхватился — и в степь. Ну, тут: «Держи, лови!» — бух, бух в темноту... Где там! Сквозь землю провалился. Да и впрямь ведь в землю ушел — выручай, родная! И выручила...

Утром мне на работу выходить. Встал еще до свету. Мать на стол собирает и говорит, что с Андрюшкой неладное случилось. Уж слух прошел: и как управляющий Настю забрал, и как Шаврин ему зубы вышиб, и как сбежал он ночью куда-то. А что с Настей было, никто не знал. У меня от этих новостей даже дух захватило, и пошел я на работу сам не свой. Все думал, что теперь будет и как бы Андрею помочь. Работали мы в Чебеньках, на самом краю отвода. Полез я шестой забой проверять. Иду по штреку задумавшись, вдруг слышу Андрюшки Шаврина голос. А я все о нем думаю, и так это меня пробрало, даже обмер я, остановился. Посмотрел туда, сюда — рядом печь старая. Посветил, гляжу — и впрямь Андрюшка меня рукой под-

манивает. Огляделся я кругом — никого, фонарь притушил — и в печь. А там, в глубине, разбуравлено было и старый ордынский ход пересекался. Мы с Андрюшкой туда и прошли. Я к нему с расспросами, как да что. Андрей только головой помотал — некогда, мол: Настю да и себя спасти надо. «Про тебя, — говорит, — знают, что ты дружок мой, следить будут, так ты долго здесь не задерживайся. Костьке Силаеву (это второй его дружок был) скажи, что я повидать его хочу ночью, чтоб только никто не видел. Принесите в Ордынский лог, к ключу у четырех больших берез, еды побольше — на несколько дней. Там я вас встречу и скажу, что дальше делать надо. И еще: пусть ты или Костя всенепременно перед вечером с кузнецовой Надеждой повидаются. Пусть она постарается передать Насте: жив Андрей и скоро ее освободит. Старому ироду пускай не поддается и ждет от меня известия...» На том и порешили. Харч, что я с собой взял, отдал Андрюшке, и он исчез в ордынской работе. Я потихоньку выбрался из печи — да к себе в забой. Места не нахожу, все думаю, как с Костей повидаться. На счастье, понадобились мне новые клинья, а наша кузница стояла у Верхне-Ордынского, где Костька работал. Я скорее туда. Ну, повезло: Костьку разыскал, перемигнулся, быстро ему все сказал... Сговорились, что Надежду он повидает. А встретимся мы у большого Волковского вывоза, выходить будем порознь. Отлегло у меня от сердца, вернулся я к себе на шахту. А кругом уж только и разговору, что об Андрюшке и Насте. Приказчики да сторожа в степь поскакали — Андрея ловить, да собаки охотничьи спущены были.

Управляющий занемог — видно, здорово его Андрей стукнул, — в постели лежал. Награду назначил большую, кто Шаврина поймает. Нарочный в Каргалу поскакал, полицию уведомить, а оттудова в Оренбург к полицмейстеру, за приказом ловить Андрюшку и в железо ковать.

Я, как домой вернулся, мешок приготовил да потихоньку от матери насовал в него все, что под руку попалось из еды. Подождал, когда все заснули. Наудачу, луны-то как раз не было, ночи теплые да темные. Пошел я, на душе неспокойно: за Андрюшку боюсь, не знаю, что дальше будет. Тихо в степи, пусто. Где-то стороной, слышно, верховые проскочили — должно, дружка моего ищут. По узенькой тропинке подошел я к Волковским вывозам. Чуть забелел на горушке большой вывоз — тут в кустах заворошилось, и Костька как из-под земли появился.

И тоже с мешком. Пошли мы потихоньку, как два волка, в темноте непроглядной. Спустились в лог, и не по дороге, а на всякий случай по-за кустами, в полугоре пошли... Костька мне шепотком рассказывает, как был у Нади. Та, говорил, даже в лице изменилась, побледнела, однако же говорит — сделаю. В сумерках прибежала, отдыхаться не может. Настю ни увидать, ни сказать ей не смогла, держат ее по-прежнему под замком. Из разговоров в доме Надежда узнала, что управляющий сильно занемог, но клянется, как только ему полегчает, непременно самолично сыскать Андрюшку и отомстить за свое уродство сполна...

Пока Костя все это рассказывал, подошли мы к месту. У родника повернули направо; здесь было чистое песчаное место, кругом — кусты чернотала, а выше — гривка небольшая с травой, и на ней четыре старые березы. Сели мы под березами. Тихо кругом. Крикнул я сычом. Послушал, еще раз крикнул. И вдруг, откуда ни возьмись, Андрюшка прямо перед нами. Мы даже перепугались от неожиданности. Рассказали мы ему всё. Подумал Андрей и говорит: «Вот что, дружки мои любезные — пропал я, а я пропаду — Настя тоже: загубит ее управляющий. Коли хотите помогать, делать это надо не мешкая. Сперва покажу я вам сейчас место, где меня сам черт, а не то что Афанасьев, не найдет. Вы в это место отнесите тулупчик какой или одеяло, посуду для воды да женское платье... Вот эту цидулю снесите в Воскресенскую контору — Рикарду. В собственные руки отдайте и ответа ждите. Ответ отнесите сюда и положите — покажу, в какое место... Дальше вот еще что: старинный рудничок у самой фермы знаете? Там открытая работа большая, а в ней несколько штолен маленьких, осыпавшихся. Так вот: средняя штольня выведет в подкоп, подкоп пойдет все правее и правее, к ямам от дудок, что уж в самом Ордынском логу, в кустах. Нужно по этому подкопу пролезть и в одну из дудок ход расчистить наружу. Только землю, чур, внутрь отгребать. Надежде скажите, что я вечером послезавтра буду ее ждать в роще на Заовражном — ей туда добежать пустяк, а вы туда же приходите, как всё обделаете. Только записку мою Рикарду обязательно завтра на свету снесите, а вечером — ответ». Шаврин вдруг замолчал, прислушался. Прислушались и мы с Костей. Внизу, по логу, слышен конский топот. «Ну, други, прятаться надо, это ведь меня

ищут», — шепнул Андрюшка. Взял меня за руку, я — Костьку, и пошли мы в кусты, прихватив мешки. За кустами была большая старинная штольня — Ордынской звали. Устье широченное, высокое, верхом въехать можно. А сама штольня короткая, и выхода из нее нет. «Куда ты, Андрюшка? — говорю я Шаврину шепотом. — Ведь они беспременно в штольню заглянут — за тем, наверное, и едут...» — «Ладно. Конечно, заглянут... Да ты поспешай, а то мы их поздно заметили, заболтались...» И верно, под землей слышно — конские копыта уж совсем близко топают... В штольне — я знал хорошо — было три хода. Средний — самый длинный, сажен восемь. Андрюшка нас туда и повел. В конце — орта небольшая; туда и сюда печи слепыми забоями. Вот мы в левую печь заскочили. Андрюшка и шепчет: «Вверху, выше роста, подсечка узкая, всего два аршина в глубину и меньше аршина в ширину. В конце подсечки — ход вверх, ордынская выработка смыкается. Руки вперед суй, перегнешься туда вверх, ноги подтянешь — и хоть во весь рост вставай». Так и сделали, и в самое время — голоса уже по логу слышны. Тут видишь какое дело: ход-то, он прямо над подсечкой, вверх идет и назад над штольней поворачивает, узко очень, и как ни смотри — снизу ничего не увидишь. Влезли мы все. Андрюшка подвинул два больших куска породы, опустил в подсечку и конец ее вовсе закрыл. И знать будешь, так не пролезешь. Назад от подсечки ход шире шел; сели мы втроем над самым отверстием и слушаем. Верно, в штольню идут, шарят везде, ближе к нашему забою подходят. Вот чуть-чуть засветило между камнями — это кто-то свечу прямо к забою поднес. «Так нигде ходу нет?» — слышу, спрашивает, не узнал по голосу кто. А ему Рыбин, штейгер с Покровского, отвечает: «Посмотри сам. Мы ведь каждую печь знаем, — не видишь, что ли?» А мы сидим, притаились, друг друга локтем в бок подталкиваем. Ну, ушли незваные гости; высекли мы огонь, запалили свечу. Андрей нас и повел в свое убежище. Тут, оказывается, большие ордынские работы были. И никто о них ничего не знал. Знаешь, как у ордынцев-то было — ходы узкие, без крепей, трубами, стоят вечно. Труба за трубой спускаются наклонно вниз до большой выработки, где ордынцы богатое гнездо брали. Здесь Андрюшка-то и основался. Показал он нам оттуда путь в Старо-Ордынский рудник — в эту вот большую залу, где мы с тобой сейчас сидим.

Большая ордынская выработка с хорошую горницу величиной была, только пониже малость. Посередине гладкие плиты крепкого песчаника были теми ордынцами положены. На них мы сложили припас из мешков, свечи оставили, огниво; сюда же уговорились записку положить. На том и покончили. Поползли по трубам наверх, добрались до штольни, камни вытащили и вылезли. Андрюшка ход за нами опять закрыл. Послушали — никого. Ну и дернули домой без оглядки! Пришли ночью и выспаться еще успели... Ну, а мы с тобой, Васильич, успели отдохнуть. Хватит сказки-то сказывать, давай выбираться...

Штабель у южной стены зала, где мы сидели, постепенно повышался. С него можно было забраться на уступ стены. Выше шла узкая просечка, по которой я, упираясь в стенки спиной и ногами, забрался на второй уступ, почти под самым потолком камеры. Этот уступ, вернее карниз, был очень узок. Пришлось лечь на бок, лицом к стене, и проползти три-четыре метра налево, к выходу доисторической трубообразной выработки. В ней я наконец-то твердо закрепился и втащил Поленова на веревке. Развернуться уже было нельзя, и я так полз дальше, ногами вперед. Следом за мной, отдуваясь, полз Поленов. Проклятая выработка упорно поднималась вверх, и казалось, ей не будет конца. Я уже начал было думать, что кости на моих локтях вылезли наружу, но вот ноги потеряли опору, и я лягушкой выскочил на ровный пол. Это и была та самая подземная горница, где скрывался семьдесят лет тому назад Шаврин. Гладкие стены, характерные для доисторической выработки бронзового века, имели овальные очертания, потолок поднимался куполом, а пол углублялся в виде чаши. Я увидел гладкие камни посередине камеры, о которых рассказывал штейгер. Осмотрев камеру, я нашел две источенные бронзовые кайлы и несколько медных слитков. Кайлы, один слиток, черепки какой-то посудины и череп, найденный в смежной орте, были впоследствии отосланы мною в Русский музей в Ленинграде. Штейгер шарил с фонарем по полу, бормоча что-то.

— Вот смотри, Васильич, — сказал он и направил свет фонаря за один из больших камней. Я увидел почерневшую, но хорошо сохранившуюся дубовую кадушку. — Бадейка для воды, ее Костька приволок, а вот и нож Андрюшки... — Старик поднял с полу ржавый обломок ножа и бережно сунул его в карман. — Как есть все

так лежит, будто год назад было... — Даже при скудном свете фонаря видно было, как молодо заблестели глаза старика. — Эх, жизнь рабочая! Прошла, как один день...

Поленову не хотелось, видно, торопиться. Он обошел с фонарем всю выработку кругом, посидел на камне, не обращая на меня внимания. Я воспользовался этим для подробного осмотра выработки и нескольких ходов из нее.

Поленов позвал меня идти дальше, и снова началось ползанье по трубообразным, узким ходам. Мы поднимались постепенно выше и выше, в то же время неуклонно направляясь на юго-восток. Странно было увидеть впереди голубое облачко отраженного света, резко отличавшегося от красноватого пламени свечей, долго светившего нам в подземном мраке. Свет усиливался. И вот с чувством несказанного облегчения я погасил и спрятал в карман свечу.

Столб неяркого света поднимался над квадратным отверстием в конце хода. Свесив ноги в отверстие, я решительно скользнул в него и остановился на ступеньке верхнего вруба забоя, повернулся, второй раз проделал то же самое и очутился на почве забоя. Я помог спуститься штейгеру; и оба мы, торопясь и спотыкаясь, пробежали оставшиеся пятнадцать метров навстречу нарастающей яркости голубого света. Я нетерпеливо раздвинул густой кустарник у входа и, упиваясь морем свежего, теплого воздуха, ослепленный светом до боли в глазах, не мог удержаться от радостного крика. Обернувшись к Поленову, я подумал, что суровый старик будет смеяться надо мной. Однако и на его лице светилась счастливая улыбка, он тоже радовался красоте просторного солнечного мира.

Высокое полдневное солнце встретило нас ласковым теплом. Тихий шелест осеннего ветерка звучал в наших ушах приветствием. Двадцать девять часов провели мы во мраке и тишине подземных выработок!

— Ну, Васильич, погреемся маленько, отдохнем, да и в Уранбаш пойдем, на ферму, бывшую Пашковскую, тут близко. Там и лошадь достанем, а то домой-то далеко, не дойду я. Выручил нас Андрюшка! Не знаю ведь я, что с ним потом сталось...

— Доскажи мне, Корнилыч, про Шаврина, — попросил я, раскладывая на солнцепеке отсыревшие папиросы.

— Да уж и рассказывать-то почти нечего. Сделали мы

все, что Андрюшка сказал. Следующей же ночью мы с Косткой опять в ордынскую работу забрались, принесли тулуп старый, бадейку, еще хлеба да ответ от Рикарда. К нему я сам ходил украдкой. Прочел он записку, усмехнулся и ушел куда-то, а я в конторе ждал. Вернулся, посвистал, походил по комнате, написал что-то на бумаге и мне отдал. Я сунул бумагу за пазуху да со всех ног домой, даже спасибо не сказал. Все боялся — заприметит кто-нибудь, что в Воскресенку ходил.

Назавтра мы с Костей узнали: управляющий Афанасьев маленько оправился, полиция приехала, сидят в его кабинете, пьют, совет держат, как им Шаврина изловить. Едва только смерклось, мы, как кошки, — из дому. Я топор несу — Андрюшка просил, — Костя еще свечей добыл. На холмике, что против фермы, в кустах залегли — ждем, когда Надька побежит по столбовой тропке мимо. Слышим — пробежала, а сами ждем да слушаем, не следит ли кто сзади. Долго лежали — не слыхать никого. Тогда и сами — шасть вниз, в рощу Заовражную. Я опять сычом крикнул — Андрюшка ответил тихим свистом. Подошли, смотрим, тут же, у березки, и Надежда стоит.

«Так непременно, Надюша, сделай», — говорит ей Андрей. «Все сделаю», — отвечает. «Ну, спасибо тебе, родная, прощай, не поминай лихом». Надежда обняла его, крепко поцеловала и быстро так ушла... Андрей повел нас в лог, по дороге рассказывает, что́ мы делать должны. Завтра управляющий самолично поедет по рудникам — выслеживать Андрюшку. Догадался старый волк, что беглец скрывается в подземных работах. Как уедут все, нам с Костькой удрать на ферму и непременно подпалить дальний амбар, что у конюшни, на горке. А как подпалим — бежать что есть духу на Бурановский, смотреть с горы, что будет, и потом непременно вернуться домой. А приходить Андрюшку проведать не раньше чем через пару дней — после пожара-то крепко следить будут за всеми и уж в Ордынском логу станут шарить всенепременно. Ну, сговорились мы, попрощались и разошлись.

Утром Афанасьев с полицией, с подручными да с любимыми борзыми уехал в Богоявленскую контору — это где Горный наш сейчас стоит, — а в обед мы с Костькой пробрались огородами по-над речкой на ферму, на зады к конюшне. Смотрим — у амбара зарод [1] сена клеверного

[1] Зарод — небольшой стог сена (местное название).

стоит для лошадей управляющего. Мы подожгли амбар да заодно и зарод подпалили — и ну бежать низом что было мочи!.. Уж порядочно отбежали — слышим крик, сполох поднялся. Мы еще ходу прибавили и Федоровским оврагом на сырт выбрались, дорогу перебежали и еле живы пошли на Булановский. У самих сердце-то так и екает: что-то теперь будет и удастся ли Андрюшке задуманное. Дым высоко поднялся, большущий, шум да рев издалека доносятся...

Вернулись мы на работу удачно, в срок. Сидим каждый в своей шахте тихо, как мыши, — знать ничего не знаем... А тут только и разговору, что о пожаре на ферме. Загорелся, мол, амбар, да быстро потушили... После работы пошли мы с Костькой вместе домой. А дома нас встречают: «Как, вы ничего не знаете?» — «Что такое?» — спрашиваем. «Как же, на деревне-то Андрюшка Шаврин объявился, поджег амбар да зарод сена. Когда все побежали туда, он кинулся в дом с топором — страшный, глаза как у волка горят. Бабы, что за Настей смотрели, бежать. Андрюшка-то знал, где Настя сидит, дверь мигом высадил, схватил Настю за руку, и побежали они через сад, а потом за Верхоторскую контору — и в степь. Тут их было нагнали. В степи-то куда скроешься? Вот уж совсем их настигли, но они до первых вывозов старого рудника добежали и как сквозь землю провалились. Пока за штейгером в контору побежали, да за свечками, да за огнем, Андрюшки с Настей и след простыл. Искали их, искали, по всему логу шарили: знают, Афанасьев приедет — беда будет, но так и не нашли. А тут и Афанасьев вернулся. Потемнел он, как приказчик доложил ему о пожаре да о побеге. Собрал народу многое множество и кинулся сам по логу искать, а оттуда на Среднюю Каргалку уехал. Ездил, ездил и вернулся ни с чем...

Обрадовались мы с Костей: вышло у Андрея все как по писаному. День выждали — все спокойно. На второй уж как уговорились ночью к Андрюшке пробраться, как вдруг зовут нас в контору. Собрали в конторе всех, кто с Андрюшкой дружил, его да Настину семьи пригнали и допытывают, кто ему помогал да кто знает, где он укрывается. Никто ничего не знает, и мы с Костей молчим. Сильно нас подозревали, кричали, Сибирью грозили, да ведь не пойман — не вор, ничего не поделаешь... Все же посадили нас в холодную и три дня в ней продержали, и все без толку; уперлись мы: ничего, мол, не знаем, спро-

сите у кого хотите — работали мы в шахте, каждый вечер дома были. Отпустили нас. Мы еще две ночи выждали — хотели увериться, что не следят за нами, и пошли в Ордынский лог знакомой дорогой, прямо в Андрюшкину подземную горницу. Смотрим — никого, припасов и платья нет; только бадейка и тулуп оставлены. А на камне письмо нам с Костей лежит: прощайте, други, век мы с Настей будем вас помнить; уезжаем далеко, не придется уже свидеться.

И с тех пор ни об Андрюшке, ни о Насте никто ничего не слыхал. И сколько Афанасьев ни рыскал по степи, куда соглядатаев своих ни запускал, ничего не добился. Года полтора прошло, и крепостному праву наступил конец.

Стал я ждать от Андрюшки писем, но так и не дождался. Потом позднее спросил у Рикарда, не знает ли он чего про Андрея. Тот долго отнекивался и только года через три сказал, что это он Андрею помог. Случилось так, что как раз ихний ревизор в то время в Самару должен был ехать. Спрятал он беглецов в своем экипаже — большой такой рыдван, кони хорошие, — и к рассвету Андрей с Настей уж далеко от нашей степи были. До самой Самары довез их ревизор, снабдил деньгами и письмом, рассказал, как дальше быть. Волга — всем беглецам помога. Уехали они в Астрахань. А что дальше сталось, не знаю; знаю только, что от нашей неволи они ушли...

Вот, собственно, и все, что я могу рассказать о приключении, которое с неизгладимой силой врезалось мне в память. На следующий год я приехал на рудники позднее обычного. В поселке Горном я узнал, что штейгер Поленов умер в начале лета. «Все вас поджидал, да вот не дождался», — говорили мне знакомые из поселка.

Лет пять спустя на большом совещании по цветным металлам в Москве я обратил внимание на высокого, хорошо одетого инженера, выступавшего с критикой организации горных работ одного большого рудного района в Сибири. Я пришел в восхищение от умного и дельного доклада и спросил одного из сибиряков, кто это такой. «Это Шаврин, — отвечал инженер. — Очень дельный работник и потомственный горняк...» Я стал искать встречи с Шавриным, но оказалось, что он на следующий день уехал в Сибирь...



БЕЛЫЙ РОГ

В бледном и знойном небе медленно кружил гриф. Без всяких усилий парил он на огромной высоте, не шевеля широко распластанными крыльями.

Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал кверху, почти исчезая в слепящей жаркой синеве, то опускался вниз сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про необычайную зоркость грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает, нет ли где падали. Усольцев невольно внутренне содрогнулся: пережитая им смертная тоска еще не исчезла. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха. Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупе, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушающихся обнаженных скал долина была раскалена как печь. Ни воды, ни деревца, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздящийся угрюмой массой вверху. Разбитые трещинами утесы, нещадно палимые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скрежетавшему под ногами щебню. Невдалеке, в тени выступающей скалы, стоял конь. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши, приветствуя хозяина тихим и коротким ржанием. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним; иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную

степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия[1].

Усольцев остановил иноходца и, приподнявшись на стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилегала крутая коричневато-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посредине, как главная башня крепостной стены, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая выпуклая грудь была подставлена знойным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех других, и ее острая белая вершина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усольцев долго смотрел на неприступную гору, мучимый стыдом. Он, геолог, исследователь, отступил, дрожа от страха, в тот самый момент, когда, казалось, был близок к успеху. И это он, о ком говорили как о неутомимом и стойком исследователе Тянь-Шаня! Как хорошо, что он поехал один, без помощников! Никто не был свидетелем его страха. Усольцев невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи и лиловатое марево неподвижно висело над уходившей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой, — тихо сказал геолог коню.

И тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокаивала душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усольцев увидел стоянку своей партии. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джиддовой за-

---

[1] Чий — высокий, растущий пучками злак среднеазиатских степей.

росли, были раскинуты две палатки и поднимался едва заметный столбик дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно обремененный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна высокая палатка. Усольцев посмотрел на нее и отвернулся с привычным ощущением грусти.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседлаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу, жарко...

Узкие темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюнгуз[1] ездил?

— Нет... — Усольцев чуть-чуть покраснел. — В ту сторону, но мимо.

— Старики говорят — Ак-Мюнгуз даже орел не садится: он острый, как шемшир[2], — продолжал уйгур.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная прозрачная вода дробилась на острых камнях и издалека казалась лентой измятого белого бархата. Звонкое переливчатое журчание было исполнено отрады после мертвых, раскаленных долин и свиста ветра.

Усольцев, освеженный умыванием, улегся в тени под зонтом, закурил и погрузился в невеселые думы...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но это ему не удалось. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только... в мечтах.

Сегодняшняя неудача надломила волю. Вопреки давно принятому решению, Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачем. Он вспоминал недавний разговор.

«Что пользы говорить об этом? — сказала она. — Все давно глубоко запрятано, покрылось пылью...» — «Пылью?» — гневно спросил Усольцев и ушел, не сказав ничего, чтобы не возвращаться больше. Это было два года назад, а теперь работа снова нечаянно свела их вместе:

---

[1] Ак-Мюнгуз *(уйгурск.)* — Белый Рог.

[2] Шемшир — меч.

она заведовала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Уже больше двух недель палатки обеих партий стоят рядом. Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог.

И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с ней только необходимыми словами, идет к ее палатке. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости...

Ну, все равно!..

На ящике у палатки сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке? — спросил геолог.

— Да, читает запоем весь день.

— Входите, Олег Сергеевич, — раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос. — Я узнала вас по походке.

— По походке? — переспросил Усольцев, откидывая полу входа. — Что вы нашли в ней особенного?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и осторожно заглянул в строгие серые, с золотыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — поспешно проговорил Усольцев. — Вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас проведать на прощание.

— А у меня сегодня был день приятного безделья. Мои поехали в Подгорный за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Должны прислать подробное распоряжение. Работа здесь кончена, и мы на отлете... Вот прекрасная книга, прислали по почте. Я весь день читала. Завтра тоже отдых, а там — в новые места, скорее всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита... и все. А месторождение, когда-то бывшее наверху, давно разрушено, снесено!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины, — согласился Усольцев.

— Только Белый Рог, — вздохнула Вера Борисовна. — Но он неприступен, а сверху ничего не падает: должно быть, очень крепкая порода. Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо

ваше дело: секрет останется неразгаданным, — весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежавшей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест». Вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных гималайских вершин. Меня захватила... как бы вам сказать... не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе — каждый — главные участники атаки. Понимаете, борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Усольцев. — Но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения, это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха», — прочитала Вера Борисовна, взяв книгу из рук Усольцева. — Разве этого мало — выбрать себе высокую, неимоверно трудную цель, пусть несоразмерную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая обнаженная, скалистая гора. На той недоступной вершине ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги! — воскликнул он. — И Эверест, в конце концов, он тоже только один в мире.

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни? А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше своих собственных сил!

— Но тот, настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого, — не сдавался Усольцев, — а в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться.

— Это вы хорошо сказали! — воскликнула Вера Борисовна. Она насмешливо посмотрела на Усольцева. — В самом деле, представьте себе, вы вкладываете все, что

у вас есть, в Эверест, а на деле это оказывается маленькая горушка... ну, хоть вроде этих наших. Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших? — вздрогнув, переспросил Усольцев.

И в тот же момент с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, катились мелкие угловатые кусочки щебня. Пытаясь удержаться, он прижимался к склону всем телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и наконец, решившись, толчком бросился в сторону, покатился, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня.

Одинокая молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выступивший на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

* * *

Четыре головы склонились над придавленной камешками картой. Палец прораба царапал бумагу сломанным ногтем.

— Сегодня мы дошли наконец до северо-восточной границы планшета. Вот здесь эта долина, Олег Сергеевич. Там опять сброс, впритык стоят древние диориты. Следовательно, конец нашего островка метаморфической толщи [1] — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, торопясь до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извивами горизонталей, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими линиями перед геологом вставала история окружающей местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам! — низкое, ровное плоскогорье раскололось гигантскими трещинами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал; теперь там, в этой

[1] Метаморфическая толща — пласты осадочных пород, измененных влиянием давления и температуры в более глубоких слоях земной коры.

котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками и глинами на дно низкой котловины. Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — ведь он не более тридцати метров толщины! Но для того чтобы предпринять такую работу, нужно знать хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуза были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...

Нет, тайну Белого Рога надо раскрыть во что бы то ни стало! Только на этой вершине лежит ключ к рудным сокровищам, погребенным снизу. Олово! Как нужно оно нашей стране! Это ясно сознает он, геолог. Значит, геолог и должен сделать то, чего не могут другие — те, кто не понимает всей важности открытия.

Уставшие за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался на теплую землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по темным обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку.

«Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила».

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки послышалось тихое пение. Усольцев прислушался: пела Вера Борисовна.

«Узна́ешь, мой княже, тоску и лишенья, великую страду, печаль...» — тихо разносился голос по выбеленной луной степи.

Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место. «Нет, подожду немного, пока не уедет. Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... Будто я из-за нее полез... Тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!»

* * *

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич? — спросил Усольцева прораб.

— Никуда — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и коллекций. Потом поедете в Киргиз-Сай за подводой.

— Значит, переберемся поближе к границе?

— Да, в Такыр-Ачинохо.

— Это хорошо, там места куда лучше: горы повыше и рощицы есть, не то что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?

— Нет, проедусь вдоль главного сброса.

— К Ак-Мюнгузу?

— Нет, немного дальше.

— Знаете, я забыл вам сказать. Когда я был в Ак-Таме, мне рассказывали, что на Ак-Мюнгуз пробовали взбираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алма-Аты...

— Ну и что? — с нетерпением перебил Усольцев.

— Признали Белый Рог абсолютно неприступным.

* * *

Облако пыли поднималось за рыжим иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвинувшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старающийся под-

няться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножию горы ветер накатывал клубки сухих колючих растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлись друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темно-серые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелкослоистую поверхность обрыва — стену из тонких, плотно уложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуза не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров, то есть на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был неприступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы.

Если бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это? Альпинисты и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуза к устью сухой долины. «Эверест, Номпомо, Макалу, Канг-ченгюнга — высочайшие пики Гималаев, — думал он. — Что Гималаи? Совсем близко отсюда светящийся голубой Хан-Тенгри, алмазные зубцы Сарыджаса. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горы, тусклое, лиловое от жары небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветреный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках старых, полуразваленных гор есть свое особенное, грустное очарование. Даже на висящих у горизонта бледных, простых по очертаниям облаках тоже печать сухой, грустной Азии, страны обнаженного камня и высокого, чистого неба».

В душном зное долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой жилы, похожей на рваное мясо, пересекающей темную массу сланцев... По

выступам этого столба с серебряными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей наискось второй жилы. Но дальше — дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь, как червяк. Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися от малейшего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа...

Усольцев спешился и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, то оттуда почти до самого Рога ровная поверхность склона. А какими силами удержишься на ребре? Кто спустит веревку с самого пика? Усольцев проследил взглядом за протянутым мысленно канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, вернее, выступ нижних черных пород, примыкающий к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижалась к зубцу и почти не была видна снизу.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее — это значит добраться до зубца».

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы.

* * *

— Какой прохладный вечер! — Прораб лениво развалился на кошме в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан. — Потом пять дней дует сильный ветер оттуда. — Уйгур махнул рукой в сторону Или. — Бывает совсем холодно.

— Отдохнем от жары перед отъездом. Верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал: сидит, молчит. Раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза остались серьезными. — Я понимай: начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо, как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно. Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась; невольно улыбнулся и

Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старый сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан? Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джахши, чай готовлю, потом буду рассказать, — согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытащил пиалы, лепешки, уселся, скрестив ноги, и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь уйгура, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно — лет триста назад. Легенда так отвечала его собственным мыслям, что геолог не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел. Усольцев лежал под яркими, близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и дополняя его новыми подробностями.

...Всей этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным набегам на соседей. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан наткнулся на целую орду свирепых джете [1]. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц, женщине необыкновенной красоты, возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних женщин, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она, по древнему обычаю, стала любимой наложницей его и двух его старших сыновей.

---

[1] Джете — в древности так назывались крупные разбойничьи отряды или племена.

Прошло два года. Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хан раскинул свой лагерь у края зеленой глади Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт вырастало на равнине.

Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин. Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном белом верблюде с короткой, мягкой, как шелк, шерстью. Странен был и наряд его: лицо обвязано черным платком, на голове — золоченый плоский шлем со стрелой, широкая кольчуга спадала почти до колен, обнаженных и стянутых черными ремнями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Неторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, закрывавший лицо, почтительно и смело поклонился владыке.

Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути — пути воина и начальника, пути храбреца, неспособного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем.

— Великий хан, — сказал приезжий, — я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего Красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная вами Сейдюруш, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно кивнул, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождавшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, погибал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь, перед тобою. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все по-прежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель, — я знаю, не может быть иначе: она тоже долго и верно ждала моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Останься на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что начертал аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любимой песни хана о горном орле зазвучали песни, восхваляющие Сейдюруш, возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец — гордость народа — пропел о том, как любит и ласкает Сейдюруш своих повелителей, чужой воин вскочил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостоин даже ползать в ногах?

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Двое джигитов яростно бросились на чужеземца. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил нападавших, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком метнулся к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к стене, встретил толпу врагов. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь. Два, три, пять человек упали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротою молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все страшнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Нехотя отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обагренный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самонадеянность пролила столько крови? — гневно спросил хан.

— Правды, — ответил воин.

— Правды? Хорошо. Так знай же, я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы, — истинная правда!

Вздрогнул чужеземец, выронив топор и щит. Старым и измученным стало его лицо.

— Что же, ты по-прежнему просишь отдать ее тебе? — спросил хан.

Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется согнутый арабский клинок.

— Да, хан, — был твердый ответ.

В жестокой усмешке оскалил хан зубы:

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов, — бесстрашно ответил воин.

Хан задумался.

— Теперь год быка[1], — обратился он к гостям. — Помните пророчество, написанное над входом древнего гумбеза, который стоит вблизи Ак-Мюнгуза? «В год быка кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнгуз остался недоступным. Вот твоя плата, храбрец, — повернулся хан к неподвижно слушавшему воину, — поднимись на Ак-Мюнгуз и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда — слово мое твердо! — ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

Но чужеземец не дрогнул. Его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполню твою волю. Только знайте, ты, повелитель, и вы, его подданные: каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюруш. Я иду защищать поруганную ею честь своей гордой родины, вернуть в глазах вашего народа славу моей далекой страны. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч, чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнгуза. Залили салом волка ножны, обвили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнгузу. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы. Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов.

Наутро выдался хмурый, ветреный день. Словно само небо гневалось на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвевая неприступную кручу Ак-Мюнгуза. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, при-

[1] Мусульманский календарь солнечного года имеет двенадцатилетний цикл, каждый год которого называется по имени животного.

вязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнгуз: он положил меч на вершину рога и спустился обратно. Шатаясь, стоял он перед ханом, весь изодранный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюруш. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятанный за поясом острый нож, он пронзил сердце своей невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но отец гневно остановил их:

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

* * *

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца, горы выглядели суровыми и хмурыми.

Усольцев спешился и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди пасись, — строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был нужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом — если удастся...

Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он влезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том гибельном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он

находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же сказочный воин? Ветер... Да, воин поднялся в такой же бурный день...» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручу и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше.

Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему всё новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины кливажа [1], места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев [2] образовывали небольшие уступы — возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным пóтом и судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за края площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вер-

[1] Кливаж — система трещин разной величины, пронизывающих породу.

[2] Головы слоев — края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.

шиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита[1], жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солнца» турмалинов и главная цель его предприятия — большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее незнакомой Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию[2], — подумал Усольцев. — Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным».

Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще не пройденная смертная грань; спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что, если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим — не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.

С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на

---

[1] Мусковит — белая слюда.

[2] Пластовая интрузия — вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.

плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении поисков.

Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: «Внимание! Здесь данные об открытом мною месторождении Белого Рога», положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина: как поворачивают его размозженный труп, ищут в карманах документы... Усольцев невольно зажмурился, размотал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке...»

В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже.

С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз...

* * *

...Он открыл глаза и увидел над собой золотое утреннее небо. В небе, совсем низко, так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб — он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним.

Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего коня и снова погрузился во мрак.

...Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.

— Чего ты боишься, Арслан? Я живой.

— Где ты был, начальник? — спросил Арслан.

— Там! — Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгуза. — Вот, смотри! — Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.

Половина ножен отвалилась при спуске, из-под растрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая сталь — сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.

Старик опустился на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты? Бери, смотри, — повторил геолог.

— Нет, — затряс головой уйгур, — никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты...

* * *

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. Над ней вздымалось облачко желтой пыли — крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.

— Я вас узнала издалека. — Она внимательно присматривалась к нему. — Куда вы едете?

— Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.

Усольцев впервые смотрел на нее спокойно и смело.

— Я поняла, что совсем не знаю вас... — негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь. — Я видела вашего Арслана... — Она помолчала.— Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече... Ну, мои уже далеко. — Она поглядела вслед подводе. — До свидания... батур!

Молодая женщина пришпорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.

ОЛГОЙ-ХОРХОЙ

По приглашению правительства Монгольской Народной Республики я проработал два лета, выполняя геодезические работы на южной границе Монголии. Наконец мне оставалось поставить и вычислить два-три астрономических пункта в юго-западном углу границы Монгольской Республики с Китаем. Выполнение этого дела в труднопроходимых безводных песках представляло серьезную задачу. Снаряжение большого верблюжьего каравана требовало много времени. Кроме того, передвижение этим архаическим способом казалось мне нестерпимо медленным, особенно после того, как я привык переноситься из одного места в другое на автомобиле. Верная моя «газовская» полуторатонка добросовестно служила мне до сих пор, но, конечно, сунуться на ней в столь страшные пески было просто невозможно. Другой пригодной машины не было под руками. Пока мы с представителем Монгольского ученого комитета ломали голову, как выйти из положения, в Улан-Батор прибыла большая научная советская экспедиция. Ее новенькие, превосходно оборудованные грузовики, обутые в какие-то особенные сверхбаллоны специально для передвижения по пескам, пленили все население Улан-Батора. Мой шофер Гриша, очень молодой, увлекающийся, но способный механик, любитель далеких поездок, уже не раз бегал в гараж экспедиции, где он с завистью рассматривал невиданное новшество. Он-то и подал мне идею, после осуществления которой с помощью Ученого комитета наша машина получила новые «ноги», по выражению Гриши. Эти «ноги» представляли собой очень маленькие колеса, пожалуй меньше тормозных барабанов, на которые надевались непо-

мерной толщины баллоны с сильно выдающимися выступами. Испытание нашей машины па сверхбаллонах в песках показало действительно великолепную ее проходимость. Для меня, человека большого опыта по передвижению на автомашине в разных бездорожных местах, казалась просто невероятной та легкость, с которой машипа шла по самому рыхлому и глубокому песку. Что касается Гриши, то он клялся проехать на сверхбаллонах без остановки всю Черную Гоби с востока на запад.

Автомобильных дел мастера из экспедиции снабдили нас, кроме сверхбаллонов, еще разными инструкциями, советами, а также множеством добрых пожеланий. Вскоре наш дом на колесах, простившись с Улан-Батором, исчез в облаке пыли и понесся по направлению на Цецерлег. В обтянутом брезентом, на манер фургона, кузове лежали драгоценные сверхбаллоны, громыхали баки для воды и запасная бочка для бензина. Многократные поездки выработали точное расписание размещения людей и вещей. В кабине с шофером сидел я за специально пристроенным откидным столиком для ппкетажной книжки. Тут же помещался маленький морской компас, по которому я записывал`курс, а по спидометру — расстояния, пройденные машиной. В кузове, в передних углах, помещались два больших ящика с запасными частями и резиной. На них восседали: мой помощник — радист и вычислитель, и проводник Дархин, исполнявший также обязанности переводчика, умный старый монгол, много повидавший на своем веку. Он сидел на ящике слева, чтобы, склонившись к окну кабины, указывать Грише направление. Радист, мой тезка, страстный охотник, восседал на правом ящике с биноклем и винтовкой, охраняя в то же время теодолит и универсал Гильдебранта... Позади них кузов был аккуратно заполнен свернутыми постелями, палаткой, посудой, продовольствием и прочими вещами, необходимыми в дороге.

Путь лежал к озеру Орок-нор и оттуда в самую южную часть республики, в Заалтайскую Гоби, около трехсот километров к югу от озера. Наша машина пересекла Хангайские горы и выбралась на большой автомобпльный тракт. Здесь, в селении Таца-гол, в большом гараже мы проверили машину и запаслись горючим на весь путь, подготовившись таким образом к решительпой схватке с неизвестными песчаными пространствами

Заалтайской Гоби. Бензин на обратную дорогу нам должны были забросить на Орок-нор.

Все шло очень хорошо в этой поездке. До Орок-нора нам встретилось несколько трудных песчаных участков, но с помощью чудодейственных сверхбаллонов мы прошли их без особых затруднений и к вечеру третьего дня увидели отливающую красноватым светом ровную поверхность горы Ихэ. Как бы радуясь вечерней прохладе, мотор бодро пофыркивал на подъемах. Я решил воспользоваться холодной ночью, и мы ехали в мечущемся свете фар почти до рассвета, пока не заметили с гребня глинистого холма темную ленту зарослей на берегу Орок-нора. Дремавшие наверху проводник и Миша слезли с машины. Площадка для стоянки была найдена, топливо собрано, и вся наша небольшая компания расположилась на кошме у машины пить чай и обсуждать план дальнейших действий. Отсюда начинался неизвестный маршрут, и я хотел вначале его отнаблюдать и поставить астрономический пункт, проверив казавшиеся мне сомнительными наблюдения Владимирцева. Шофер хотел хорошенько проверить и подготовить машину, Миша — настрелять дичи, а старый Дархин — потолковать о дороге с местными аратами. Объявленная мною остановка на сутки была принята со всеобщим одобрением.

Определив, с какой стороны и под каким углом машина дольше задержит лучи утреннего солнца, мы улеглись около нее на широкой кошме. Влажный ветерок чуть шелестел камышом, и особенный аромат какой-то травы смешивался с запахом нагретой машины — комбинацией запахов бензина, резины и масла. Так приятно было вытянуть уставшие ноги и, лежа на спине, вглядываться в светлевшее небо! Я быстро уснул, но еще раньше услышал рядом с собой ровное дыхание Гриши. Проводник с помощником долго шептались о чем-то. Проснулся я от жары. Солнце, отхватив большую часть тени, отбрасываемой машиной, сильно нагрело мои ноги. Шофер, вполголоса напевая что-то, копошился у передних колес. Миши и проводника не было. Я встал, искупался в озере и, напившись приготовленного мне чаю, стал помогать шоферу.

Выстрелы, раздавшиеся вдалеке, свидетельствовали о том, что Миша тоже не теряет времени даром. Возню с машиной мы закончили под вечер. Миша принес несколько уток — из них двух каких-то очень красивых,

неизвестной мне породы. Шофер занялся приготовлением супа, а Миша установил походную антенну и вытащил радиостанцию, готовя ее к ночному приему сигналов времени. Я бродил вокруг лагеря, выбирая площадку для наблюдения и постановки столба. Подойдя к машине, я увидел, что обед уже готов. Проводник, который тоже вернулся, что-то рассказывал шоферу и Мише. При моем появлении старик замолчал. Гриша, широко и беззаботно улыбаясь, сказал мне:

— Стращает нас Дархин, прямо нет спасения, Михаил Ильич! Говорит, что прямо к бесу в лапы завтра попадем!..

— Что такое, Дархин? — спросил я проводника, подсаживаясь к котлу, установленному на разостланном брезенте.

Старый монгол негодующе посмотрел на шофера и с мрачным видом пробормотал о смешливости и непонятливости Гриши:

— Гришка всегда хохочет, беду совсем не понимает...

Веселый смех молодых людей, последовавший за этим заявлением, совсем рассердил старика. Я успокоил Дархина и стал расспрашивать его о завтрашнем пути. Оказалось, что он получил подробные сведения от местных монголов. Сухим стебельком Дархин начертил на песке несколько тонких линий, означавших отдельные горные группы, на которые распадался здесь Монгольский Алтай. Через широкую долину, западнее Ихэ-Богдо, наш путь лежал прямо на юг по старой караванной тропе, через песчаную равнину, к колодцу Цаган-Тологой, до которого, по сообщению Дархина, было пятьдесят километров. Оттуда шла довольно хорошая дорога по глинистым солонцам, протяженностью около двухсот пятидесяти километров, до горной гряды Ноин-Богдо. За этими горами к западу шла широкая полоса грозных песков, не менее сорока километров с севера на юг, — пустыня Долон-Хали-Гоби, а за ней, до самой границы Китая, тянулись пески Джунгарской Гоби. Эти пески, по словам Дархина, были совершенно безводны и безлюдны и слыли у монголов зловещим местом, в которое опасно было попадать. Такая же дурная слава шла и про западный угол Долон-Хали-Гоби. Я постарался уверить старика в том, что при быстроходности нашей машины — он мог познакомиться с ней за время пути — пески нам не будут опасны. Да мы и не собираемся долго задерживаться

в них. Я только посмотрю на звезды — и обратно. Дархин молча покачал головой и ничего не сказал. Однако ехать с нами он не отказался.

Ночь прошла спокойно. Я с трудом и неохотно поднялся до рассвета, разбуженный Дархином. Мотор гулко зашумел в предутренней тишине, будя еще не проснувшихся птиц. Свежая прохлада вызывала легкую дрожь, но в кабине я согрелся и опустил стекло. Машина шла быстро, сильно раскачиваясь. Пейзаж ничем не привлекал внимания, и скоро я начал дремать. Хорошо дремлется, если высунуть локоть согнутой руки из окна кабины и положить голову на руку. Я просыпался при сильных толчках, отмечал компас и снова дремал, пока не выспался. Шофер остановил машину. Я закурил, прогнав последние остатки сна. Мы находились у самой подошвы гор. Солнце жгло уже сильно. Баллоны нагрелись до того, что нельзя было притронуться к их узорчатой черной резине. Все вылезли из машины размяться. Гриша по обыкновению осматривал свою «машинушку», или «машу», как он еще называл доблестную полуторатонку. Дархин всматривался в крутые красноватые склоны, от которых шли в степь длинные хвосты осыпей. Солнечные лучи падали параллельно линии гор, и каждая выбоина коричневых или карминно-красных обрывов, каждая долинка или промоина были заполнены густыми синими тенями, образовавшими самые фантастические узоры.

Я любовался причудливой раскраской и впервые понял, откуда, должно быть, ведет свое начало сине-красный узор монгольских ковров. Дархин показал далеко в стороне, к западу, широкую долину, разрезавшую поперек горную цепь, и, когда мы расселись по своим местам, шофер повернул уже остывшую машину направо. Солнце все сильнее накаляло капот и кабину, мощность перегревшегося мотора упала, и даже на небольшие подъемы приходилось лезть на первой передаче. Почти беспрерывное завывание машины угнетающе действовало на Гришу, и я не раз ловил его укоризненные взгляды, но не подавал виду, надеясь добраться до какой-нибудь воды, чтобы не расходовать прекрасную воду из озера. Мои ожидания не были напрасны: слева мелькнул крутой обрыв глубокого ущелья, с травой на дне, того самого ущелья, в которое нам предстояло углубиться. Несколько минут спуска — и Гриша, довольно

улыбаясь, остановил машину на свежей траве. Под обрывом скал, по характеру места, должен был быть родник. Крутые скалы отбрасывали благодатную тень. Ее синеватый плащ укрыл нас от ярости беспощадного царя пустыни — солнца, и мы занялись чаепитием у подножия скал.

Едва жара начала «отпускать», мы все заснули, чтобы набраться сил для ночной езды. Спал я долго и едва открыл глаза, как услышал громкое восклицание шофера:

— Смотрите скорее, Михаил Ильич! Я все боялся, что проспите и не увидите... Я спросонок даже испугался — понять ничего не мог. Прямо пожар кругом!

Я поднялся, ничего не соображая, и вдруг замер.

В самом деле, окружающий нас пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал слева и справа от нас алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой причудливые формы выветривания создавали синие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие, — целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдали, в ущелье, сходились две стены: левая — огневая, правая — исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, что все мы застыли в невольном молчании.

— Ну-ну!.. — Гриша очнулся первым. — Попробуй расскажи в Улан-Баторе про такое — девки с тобой гулять перестанут, скажут: «Допился парень до ручки...» Заехали в такие места, что как бы Дархин не оказался прав...

Монгол ничем не отозвался на упоминание его имени. Неподвижно сидя на кошме, он не отрывал глаз от пылающего ущелья. Огненные краски меркли, постепенно голубея. Откуда-то едва потянуло прохладой. Пора было трогаться в путь. Мы покурили, уничтожили по банке сгущенного молока, и снова крыша кабины закрыла от меня небо. Дорога бежала и бежала под край радиатора и крыло машины. Фара, обращенная ко мне своим выпуклым затылком с кольчатым проводом, настороженно уставилась вперед, вздрагивая при сильных толчках. До наступления темноты мы подъехали к колодцу Бор-Хи-

суты, представлявшему собой защищенный камнями родник с горьковатой водой. Впереди маячили какие-то холмы, названия которых Дархин не знал.

Стемнело. Скрещенные лучи фар побежали впереди машины, увеличивая в своем скользящем косом свете все мелкие неровности дороги. Плотнее придвинулась темнота, и чувство оторванности от всего мира стало еще сильнее... Прямо впереди нас поднималась, вырастая, темная, неопределенных очертаний масса — должно быть, какие-то холмы. Пора было остановиться, передохнуть до рассвета. У холмов могли быть овраги — ночная езда здесь была рискованной. Скоро в багровеющем небе четко вырисовались закругленные вершины холмов — хребет Ноин-Богдо, в этом месте сильно пониженный. Легко преодолев перевал, мы остановились на выходе из широкой долины, чтобы надеть сверхбаллоны: мы вступали в Долон-Хали-Гоби. Пустыня расстилала перед нами свой однотонный красновато-серый ковер. Далеко, в туманной дымке, едва угадывалась полоска гор. Горы эти, в старину называвшиеся «Койси-Кара», и были целью моего путешествия. Я хотел поставить астропункт на низкой горной гряде, разделяющей две песчаные равнины Джунгарской Гоби. Если бы мы нашли там воду, то, пользуясь сверхбаллонами, можно было бы пересечь пески Джунгарской Гоби примерно до границы с Китаем и еще раз отнаблюдать. Так или иначе, нужно было торопиться. Вероятность нахождения воды в неизвестном проводнику месте была небольшой, а отклоняться от маршрута в сторону было бы небезопасно из-за неминуемого перерасхода горючего. Мы выехали, несмотря на то, что над песками уже дрожала дымка знойного марева. Навстречу нам шли без конца все новые и новые волны застывшего душного моря песка. Желтый цвет песка иногда сменялся красноватым или серым; разноцветные переливы солнечной игры временами бежали по склонам песчаных бугров. Иногда на гребнях барханов колыхались какие-то сухие и жесткие травы — жалкая вспышка жизни, которая не могла победить общего впечатления умершей земли...

Мельчайший песок проникал всюду, ложась матовой пудрой на черную клеенку сиденья, на широкий верхний край переднего щитка, на записную книжку, стекло компаса. Песок хрустел на зубах, царапал воспаленное лицо, делал кожу рук шершавой, покрывал все вещи в кузове.

На остановках я выходил из машины, взбирался на самые высокие барханы, пытаясь увидеть в бинокль границу жутких песков. Ничего не было видно за палевой дымкой. Пустыня казалась бесконечной. Глядя на машину, стоящую, накренясь на один бок, с распахнутыми, как крылья, дверцами, я старался победить тревогу, временами овладевавшую мною. В самом деле, как ни хороши новые баллоны, но мало ли что может случиться с машиной. А в случае серьезной, не исправимой на месте поломки шансов выбраться из этой безлюдной местности у нас было мало... Не слишком ли смело я пустился в глубь песков, рискуя жизнью доверившихся мне людей? Такие мысли все чаще одолевали меня в песках Долон-Хали. Но я верил в нашу машину. Так же успокоительно действовал на меня старый Дархин. Малоподвижное «буддийское» лицо его было совершенно спокойно. Молодые же мои спутники не задумывались особенно над возможными опасностями.

Меня смущало то, что после пятичасового пути впереди по-прежнему не было заметно никаких гор. На шестьдесят седьмом километре песчаные волны стали заметно понижаться и вместе с тем начали подъем. Я понял, в чем дело, когда через каких-нибудь пять километров мы переваливали небольшой глинистый уступ и Гриша сразу же затормозил машину. Пески Долон-Хали заполняли обширную плоскую котловину, находясь на дне которой я, конечно, не мог видеть отдаленные горы. Едва же мы поднялись на край котловины и оказались на ровной, как стол, возвышенности, обильно усыпанной щебнем, горы неожиданно выступили прямо на юге, километрах в пятнадцати от нас. Блестящий щебень, покрывавший все видимое вокруг пространство, был темно-шоколадного, местами почти черного цвета. Нельзя сказать, чтобы эта голая черная равнина производила отрадное впечатление. Но для нас выход на ровную и твердую дорогу был настоящей радостью. Даже невозмутимый Дархин поглаживал пальцами редкую бородку, довольно улыбаясь. Сверхбаллоны отправились на отдых в кузов. После медленного движения через пески быстрота, с которой мы добрались до гор, казалась необычайной. Некоторое время пришлось проблуждать у подножия гор в поисках воды.

К закату солнца мы были на южной стороне, где и обнаружили родник в глубоком овражке, впадавшем в

большое ущелье. Водой мы были теперь обеспечены. Не дожидаясь чая, я отправился вместе с Мишей на ближайшую вершину, чтобы успеть до темноты разыскать удобную для астрономического пункта площадку. Горы были невысоки, их обнаженные вершины поднимались метров на триста. Горная цепь имела своеобразные очертания лунного серпа, открытого к югу, к пескам Джунгарской Гоби, а выпуклостью с более крутыми склонами обращенного на север. С южной стороны горной дуги между рогами полумесяца тянулся в виде прямой линии обрыв, ниспадавший к высоким барханам песчаного моря. Наверху было ровное плато, поросшее высокой и жесткой травой. Плато ограничивали с трех сторон конусовидные вершины с острыми зазубренными верхушками. Истерзанные ветрами горы казались угрюмыми. Страшное чувство потерянности охватывало меня, когда я вглядывался в бесконечные равнины на юге, востоке и севере. Только вдали, на западе, туманились еще какие-то горные вершины, такие же невысокие, бесцветные и одинокие, как и те, с которых я смотрел.

Плато внутри полумесяца было идеально для наблюдений, поэтому мы перенесли на него радиостанцию и инструменты. Вскоре сюда же перебрались и шофер с проводником, притащившие постели и еду. Далеко внизу стояла наша машина, казавшаяся отсюда серым жуком. Мертвая тишина безжизненных гор, нарушаемая только едва слышным шелестом ветра, невольно нагнала на всех задумчивое настроение. Мои спутники расположились отдыхать на кошме, только Миша неторопливо соединял контакты сухих батарей. Я подошел к обрыву и долго смотрел вниз, на пустыню. Скалы с изрытой выветриванием поверхностью поднимались над слегка серебрящейся редкой полынью. Однообразная даль уходила в красноватую дымку заката, позади дико и угрюмо торчали пильчатые острые вершины. Беспредельная печаль смерти, ничего не ждущее безмолвие веяли над этим полуразрушенным островом гор, рассыпающихся в песок, вливаясь в безымянные барханы наступающей пустыни. Глядя на эту картину, я представил себе лицо Центральной Азии в виде огромной полосы древней, уставшей жить земли — жарких безводных пустынь, пересекающих поверхность материка. Здесь кончилась битва первобытных космических сил и жизни, и только недвижная материя горных пород еще вела свою молчаливую борьбу

с разрушением... Непередаваемая грусть окружающего наполнила и мою душу.

Так размышлял я, как вдруг давящая тишина отхлынула под веселыми звуками музыки. Контраст был так неожидан и силен, что окружающий меня мир как бы раскололся, и я не сразу сообразил, что радист нащупал точную настройку на одну из станций. И люди сразу оживились, заговорили, стали хлопотать о еде и чае. Миша, довольный произведенным впечатлением, долго еще держал натянутой невидимую нить, связывавшую затерянных в пустыне исследователей с живым и теплым биением далекой человеческой жизни.

Ночь, как и всегда, была ясной. Здесь, высоко на плато, стало прохладно. Дымка нагретого воздуха не мешала, как обычно, наблюдениям. Не спали только мы с Мишей. Но сейчас мое внимание унеслось в такую даль, перед которой все ландшафты земли казались мгновенной тенью, — звезды были надо мной. На них была наведена труба моего инструмента. Ярким огоньком горела звезда, пойманная в крест нитей, серебристо блестел лимб[1] в слабоосвещенном окошечке верньера[2]. Под окулярами горизонтального и вертикального кругов медленно сменялись черточки на шкале, в то время как в наушниках радио неслись размеренные хрипловатые сигналы времени.

Я дважды уже повторял наблюдения, меняя способ, так как хотел добиться безусловно верного определения. Не скоро кто-нибудь заберется сюда повторить и проверить мои данные, и продолжительное время картографы будут опираться на этот ориентир, теперь имеющий точное место на поверхности земного шара... Наконец я выключил лампочку и отправился спать. Небольшой колышек остался до утра, обозначая точку, в которую завтра мои помощники забьют и зальют цементом железный кол с медной дощечкой. Наваленная сверху высокая пирамида камней издалека укажет астрономический пункт в этой забытой местности. Право же, это хорошая память по себе и хороший вид творческой работы на общую пользу...

В чистом и прохладном воздухе плато, под низкими

[1] Лимб — посеребренное кольцо с нанесенными на него делениями градусов, минут и секунд.

[2] Верньер — дополнительная шкала делений для точных отсчетов по лимбу.

звездами я хорошо выспался и поэтому проснулся рано. Рассветный ветерок тянул холодом. Все уже встали и возились с установкой железного столбика. Я потянулся и решил еще полежать, покуривая и обдумывая наш дальнейший путь. Я решил, если пески Джунгарской Гоби окажутся трудными для нашей машины, не рисковать, гоняясь за мифической линией границы среди пустынных песков. Все же, перед тем как повернуть назад, к зеленой жизни района Орок-нора, я задумал немного углубиться в пески, чтобы составить представление об этой пустыне. Вдали я различил незначительную возвышенность. Туда я и хотел проехать и осмотреть в бинокль пустыню дальше к югу и к китайской границе.

Тихо ступая, ко мне приблизился Дархин. Увидев, что я не сплю, он сел около меня и спросил:

— Как решил: едем Джунгарскую Гоби сквозь?

— Нет, решил не ехать, — ответил я. (Лицо старика дрогнуло, узкие глаза радостно блеснули.) — Только немножко поедем вон туда. — Я приподнялся на локте и указал рукой по направлению далекого холма. За этим темным конусом тянулась цепь еще более высоких.

— Зачем? — удивился монгол. — Лучше плохое место совсем не ехать, обратно хорошо поедем...

Я поспешил подняться с кошмы и тем самым оборвал воркотню старого проводника. Солнце еще не нагрело песка, как мы уже въезжали на сверхбаллонах прямо в глубь пустыни, держа направление на группу холмов. Шофер напевал веселую песенку, заглушаемую воем машины. Качка по обыкновению начала действовать на меня, убаюкивая и клоня ко сну. Но даже сквозь дрему я заметил необычайный оттенок песков Джунгарской Гоби. Яркий свет уже сильно припекавшего солнца окрашивал склоны барханов в фиолетовый цвет. Тени в этот час исчезали, и разная освещенность песков отражалась лишь в большей или меньшей примеси красного тона. Этот странный цвет еще больше подчеркивал мертвенность пустыни.

Должно быть, я незаметно заснул на несколько минут, потому что очнулся от молчания мотора. Машина стояла на бархане, опустив передок в оседавший рыхлый скат, по которому еще катились вниз потревоженные песчинки. Я поднял крючок, толкнул дверцу кабины, вышел на подножку и оглянулся кругом.

Впереди и по сторонам высились гигантские барханы

невиданных размеров. Неверная игра солнца и воздушных потоков заставила меня принять их за отдаленные горы. Я и теперь не понимал, как я мог ошибиться. Всего за несколько минут до этого я готов был клясться, что совершенно ясно видел группу холмов. Утопая в песке, я взобрался на один из больших барханов и стал разглядывать песчаное море на юге. Монгол присоединился ко мне. Лукавые искорки мелькали в его темных глазах. Было ясно, что дальнейшее продвижение к югу не имело смысла — никаких холмов или гор не было заметно вдали. Дархин уверял, что монголы говорили ему о песках, тянущихся до самой границы. Можно было поворачивать назад. Спутники мои заметно обрадовались такому распоряжению. Безмолвные пески действовали на всех угнетающе. Гулкая песня мотора снова восторжествовала над песчаным покоем. Машина накренилась и, сползая со склона, повернула свои фары обратно на север.

Я сложил и спрятал записную книжку, прикрыл компас и приготовился продолжать прерванную дрему.

— Ну, Михаил Ильич, хорошенько поднажать — и до Орок-нора доберемся или уж до горящих скал наверно, — блестя своими ровными зубами, сказал Гриша.

Звонкий грохот над головой заставил нас вздрогнуть. Это радист стучал в крышку кабины. Наклонившись к окну, он старался перекричать шум мотора. Правой рукой он показывал направо.

— Что еще там у них? — с досадой сказал шофер, придерживая машину, но вдруг резко затормозил и крикнул мне: — Смотрите скорее! Что такое?..

Окошко кабины на минуту заслонил спрыгнувший сверху радист. С ружьем в правой руке он бросился к склону большого бархана. В просвете между двумя буграми был виден низкий и плоский бархан. По его поверхности двигалось что-то живое. Хотя это двигавшееся существо и было очень близко к нам, но мне и шоферу не удалось сразу разглядеть его. Оно двигалось какими-то судорожными толчками, то сгибаясь почти пополам, то быстро выпрямляясь. Иногда толчки прекращались, и животное попросту катилось по песчаному склону. Следом сползал и песок, но оно как-то выбиралось из осыпи.

— Что за чудо? Колбаса какая-то, — прошептал у меня над ухом шофер, словно боясь спугнуть неведомое существо.

Действительно, у животного не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз; правда, последние могли быть незаметны на расстоянии. Больше всего животное походило на обрубок толстой колбасы около метра длины. Оба конца были тупые, и разобрать, где голова, где хвост, было невозможно. Большой и толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Было что-то отвратительное и в то же время беспомощное в его неловких, замедленных движениях. Не будучи знатоком зоологии, я все же сразу сообразил, что перед нами совсем неизвестное животное. В своих путешествиях я часто сталкивался с самыми различными представителями животного мира Монголии, но никогда не слыхал ни о чем похожем на этого громадного червяка.

— Ну и пакостная штука! — воскликнул Гриша. — Бегу ловить, только перчатки надену, а то противно! — И он выскочил из кабины, схватив с сиденья свои кожаные перчатки. — Стой, стой! — крикнул он радисту, прицелившемуся с верхнего бархана. — Живьем бери! Видишь, ползет еле-еле!

— Ладно. А вот и его товарищ, — отозвался Миша и осторожно положил ружье на гребень бархана.

В самом деле, по песчаному склону скатывалась вниз вторая такая же колбаса, пожалуй побольше размером. В эту минуту сверху из кузова раздался пронзительный вопль Дархина. Старик, очевидно, крепко спал, и его только сейчас разбудили беготня и крики. Монгол громко кричал что-то неразборчивое, что-то похожее на «оойоой». Шофер уже взбежал на бархан и вместе с радистом кинулся вниз. Юноши бежали быстро. Все, что произошло дальше, было делом одной минуты. Я торопливо выскочил из кабины, намереваясь принять участие в ловле необыкновенных существ. Но едва я отошел от машины, как монгол кубарем скатился на песок из кузова и вцепился в меня руками. Обычно спокойное лицо его исказил дикий страх.

— Обратно ребят зови!.. Скорее! Там смерть! — сказал он, задыхаясь, и опять завопил фальцетом: — Оойоой!..

Крепкие пальцы Дархина едва не оторвали мне рукав.

Скорее удивленный, чем испуганный непонятным поведением старика, я крикнул шоферу и Мише, чтобы они шли назад. Но те продолжали бежать к неизвестным

животным и либо не слыхали меня, либо не хотели слышать. Я сделал было шаг к ним, но Дархин потянул меня назад. Вырываясь из цепких рук проводника, я в то же время следил за животными. Мои помощники уже подбежали к ним: радист впереди, Гриша чуть сзади. Внезапно червяки свились каждый в кольцо. В тот же момент окраска их из желто-серой, сразу потемнев, стала фиолетово-синей, а на концах ярко-голубой. Без крика, совершенно неожиданно радист рухнул ничком на песок и остался недвижим. Я услышал восклицание шофера, который в это время подбежал к радисту, лежавшему в каких-нибудь четырех метрах от червяков. Секунда — и Гриша так же странно изогнулся и упал на бок. Его тело перевернулось, скатываясь к подошве бархана, и скрылось из глаз. Я вырвался из рук проводника и бросился вперед. Но Дархин с быстротой юноши ухватил меня, как клещами, за ноги, и мы вместе покатились по мягкому песку. Я боролся с монголом, стараясь вырваться от него. Вне себя выхватил я револьвер и направил его на монгола. Щелкнул спущенный предохранитель, и только тогда проводник отпустил меня. Встав на колени, старик протягивал ко мне руки. Хриплое дыхание вместе с криком: «Смерть! Смерть!» — вырывалось из его груди. Я взбежал на бархан, продолжая сжимать в руке револьвер. Таинственные червяки куда-то исчезли. Неподвижные тела товарищей лежали на песке, изборожденном следами омерзительных животных. Монгол бежал вслед за мной и, как только увидел, что червяков нет, бросился, как и я, к нашим спутникам. Страшное горе сжало мне сердце, когда я, склонившись над неподвижными телами, не смог уловить в них ни малейших признаков жизни. Радист лежал с запрокинутой головой. Глаза его были полуоткрыты, лицо спокойно. У Гриши, наоборот, лицо было искажено гримасой внезапной и ужасной боли. У обоих лица были синие, будто от удушья.

Все наши усилия — растирание, искусственное дыхание, даже сделанная Дархином попытка пустить кровь — были безуспешны. Смерть товарищей была очевидной. Она оглушила нас. Все мы за долгое время, проведенное вместе, сдружились и сроднились. Для меня смерть молодых людей была тяжелой потерей. Кроме того, меня мучило сознание своей вины в том, что я не остановил безрассудной погони за неведомыми гадами. Растерян-

ный, почти без мыслей, я молча стоял, оглядываясь по сторонам, в тщетной надежде увидеть снова проклятых червяков и выпустить в них обойму. Старый проводник, опустившись на песок, тихо всхлипывал, и я только потом подумал, как должен быть благодарен старику, спасшему меня от смерти...

Мы перенесли оба тела и положили в кузов машины, не в силах бросить их в страшных фиолетовых песках. Может быть, где-то внутри нас чуть теплилась надежда, что это еще не смерть и наши товарищи, оглушенные неведомой силой, вдруг очнутся. Ни одним словом не обменялись мы с проводником. Глаза монгола тревожно следили за мной до тех пор, пока я не забрался на место Гриши и не запустил мотор. Включая передачу, я бросил последний взгляд на это ничем не отличавшееся от всей пустыни место, где потерял половину своего отряда. Как легко и весело было мне час назад и каким одиноким чувствовал я себя теперь!.. Машина тронулась. Унылое завывание шестерен первой скорости казалось мне невыносимым. Дархин, сидя в кабине, смотрел, как я обращаюсь с машиной, и, уверившись в моем умении, немного приободрился.

В тот день мы доехали только до ночной стоянки и там похоронили своих товарищей вблизи астропункта, под высокой насыпью из камней. Разложение уже тронуло их тела и убило последнюю надежду на «воскрешение».

Я и теперь не могу спокойно вспомнить молчаливую ночь в мрачных горах. Едва дождавшись рассвета, я погнал машину по черному галечнику как мог быстрее. Чем дальше мы удалялись от страшной Джунгарской Гоби, тем спокойнее чувствовал я себя. Пересечение песков Долон-Хали-Гоби — тяжелая работа для неопытного водителя — заняло все мое внимание, несколько отогнав горестные мысли о гибели товарищей.

На отдыхе у огненных утесов я тепло поблагодарил монгола. Дархин был тронут. Он улыбнулся и сказал:

— Я кричал «смерть» — ты все равно бежал. Тогда я хватал тебя: начальник погибай — все погибай. А ты чуть не стрелял меня!..

— Я бежал спасти Гришу и Мишу, — сказал я, — о себе не думал.

Все объяснение этого происшествия, какое я мог получить у проводника да и у всех прочих знатоков Мон-

голии, заключалось в том, что, по очень древним поверьям монголов, в самых безлюдных и безжизненных пустынях обитает животное, называемое «олгой-хорхой». Это название в торопливых выкриках Дархина и показалось мне повторением «оой-оой». Олгой-хорхой не попадал в руки ни одному из исследователей отчасти потому, что он живет в безводных песках, отчасти из-за того страха, который питают к нему монголы. Этот страх, как я сам убедился, вполне обоснован: животное убивает на расстоянии и мгновенно. Что зто за таинственная сила, которой обладает олгой-хорхой, я не берусь судить. Может быть, это огромной мощности злектрический разряд или яд, разбрызгиваемый животным, — я не знаю...

Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить.

ТЕНЬ МИНУВШЕГО

— Наконец-то! Вечно вы опаздываете! — весело воскликнул профессор, когда в его кабинет вошел Сергей Павлович Никитин, молодой, но уже широко известный своими открытиями палеонтолог. — А у меня сегодня были гости. Прямо с сельскохозяйственной выставки. Два знатных чабана из восточных степей. Вот и подарок из уважения к ученым. Смотрите: дыня, большущая, желтая... и как пахнет! Давайте ее вместе того... за здоровье знатных пастухов.

— Вы меня за этим и звали, Василий Петрович?

— Уж очень вы нетерпеливы, молодой человек! Повернитесь-ка налево, вот к этому столику...

Никитин быстро подошел к маленькому столику в углу кабинета.

На сером картоне были аккуратно разложены гладкие темно-коричневые обломки крупных ископаемых костей. Палеонтолог схватил лежавшую слева кость, постучал по ней ногтем, повернул другой стороной. Поочередно пересмотрел все восемь кусков, тяжелых и плотных, пропитанных кремнием и железом.

Многолетняя практика в анатомии скелета давала возможность сразу же мысленно дополнять, восстанавливать недостающие части костей и за их характерной формой угадывать полный скелет вымершего животного.

— Ну, теперь я все понимаю, Василий Петрович. На костях темная полированная корка — пустынный загар [1].

---

[1] **Пустынный загар** — блестящая черная корка, которой покрываются долго находящиеся на поверхности в пустыне камни, даже кирпичи в развалинах старых городов.

Значит, чабаны их собрали прямо с поверхности, в пустыне... Василий Петрович, ведь это динозавры! Такой сохранности! Это первая находка в Союзе. Нужно что-то сделать, чтобы отблагодарить этих чабанов.

— Вы думаете — премию? Да они, мой дорогой, богаче всех нас! Спрашивали, не нужно ли нам чего от их колхоза... Нет, тут чистый интерес к науке. Они завтра придут опять — хотят с вами встретиться и еще принесут какое-то силяу[1]. Ну-ка, давайте дыньку разрежем да рассудим на досуге.

С ломтем ароматной дыни в руке Никитин присел на корточки перед огромной картой на стене кабинета, вглядываясь в левый нижний угол, испещренный мелкими точками — знаком грозных песков.

Старый ученый перегнулся с кресла, следя за пальцем Никитина.

— Это огромное поле костей динозавров примерно здесь, — говорил палеонтолог. — Триста пятьдесят километров от родников Талды-сай. Поблизости — колодцы Биссекты. Ехать придется песками до бугров Лайили. Дальше — каменистая пустыня и местами степь.

Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин, болезненно щурясь, шел через просторный двор товарной станции по мягкому ковру желтой пыли.

Три новенькие автомашины уже выехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером, еще блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повернуты машины, по крупным камням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин.

Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца; косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины пошли в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшийся у северного склона опаленных солнцем холмов.

---

[1] Силяу — дружеский дар в Средней Азии.

Никитин, возвращаясь с позднего заседания, медленно шел вдоль тихо шепчущего арыка. У домов, под густой листвой деревьев, стало темно.

Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывет по воздуху, не касаясь земли. Толстые черные косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на ее спине и спускались до бедер своими распушившимися концами.

Глядя на быстро удалявшуюся фигурку, Никитин остановился, поддавшись минутной задумчивости, потом зашагал быстрее и скоро очутился у больших дощатых ворот приютившего экспедицию дома.

На обширном дворе, освещенном электричеством, Никитин увидел всех участников своей экспедиции, собравшихся у машин. Люди весело смеялись над чем-то, даже угрюмый старший шофер добродушно ухмылялся.

К Никитину быстро подошла черноглазая Маруся, препаратор экспедиции, на днях выбранная парторгом.

— Где вы пропадаете, Сергей Павлович? Мы собрание решили провести, а вас нет. Ждали, ждали, да как-то само собой и началось.

— Веселое собрание! — улыбнулся Никитин.

— Все из-за названий машин, — отозвалась Маруся.

— Каких названий?

— Вы знаете, мы решили начать соревнование между экипажами машин. А тут Мартын Мартынович и предложил: для удобства дать имя каждой машине.

— И на чем же порешили?

В разговор вмешался Мартын Мартынович, пожилой латыш в круглых очках, специалист по раскопкам.

— Вашу назвали «Молния», а две другие — «Истребитель» и «Динозавр».

Мощный гудок в три тона раздался на улице: в воротах вспыхнули и снова погасли фары черного ЗИЛа.

Никитин пошел навстречу секретарю обкома, с которым уже встречался по делам экспедиции.

— Недурно устроились, — огляделся тот. — Когда же в дорогу?

— Послезавтра.

— Отлично, товарищ Никитин! А у меня к тебе просьба... — Секретарь сделал паузу. — Я прямо с заседания... Там, как раз у Биссекты, оказывается, есть ме-

сторождение асфальта. Необходимо исследовать. Мои геологи настаивают... Короче, нужно захватить сотрудника из Геологического управления...

Никитин озабоченно нахмурился. Секретарь взял его под руку, и оба пошли в глубину двора.

— Как будто всё?

— Всё, Сергей Павлович. Можно приступать к погрузке.

— Действуйте вместе с Мартыном Мартыновичем. На нашу «Молнию», передовую, — горючее и инструменты, на «Динозавра» — горючее, доски и оборудование лагеря, на «Истребителя» — воду, продукты и резину.

В низкую открытую дверь врывалось знойное дыхание дня. Никитин собирал в сумку разбросанные по столу бумаги, торопясь на телеграф.

— Можно? — раздался со двора мягкий женский голос.

В слепящем ярком четырехугольнике двери возник стройный черный силуэт, обведенный горящим ореолом по освещенному краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние черные косы. Так вот о каком геологе говорил секретарь!

Смутное предчувствие чего-то хорошего заставило забиться сердце Никитина. Он поднялся навстречу гостье, державшей в руке небольшой чемоданчик, и знакомство состоялось.

— Мириам... а дальше как? — спросил палеонтолог.

— Нургалиева. Но достаточно Мириам, — улыбнулась девушка.

— Так вас не пугает, Мириам, что экспедиция наша трудная и далекая?

Черные глаза насмешливо блеснули.

— Нет, не пугает. Ваша экспедиция так снаряжена... Вчера диспетчер заявил мне, что эта поездка может заменить путевку на курорт.

— Ну хорошо. — Никитин протянул ей руку. — Выбирайте себе машину, какая понравится.

— Мне, если можно, на «Истребитель», к Марусе, — попросила девушка.

— Как это женщины успели сговориться? — рассмеялся палеонтолог, выходя во двор вместе с Мириам. —

Да, — спохватился он, — ведь я, собственно, с вами познакомился еще вчера вечером, на улице Энгельса...

Он поклонился и пошел к воротам, а девушка недоуменно посмотрела ему вслед.

Машины шли гуськом, раскачиваясь и ныряя по бездорожью. Сероватая плоская степь, поросшая полынью, сгорала под высоким солнцем. Однообразным, бескрасочным было блеклое грозное небо без единой тучки, тяжело нависшее над равниной. Четыре дня ровно шумели моторы. Несмотря на медленный ход машин, экспедиция удалилась на четыреста километров от белого города и железной дороги.

На протяжении четырехсот километров, развертываясь, высокие барханы песков сменялись каменистыми холмами, ровной полынной степью, желто-белыми солончаками.

Надрывно скрежетали шестерни передач. Гудели моторы, черные круги рулей скользили в потных, усталых руках шоферов. И летели, летели легким сизым дымком в необъятную степь сотни литров драгоценного бензина.

Только один раз на этом пути, поздним вечером, из-за высоких холмов встало приветливое зарево электрического света — серный завод. А дальше лишь изредка попадались круглые войлочные юрты — временное жилье человека здесь, где вечна лишь неизменная и безликая пустыня...

Миновав завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги. Гладкие такыры[1] блестели в лунном свете, как бесчисленные маленькие озера; машины ускоряли ход на их твердой поверхности. Ночью степь казалась таинственной и приветливой.

Никитин дал распоряжение остановиться на ночлег только тогда, когда машины снова начали нырять, вздымая густую пыль на кочковатой поверхности пухлых глин.

Ярко осветили бивак электрические лампочки, прицепленные к задкам автомобилей. Но место ночлега оказалось неприветливым. Ноги проваливались, как в плотный снег, в кочковатую пыльную почву, из которой кое-где торчали хрупкие голые стебли какой-то высохшей травы.

[1] **Такыр** — участок степи, покрытый засохшей гладкой и твердой глиной, без растительности.

Впереди, еле различимые за завесой лунного света, виднелись бугры Лайили — начало наиболее безводной каменистой пустыни, скрывающей в своей глубине кладбище ископаемых чудовищ.

За бесконечными рядами бугров, усыпанных серым щебнем, особенно сильно чувствовалась оторванность от мира. В неисчислимых поворотах, объездах, спусках и подъемах экспедиция потерялась, словно ушла в небытие. Три серые машины миновали холмы и вышли на мертвую бескрайнюю равнину, занесенную тонким слоем мелкого песка. Над пустыней дрожала дымка разогретого воздуха, дрожащие струи которого скрывали и затушевывали неприглядный пейзаж.

Перед участниками экспедиции возникали манящие голубые озера, чудесные рощи, мерцающие вдали зубцы снежных гор. Иногда перед тупыми носами машин совсем близко плескалось море, легкие туманные волны взметывали белую пену... Через несколько минут на месте моря появлялись ряды белых домов, затененных густыми деревьями, похожие на оставшийся далеко на юге, за песками город. Да и очертания самих машин, такие строгие и отчетливые, расплывались, то удлиняясь до невероятных размеров, то, наоборот, росли в высоту и вздымались подобно исполинским слонам.

Темнело. В последний раз в багровых лучах заката показались высокие голубые и зеленые башни нового призрачного замка и исчезли.

«Молния», вздымая столбы пыли и далеко освещая равнину своими сильными фарами, продолжала путь во главе колонны — здесь можно было ехать и ночью. «Динозавр» и «Истребитель» отстали, чтобы не тонуть в скрывающей дорогу пыли, как это всегда делалось при езде по пыльной местности.

Равномерно шумел мотор, навевая сон. Никитин заснул, сидя в кабине, но был скоро разбужен резкими гудками шедшего позади «Динозавра». «Молния» остановилась; медленно подошли две другие машины.

— Что случилось? — спросил Никитин у водителя «Динозавра».

— Не могу ехать, товарищ начальник, — смущенно ответил шофер. — Мерещится разная чепуха...

— Что такое?

— Да ведь верно, Сергей Павлович, — поддержал шофера Мартын Мартынович. — Днем миражи видятся вдали, а сейчас — прямо под носом, ужас берет.

— Но я-то еду! — бросил старший шофер, водитель «Молнии».

— Ты едешь впереди, Владимир, — сказал подошедший шофер «Истребителя», — а мы за твоей пылью. Фары на пыль светят, и черт те что видится. Нельзя ехать.

— Чушь городите! — обозлился старший шофер. — Я знаю, иной раз на пыли мерещится, но чтобы ехать нельзя было...

— Попробуй сам. Давай я вперед поеду! — обиженно крикнул водитель «Динозавра».

— Ладно, давай, — угрюмо согласился старший.

Люди разошлись по кабинам, зажужжали стартеры. «Динозавр», покачивая высоким верхом, медленно миновал «Молнию» и исчез в туче пыли. Водитель «Молнии» подождал, пока пыль, осев, не начала золотиться редкими пылинками в лучах фар, и двинулся следом.

Заинтересованный, Никитин следил за дорогой, протерев ветровое стекло. Несколько километров они пролетели, ничего не встретив, и шофер начал насмешливо фыркать, что-то бурча себе под нос. Машина шла ровно, внимание стало ослабевать. Вдруг Никитин почувствовал, что водитель резко повернул руль и машина вильнула в сторону. Впереди отчетливо виднелась огромная круглая яма, обложенная белыми изразцами. Никитин изумленно протер глаза — по обе стороны коридора, проложенного светом фар, в кружащихся пылинках выстроились ряды высоких домов. Видение было так правдоподобно, что палеонтолог вздрогнул и тут же услышал злобное «тьфу» шофера.

Дома исчезли, степь разбежалась узором черных и желтых полос, а на дороге зияла черная трещина. Стиснув зубы, шофер вцепился в руль, стараясь преодолеть обман зрения. Несколько минут — и впереди выгнулся невероятно крутой сводчатый мост, совершенно ясно видимый, настолько реально, что Никитин тревожно повернулся к шоферу, но тот уже тормозил машину. Сзади раздавались настойчивые сигналы «Истребителя». Остановив машину, шофер покурил, промыл глаза, поднял стекло и упрямо двинулся дальше. И снова перед машиной вставали всё новые пыльные призраки, пугающие, близкие и реальные. Нервное напряжение росло. «Молния» тормо-

зила и вертелась в попытках избежать несуществующие препятствия, и наконец шофер застонал, плюнул и, остановив машину, стал сигналить «Динозавру» о сдаче. Когда улеглась пыль, подошел и давно уже остановившийся «Истребитель».

На стоянках безумный, призрачный мир исчезал. Ночь раздвигала горизонт в темную бесконечность. Огромные звезды спокойно светились, и привычные очертания созвездий радовали своей неизменностью. А днем в рокоте моторов и покачивании машин вновь мерцали и переливались фантастические видения. И все начинало казаться несуществующим.

Никитин очень обрадовался, когда из-за переливчатой стены очередного миража внезапно поднялись угрюмые черные контуры гор Аркарлы. Сперва их вершины долго держались на уровне пробки радиатора «Молнии», потом они стали быстро вырастать, закрывая собой весь горизонт на северо-западе. Проводник показал на испещренную трещинами гору, чей крутой передний склон имел очертания правильной трапеции. «Молния» немедленно направилась прямо к ней. Почва опять становилась неровной, вздымаясь каменными валами все выше.

Но вот наконец, кренясь на склоне, «Молния» сделала поворот, заскрипели тормоза, и машина медленно спустилась на обширную равнину — дно огромной древней межгорной впадины.

С запада угрюмо торчали темные утесы, обрывистые склоны восточных холмов были сложены ярко-красными песчаниками. В высоте над равниной медленно кружили два орла.

По указанию проводника экспедиция двинулась вдоль красных утесов к северу. Там, в месте стыка темных и красных пород, должен был находиться родник Биссекты с выкопанным в незапамятные времена колодцем.

Ровная поверхность долины была кое-где изборождена неглубокими промоинами и обильно усеяна гладкой галькой, покрытой пустынным загаром. Эти гальки придавали почве неестественно темный цвет, на фоне которого мириадами огоньков сияли на солнце бесчисленные кристаллы прозрачного гипса, рассыпанные между гальками. «Молния» повернула, обходя низкий обрыв красных пород.

— Стой, стой! — вдруг закричал Никитин и быстро выскочил из машины.

Следом за ним ринулись его верные помощники, тоже увидевшие ископаемых. Слева от пути машин лежали под углом друг к другу два больших ствола окаменевших деревьев. В ярком свете солнца отчетливо выступали их прямослойная древесина и следы сучьев. Вокруг стволов и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью.

Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением они отыскивали всё новые и новые сокровища. Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шоферы и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивляясь необыкновенному зрелищу.

Только часть костей свободно лежала на поверхности, другие еще находились в темном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнаженную на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями.

Знатные пастухи были совершенно правы — они открыли невиданное по размерам кладбище гигантских вымерших ящеров, где скопились остатки сотен тысяч разнообразных животных.

Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погубленных потопом гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей.

— Не прибавилось?

— Нет, Сергей Павлович.

— Нужно копать еще глубже.

— Глубже некуда, там пошла скала.

Никитин бросил записи, вскочил и устремился к роднику. Убедившись в правоте латыша, палеонтолог почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Скрывая страх, Никитин медленно пошел от лагеря к горам, чтобы поразмыслить наедине.

Страшное открытие пришло уже на вторые сутки их пребывания в долине: количества воды, даваемой родни-

ком Биссекты, не хватало для экспедиции. Если воды было достаточно для двух-трех путников с их верблюдами, ее было мало для большой экспедиции с рабочими и машинами. Может быть, родник был хорош сто лет назад, а теперь иссяк. Пришлось начать аварийный запас. А вода на обратный путь? Нужно, бросив все, как можно скорее пробиваться на восток — в двухстах километрах отсюда, наверно, есть колодцы. Если привезти воду оттуда? Но тогда не хватит горючего на возвращение.

Ошеломленный внезапным ударом судьбы, ученый остро почувствовал всю свою беспомощность перед окружающей беспощадной природой. Что может сделать он, вся его великолепно снаряженная экспедиция без воды? Откуда взять ее здесь, в опаленных камнях, оживляемых только крохотной струйкой древнего колодца?

Попытки расчистить источник ни к чему не привели. Неужели эта неожиданная беда сорвет всю так тщательно организованную экспедицию, лишит успеха, заставит рисковать людьми?

Погруженный в безотрадные думы, Никитин машинально углубился в горы. Он тихо шел вверх по небольшому ущельицу, глубоко врезавшемуся в черный бок седловидной горы. Накаленные черные обрывы обдали ученого душным жаром. Никитин остановился и увидел Мириам.

Девушка сидела на камне, подобрав ноги и изогнув тонкий стан. Она держала на коленях раскрытую записную книжку и так глубоко задумалась, что не слыхала приближения Никитина. Тяжелые косы, казалось, обременяли ее склоненную голову, лицо было обращено к туманящей жаркой дали. Весь облик девушки и ее поза вдруг поразили палеонтолога соответствием с окружающей природой. Никитин впервые почувствовал, что Мириам — дитя своей страны: от нее веяло спокойной твердостью, скрытой под маской внешней покорности. Никитин застыл на месте, боясь потревожить Мириам.

Страна палящего мертвого простора, где ничего не дается сразу... Только упорный труд многих поколений приносит победу над жестокой природой. Идти напролом в страстном порыве нельзя — этот путь не приведет здесь к цели. Нужно медленно, терпеливо и верно продвигаться вперед, быть всегда наготове для борьбы с новыми и новыми трудностями, подавляя волей свойственную каждому человеку жажду чудесного, внезапного счастья...

Девушка, почувствовав взгляд Никитина, оглянулась, вскочила и пошла к нему навстречу. Мириам пытливо заглянула в глаза молодого ученого.

— Что с вами, Сергей Павлович? — как всегда медленно, произнесла она.

Ученый уловил неподдельную заботу в ее тоне. В безотчетной потребности быть откровенным с ней он рассказал Мириам о крахе, ожидающем экспедицию. Девушка молчала и, только когда они возвращались обратно, у самого лагеря, смущаясь, сказала будто сама себе:

— Я слыхала, что в прошлом году при работах на Дюрт-Кыре удалось увеличить дебит [1] источников... — Мириам сделала паузу, — с помощью динамита. Вот если бы у нас был...

— Черт возьми, ведь аммонал у нас есть! — вскричал Никитин. — Подорвать место выхода родника — это не всегда помогает, но иногда получается! Совсем упустил из виду... Попробуем сейчас же! — повеселел палеонтолог, убыстряя шаги. — Рискнем на самый большой заряд.

...Громовой удар взрыва потряс мертвые горы. Высокий столб пыли взвился над родником, и несколькими секундами позже что-то со страшным грохотом обрушилось в горах. Все участники экспедиции бросились к, роднику и стали молча разбирать завал породы, снова раскапывая выход ключа. Еще тише стало в лагере, когда Никитин и Мириам начали замерять приток воды. Начальник экспедиции вдруг выпрямился.

— Спасибо, Мириам! — Он схватил руку девушки и крепко пожал.

— Качать Мириам! — раздался дружный крик.

Девушка стрелой помчалась искать спасения за спиной старшего шофера. Тот, расправив могучие плечи, грозно заявил:

— Не дам!

— Как ваши дела с асфальтом, Мириам? — весело спросил Никитин.

— Здесь очень интересное месторождение, Сергей Павлович. Это не асфальт, а какая-то особенная, очень твердая смола.

---

[1] Дебит — количество воды, даваемой источником в определенный промежуток времени.

— Покажите мне ее завтра, хорошо? А сейчас советую познакомиться и с нашими успехами.

На равнине повсюду виднелись горки нарытой земли. Поднимался легкий дымок костра, на котором варился жидкий столярный клей. Мартын Мартынович, в одних трусах, загорелый до черноты, усердно пропитывал клеем рыхлые кости. Ближе к центру равнины работало несколько человек. Большая площадка расчищенной сверху породы была обрыта глубокими канавками. Двое рабочих осторожно ковыряли рыхлый песчаник большими ножами, разделяя окопанную глыбу на три части. Маруся доканчивала расчистку черепа, поливая шеллаком[1] поврежденные участки.

Никитин повел Мириам к глыбе, и удивленная девушка увидела на ее поверхности распластавшийся скелет огромного ящера. Он лежал на боку, подвернув длинный хвост и скрестив тяжелые задние лапы. На позвонках, ребрах, даже на тупых копытцах — всюду виднелись четко написанные цифры. Череп чудовища, около двух метров длины, на затылке переходил в огромный костяной воротник, усаженный тупыми шипами. Над глазами торчали два длинных, косо направленных вперед рога, третий рог сидел на носу, а морда оканчивалась клювом.

— Это трицератопс — трехрогий травоядный динозавр, хорошо вооруженный против хищников, — пояснил Никитин. — Скелет сохранился полностью, и мы его разделим на три части, заделаем в крепкие рамы, — палеонтолог указал на приготовленные брусья, — зальем гипсом и увезем в виде тяжелых монолитов, чтобы окончательно освободить от породы уже на месте, в лаборатории.

— Каковы же были хищники, если против них такое страшное вооружение? — спросила Мириам.

— Хищники! — воскликнул палеонтолог. — Ну вот, например. — И он выбрал из ящика плоский зуб с загнутой верхушкой и пильчатой нарезкой по обоим краям, около пятнадцати сантиметров в длину. — Это тиранозавр, владыка ящеров, ходивший на задних лапах исполин... Скоро переедем с раскопками к самым горам, — продолжал ученый, — там Мартын Мартынович нашел сразу три скелета панцирных динозавров с костяной броней, усаженной шипами. Настоящие танки, только без пу-

---

[1] Шеллак — индийская смола, после растворения в спирте дает прочный лак.

шек, в отличие от современных танков, которые являются оружием нападения. Ведь травоядное животное может только пассивно защищаться: оно прячется за броней или выставляет рога, не нападая само.

Не доходя до восточного ущелья, Мириам свернула налево и повела Никитина вдоль подножия горы, меж разбросанных каменных глыб.

Перед палеонтологом и его спутницей неожиданно встала плотная стена красновато-черных пород. Ее просекал узкий проход, похожий на след от удара исполинского меча. По обе стороны этой каменной щели возвышались две скалистые башни, высоко вверху снабженные нависающими над проходом выступами.

Узкий проход был прям, как ружейный ствол, с гладкими, словно отполированными, стенами. Пройдя по нему несколько десятков шагов, Мириам и Никитин попали в просторную долину, замкнутую со всех сторон крутыми утесами. Противоположная проходу сторона изгибалась правильным полукругом, в самой середине которого выступал огромный куб очень твердого бурого песчаника. Подножие куба утопало в груде плоских, по-видимому, недавно обрушившихся глыб, а на скошенной поверхности блестело громадное черное зеркало. Палеонтолог в недоумении осматривался вокруг.

— Месторождение асфальта, — тихо заговорила Мириам, — вернее, затвердевшей смолы здесь. Смола залегает ровными слоями в твердых железистых песчаниках, по всей вероятности отложенных ветром, — нечто вроде древних дюн. Когда мы взорвали источник, здесь обвалились скалы и открыли свежий пласт ископаемой смолы. Его гладкая поверхность еще не повреждена выветриванием и блестит как зеркало.

— Когда, по вашему мнению, отлагались смола и песчаник? — быстро спросил палеонтолог.

— Примерно одновременно с костями динозавров, — ответила Мириам. — Все эти отложения накоплялись тут, в долинах этих древних гор, и остались почти неприкосновенными.

Никитин одобрительно кивнул головой и уселся на крупный хрустящий песок. Девушка устроилась напротив в своей любимой позе, поджав под себя ноги.

В закрытой со всех сторон долине почему-то было не

очень жарко. Удивительная тишина стояла вокруг. Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала. Никитин впервые в жизни услышал их шелестящий печальный зов и удивленно посмотрел на Мириам. Девушка наклонила голову и приложила палец к губам. Вскоре в этот слабый, точно призрачный звон вплелись такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал. Под эту едва различимую музыку молчаливой пустыни Никитин погрузился в глубокую задумчивость.

Травы звенели и звали заглянуть в глубину природы, говорили о том скрытом, что обычно проходит мимо нашего сознания, притупленного укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни раскрывающегося с настоящей остротой.

Никитин думал о том, что природа безмерно богаче всех наших представлений о ней, но познание ее никогда не дается даром. В тесном общении, в постоянной борьбе с природой человек подходит вплотную к ее скрытым тайнам. Но и тогда нужно, чтобы душа была ясной и чистой, подобно тонко настроенному музыкальному инструменту, и она отзовется на звучание природы...

Медленно поднял Никитин свой взгляд и увидел устремленные прямо на него глаза Мириам. Палеонтолог неловко поднялся на ноги и голосом, показавшимся ему самому грубым, погасил нежные зовы трав:

— Пора идти, Мириам!

Девушка безмолвно встала.

Уходя, Никитин с удовольствием оглядел полную покоя долинку.

— Что же вы раньше не говорили об этом хорошем месте? — укорил он девушку.

— Вы были поглощены своей работой, — тихо ответила Мириам.

— Я перенесу лагерь к подножию каменных башен завтра же, — решил Никитин. — Кстати, главные раскопки теперь будут совсем рядом.

Уверенным, щегольским ударом Мартын Мартынович вогнал последний гвоздь в длинный ящик.

— Конец, Сергей Павлович! — весело воскликнул латыш и вытер потное лицо.

— Конец! — откликнулся Никитин. — Завтра отдых и сборы, вечером — в путь, домой! Больше задерживаться нам нельзя.

— Сергей Павлович, — просительно вмешалась Маруся, — вы давно уже обещали рассказать про этих... — девушка показала на лежавшие повсюду ящики, — зверей, да все некогда было. Что бы сегодня? Еще три часа только.

— Хорошо. После обеда пойдем в ту долинку, там побеседуем, — согласился начальник экспедиции.

Все четырнадцать человек сотрудников внимательно слушали своего начальника. Никитин говорил хорошо, с подъемом. Он рассказал, как еще в древние эпохи развития наземной жизни медленно, в миллионах поколений, совершенствовался организм животного, как появлялись подчас причудливые, странные формы четвероногих земноводных и пресмыкающихся. Как в борьбе за существование, в преодолении влияния окружающих условий постепенно отмирали все менее совершенные, менее жизнедеятельные виды; жестокая гребенка естественного отбора прочесывала поток поколений во времени, отметая все слабое и непригодное.

— К началу мезозойской эры, около ста пятидесяти миллионов лет назад, на древних материках повсюду расселялись пресмыкающиеся и одновременно от них же возникли наиболее совершенные из всех животных — млекопитающие, развивавшиеся в суровых условиях конца палеозойской эры. Но вскоре сравнительно резкий и сухой климат повсюду сменился влажным и жарким, обильная, пышная растительность покрыла сушу. Эти условия существования были более легкими, более благоприятными, и вот по всей земле распространились огромные пресмыкающиеся. Они завоевали сушу, море и воздух, достигли небывалой величины и численности.

Гигантские травоядные для защиты от хищников имели чудовищные рога или броню из костяных шипов и щитков. Другие, не защищенные броней, прятались в воде прибрежных морских лагун или озер. Они достигали двадцати пяти метров длины и шестидесяти тонн веса. В воздухе реяли летающие ящеры; из всех летающих животных они имели наибольшее удлинение крыла и, следовательно, были лучшими летунами.

Хищники ходили на задних ногах, опираясь на толстый хвост. Их передние лапы превращались в слабые, почти ненужные придатки. Для нападения служила огромная голова с большими острыми зубами в пасти. Это были чудовищные треножники, до восьми метров высоты, безмозглые боевые машины страшной силы и беспощадной свирепости.

В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие — маленькие зверьки, похожие на ежа или крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира. Но едва только начали вновь изменяться климатические условия, стала происходить смена растительности, — сразу же плохо пришлось громадным ящерам. Травоядные великаны требовали обильной, легко усвояемой пищи. Изменение кормовой базы явилось катастрофой для травоядных и одновременно для гигантских хищников. Естественный баланс животного населения резко нарушился. Произошло великое вымирание пресмыкающихся и бурный расцвет млекопитающих, которые стали хозяевами Земли и в конце концов дали мыслящее существо — человека. Представьте себе на миг бесконечную цепь поколений без единой мысли, прошедших за эти сотни миллионов лет, — закончил палеонтолог, — все невообразимое число жертв естественного отбора по слепому пути эволюции...

Ученый умолк. Высоко в уже посиневшем небе раздался клекот орла. Слушатели продолжали тихо сидеть, глядя на палеонтолога.

Никитин задумчиво улыбнулся и снова заговорил:

— Да, величие моей науки — в необъятной перспективе времени. В этом отношении палеонтология сравнима разве только с астрономией. Но у палеонтологии есть одна слабая сторона, очень слабая, мучительная для стремящихся к глубокому познанию: неполнота материала. Только очень малая часть ранее живших животных сохраняется в пластах земной коры, и сохраняется лишь в виде неполных остатков. Возьмем наши раскопки — мы добыли только кости. Правда, по этим костям мы можем восстановить полный внешний облик животных, но только в известных пределах. Хуже всего то, что мы никогда не сможем узнать в подробностях внутреннее строение жи-

вотного, полностью представить его живым. Тем самым мы никогда не сможем проверить точность наших представлений, установить ошибки. Физические законы незыблемы. Сила человеческого разума и заключается в том, чтобы прямо взглянуть им в лицо, не обольщаясь сказками...

Глубокая тоска зазвучала в голосе Никитина, передаваясь слушателям. Палеонтолог резко встал:

— Ничего. Для вас, не искушенных в науке, остается вольная и могучая фантазия писателей. Не стесненные узостью точных фактов, они ярко и убедительно воскрешают исчезнувший животный мир. Советую вам прочитать «Затерянный мир» Конан-Дойля и «Борьбу за огонь» Рони-Старшего. Это мой любимый писатель, который даже на палеонтолога может действовать силой своего воображения, прекрасным описанием древней жизни, удачно схваченной тенью минувшего... — Палеонтолог, увлекшись, начал цитировать: «Вместе со сгустившимися сумерками упала смутная тень минувшего, и по степи, весь красный, катился зловещий поток...»

Легкий вскрик Маруси заставил ученого прервать цитату и обернуться. В следующее мгновение дыхание его остановилось, и он замер, потрясенный.

Над отливающей синью плитой ископаемой смолы встал откуда-то из ее черной глубины гигантский зеленосерый призрак. Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе, над верхним краем обрыва, вздыбившись на десять метров над головами остолбеневших людей.

Чудовище высоко несло свою горбоносую голову; большие глаза тускло и мрачно смотрели куда-то вдаль; безгубая широкая пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов. Спина животного, слегка согнутая, круто спадала в невероятно мощный хвост, подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные двум колоннам, трехпалые, с широко распластанными пальцами, вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие когтистые передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским туловищем и головой.

Сквозь призрак просвечивали черные утесы гор, и в то же время можно было различить малейшую подробность тела животного. Испещренная мелкими костными

бляшками спина чудовища, его шероховатая кожа, местами обвисшая тяжелыми складками, странный вырост на горле, выпуклости исполинских мышц, даже широкие фиолетовые полосы вдоль боков — все это придавало видению изумительную реальность. И неудивительно, что пятнадцать человек стояли онемевшие и зачарованные, пожирая глазами гигантскую тень, реальную и призрачную в одно и то же время.

Прошло несколько минут. В неуловимом повороте солнечных лучей видение неподвижного динозавра растаяло и угасло. Перед людьми не было ничего, кроме черного зеркала, потерявшего синий отлив и отблескивавшего медью.

Громкий вздох вырвался одновременно у всех. Никитин облизнул пересохшие губы.

Долгое время никто не был в состоянии произнести хотя бы слово. Невероятное появление призрака чудовища разрушило все установленные образованием и жизненным опытом представления. Каждый чувствовал, что в его жизнь ворвалось неожиданно нечто совсем необычайное. Более всех потрясен был сам Никитин — ученый, привыкший анализировать и объяснять загадки природы. Но сейчас никакое разумное объяснение происшедшего не приходило ему в голову. Все терялись в догадках. Лагерь шумел до поздней ночи, пока наконец Никитин не успокоил страсти заявлением, что в этой стране миражей нет ничего удивительного увидеть мираж чудовищного ископаемого. Этот призрак, по определению Никитина, никем иным, как тиранозавром, не мог быть.

Гудели проверяемые перед дальней дорогой моторы. Голубоватый дымок стлался над коричневыми гальками равнины.

Никитин взглянул на часы и поспешно направился к узкой щели в скалах.

Черное зеркало взглянуло на него глубоко и бесстрастно. Прежней тишины не было в этом месте покоя — из-за скалистых стен несся шум моторов. Неясное ощущение чего-то оборвавшегося, утраченного охватило Никитина. Он ожидал появления вчерашнего призрака, но призрак не появлялся. Должно быть, Никитин неточно заметил время его появления и опоздал.

Сожалея об упущении и сам удивляясь силе своего

огорчения, Никитин долго стоял перед грудой камней, образовавших пьедестал зеркала. Позади него послышался хруст песка — Мириам быстро подошла к нему.

— Мартын Мартынович говорит, можно ехать. Я вызвалась сбегать за вами... захотелось еще раз взглянуть... — отрывисто и быстро проговорила запыхавшаяся девушка.

— Сейчас иду, — нерешительно отозвался палеонтолог, помолчал и добавил: — Подождите, Мириам!

Девушка послушно приблизилась и стала так же, как и он, всматриваться в черное зеркало.

— Что вы будете делать, когда вернетесь, Мириам? — вдруг спросил Никитин.

— Работать, учиться, — коротко ответила девушка. — А вы?

— Тоже работать... над этими динозаврами и думать... — ученый запнулся и неожиданно резко закончил, — о вас!

Мириам опустила голову, ничего не ответив.

— Если бы я была на вашем месте, я бы все силы отдала на решение загадки с призраком динозавра. Ведь это не просто мираж... — заговорила она через минуту.

— Я и сам знаю, что не мираж! — невольно воскликнул Никитин. — Но ведь я только палеонтолог. Если бы я был физиком...

Никитин оборвал разговор с неясной досадой на самого себя и подошел ближе к пласту удивительной окаменевшей смолы. Он долго вглядывался в его черную безответную глубину, и почти нестерпимое, дикое желание нарастало в его душе. На секунду раскрылась непроницаемая, недоступная человеку завеса времени. Из всего огромного числа людей только ему и его спутникам было дано заглянуть в прошлое. И из них только он достаточно вооружен знаниями, опытом научной работы. Мириам права... Никитина охватило властное стремление раскрыть тайну природы.

Внезапно Никитин сообразил, что видит какие-то серебристые тени, всплывающие из черной глубины. Палеонтолог стал вглядываться уже осмысленно, напрягая зрение и внимание. Разрозненные части быстро сложились в неясное, но цельное изображение; оно было подобно плохо проявленному снимку огромных размеров. В центре проступала перевернутая фигура вчерашнего тиранозавра, однако сильно уменьшенная, слева виднелась груп-

па огромных деревьев, а позади и внизу совсем смутно угадывались вершины каких-то скал.

Достав записную книжку, Никитин окликнул Мириам и стал зарисовывать новое призрачное видение. Оба жадно вглядывались в серебристо-серые тени, но изображение не становилось яснее. Скоро перед уставшими от напряжения глазами поплыли световые пятна, и снова глубокая чернота зеркала стала слепой и беспредметной.

С усилием Никитин заставил себя уйти из загадочного места. Он сознавал, что следовало бы остаться еще на несколько дней для наблюдения над зеркалом.

По редкому капризу судьбы ему довелось встретиться с невероятным, из ряда вон выходящим явлением. Очень скоро, может быть через несколько дней, солнце и ветер разрушат гладкую поверхность слоя смолы, и навсегда исчезнет загадка, так и не понятая им. Долг ученого — да что долг! — весь смысл существования — не упустить случайно открывшееся ему, передать всем людям.

И, вопреки всему, приходится оставить чудесное око в прошлое у далеких, труднодоступных гор. У него больше нет времени. Оттягивать отъезд опасно. И без того для полноты раскопок экспедиция работала до последнего дня. Впереди — трудный обратный путь с перегруженными машинами. Рисковать из-за полубредового, необъяснимого явления человеческими жизнями, доверенными ему? Нет, нельзя.

Никитин быстро, почти бегом, вернулся к машинам.

Подойдя к «Молнии», он еще раз оглянулся на Мириам. Она неподвижно стояла у «Истребителя», повернувшись ко входу в ущелье. Это было последним впечатлением палеонтолога, которое он увозил с собой, покидая это загадочное место.

— Поехали! — громко крикнул он и, захлопнув дверцу кабины, стал смотреть, как засверкали, убегая под крылья машины, искры гипса в долине костей.

...Холодный, пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась черная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывало резкими порывами ветра.

Никитин отодвинул книгу и выпрямился в кресле, охваченный глухой тоской.

Упрямый разум ученого не хотел сдаваться, но где-то внутри уже зрело горькое сознание бессилия.

С грустью вспоминал Никитин, что только безупреч-

ная репутация спасла его от явных насмешек, даже подозрений в ненормальности. Помощь, за которой он обратился к физикам, вылилась в шутливое недоумение — мало ли, в конце концов, какие бывают обманы зрения, миражи, галлюцинации! И, ставя себя на их место, Никитин не мог осудить ученых.

Еще там, в горах, у кладбища динозавров, Никитин понял, что гладкая поверхность черной смолы хранила в себе что-то вроде фотографического снимка, непонятным образом отразившегося в воздухе. Но как мог получиться снимок без бромосеребряных пластинок, без проявления и фиксирования? И, главное, обычный рассеянный свет не создает никакого изображения — нужна камера-обскура, то есть темная камера с узкой щелью или отверстием, проходя через которое световые лучи дают перевернутую картину того, что находится в фокусе. И тиранозавр в глубине черного зеркала казался перевернутым! Но...

Чтобы разгадать эту тайну, нужен был необычайный порыв, страстное напряжение ума и воли, слившихся в достижении единственной цели. Нужно было вдохновение, но вдохновение здесь, в размеренном, привычном существовании, не приходило. Более того — все дальше отодвигалось случившееся там, за четыре тысячи километров отсюда, за степью и буграми знойных песков. Разве можно рассказать кому-нибудь, разве можно самому верить в призрачное видение страны миражей здесь, в бледном и трезвом свете холодного зимнего вечера? И Мириам... Разве не ушла Мириам из его жизни, не стала таким же исчезнувшим миражем?

Никитин закрыл глаза. Миг — и исчезло потемневшее окно, снег и холод. Перед мысленным взором Никитина возникали одна за другой картины.

Слепящие, яркие белые стены, темная, пронизанная горячим золотом зелень листвы, журчащие арыки, медные клубы пыли... Снова шли, покачиваясь, машины под мерный гул моторов в дрожащем, жарком воздухе, прорезая голубые цепи причудливых миражей. Сквозь дымку фантастического, ускользающего мира, повисшего над беспредельной сожженной равниной, все ярче выступал такой знакомый облик далекой Мириам. Палеонтолог вскочил, громыхнул креслом.

«Как я не понял этого сразу? Почему не сказал ей тогда? — думал он, шагая по комнате. — Но ведь можно и сейчас поехать, написать...»

Никитин заволновался — к сердцу подступало что-то властное, требовавшее немедленного решения... Он поедет к ней, скажет все. Теперь же.

Никитин неуклюже взмахнул рукой и задел позвонок динозавра, лежавший недалеко от края стола. Тяжелая кость с грохотом упала на пол, разбилась на несколько кусков. Ученый опомнился и бросился подбирать рассыпавшиеся осколки. Ему стало стыдно, точно его сокровенные грезы подглядел кто-то чужой. Никитин торопливо оглянулся, и окружавшее его опять неумолимо заполнило душу. Это его мир, спокойный, простой и светлый, хотя временами, может быть, и слишком узкий. Высокий шкаф со стеклянными дверцами хранит на своих полках еще много неизученных сокровищ — остатков древней жизни...

И, кроме всего этого, великая загадка тени минувшего. Разве это мало для него, неповоротливого тяжелодума, вечно опаздывающего, как говорил его учитель? Вот и с Мириам — он опоздал, безнадежно опоздал сказать ей там, в горах Аркарлы, в долине звенящих трав... А сейчас, чтобы завоевать Мириам, ему нужно все свои помыслы, все силы отдать этому. Как раз тогда, когда так много времени и энергии требует от него разгадка тени минувшего. Разве он сумеет, разве его хватит на все? Да и почему он так уверен, что Мириам готова полюбить его? А если она любит другого?

Никитин внезапно успокоился и снова сел в кресло.

Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым. Призрак динозавра должен был иметь какое-то объяснение!

Эта непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума...

И все же думы Никитина невольно возвращались к экспедиции в пустыню. Он припоминал все до мелочей, особенно последние дни перед возвращением в Москву. Цепкая память натуралиста неожиданно оказала ему большую услугу.

Никитин вспомнил, как он в день отъезда из белого города ожидал машину в гостинице. Он растянулся на широком диване. Окно комнаты выходило на улицу, залитую могучим южным солнцем. Ставни были закрыты, в полумрак комнаты из щели между ставнями вонзался прямой и слабый световой луч.

На стене против окна промелькнули какие-то тени.

Невольно проследив их движение, Никитин вдруг увидел ясное перевернутое изображение противоположной стороны улицы. Совершенно четко вырисовывались голые ветви тополей, приземистый дом с новой крышей, решетка железных ворот. Вот быстро прошел человек, вскидывая полами халата, смешной, маленький, перевернутый вверх ногами...

Подобно свежему ветру, в голове Никитина пронеслось быстрое соображение: маленькая, замкнутая, затененная нависшими скалами впадина в горах Аркарлы... узкая щель — проход на просторную равнину, и точно напротив нее смоляное зеркало... Ведь это огромная естественная камера, фокус которой можно вычислить! Теперь для него ясно, как могло получиться изображение, но... но главное все еще непонятно: как же запечатлелся снимок, как могла сохраниться в тысячах веков мимолетная игра света и теней? Фотография не дала пока никакого ответа.

А! Стой!..

Никитин вскочил и зашагал по комнате.

Изображение было цветным! Нужно тщательно просмотреть теорию цветной фотографии.

Весь следующий день Никитин, забыв обо всем на свете, изучал толстую книгу по цветной фотографии. Он уже успел ознакомиться с теорией цветов и анализом человеческого зрения и теперь, просматривая последний отдел, «Особые способы цветной фотографии», внезапно наткнулся на письмо Ниэпса к Дагерру, написанное еще в 30-х годах прошлого столетия.

«...причем оказалось, что лакировка (асфальтовая смола) пластинки изменялась под действием света, что давало в проходящем свете нечто подобное изображению на диапозитиве, и все цветные оттенки можно было видеть очень отчетливо», — писал Ниэпс.

Никитин глухо вскрикнул и, стиснув виски, как будто сдерживая разбегающиеся мысли, стал читать дальше:

«Когда полученное изображение рассматривалось под определенным углом в падающем свете, то можно было видеть очень красивый и интересный эффект. Явление это следовало бы поставить в связь с ньютоновским явлением цветных колец: возможно, что какая-либо часть спектра действует на смолу, создавая тончайшие различия в толщине слоев...»

Драгоценная нить объяснения призрака тиранозавра

потянулась через страницы. Вначале тонкая и хрупкая, она постепенно становилась все крепче и надежнее.

Никитин узнал, что под воздействием стоячих световых волн изменяется структура гладкой поверхности фотографических пластинок, что эти стоячие волны создают определенные цветовые отпечатки, не зависящие от обычного черного изображения, получаемого в результате химического воздействия света на бромистое серебро фотопластинки. Эти отпечатки сложных отражений световых волн, совершенно невидимые даже при сильных увеличениях, отличаются только одной способностью — избирательно изображать свет только определенного цвета, при освещении изображения под одним, строго определенным углом. Сумма этих отпечатков и дает великолепное изображение в естественных цветах.

Значит, в природе существует непосредственное воздействие света на некоторые материалы, достаточное для получения изображения и без помощи разлагаемых светом соединений серебра. Именно это и было той зацепкой, которой так не хватало ученому.

Никитин ускорил шаги. С подтаявших крыш падали редкие капли. Ученый, волнуясь, спешил в институт. Три месяца работы не прошли даром — он знал, что и где искать, и теперь помощь оптиков, физиков и фотографов далеко продвинула решение задачи. И вот сегодня он впервые решается выступить перед ученым миром.

Тема доклада и имя Никитина собрали значительную аудиторию. Палеонтолог рассказал о невероятном случае с призраком тиранозавра и сейчас же заметил веселое оживление собравшихся. Никитин нахмурился, но продолжал неторопливо и четко:

— Этот свежевскрытый слой ископаемой смолы, оказывается, хранил в себе световые отпечатки — снимок одного момента существования природы мелового периода.

Солнечные лучи, отражаясь от этого черного зеркала под определенным углом, отбросили, вроде проекционного фонаря, на какие-то создающие мираж струи воздуха гигантский призрачный облик живого динозавра уже не в перевернутом виде. Получилось своеобразное слияние отраженного изображения с миражем, увеличившее размеры светового отпечатка.

Без сомнения, выдержка, нужная для получения све-

тового отпечатка в смоле, была велика... Но, возможно, сила солнечного освещения в те времена в районах с тропическим климатом была несколько больше, а может быть, и динозавры могли целыми часами стоять неподвижно. Современные крупные пресмыкающиеся — крокодилы, черепахи, змеи, большие ящерицы — по нескольку часов остаются неподвижными, не меняя положения. Их нельзя сравнивать с бурлящими энергией млекопитающими. Поэтому при условии большой выдержки вполне возможны снимки живых ящеров, что и доказано виденным мною динозавром.

Я рассчитал место, с которого был запечатлен снимок, — ученый показал на большой план местности, приколотый к доске, — оно в ста тридцати девяти метрах от подножия каменных башен. Полученный благодаря сильному освещению, или особенному расположению облаков, или еще каким-либо другим условиям снимок, очевидно, был немедленно закрыт натеками последующих слоев асфальтовой смолы и таким образом сохранен от уничтожения. Сотрясение от взрыва отделило все верхние слои, вскрыв непосредственно асфальтовый снимок...

Никитин помолчал, стараясь преодолеть охватившее его волнение.

— В конце концов, — продолжал он, — важно не это чудесное происшествие, не то, что несколько человек впервые в мире увидели живой облик ископаемого животного. Величайшее значение только что доложенного вам наблюдения заключается в реальном существовании световых отпечатков древнейших эпох, запечатленных в горных породах и сохраняющихся десятки, может быть, сотни миллионов лет. Это реальные тени минувшего из таких глубин времени, которых мы даже не можем охватить своим разумом. Мы не подозревали об их существовании. Никому и в голову не приходило, что природа может фотографировать самоё себя, поэтому мы и не искали этих световых отпечатков.

Конечно, снимки минувшего требуют такого количества совпадений различных условий, что могут получиться и сохраниться только в невероятно редких случаях. Но ведь за огромное количество прошедшего времени и число таких случаев должно быть очень большим! К примеру: каждый случай сохранения ископаемых костей тоже требует очень редких совпадений. Тем не менее мы знаем уже очень много вымерших животных, и их число воз-

растает чрезвычайно быстро по мере развития палеонтологических исследований.

Световые отпечатки, снимки минувшего, могут образоваться и сохраниться не только на асфальтовых смолах. Без сомнения, мы можем искать их в некоторых распространенных веществах горных пород — солях окиси и закиси железа, марганца и других металлов. Давно известно фотографирование методом выцветания, путем разрушения светом какой-нибудь нестойкой к нему краски и получения таким образом дополнительного цвета. Где искать их, эти картины прошлого? В тех отложениях горных пород, где мы можем предполагать очень быстрое наслоение на открытом воздухе или в очень мелкой воде. Вскрывая без повреждения поверхность напластований и улавливая световые отражения какими-нибудь приборами, облегчающими восприятие световых отпечатков, мы должны научиться понимать эти следы световых волн минувших времен.

Наконец, мы вправе предположить, что природа фотографировала свое минувшее не только с помощью света. Вспомните еще не объясненные наукой до конца снимки окружающего, которые оставляет изредка молния на деревянных досках, стекле, коже пораженных ею людей. Можно представить себе запечатление изображений с помощью электрических разрядов, невидимых излучений вроде радия. Отдайте себе только ясный отчет в том, что вы ищете, и вы будете знать, где искать, и найдете!..

Никитин закончил доклад. Последовавшие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступление Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую «палеофантазию». Но все нападки не задели ученого. У него давно уже окрепло твердое решение.

Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа. В двух стоявших друг против друга витринах приземистые ящеры скалили черные зубы. За витринами пол был завален брусьями, железными трубами, болтами и инструментами. Посредине на скрещенных балках поднимались вверх две высокие вертикальные стойки — главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже присоединились сложно

изогнутые железные полосы. Два препаратора осторожно прикрепляли к ним громадные кости задних лап чудовища. Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все восемьдесят три позвонка тиранозавра по контуру хищно изогнутой спины.

У передней стойки Мартын Мартынович с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой препаратор, мрачный и худой, в холщовом халате, карабкался по противоположной стороне лестницы с длинной трубой в руках.

— Так не выйдет! — крикнул палеонтолог. — Осторожнее! Не ленитесь передвинуть леса.

— Да ну, что тут канителиться, Сергей Павлович! — весело отвечал сверху латыш. — Мы — да не сумеем? Старая школа!

Никитин, улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный препаратор вставил нарезку трубы в верхний тройник, которым заканчивалась стойка. Мартын Мартынович энергично повернул ее ключом. Труба — опора массивной шеи — повернулась и повлекла за собой мрачного препаратора. Он и латыш столкнулись грудь с грудью на узенькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик. Мартын Мартынович поднялся, смущенно потирая свежую шишку на лысой голове.

— Падать — это тоже старая школа? — спросил палеонтолог.

— А как же ж! — подхватил находчивый латыш. — Другие бы покалечились, а у нас пустяк — одно стекло, и то не зеркальное... Леса-то придется передвинуть, неладно же ж, — как ни в чем не бывало закончил Мартын Мартынович.

Никитин надел халат и присоединился к работающим. Наиболее медленная часть работы — предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса — была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов, оставалось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжелые кости — тоже результат многомесячного труда; препараторы освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски.

Каркас был прилажен удачно, исправления в ходе монтировки скелета оказались незначительными. Ученые и препараторы работали с энтузиазмом, задерживаясь до поздней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище.

Через неделю работа была закончена. Скелет тиранозавра поднялся во весь рост; задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге; длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола; полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с редкими зубьями.

Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей черной полированной поверхностью, подобно крышке рояля. Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стеклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов.

Никитин стоял, облокотившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет, стараясь найти какую-нибудь не замеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии.

Нет, пожалуй, все достаточно верно. Огромный динозавр, извлеченный из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит, доступный тысячам посетителей музея. И уже заготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров — великолепный результат экспедиции...

Блеск солнца на черной крышке постамента живо напомнил палеонтологу смоляное зеркало в горах Аркарлы... Да, конечно, скелет поставлен им в той же позе, в какой неизгладимо врезался в память призрак живого тиранозавра. И эта поза производит впечатление полной естественности, чего нельзя сказать про монтировки других музеев.

«Если бы мои уважаемые коллеги знали, чем я руководствовался! — усмехнулся про себя Никитин. — Впрочем, победителей не судят».

И снова мысли ученого, подобно стрелке компаса, повернулись к разгаданной тени минувшего. Призрак перестал быть загадкой, явление было ясно ученому. Исчезла и страстная напряженность мысли, возмущение разума перед непостижимой тайной природы. Ход размышлений стал спокоен, холоден и глубок.

Ученый хорошо понимал, что до тех пор, пока он не докажет миру действительное существование световых отпечатков прошлого, ему придется работать одному. У него, по всей вероятности, не будет ни специальных средств, ни лишнего времени — все ему придется делать попутно со своей основной работой. Огромная, непосильная задача! И сама геология против него.

В процессах, созидающих осадочные горные породы, то есть те наслоения, которые могут воспринимать световые отпечатки, чрезвычайно редки случаи быстрого отложения одного слоя за другим. Тем более на поверхности, а не в глубинах озер и морей! Нужно отыскать наслоения, отложенные со скоростью, достаточной для того, чтобы избежать последующего воздействия света. И это должно совпасть с условиями, хотя бы отдаленно подобными камере-обскуре, чтобы на поверхность слоя упал не просто рассеянный свет, а световое изображение. А сколько уже полученных снимков может погибнуть в дальнейшем при уплотнении, перекристаллизации или других химических изменениях осадочных пород!

Какие шансы найти в бесконечно большом числе напластований именно ту поверхность, которая одна из миллионов ей подобных сохранила снимок минувшего?

Неужели глубины времен навсегда останутся безответными и недостижимыми для нас?

Нет, именно эта бесконечная, бездонная глубина прошлого должна помочь нам. Нужна редчайшая случайность, та, которая может быть раз в тысячу лет, и нет никаких шансов наткнуться именно на нее. Но если этих тысячелетий прошли миллионы, то миллион случайностей — это уже вполне доступное для наблюдений число... И оно во много раз увеличивается еще тем, что поверхность Земли огромна.

Территория нашей Родины — это сотни миллионов квадратных километров, сложенных разными горными породами, образовавшимися в самых различных условиях. Имея дело с большими числами, нужно отказаться от узких, рожденных житейским опытом представлений... «В поисках минувшего моя Родина за меня, — думал ученый. — Где же еще обнаружить новые снимки прошлого, как не на ее необозримых просторах!»

Уверенность и стремление к новым поискам, новой борьбе снова воскресли в душе Никитина.

Прежде всего необходим аппарат, улавливающий от-

раженный от слоя породы свет. Может быть, камера с очень светосильным и в то же время широкоугольным объективом. Очень важно правильно установить угол отражения... Может быть, сделать вращающуюся призму?

Никитин, не взглянув более на скелет тиранозавра, поспешил в свой кабинет.

— Нет, не сюда, товарищ профессор. — Бородатый колхозник с суровым лицом остановил шедшего в задумчивости Никитина. — Тропинка эта верховая, а нам надо налево, в овраг.

— А далеко еще до красных обрывов? — спросил один из помощников Никитина.

— Как спуститься оврагом до реки — с километр, да берегом километра четыре. — И проводник деловито зашагал вперед.

Огромные, толстые ели стеснили тропинку. В промежутках между серовато-зелеными стволами и косыми замшелыми нижними ветками глубоко внизу поблескивала река, как разбросанные осколки разбитого зеркала. Воздух был насыщен сладковатым запахом еловой смолы, более мягким и приторным, чем запах сосны. Овраг, заросший ольхой, походил на длинный крытый коридор, устланный толстым слоем побуревших старых листьев. Листья становились все чернее и мокрее, под ними захлюпала вода. Овраг кончился. Исследователи оказались на берегу быстрой и холодной реки, узкое русло которой пролегало в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плесо обозначались издали ярким блеском солнца. Быстрины были тусклые и от этого казались хмурыми и холодными. Невдалеке виднелись крутые обрывы темно-пурпурных глин, окаймленные сверху зелеными арками заросшей верхней кромки склона.

Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и рабочие приступили к делу. В дюжих руках быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зернами, шурша, катилась в реку, словно дождь орехов. Осторожно подбивая клинья, обнажили блестящую, гладкую поверхность слоя глины. Пласт лежал с небольшим наклоном, и Никитину пришлось соорудить помост и установить свой аппарат высоко над вскрытым слоем. Кончив свое дело, рабочие ушли, помощники отправились вверх по берегу с удочками, и палеонтолог остался один.

Часы шли, Никитин дежурил у аппарата, изредка позволяя себе на две-три минуты закрыть усталые глаза. Ученый не волновался, почти совершенно уверенный в очередной неудаче. Неоднократно и в разных местах Никитин устанавливал свой прибор, в томительном ожидании вглядываясь в мертвую гладь камня. С каждым разом волнение и ожидание нового открытия слабели, угасала надежда, но ученый упорно продолжал свои наблюдения во всех подходящих, по его мнению, местах. Так и теперь, почти без интереса, связанный лишь взятым на себя тяжелым долгом, Никитин наблюдал в аппарат свежевскрытый слой затвердевшей пурпурной глины. Солнце медленно изменяло углы освещения, могучие ели слабо качали своими верхушками, чуть слышно плескала вода в прибрежной осоке. И вдруг в однообразном ровном освещении появились редкие темные пятна, стали резче, разбросались по всему вскрытому слою. Подбирая наклон отражения с помощью вращающейся призмы, Никитин добился наконец ясной видимости.

Перед ним был очень светлый берег необычайно прозрачного зеленого моря. Почти идеальная плоскость серебряно-белого песка неуловимо переходила в изумрудную воду. Длинные прямые гребешки маленьких волн застыли в своем взлете, прочертив кристально ясную поверхность воды яркими синевато-зелеными полосами. На более далеком плане полосы дробились в треугольники, заостренные верхушки волн заворачивали вниз, показывая вспышки ослепительно белой, тоже серебряной пены. В чистейшей зелени воды даль казалась голубой, чувствовалась дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света.

Почти со страхом смотрел Никитин на этот кусочек несказанно светлого и ясного мира, сознавая, что гребешки волн застыли в солнечных лучах, светивших более четырехсот миллионов лет назад. Это был берег силурийского моря...

Видение исчезло очень скоро с ничтожным поворотом солнца. Дневной свет, вызывая видение, сам же и гасил его, не давая возможности пустить в ход фотографический аппарат. Никитин остался ночевать тут же, под помостом. Только завтра в этот же час солнце снова могло вызвать к жизни призрачные тени.

Но напрасно дрожал ученый от ночной сырости, отбивался от надоедливых комаров. Переменчиво северное

лето: пасмурное утро закончилось дождем. В промозглом тумане ученый с отчаянием следил, как струилась вода по гладкой поверхности глины, как струйки дождя постепенно краснели и как наконец снимок чудесного силурийского моря превратился в липкую бурую грязь.

Второй раз удалось Никитину увидеть тень минувшего, только на миг восхитившись прекрасным видением. Но все же, если поиски удались однажды, нужно пробовать снова и снова!

Теперь Никитин решил попытаться искать снимки прошлого на стенах пещер — этих естественных камерах-обскурах. Там снимок защищен от капризов погоды, от изменений солнечного освещения. А он, наученный горьким опытом, будет теперь приготовлять фотоаппарат заранее, перед наблюдением. Тогда минувшее не ускользнет. Нужно искать в неглубоких пещерах, где в известковых натеках окажутся изменяющиеся от света вещества.

Над густой масляной водой медленно полз редкий серый туман. Берега светились от инея, а круто спадавшие горные склоны угрюмо чернели, оттаяв в лучах поднявшегося солнца. Тупой нос неуклюжего карбаза, закрытый просмоленным брезентом, был направлен на далекую отвесную скалистую кручу, вставшую поперек могучей реки.

Широкое плесо дышало пронизывающим холодом, струилось беззвучно и быстро. Издалека несся рокочущий, тяжелый рев. Никитин стоял на ослизлых досках рулевого помоста рядом с лоцманом, крепко державшимся за деревянные колышки, вбитые в бревно рулевого весла. На бортовых веслах сторожко напряглись гребцы.

Лоцман потер неуклюжей рукавицей покрасневший нос.

— То Боллоктас ревет, — хрипло сказал он, придвигаясь к Никитину, — самый страшный порог!

— За поворотом? — медленно спросил Никитин.

Лоцман хмуро кивнул.

— Там есть и пещера? — продолжал Никитин. — На левом берегу?

— Взаправду причаливаться хотите? — тревожно прохрипел лоцман.

— Да, другого выхода нет, берегом по кручам не пройти, — твердо ответил ученый.

Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбаз — тяжелый плоскодонный ящик с треугольным носом — стал медленно покачиваться и нырять. Под носом захлюпала вода. Рев приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Казалось, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели.

Лоцман подал команду, гребцы заворочали тяжелыми веслами. Карбаз повернулся ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее ее мощный простор. Гигантские утесы, метров четыреста высотой, надменно вздымались, сближаясь все больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пенистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядом острых, похожих на черные клыки камней, окруженных неистово крутящейся водой. Ущелье вдали было заполнено острыми стоячими волнами, точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные темные стены. Налево в каменную стену вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взметывая столбы сверкающих брызг.

Никитин опустил бинокль и схватился за рулевое весло, помогая лоцману. Навстречу летел, оглушительно шумя, средний камень. Карбазу нужно было пройти не по сливу, а с опасной левой стороны, иначе непреодолимая сила воды отбросит судно к гряде камней, и... к пещере можно будет попасть лишь в будущем году. А это значит — никогда, потому что работы экспедиции были закончены, предстояло спешное возвращение.

— Бей пуще! Пуще! — заорал лоцман.

Карбаз взлетел на гребень высокого вала — за камнем вода падала в глубокую темную яму. Карбаз рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень, рывок руля едва не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко уперлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернуло и неслось теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбаз, заливаемый водой и пеной, отчаянно дергался, прыгая на высоких волнах.

— Греби! — надсаживался лоцман.

Промокшие и вспотевшие гребцы — рабочие и сотрудники экспедиции Никитина — изо всех сил рвали непослушные весла. Менее опытные со страхом ожидали кру-

шения, взглядывая на упрямого начальника. Его лицо, обросшее темной бородой, казалось грозным.

Никитин стоял, широко расставив ноги, па дрожащих мостках, мысленно измеряя и рассчитывая расстояние до белой пенной линии — границы отраженного обратного течения. Лоцман, закусив губу, смотрел туда же. Карбаз замедлил ход, потом снова рванулся вперед и бросился прямо в кипящую пену. Хотелось зажмурить глаза и сжаться в комочек — секунда, и судно неминуемо разобьется в щепы о скалы. Однако ход карбаза снова стал замедляться. С резким толчком судно остановилось и, подхваченное обратным течением, вошло в глубокую черную воду, тихо плескавшуюся у подножия гнейсовых уступов, круто спадавших в реку.

Никитин не сдержал вздоха облегчения. В конце концов, рискованное исследование пещер Боллоктаса вовсе не входило в задание его экспедиции, и если бы в погоне за тенью минувшего случилось несчастье... Но карбаз уже причалил, мягко ткнувшись в скалу. Коллектор лихим прыжком соскочил на выступ скалы и закрепил за камень причальный канат.

— С благополучным прибытием, товарищ начальник! — шутливо согнулся перед Никитиным лоцман.

— Лихо прошли! — одобрительно отозвался ученый.

— По-русски, верняком! — отрубил лоцман.

Крутые склоны поднимались над карбазом метров на полтораста. Выше склон образовал широкий уступ, длинную площадку, полукольцом огибавшую выступ берега. Над площадкой склон горы становился пологим. У его основания располагалось девять черных отверстий — входы в пещеры. Весь склон зарос невысокими кудрявыми соснами, белел сухим оленьим мхом.

Никитину и его помощникам без особого труда удалось поднять наверх все нужное снаряжение. Весь остаток дня провел палеонтолог в пещерах, пока не убедился, что был прав в своих предположениях.

На плоской задней стене пещеры тонкие гладкие натеки наслаивались последовательно. Порода была окрашена в густой желтой-зеленый цвет. Никитин надеялся, что примеси солей железа и хрома, изменившись под действием света, могут сохранить в каком-либо слое световой отпечаток той эпохи, когда здесь били горячие ключи и еще не потухла окончательно вулканическая деятельность, — около шестидесяти тысяч лет назад.

Помощники ученого расчистили вход. Круглое отверстие отбрасывало свет на заднюю стену. Пещера и в самом деле была похожа на внутренность фотографического аппарата.

С бесконечным терпением и тщательностью Никитин приступил к работе. Счищая слой за слоем, он освещал поверхность каждого слоя специально сконструированной им магниевой лампой.

Ученый поворачивал то лампу, то призму, меняя углы освещения и отражения, но ни малейшего намека на видение не проступало в стеклах прибора.

Больше десяти тонких слоев уже было осмотрено и сбито со стены. Оставалась очень тонкая корка натека. Никитин незаметно проработал всю ночь, но, озлобленный неудачей, не чувствовал усталости. Только рябило в глазах от яркого света да подходил к концу запас магниевой смеси.

Неужели еще одно потерянное лето — сейчас, когда он достаточно вооружен для поимки тени прошлого!

Одиннадцатый слой показался Никитину еще более гладким, чем все прежние. Ученый снова зажег магниевую лампу. Несколько поворотов шаровой головки — и в приборе проступило круглое смутное изображение. Серая, неясная тень в правом углу походила на согнутую человеческую фигуру с какой-то косой линией за плечом; налево смутные пятна очерчивали нечто округленное и непонятное. Никитин регулировал прибор, но видение не становилось яснее. Он понимал, что перед ним новый снимок минувшего, однако настолько неясный, что было бы затруднительно даже описать его, не только сфотографировать. Никитин всыпал новую порцию магниевой смеси, увеличив до предела свет лампы. Да, это, без сомнения, человеческая фигура. Значит, все дело в силе освещения. Хотя магниевый свет и дает спектр, подобный солнечному, но сила его недостаточна. Только могучее солнце может дать жизнь им же порожденным теням! И чувствительность его аппарата недостаточна — он слишком прост, этот копирующий фотокамеру прибор. Придется ждать, пока техника создаст чудо-осветитель!

Перегревшаяся лампа, вспыхнув в последний раз, погасла. В тьме пещеры явственно выделялось круглое отверстие входа... Рассвет! Обычное спокойствие оставило ученого — в ярости он стукнул кулаком по ни в чем не повинному прибору.

Никитин совсем разъярился. В пещере ему не хватало воздуха, он бросился наружу и, сильно стукнувшись головой о свод, упал на колени. Удар несколько образумил ученого, но ярость, клокотавшая в нем, не угасла. Прищуренным глазом он оглядел нависшую над входом глыбу. Так, его лампа не годится! Но он увидит тень минувшего при солнечном свете! Он всегда имел при себе аммонал, чтобы при случае быстро вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу.

Палеонтолог деловито осмотрел склон над пещерой, заметил длинные вертикальные трещины, рассекавшие гнейсовые глыбы. Обрушить этот каменный занавес — пустяки!

Ученый начал спускаться к берегу, где расположились на ночлег его спутники, но передумал и вернулся в пещеру. Там он определил угол, под которым падал на поверхность известкового слоя свет его лампы, и взял по компасу направление. Отлично! Солнце будет тут между двумя и тремя часами. Можно успеть выспаться как следует, а то глаза так устали, что и при солнце он ничего не увидит. Хорошо, что утро обещало погожий день!

Как только рассеялась пыль от взрыва, Никитин стал поспешно устанавливать аппарат, балансируя на грудах каменных осколков. Гладкая зеленоватая стена, не поврежденная взрывом, влажно отблескивала в ярком дневном свете.

Нет, теперь он не будет наивен — приготовленная кассета крепко зажата в руке. Едва мелькнет в стекле прибора рожденное солнцем изображение — и он установит фокус, сразу же кассета будет вставлена в аппарат. В результате удачного снимка будет доказано существование, более того — возможность сохранения и передачи теней минувшего. Решительный поворот в трудном пути — дальше он пойдет уже не один! Что значат усилия одиночки в сравнении с дружной работой многих людей, очень хорошо известно каждому, кто пытался проложить новые дороги в науке или технике.

Никитин посмотрел на часы — два часа двадцать три минуты — и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время, но сейчас ожидание было напряженным — ученый знал, что увидит минувшее.

Медленно, очень медленно солнце изменяло свое положение на небе. Никитин забыл про все окружающее. Вот свет коснулся плиты, порождая неясные отблески.

Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовалась четким контуром человеческой фигуры. Косая линия обрисовала копье.

Вобрав голову в широкие плечи со вздутыми, напряженными мускулами, человек уселся, пригнувшись, выставил вперед длинное копье. Широкое, изборожденное морщинами лицо было наполовину повернуто к Никитину, но глаза устремлены на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклокоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Ученому показалось, что на лице человека он прочел тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Все это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат, ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластинку, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух, вокруг потемнело, и, оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце. А за ней сомкнутыми рядами, оседая на вершины окрестных сопок, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад.

С отчаянием в душе ученый осматривал небо. Если пойдет снег, то он больше ничего не увидит — тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты.

Затаив смутную надежду, Никитин покрыл аппарат плащом, оставив его на месте до следующего дня, и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело.

Спутники Никитина притихли, глядя на подавленного, молча сидящего начальника; они переговаривались вполголоса, как у постели тяжелобольного.

В скалах жалобно завыл ветер, закрутились крупные хлопья снега.

Никитин налил себе спирту, выпил и приказал принести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда

увидеть снова образ древнего человека — больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки: запоздание могло привести к тому, что карбаз попадет в ледостав и застрянет в замерзшей реке ниже порогов, среди безлюдной тайги.

Наутро, едва лишь на небе резко выступили вершины сопок, люди засуетились, укладывая вещи.

Причальный канат тихо плеснул, упав в воду; карбаз едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг словно чудовищная мягкая лапа подхватила судно. Карбаз рванулся вперед и понесся в ущелье, где исчез, прыгая, как щепка, в реве и пене острых волн.

Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряженном раздумье неподвижно сидел у стола.

Три года, как он не знает покоя... Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком! А он не может и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его — в погоне за тенью минувшего. За эти три года еще дважды минувшее было у него в руках, два раза он видел то, что не дано было никому увидеть. И он так же далек от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат... он не годится. Он слишком груб.

Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не должен быть одинок...

Никитин зажег верхний свет и, щурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потертый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним, горько усмехнулся и вышел.

В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещенной комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в нескольких местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов, стоящих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или, что еще хуже, разбить хрупкие кости.

Ученый остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стекла витрин, но темные кости скелетов сливались с темным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие мертвого населения музея. Странное впечатление овладело палеонтологом — словно зал был наполнен призраками, ощущаемыми, но невидимыми.

Никитин двинулся вперед, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает все, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хуже тени минувшего! Скелеты существуют и в то же время исчезли — для глаз слишком мало света...

И вдруг Никитин остановился — сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен, надеясь только на свои глаза! Почему он упустил из виду, что тончайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожные количества света, количества, не воспринимаемые обычным зрением? Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатлевшиеся картины минувшего. А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков!

Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетантски! Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими самые ничтожные количества света!

Медленно переступая, двигался палеонтолог по темному залу музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратился снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отраженного от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов, перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый глазом.

Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление контуров, а цвет получится из непосредственного отражения.

Никитин задел плечом витрину и шарахнулся в сторону... Да, тут есть над чем подумать, но, кажется, ключ к решению вопроса найден. «Если удастся создать такой аппарат, — продолжал думать ученый, — мне ничего не страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет. А под землей и говорить нечего! Тогда

тень минувшего — тут! — Палеонтолог сжал пальцы в кулак. — С несколькими фотоэлементами я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к разным лучам спектра».

...Веселый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей.

— Как их, Андрей Яковлевич? — шепотом спросил он. — С ветерком или с подпояской? — Машинист выразительно подмигнул на пришедших.

— Что ты, что ты! — ужаснулся инженер. — Это ведь знаменитый ученый! — Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина. — И аппарат их повредишь... Посмей только! — угрожающе закончил инженер.

Никитин, отличавшийся тонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвященных разговор и поспешил вмешаться.

— Давайте и с ветерком и с подпояской! — громко обратился он к машинисту. — Ни мне, ни аппарату ничего не сделается. Люблю вспомнить старые времена! А моим ребятам полезно — пусть привыкают.

Смутившийся машинист удивленно посмотрел на ученого, потом широко улыбнулся и кивнул головой.

Клеть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение клети все ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу. Словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом.

Это ощущение длилось не более секунды, и снова пол ушел из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх.

— Ох! — вскрикнул помощник Никитина.

Но клеть уже плавно замедляла свой спуск и остановилась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты.

— Чтоб им пусто было! — выругался помощник, стараясь унять дрожь в коленях.

Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников.

Палеонтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности был и за-

нево переконструированный аппарат, и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный черному зеркалу, впервые показавшему ему призрак динозавра, и... только что полученное письмо.

Никитин улыбнулся, перебирая в памяти немногие строки. Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего.

Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Черное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатления от призрака динозавра, глубоко запавшего ей в душу... Ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливого исследователя Каржаева. И теперь у них ведутся поиски слоев, сохранивших отпечатки световых волн.

Она не писала ему раньше потому, что это не было ему нужно — тут Никитин почувствовал скрытый между строк упрек, — но она все время следила за его работой и верила в то, что он доведет дело до конца. А теперь они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним.

Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружавших его людей.

...Из длинного старого штрека тянуло пощипывающей горло гарью, тихо шелестел всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил приступить к испытанию сразу после отпалки[1] заложенных по его указанию шпуров[2]. Здесь, в старых выработках, в стороне от оживленного движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак, плотно обняв идущих, сливался с безыменной чернотой угольных стен.

Где-то едва слышно сочилась вода, далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о тяжком давлении породы.

— Кто показал это замечательное место? — вполголоса спросил Никитин шедшего рядом помощника.

---

[1] Отпалка — взрыв шпура.

[2] Шпур — скважина глубиной до двух метров, пробуренная в горной породе для закладки взрывчатого вещества.

Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером.

— Он редкостный горный мастер, знает каждый слой во всех забоях. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках...

Палеонтолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка.

Впереди забелела чистая колоннада новых крепежных столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, черные стены разошлись, открыв большое пустое пространство с высоким потолком.

Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толща углистых сланцев окружила исследователей, грозя бесчисленными острыми выступами и отсвечивая сталью на гладких сколах...

В самом начале камеры по обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Вросшие одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности пола распластались, словно громадные пауки, могучие пни с разветвленными корнями. Корни стлались по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были срезаны под один уровень — уровень воды в затопленном каменноугольном лесу. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла.

Участок мертвого, превращенного в уголь и известь леса подавлял глубокой древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толща пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, пронесшихся над этими стволами и пнями.

В конце камеры груда обвалившихся сланцев обозначала место произведенного взрыва. Над ними блестела косая черно-бурая плита — затвердевший натек битума. Это и был намеченный к испытанию прослой, отлагавшийся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу.

Скоро магниевая лампа уперлась ярким белым лучом в плиту, и Никитин установил фокус отражательной камеры. Ученый, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал:

— Будем пробовать...

Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя? Палеонтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат: порода уже не была черной — на прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи.

Терпеливо и осторожно ученый регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не проявилась четвертая тень минувшего, открытая им, — тень, которую теперь увидят тысячи людей!

Никитин смотрел на прогалину в чаще затопленного леса. Бледно-серые стволы деревьев с насеченной ромбиками корой обступили маслянистую черную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходившиеся под углом толстые ветки, исчезавшие в густой тени плотно стеснившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперек воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Мясистые отвороты чашечек каждого гриба показывали маслянистую желтую внутренность. За бугорком, над резко изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо розовеющим туманом. Впереди из тумана торчал какой-то искривленный голый сук, а на нем съежилось, втянув голову, непонятное живое существо.

Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул — из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещенный воздух казался черноватым, словно через закопченное, но прозрачное стекло...

Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. Триста пятьдесят миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые волны запечатлели свой снимок. Невероятно отчетливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода и странный серый воздух. А в шахте

слабо шипел прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей...

Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, грубо изломанные угольные стены, древние пни — может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас, живые и стройные, видны в его аппарат... Сосредоточенные лица окружающих людей... Овладев собой, ученый поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков.

На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция пойманной тени прошлого. Надписав последний из назначенных к рассылке оттисков, палеонтолог вздохнул.

Давно уже не было ему так легко и радостно.

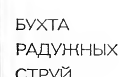
Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть, более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути! Но одиночество — оно было только в познании... В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уж о его сотрудниках, совсем чужие, казалось бы, люди, далекие от науки...

Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего.

Значит, он работал и пользовался их помощью в долг... Да, и теперь этот долг уплачен — вот откуда громадное облегчение!

Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути.

Ученый улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей ее о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки, не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы!



БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ

Покинув библиотеку, профессор Кондрашев поднялся на следующий этаж и направился в свою лабораторию. Длинный коридор со множеством белых дверей по обеим сторонам был полуосвещен и тих. Лишь несколько сотрудников задержались, оканчивая срочную работу.

Профессор прошел к столу, втиснутому между двумя химическими стойками, и устало опустился в кресло. Газовые горелки едва слышно шипели, колба и стаканы сияли химической чистотой, наводящей трепет на непосвященных. Безупречность помещения, приспособленного к размышлениям и опытам, успокаивала, и горьковатый осадок в душе профессора исчез. Он еще раз мысленно перебрал основные положения своей последней опубликованной книги, стараясь беспристрастно оценить сделанные ему критические замечания.

В этой книге профессор Кондрашев отстаивал необходимость широкого изучения скрытых свойств различных растений, в особенности древних форм растений, являющихся пережитками, реликтами еще более древних эпох существования Земли. Подобные растения, живущие сейчас в тропических и субтропических странах, могут оказаться носителями очень важных и ценных свойств, выработавшихся в приспособлении к иным условиям существования десятки миллионов лет назад. В качестве примера профессор приводил растения, обладающие очень ценной древесиной и являющиеся пережитками древнетретичной эпохи (шестьдесят миллионов лет назад): у нас, в Закавказье, — самшит и «железняк», в южных странах — тик, гринхирт, черное африканское дерево, японское гингко с его еще не изученными целебными

свойствами, существовавшее более ста миллионов лет назад. Женьшень, уцелевший от третичного периода...

Эта работа профессора Кондрашева подвергалась резкой критике со стороны авторитетных ученых, и сейчас в угрюмом молчании профессор признался себе, что его критики во многом правы. Положения работы основывались больше на горячем убеждении, а фактического материала, требуемого железными законами научного мышления, увы, было маловато. В то же время профессор Кондрашев был уверен в правильности своих положений. Да, больше убедительных фактов...

Вот если бы иметь в руках доказательства действительного существования «дерева жизни» средних веков! В шестнадцатом и даже в семнадцатом веках еще было известно это дерево, обладавшее чудесными, необъяснимыми свойствами. Чаши или бокалы, сделанные из него, превращали налитую в них воду в чудесный голубой или огненно-золотистый напиток, излечивавший многие болезни. Происхождение этого дерева и вид растения оставались неясными. Тайной дерева владели иезуиты, дарившие волшебные деревянные чаши королям, добиваясь от них пожертвований и привилегий.

Дерево это в старинных сочинениях Монардеса, изданных в Севилье в 1754 году, а также у Атаназиуса Кирхериуса называется по-латыни «лигнум вите» или «лигнум нефритикум», что по-русски значит «дерево жизни» или «почечное дерево».

По одним сведениям, оно происходило из Мексики, по другим — с Филиппинских островов. Действительно, у ацтеков было известно чудесное целебное дерево под названием «коатль» («змеиная вода»). Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей из почечного дерева, проделанные знаменитым Бойлем, описавшим явления голубого свечения налитой в чашу воды и тогда же отметившим, что это не краска, а какое-то еще необъяснимое физическое явление.

— Можно, Константин Аркадьевич? — раздался знакомый женский голос, и в двери мелькнули светлые кудряшки и вздернутый носик Жени Пановой.

Способный научный работник и в то же время хорошенькая женщина, Панова имела успех не только у молодежи, но и у более почтенных по возрасту сотрудников института. Профессор Кондрашев, сам не зная, по каким обстоятельствам, пользовался ее особой симпатией.

— Послушайте, дорогой Константин Аркадьевич, не огорчайтесь... Я знаю, чем вы опечалены... Но, мне кажется, вы слишком обгоняете тот уровень науки, который определяется наличным фактическим материалом.

— Я знаю сам, что нетерпелив! — буркнул Кондрашев, слегка задетый замечанием и недовольный вмешательством. — Вы-то можете ждать, но мне уже маловато времени осталось. А чудес, внезапных открытий в мире не бывает. Только один медленный труд познавания, подчас тоскливый...

Желая переменить разговор, Панова вытащила из сумочки два билета.

— Константин Аркадьевич, поедемте в филармонию. Там сегодня Чайковский — моя любимая «Березка». Вы ее тоже любите. А Сергей Семенович нас подвезет, он сейчас едет. Я и побежала за вами... — Она дружески улыбнулась.

В девять часов они были в филармонии. Скрипки пели о русской беспредельной природе, о покое медленных и широких рек, обрамленных темными лесами, под низко светлеющимися хмурыми облаками, о трепетании свежей, как радостное обещание, зелени стройных берез...

И Кондрашев, смирившись в своем нетерпении, думал о неотвратимой безудержности знания, которое все шире и дальше распространяется по бескрайним равнинам неизвестного, захватывая всё большие массы людей...

— Я всегда убегаю слушать музыку, если на душе нелегко, — шепнула Панова.

Профессор улыбнулся и уже с удовольствием посмотрел на нее. В антракте, когда они шли по коридору, из встречного потока людей выделился загорелый человек в морской форме. Кондрашев заметил необычный загар его энергичного лица и весело блестевшие глаза. Моряк — вернее, морской летчик, судя по крыльям, нашитым на его рукаве, — увидев Панову, мгновенно очутился перед ними, восклицая:

— Женя, Женя!

Девушка вспыхнула и рванулась к нему, но тут же сдержалась, подала ему обе руки:

— Борис! Откуда ты взялся?

Профессор почувствовал себя лишним и направился в курительную. Он успел докурить папиросу, прежде чем Панова с летчиком разыскали его.

— Познакомьтесь. Это Борис Андреевич, мой большой, большой друг. И знаете, Константин Аркадьевич, он летал очень далеко, только что вернулся и видел нечто необычайное. Как бы чудо, которое вы сегодня отрицали, действительно не случилось... Но это замечательно — разыскать меня здесь!.. Всего три часа, как приехал... — торопясь и несколько бессвязно говорила девушка.

Летчик прямо сиял от радости...

Профессор с удовольствием пожал руку моряку, приятный вид которого... да, он безусловно производил приятное впечатление.

Они обменялись обычными при первом знакомстве незначительными словами, но девушка нетерпеливо перебила:

— Борис, вы не понимаете... если есть у нас хоть один человек, который может объяснить ваше необыкновенное открытие, то это только Константин Аркадьевич!

Все трое оказались у профессора на квартире, и здесь летчик подробно и обстоятельно рассказал о своем путешествии. Уже начало рассказа заставило профессора радостно насторожиться.

Всего два с половиной месяца назад молодой, но уже занимающий крупный командный пост морской летчик Борис Андреевич Сергиевский получил очень важное задание. Позднее, когда станет возможным предать огласке то, что мы сейчас должны хранить в тайне, подобные предприятия войдут в историю как примеры беззаветного мужества исполнителей и мудрой дальновидности руководства.

Борис Андреевич был назначен в дальний беспосадочный полет для доставки ценного груза, от скорости прибытия которого зависело многое в сложных судьбах войны с фашистами.

Мутный день соответствовал унылой картине окружающего. Низенькие дома поселка терялись среди больших темных елей. Повсюду торчали свежеспиленные пни. Беспросветные облака застилали все кругом и, осаждаясь, расплывались у самых верхушек леса редкими бесформенными клочьями. Остро пахло лесной прелью, под ногами хлюпала размокшая болотистая почва и с неприятной бесшумной податливостью оседал толстый слой мха. Шаги приобретали четкость лишь на грязно-серой ленте бетон-

ной дорожки, испещренной там и сям радужными кольцами масляных пятен.

Сергиевский с радостью окинул взглядом свою машину, уже вырулившую на старт. Самолет был высотный, пассажирского типа, по бокам его толстого фюзеляжа виднелись небольшие окна. Спереди фюзеляж заканчивался сплошным металлическим конусом, в верхней части перерезанным застекленной полосой. Длинные приподнятые крылья несли каждое по два мотора, защищенных широкими кольцами полированного дюраля. Их трехлопастные винты медленно вращались. Позади резко выделялся очень высокий руль. В своем обнаженном серебряном сверкании самолет был вызывающе красив, подобный дерзкому альбатросу.

Командование аэродрома явилось на проводы. Сергиевский оглянулся на торжественные и серьезные лица провожающих и с улыбкой посмотрел на часы. Все было готово. Последние, такие жадные затяжки — и папироса полетела в лужу. Сергиевский решительно подошел к самолету.

Тревожное напряжение долгой и тщательной подготовки отошло, настало время действовать. Облегченно вздохнув, летчик бросил взгляд на хмурое небо. Там, за тучами, на огромной высоте, на которой он поведет своего альбатроса, сияет яркое летнее солнце...

Несколько четких команд, и герметические двери захлопнулись, мягко зашипел проверяемый радистом кран уравнителя воздушного давления, затем все, потонуло в оглушительном реве тысячесильных моторов.

Двадцатитонный серебряный альбатрос легко оторвался от земли, повинуясь едва заметному движению руки пилота, и почти мгновенно исчез в непроницаемой, облачной мгле. Гирогоризонт в матовой серой панели автопилота показал крутой наклон; стрелки альтиметров неуклонно ползли вверх. Застилавший окна туман вдруг начал розоветь, перешел в палевую дымку, и наконец голубой яркий свет хлынул через наклонные стекла. Пробитая толща облаков осталась под самолетом. Верхушки хаотических нагромождений облаков по белизне не уступали горному снегу, глубокие впадины и провалы тускло серели. На высоте семи тысяч метров Сергиевский лег на курс, перевел моторы на крейсерские обороты и включил автопилот.

Второй летчик, Емельянов, занимавший правое си-

денье, снял наушники и, хмуря высокий залысый лоб, пытался ослабить слишком тугую пружину. Сидевший позади Емельянова штурман неторопливо шелестел справочником.

Сергиевский откинулся в мягком кресле, изредка взглядывая на приборы. Перед самолетом лежали тысячи миль пути над океаном, прежде чем снова ляжет под его крыльями чужая, но гостеприимная земля. Часы над просветом центрального стекла показывали восемь. Еще полчаса, и начнется опасный район. Там, в синеве безмятежного неба, рыскают немецкие воздушные хищники. Хотя высотный альбатрос и был оборудован четырьмя пулеметами, все же встреча с проворными «мессерами» представляла грозную опасность...

Сергиевский думал не о себе, а о драгоценном грузе, лежавшем за его спиной в кабине. Между тем товарищи Сергиевского спокойно занимались своими обязанностями, не разговаривая и даже не обмениваясь жестами. Все словно молчаливо условились, что до того, как опасный район останется позади, рассуждать, собственно, не о чем. Наиболее озабоченный вид был у механика, сосредоточенно следившего за бесчисленными стрелками своих приборов.

Серебряный альбатрос несся с огромной скоростью. Успокоительно и ровно гудели моторы. Толстый слой облаков по-прежнему висел между землей и самолетом. Изредка в нем темнели глубокие провалы с рваными краями. В них мелькала далекая и безразличная к людям в самолете земля, с высоты полета казавшаяся плоским темным полем без всяких подробностей.

Так прошел час, кончался второй. Самолет находился уже глубоко внутри опасного района, размеры которого были, увы, слишком велики. Стрелки до боли в глазах вглядывались в чистую синь неба и белизну облаков. В двадцать минут одиннадцатого Сергиевский резко выпрямился в кресле, твердо сжав штурвал:

— Внимание! Три неприятельских самолета!

Далеко впереди, перед кудрявившимся белым облачным скатом, возникли три маленькие черные черточки. Властная воля к борьбе соединила в одно целое маленькую группу людей, наглухо замкнутых в просторной кабине.

Емельянов, смотревший в бинокль, вдруг громко и презрительно сказал:

— Эти нам не страшны, Борис!

Снова тысячи сил и тысячи оборотов сотрясли самолет. Метнулась направо стрелка указателя скорости подъема, спидометр качнулся налево. Самолеты врага приблизились, расходясь в стороны. Сергиевский наконец прекратил подъем, и машина устремилась вперед с прежней скоростью, оставив внизу мрачных преследователей, напрасно пытавшихся достичь ее потолка.

Белая равнина облаков, сгладившаяся и оставшаяся далеко внизу, разорвалась на гигантские пухлые куски. Под ними тусклым оловянным листом лежало море, а налево такой же, только более темного оттенка, полосой с причудливыми вырезами виднелась земля.

Все дальше и дальше уходил самолет, пересекая опасную зону. Курс был изменен. Взяв к югу, Сергиевский увеличил скорость. Еще немного — и самолет углубится в океан, оставив за собой район действий противника. Беспредельная гладь океана как бы остановила летящий самолет своим подавляющим однообразием. Волны с семикилометровой высоты не были заметны, блестящая поверхность воды казалась выпуклой. Впереди виднелся облачный фронт, суливший перемену в спокойной обстановке полета. Однако перемена наступила раньше.

Число пройденных километров перевалило за три тысячи, когда в воздухе снова возникли угрожающие черные точки, а далеко-далеко внизу показались крошечные силуэты военных судов. Два вражеских самолета, задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного облака. Время словно прекратило свой размеренный бег.

Все последовавшее произошло как бы в одну секунду невероятного напряжения. Тупые хлопки пулеметных очередей, хлеставших самолет поперек фюзеляжа, едва донеслись сквозь шум моторов. Сергиевский наклонил машину и резко бросил ее влево. Одновременно заревели пулеметы обеих турелей. Еще поворот — на миг в окне мелькнул «мессершмитт», углом падающий вниз; затем альбатрос понесся с нарастающим ревом вниз в пологом пике, быстро сближаясь с третьим вражеским самолетом. Снова взревели пулеметы — мимо лица Сергиевского пролетело что-то горячее, брызнули во все стороны осколки, и альбатрос нырнул в густую белесую мглу.

Сергиевский почувствовал почти твердую струю холодного воздуха, бившего в лицо, и понял, что в носу

кабины пробоины. Самолет продолжал мчаться в непроницаемом облаке; моторы по-прежнему тянули свою победную песнь.

Вот, вызывая тревогу, блеснул яркий солнечный свет, но навстречу снова надвигалась облачная стена. Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока самолет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой толщи облаков, шедших с запада высоко над океаном. Ровный полет сменился ныряющим потряхиванием: воздух был неспокоен и словно старался сбросить многотонную тяжесть корабля.

Сжавшееся от напряжения тело Сергиевского ослабевало. Он выровнял самолет, бросил взгляд на гирокомпас и застыл от изумления: вся верхняя часть стойки с приборами представляла собой нагромождение истерзанного металла. Сергиевский обернулся. Поток бронебойных и разрывных пуль, разбив переднюю часть кабины, пронесся, видимо, дальше — между пилотами — и ударил в основание стойки турели, где была смонтирована радиоустановка. Радист лежал на разбитом аппарате, прижав руку к щеке. Механик, не обращая внимания на выступившую на плече кровь, с сосредоточенным видом тушил слабо горевшие обломки, а второй пилот Емельянов хмуро ощупывал руку сквозь разодранный рукав комбинезона. Уже стучало в ушах и не хватало дыхания — давление в пробитой кабине упало, сравнявшись с разреженным высотным воздухом, и без кислородных аппаратов долго удержаться на этой высоте было нельзя.

Пока товарищи забивали широкую пробоину в носу самолета и перевязывали раненых, Сергиевский, убедившись, что толщина облаков достигает такой высоты, на которой самолет с пробитой кабиной держаться не может, начал снижаться.

Положение самолета было тяжелым вследствие гибели основных ведущих приборов и повреждения радиоустановки. Без солнца лететь над лишенным ориентиров океаном было почти все равно, что лететь слепым полетом.

Пока налаживали уцелевший магнитный компас, Сергиевский мечтал о птичьем чувстве направления. Каким особым чутьем руководятся птицы при своих долгих полетах в дождь и туман над морем? Выработается ли это чувство у человека, тоже ставшего птицей?

Магнитный компас, несмотря на очевидно изменив-

шуюся после такого сотрясения и смещения девиацию, все же давал, хотя бы в пределах четверти горизонта, ту линию направления, без которой самое совершенное искусство слепого полета становится опасной и неверной игрой...

Вокруг темнело. Начинался шторм. Вот по окнам заструилась вода; потоки ее хлестали по самолету, легкая пена тумана уступила место мутной, серой водяной пелене. Емельянов со штурманом, отчаявшись привести в порядок радиоустановку, принялись извлекать и налаживать аварийную. Механик, балансируя на правом кресле, пытался исправить неработавшие, но уцелевшие приборы.

Тьма сгущалась. Самолет вздрагивал от резких толчков. На высоте двухсот метров окна посветлели: машина выходила из облаков. Еще пятьдесят метров — и внизу показались извилистые белые гребни волн. Океан продолжал бушевать. Под угрюмо нависшими тучами, в узкой щели между облаками и громадными волнами, самолет, подобно настоящему буревестнику, прокладывал свой путь со стремительной силой. Машину бросало и покачивало, обломки и незакрепленные вещи перекатывались по кабине.

Порывы ветра, заглушаемые гулом моторов, с яростной силой набрасывались на самолет и бессильно скользили по гладким полированным, заметно вибрировавшим крыльям. Замечательная конструкция самолета позволяла ему садиться и на воду; но вынужденный спуск в безумном метании вздыбленных вод был гибельным даже и для летающей лодки. Впрочем, летчиков занимали сейчас совсем другие мысли: сложные расчеты возможных ошибок ненадежного магнитного компаса, дрейф воздушного корабля, расход горючего...

Сергиевский передал управление Емельянову (рана второго пилота была пустяковой), а сам вместе со штурманом склонился над развернутыми картами. Аварийная радиоустановка почему-то никак не хотела действовать, и серьезно раненный радист не мог помочь летчикам. День угасал, туман над океаном густел, а все еще ни один радиопеленг не зазвучал в наушниках.

— Давайте английскую карту две тысячи девятьсот двадцать семь! — распорядился Сергиевский.

Зубчатые голубые, красные линии штормов и пассатов перекрещивались со стрелками на квадратной сетке

карты. Вычисления были недостаточно точны — слишком мало давали показания уцелевших навигационных приборов. Однако гостеприимный берег — там, далеко впереди, — простирался на тысячи миль. Отклониться настолько сильно на юг и на север, чтобы миновать его, было невозможно. Взвесив все, Сергиевский успокоился.

Две лампочки в потолке кабины ярко освещали разбитые щитки приборов. Океан скрылся, отступив в темноту, в которой лишь угадывалось его опасное присутствие. Уже тысячи километров водной пустыни остались позади, но внизу по-прежнему были одни волны, только волны — вечное дыхание необъятной массы воды.

Полет продолжался более полусуток, и далекая цель, несмотря на задержку самолета в бою и штормовые условия полета, должна была значительно придвинуться.

Время ползло медленно, гораздо медленнее, чем стрелки указателей расхода горючего. Больше трех тонн бензина еще находилось в баках самолета, но это было уже много меньше половины первоначального запаса. Расход горючего был чересчур высок: встречный ветер мешал самолету двигаться с нужной скоростью.

Сергиевский пытался успокоить себя разумными рассуждениями, что все равно ничего не поделаешь — нужно лететь и лететь, а там видно будет. Погода не благоприятствовала определению места самолета: область циклона осталась позади, но высокие облака закрывали звезды. Ночь тянулась бесконечно, времени для тревожных мыслей оставалось утомительно много. Девятнадцать часов полета — и все еще никаких признаков береговых огней!

Теперь было ясно, что не только шторм задержал самолет, но еще и отклонение от нужного курса. Сергиевский повернул немного к северу, пытаясь выправить предполагаемое отклонение к югу.

Безупречные моторы работали, как в первый час полета, хотя сделали уже три с половиной миллиона оборотов. Оставалось всего полтонны бензина, а берега все нет.

Рассвет наступил быстро. Солнечный багрянец залил половину океана позади самолета. Прозрачное утро, казалось, несло надежду и радость. А стрелки бензиномеров всё ползли и ползли налево, к грозной для пилота цифре — белому кружку нуля с толстой чертой, подчеркивающей страшный символ: горючего больше нет!

Отсутствие земли казалось невероятным и тем не менее было совершенной реальностью. Еще немного — и могучая сила моторов погаснет, бешено крутящиеся воздушные винты остановятся, и воздушный корабль беспомощно рухнет в волны. Волны словно ждали своей добычи — плавно и мерно вздымались они из глубин океана, застывая на миг, перед тем как сникнуть, будто пытаясь достать низко летевший над ними самолет.

Появление солнца наконец дало возможность определиться.

— Двадцать семь градусов широты! — воскликнул Сергиевский. — Мы взяли порядочно к югу... Самое важное для нас долгота, а с ней-то хуже — примерно семьдесят девять западной... Ну, товарищи, должна быть видна земля.

Пилот набрал высоту. Действительно, едва заметная, похожая на неподвижный гребешок высокой волны темная полоска возникла на горизонте. К ней жадно устремились взгляды воспаленных, усталых глаз. Емельянов поднял бинокль, и Сергиевский увидел, как летчик облегченно вздохнул. Полоска темнела и утолщалась. Вот ее верхний край стал неровным — обнаружились закругленные вершины гор или холмов.

Еще двадцать минут — и белая пена прибоя стала отчетливо видна. Моторы, черная последние литры бензина, гулко ревели, набирая высоту для решающей минуты вынужденного спуска. Сесть на воду у берега было нельзя — мощные волны бились о тупые выступы темных камней; крутясь в провалах и трещинах, отбегали назад извивы пенящихся струй.

Выше полосы прибоя берег вздымался гранеными уступами, с густым зеленым ковром по распахнутым вверх склонам ущелий и неглубоких долин. Здесь тоже ничто не указывало на возможность благополучной посадки.

За прибрежными горами местность понижалась и насколько хватал глаз, была покрыта сплошным лесом. Местами блестели на солнце зеркальные пятна болотной воды. Направо, в отблесках моря, очень далеко на севере, выступал узкий мыс, на котором угадывалось белое возвышение, сделанное человеческими руками, — возможно, башня маяка.

Сергиевский заметил уже ясно вырисовывавшиеся на берегу деревья. Это были пальмы. Стрелки бензиномеров

трепетали на нуле — товарищи Сергиевского изо всех сил качали ручные насосы, не отрывая взгляда от своего командира. Слева берег заворачивал внутрь суши и отклонялся на запад. Самолет перелетел гребнистый и длинный, покрытый пальмами мыс, и в этот момент неожиданно наступила тишина. Моторы остановились. Только крайний левый еще издал несколько стреляющих вспышек, перед крыльями замахали лопасти пропеллеров, словно предупреждая о том, что больше держать корабль в воздухе они не могут.

— Прыгать по очереди через левую дверь. Емельянов, распорядись! — приказал Сергиевский, толкнул штурвал вперед и повел тяжелую машину вниз по пологой линии, стараясь протянуть спуск как можно дольше и в то же время избежать роковой потери скорости.

В грозной тишине спускался самолет. Он покачнулся. Справа взвились вверх зеленые выступы гор. Еще немного — и блестящий металл красивой птицы сомнется, разлетится на бесформенные куски вместе с исковерканными трупами летчиков. Но экипаж самолета безмолвствовал, затаив дыхание, не решаясь расстаться с прекрасной машиной и надеясь на искусство пилота. А Сергиевский, отдав приказ, уже не думал о людях, весь уйдя в полное надежды усилие сохранить самолет и его груз. Две-три секунды земля приближалась...

Но тут пилот заметил небольшую спокойную бухту, загражденную лесистыми выступами берега от ударов прибоя. Решение вспыхнуло мгновенно: поворот, еще больший наклон самолета вниз — и земля помчалась навстречу...

Сергиевский резко рванул штурвал на себя, осадив огромную машину, как послушного коня. Не выпуская шасси, самолет задел низкий лесок на выступе берега в грохоте ударов и треске ломающихся деревьев. Обессиленная серебряная птица смяла деревья, как траву, тяжело плюхнулась в воду бухты и скользнула по ней среди брызг. Пробежав полторы сотни метров, она остановилась совсем близко от высокого противоположного берега. В последнюю секунду движения Сергиевский еще успел выпустить шасси, чтобы использовать малейшую возможность задержать инерцию тяжелого корабля. Маневр удался: огромная машина легла на прозрачную голубоватую воду, слегка накренившись на правое крыло.

Самолет еще покачивался и вздрагивал, когда летчики

выбрались на крыло. Гнетущая тяжесть ответственности свалилась с души Сергиевского. Он расправил плечи, радуясь ослепительному солнцу, ласковой воде и буйной тропической зелени. Глубина воды под самолетом не превышала трех метров, колеса шасси уперлись в плотный песок постепенно поднимавшегося дна. Герметическая кабина не пропускала воды, а носовая пробоина находилась выше уровня осадки самолета.

— С прибытием, товарищи! — весело сказал Сергиевский. — Правда, не совсем к месту назначения, но это не беда. Могло быть и хуже. А сейчас мы где-то во Флориде...

Зной, причудливые формы незнакомых растений и без пояснений говорили о далеком юге.

Все происшедшее за последние сутки казалось быстро промелькнувшим сном.

— Ну, робинзоны, еще раз осмотрим самолет и поспим немного. Рекомендую раздеться, не то сваримся в комбинезонах.

Посоветовавшись с механиком и вторым пилотом, Сергиевский решил после отдыха подпереть хвостовую часть и правое крыло какими-нибудь стойками для обеспечения полной безопасности машины от увязания в грунте во время отлива.

Полдневное солнце нагрело самолет, ослепительно отражаясь от его полированной поверхности. Летчики вылезли, отдуваясь, наружу. Раненому радисту стало лучше, и он был удобно устроен на сквозняке между двумя вынутыми окнами.

Летчики разложили складную резиновую лодку, готовясь отправиться на берег за подпорками для машины. Сергиевский оставил одного из стрелков дежурить в самолете и, поднявшись на верхнюю часть левого крыла, оглядел бухту, выбирая наиболее подходящие деревья.

Гладкая вода бухты имела сердцевидный контур. В середине берегового выступа возвышалась крутая скала с тонкими, изогнутыми пальмами. Направо когтеобразный мыс порос перистыми деревьями, сплошь покрытыми белыми цветами. Мыс пересекала широкая дорога, проложенная самолетом. Обломанные вершины, вывороченные с корнем деревья и нагроможденные у края воды свежерасщепленные стволы привлекли внимание Сергиевского. «Много материала для стоек наготовили», — усмехнувшись, подумал летчик. Некоторые обломки деревьев

были отброшены далеко в глубь бухты — такова была сила удара самолета, прочность его корпуса.

— Да, если бы не этот пружинящий забор... — вслух сказал сам себе Сергиевский и, не докончив мысли, поглядел на противоположный берег бухты, о который неминуемо бы разлетелась вдребезги длиннокрылая машина.

Погрузившись в лодку, летчики медленно двинулись по зеркальной воде, нехотя морщившейся вокруг. Там, где в прозрачной воде громоздились расщепленные обломки деревьев, придавленные сверху целым лесным завалом, летчиков поразила невероятная, незабываемая картина.

Ровный, плотный песок на дне давал однотонную, казавшуюся бурой поверхность сквозь голубеющую воду. Над ней во всех направлениях в пронизывающих воду солнечных лучах изгибались и двигались, переплетались и перемешивались струи глубочайшего синего и огненно-золотистого цвета.

Небольшой песчаный бугорок на дне, под грудой изломанных стволов, был окаймлен светло-синим полукольцом, заполненным клубами искрящегося золота и чистейшей сини. Временами между золотом и синью мелькали извивы алых, пылающе-пурпурных и изумрудно-зеленых струй. Сказочная симфония сверкающих красок переливалась, отсвечивала, клубилась и струилась, приковывая взгляд своим почти гипнотическим очарованием.

Ошеломленные невиданным зрелищем, летчики долго не могли отвести взгляд, пока наконец Сергиевский решительным толчком не ввел лодку прямо в клубящееся золото.

Налево два обломка, отброшенные в глубину бухты и воткнувшиеся в дно, стояли почти вертикально, и вокруг них извивались те же струи золота с синью, только более узкие и прозрачные.

Сладкое благоухание таинственных деревьев распространялось в воздухе, усиливая впечатление чудесного. Вода в этом уголке бухты опалесцировала слабыми, как бы разведенными во много раз, но такими же безупречно чистыми красками золота, сини и пурпура.

Сергиевский и его товарищи вошли в мелкую воду у берега и принялись выбирать подходящие для стоек обломки деревьев. Стволы не были толстыми — всего шесть-семь сантиметров в диаметре, — с очень плотной и тяжелой древесиной. Сердцевина дерева была темно-

бурого цвета и окаймлялась почти белым наружным слоем.

Механик, найдя расщепленный пополам ствол, погрузил его для опыта в воду. Сначала — первые две-три минуты — в воде медленно распространилось едва заметное голубое опалесцирующее облачко, затем от ствола начали отделяться маленькие радужные струйки. Они заворачивались спиралями, распространяя сияние.

Так вот разгадка чудесных красок в воде бухты — присутствие расщепленной древесины загадочного дерева! Сергиевский внимательно смотрел на берег, стараясь запомнить очертания деревьев. Ничего особенного не было в их раскидистых ветвях, перистых листьях и гроздьях белых цветов.

Вдруг откуда-то из-за мыса донесся слабый, но отчетливый шум, который нельзя было спутать ни с каким другим звуком, — мотор! Далекое гудение было ровным и сильным, несомненно приближавшимся к бухте.

— К самолету! Скорее! — скомандовал Сергиевский.

С левого крыла, приподнявшегося над водой, виднелись волны, размеренно и непрерывно катившиеся на берег. Обогнув длинный восточный мыс, серый моторный катер неожиданно рассек плавные волны белым пенящимся буруном. Нос, высоко поднявшийся над водой, слабо покачивался, под ним лежала черная тень, а металлические части орудийной и прожекторной установок горели туманными огоньками.

Катер повернул, моторы стихли, и маленькое судно подлетело к самолету. На носу его выросли крупные фигуры моряков береговой охраны в белых куртках и широких трусах, казавшихся легкомысленным нарушением необходимой суровости военной формы.

Переговоры не затянулись, и катер исчез так же быстро, как появился, а спустя некоторое время два куцых гидросамолета тяжело опустились на воду большой бухты, в километре к западу от «бухты радужных струй». Раненый и часть груза были взяты на гидросамолеты, в баки советской машины влито две тонны бензина. Оставалось ждать прибытия двух судов, для того чтобы во время отлива отбуксировать самолет из маленькой бухты через узкий проход между рифами.

Короткие сумерки сменились густой темнотой. Сергиевский спохватился, что нужно взять с собой образец волшебного дерева, иначе все виденное в бухте скоро по-

кажется невероятным сном. В ожидании восхода луны летчик поднялся на крыло самолета и увидел отчетливое голубое сияние, распространившееся в воде вокруг стоек, подпиравших крыло и хвост самолета. Удивленный новым проявлением чудес бухты, пилот поглядел в сторону сокрушенного самолетом леса. Окруженное темной водой, яркое голубое пятно горело там, где днем сверкали извивы радужных струй.

Сергиевский опустился в лодку и поплыл к светящемуся пятну. Вокруг расщепленных стволов вода казалась облаком светящегося голубого газа, бросавшим серебристый отблеск на лицо и руки Сергиевского. Света, испускаемого водой, было достаточно для того, чтобы ориентироваться, и летчик быстро отобрал несколько кусков древесины, не забыв прихватить и ветки с листьями и цветами.

Во время работы по буксировке самолета из бухты Сергиевскому было не до расспросов, а потом, когда «бухта радужных струй» осталась позади, летчику уже не удалось узнать ничего вразумительного. Дерево, о котором он рассказывал, было знакомо местным жителям под названием «сладкое дерево». Оно встречалось здесь редко, и никто не слыхал о чудесных свойствах его древесины.

Медленно и осторожно, вместе с отливом, серебряный корабль был выведен на простор спокойного моря, и рев моторов потряс безмятежный тропический берег.

Альбатрос покинул навсегда чудесную бухту и вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы.

* * *

Профессор Кондрашев повернулся на высоком стуле к входившему в лабораторию Сергиевскому и молча протянул ему стойку с пробирками, на дне которых лежали маленькие кусочки волшебного дерева, привезенного летчиком. В воде переливались и блестели струйки и облачка огненно-желтого и прозрачно-синего цветов, иногда переходившие в зеленовато-желтые или сверкающие голубые тона.

— Похоже на вашу бухту? — вопросительно улыбнулся профессор.

— Не совсем, — серьезно ответил летчик. — Там краски и свечение были куда ярче.

— А, конечно, — спохватился Кондрашев, — ведь в бухте вода-то морская! — и капнул в пробирки по нескольку капель какого-то раствора.

Синь тотчас сгустилась и из прозрачной стала почти непроницаемой для глаза, а желтые облачка показались отлитыми из червонного золота.

— Оказывается, — пояснил профессор,— добавление в пресную воду небольшого количества щелочей резко усиливает способность дерева окрашивать воду. Впрочем, это не краска, а какое-то особое вещество, еще не разгаданное наукой. Его способность светиться и опалесцировать может оказаться весьма ценной. Дерево мне удалось определить — оно сродни обыкновенным серым орехам, но является очень древним представителем этой группы и называется «эйзенгартия». Эйзенгартия существовала не менее шестидесяти миллионов лет назад. Сейчас это кустарник, широко распространенный на юге Соединенных Штатов и не обладающий никакими чудесными свойствами — очевидно, выродившийся в неблагоприятных условиях жизни. И вот оказывается, что в Южной Мексике, на Юкатане, и очень редко там, где вы были, эта же самая эйзенгартия сохранилась в виде небольшого дерева, так же как в древние эпохи своего существования. Это дерево обладает особыми, уже знакомыми вам свойствами. Именно оно и представляет собою «коатль» ацтеков, или «дерево жизни» средневековых ученых. Вам, дорогой, принадлежит честь открытия — вернее, возобновления открытия — этого ценного растения.

Профессор встал и торжественно извлек из стеклянного шкафчика небольшой бокал из темной древесины эйзенгартии.

— Вам, — продолжал он, наливая в бокал чистую воду из колбы, — по праву надлежит первому выпить волшебный напиток, сохранявший здоровье средневековых владык...

Вода в темном бокале казалась зеркальцем глубочайшей синевы. Сергиевский, смущенно улыбаясь, принял бокал из рук профессора и, не колеблясь, осушил до дна.

«КАТТИ САРК»

От автора

Первый вариант этого рассказа был опубликован в 1944 году. В то время я знал судьбу замечательного корабля лишь в общих чертах и придумал фантастическую версию о постановке «Катти Сарк» в специально построенный для нее музей. После того как рассказ был издан в Англии, английские читатели сообщили мне много новых фактов о судьбе «Катти Сарк».

В 1952 году в Англии образовалось Общество сохранения «Катти Сарк», которое на собранные деньги реставрировало корабль и поставило его в сухую стоянку.

Настоящий, полностью переработанный вариант рассказа является попыткой изложения этапов подлинной истории «Катти Сарк».

ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

В квартирке едва умещались многочисленные гости. Все сиденья были использованы, и в ход пошли торчком поставленные чемоданы. Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди веселых возгласов и смеха.

Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, жался у стены, рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного, узкого корпуса корабля чувствовалось совер-

шенство, подчеркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние реи были необычайно длинны и в размерах почти не уступали нижним.

Хозяин подошел ободрить робкого гостя.

— Любуетесь? — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана.

— Этим кораблем вы тоже командовали, Даниил Алексеевич? — спросил юноша.

— Вот еще! — отмахнулся старый моряк. — Да это же «Катти Сарк»!

— Что такое? — не понял штурман.

— Ну да, откуда ж вам, береговикам зеленым, знать! — пробурчал капитан. — А впрочем... Внимание, товарищи! — крепким, «штормовым» голосом перекрыл он шум сборища.

Все лица выжидательно повернулись к нему.

— Сколько тут моряков летучей рыбы? [1] Поднимите руки!.. Раз, два...— считал капитан,— одиннадцать. Много!.. Ну так вот...— Капитан снял фотографию со стены и поднял, чтобы все могли видеть. — Это «Катти Сарк»!

Последовало общее недоуменное молчание, нарушенное одиноким возгласом:

— А, вот она какая!

Капитан усмехнулся.

— Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным. Да и в самом деле — оно достигло высочайшего совершенства. Прошло примерно семьдесят лет — срок одной человеческой жизни, и вот лишь горсточка старых моряков еще знает все тонкости этого мастерства. Забыты гремевшие на весь мир имена капитанов и кораблей. А когда умрем и мы, старики, человечество закроет великолепную страницу истории завоевания морей, завоевания простым парусом, управляемым искусными руками и твердыми сердцами!..

— Даниил Алексеевич, это вы через дугу! — воскликнул еще молодой, но — по орденам — бывалый моряк.— Парусное искусство и нам знакомо, а вот каждый корабль знать...

Хозяин дома рассердился:

— «Каждый»! И вам не стыдно, Силантий Семеныч? Не знать — не позорно, но уж отстаивать свое невежество, извините...

[1] Моряк летучей рыбы — плававший в океане, где только и водятся летучие рыбы.

— Да ведь, — начал оправдываться его собеседник,— я хотел только...

— Ну, раз «только», слушайте! Покорение океанов — настоящее корабельное дело — началось примерно лет пятьсот назад. За эти полтыщи лет наш мир постепенно расширялся. Громадный опыт борьбы с морем совершенствовал искусство постройки кораблей. Овладевая силой ветра, человек создал искусство управления парусами. Десятки тысяч безыменных или забытых жертв легли на дно океанов с обломками своих судов. Ценой неустанного труда, отваги и страданий моряков, ценой вдохновенных поисков строителей к середине прошлого века появились клипера, стригуны, «стригущие» верхушки волн. Это уже были не угловатые дома, приспособленные к плаванию, как большинство старинных кораблей, а крылатые скороходы — лебеди моря.

Клипера предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться: днища их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка — деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания.

Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клиперах, построенных одновременно в Шотландии в семидесятых годах прошлого века: «Фермопилы» и «Катти Сарк».

Ничего лучшего, чем эти два корабля, среди всех парусников мира не было построено. Вот почему «Катти Сарк» не «каждый корабль», как выразился Силантий Семеныч. И морякам знать ее не мешало бы... Тем более что история этого корабля не только родня занимательному роману — это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания!..

Неудивительно, что после такой речи собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о «Катти Сарк».

— Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения,— начал старик. — Я еще юнгой был, а парусный флот уже

давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки — стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешевых грузов. Лучше всего был известен у нас «Товарищ» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстроходным — германский стальной пятимачтовый барк «Потози» в четыре тысячи тонн, построенный в 1896 году. С «Потози»-то, собственно, и началась для меня история «Катти Сарк».

ЧЕСТЬ КАПИТАНА ДОУМЭНА

В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения подходящего парусника. Требовалось хорошее, приспособленное к дальним плаваниям учебное судно: подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству нашей страны.

Громадные американские дешевые шхуны не годились. Шхуна, то есть судно с косой парусностью, проста в работе, она идеально лавирует и незаменима при плаваниях во внутренних морях и архипелагах. Но с попутными ветрами и на большом волнении шхуна опасна — очень рысклива. Для океана нужен корабль — с прямым парусным вооружением. Я и нацелился на барк «Потози», который недавно перешел на рейсы Европа — Южная Америка.

Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мглистые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран из-за своей легкой доступности.

Поеживаясь от пронизывающей сырости, я направился по мокрым плитам незнакомых улиц к морю. Обойдя какие-то длинные закопченные здания красного кирпича, я сразу увидел гавань. Обилие мачт как будто противоречило разговорам об умирании парусного искусства, но я знал, что это впечатление обманчиво.

Большинство мачт принадлежало легким рыбачьим шхунам или парусно-моторным шаландам, никогда и не нюхавшим океанских просторов. Только два-три настоящих корабля стояли в порту, и на этом общем фоне заметно выделялся стройный рангоут знаменитого барка. Четыре мачты огромной высоты господствовали над всем

частым и низким лесом береговой мелочи. Четыре мачты, сзади пятая — сухая бизань [1]. Да, очевидно, это был «Потози».

В гавани было пустовато. Должно быть, дрянная погода разогнала моряков по уютным местам, достаточно многочисленным в Фальмуте. Массивные позеленелые камни набережной в средней части гавани блестели от оседавшей с воздуха воды; эстакады на сваях и мостики ес лизли от сырости. Резкий ветер, серое небо и зеленосерые волны, брызгающие пеной, крепкие, бодрящие запахи моря, смолы и мокрой пеньки совсем не способствовали угнетенному настроению, как это иногда бывает у городских людей в такую погоду. Наоборот, завеса холодного моросящего дождя вызывала приятные мечты о далеком сияющем южном море, и как реальный залог возможности выйти сквозь пелену осеннего тумана в широкий и теплый мир высились могучие мачты «Потози».

Мы, моряки, не очень прихотливы к условиям жизни на суше просто потому, что и самые дрянные места для нас скоропреходящи: несколько дней — и новое плавание, новая перемена...

Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхоленным, и основательно продрогнув, я направился в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном «Потози». Я нашел хмурого щеголеватого человека на почетном месте, у камина в столовой. Вопреки первому впечатлению, мы быстро подружились. Капитан много плавал, был хорошо образован. При этих качествах способность остроумно оценивать события и заразительный юмор делали капитана приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре его судна и получил все нужные мне предварительные сведения.

Окончив деловую часть, капитан пригласил меня поужинать вместе. В затянувшейся беседе он признался, что рад столь высокой цене, назначенной компанией за его судно.

— Если продадут мой «Потози», я вряд ли найду парусник по вкусу: уж очень мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход. — И капитан

[1] Сухая бизань — задняя мачта с косой парусностью. Корабль с прямыми парусами не менее чем на двух мачтах и с сухой бизанью называется «барк».

добрым глотком поторопился смягчить отразившееся на его лице огорчение. — Не понимаю, зачем вам платить большие деньги за знаменитость, которую мало кто оценит? За эту сумму вы два парусника купите, разве что с небольшим ремонтом, а хороший ходок вам ни к чему. Вот начнете кругосветные плавания, тогда другое дело.

Немного огорченный, я признал, что капитан прав. И тот, совсем по-дружески пожав мне руку, обещал помочь, если дело сорвется, в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля.

Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией — хозяином «Потози» — шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я излазил весь барк, от кильсона до брам-стеньг, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы: покупка была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения.

Погода все ухудшалась, и наконец было получено штормовое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбацкие суда поспешили укрыться в гавани.

Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четыре дня, ураганный ветер перемешивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавани стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода...

На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода. Я простился с «Потози». Барк развернул свои паруса и ушел на юг, в Рио, где в бухте Гаунабара высилась причудливая гора — Сахарная Голова. Спустя три года, в 1925 году, «Потози» погиб у тех же южноамериканских берегов — загорелся груз угля. Остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели, где капитан затопил горевший корабль...

Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одиноко. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом отделении, между

стойкой и огромным камином, столы были сдвинуты вместе, а за ними заседала компания чем-то возбужденных пожилых моряков. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул капитан, с которым я здесь познакомился несколько дней назад.

— Идите-ка сюда, дорогой капитан!.. Сэры, я счастлив представить вам русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы да еще японцы.

Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустился на услужливо подставленный мне дубовый стул.

— Я уже отправил посыльного к старому Вуджету — ее последнему капитану. Старик совсем еще крепок, скоро будет здесь,— громогласно сообщил собранию массивный моряк.

На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело.

— Ну вот! — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами. — Разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? Или вы не знаете, что это такое? — подозрительно оглядел он меня.

Все головы повернулись в мою сторону.

— Я слыхал про знаменитый клипер, — спокойно ответил я. — Но может ли это быть: ведь он, кажется, слишком давно построен?

— В 1869 году. Скоттом и Линтоном, — подтвердил мой собеседник. — И плавает уже, следовательно, пятьдесят три года. Но — можете мне поверить — судно как бутылка, никакой течи...

— Извините, — перебил я восторженную речь. — Но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавани и клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, и никакого клипера...

Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал:

— Да эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели?

Но я уже оправился от смущения:

— В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса — баркентина, да еще запущенная, грязная... Больше и не интересовался.

— Ну конечно, — примирительно вмешался плохо говорящий по-английски гигантского роста моряк, видимо норвежец. — Эти ослы так запакостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус, как балаган...

— Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? — обратился я к моряку, взявшему на себя роль председателя импровизированного собрания.

Хор односложных восклицаний, большей частью иронического оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка-председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились.

— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом-полуутверждением.— Мы давно уж сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег... Ну, что об этом говорить! Даже если бы мы в складчину могли купить «Катти Сарк», то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре?..

— Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — возразил я. — Кому, как не им, сохранить последнее, лучшее произведение эпохи парусных кораблей?

— Э, — презрительно бросил моряк, — в клубах только рекорды всякие ставят! Разве не знаете? А у обществ этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о «Катти Сарк» идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщили старику Вуджету. Пусть посмотрит — ему, наверно, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать, да еще потолковать о былых днях за выпивкой, что мы и делаем... А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодующе фыркнул старый капитан.

Я замолчал. Да и что тут можно было сказать!

В это время в комнату вошел высокий, бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы.

— Капитан Доумэн, только вас и не хватало! Если приедет Вуджет, то соберутся все поклонники «Катти»... Вы уже видели ее?

— Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером.

— Зачем?

Слабая улыбка засветилась на лице Доумэна.

— В первый раз за всю свою славную службу «Катти» сдала. Степсы расшатались, швы палубы расходятся. Капитан-португалец напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в Фальмуте, и думает, что судно разваливается... Короче, я купил «Катти»!

Последовал невероятный шум восторга: суровые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «ура» страшными голосами.

— Эй, выпить за здоровье капитана Доумэна! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы!

— Уильям, — обратился к Доумэну какой-то молчавший до сих пор моряк, — как же ты смог это сделать?

Доумэн опять счастливо усмехнулся:

— Я съе́здил к мистрис Доумэн, посоветовался с ней. Оба мы староваты, детей и родственников нет... Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну, вот мы и решили: если цена окажется под силу — купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте... Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от «Катти», — невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем!

Капитан Доумэн умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумэн помолчал, зажег трубку и подумал вслух:

— Вот и сбылась мечта... Смолоду много слыхал я о двух жемчужинах нашего флота: «Фермопилах» и «Катти Сарк». Уже капитаном перешел на австралийские линии, и однажды «Катти Сарк» меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыби идет как танцует, даже лиселя [1] не поставлены, а восемь узлов делает, да... никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой «Флайнинг Спур» («Летящее Копье») был не последний из австралийских почтовиков! Вспомнил я,

[1] **Лисель** — дополнительный парус, ставящийся на выдвижных реях сбоку от главного паруса (марселя или брамселя).

как хвастался в Мельбурне пропившийся матрос (служил на «Катти»): «Мы, — говорил он про экипаж «Катти Сарк», — головой ручаемся: никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос!»

С тех пор запала мне в голову мечта: хоть один рейс покомандовать «Катти», в своих руках почувствовать такой клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким кораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как получил с китайской линии, до конца, пока не продали ее. И я потерял «Катти» из виду. А теперь, странно думать, я владелец «Катти Сарк». Я владелец «Катти Сарк»... — медленно повторил Доумэн. — Не поверю, пока не выйду на ней в море!

— Когда же вам сдадут корабль, сэр? — почтительно спросил я.

— Вот уйдет она в Лисабон, в последний рейс. Пока оформят, то да се, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет «Катти» под Красный флаг [1], как в доброе старое время!

На следующий день, только я собрался осмотреть «Катти Сарк», как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой «Потози», а посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. Я в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером...

РУКОПИСЬ КАПИТАНА ЛИХТА́НОВА

Капитан умолк и зорко осмотрел своих слушателей, как бы выслеживая на лицах скуку или утомление. Оставшись доволен, он прокашлялся, выпил бокал вина, закурил и продолжал:

— Через семнадцать лет, в 1939 году, мне пришлось снова побывать в Фальмуте. Крепко пахло войной даже в этом удаленном парусном порту. Мне посчастливилось встретить знакомого — из тех, кто участвовал в моряцком собрании по поводу «Катти Сарк». Я, конечно, спросил его про клипер и доблестного судовладельца — капитана Доумэна.

— Умер в прошлом году, — отвечал мой знакомый, —

[1] Красный флаг — флаг английского торгового флота.

И «Катти» здесь нет. Вдова покойного подарила корабль — в самом деле, зачем он ей? — Темзинскому мореходному училищу в Гринвиче. Пока был жив Доумэн, он понемногу восстановил «Катти Сарк» прежний рангоут. Долго ему пришлось собирать по крохам лес, парусину, тросы и деньги. Перед смертью удалось Доумэну выйти на клипере в океан, к Азорам... Помните, как мечтал он командовать «Катти Сарк»? — Моряк задумался и продолжал: — Хоронил Доумэна весь Фальмут, даже из Лондона приехали. В прошлом же году пригласили Вуджета. И с ним на борту «Катти» пошла кругом Англии из Фальмута в Темзу, откуда семьдесят лет назад она отправилась в свое первое плавание в Китай. Теперь «Катти» служит вспомогательным учебным кораблем для морских кадетов. Корабль в сохранности и крепок... хоть и не в музее, как мы тогда думали.

— Я понимаю, — осторожно сказал я. — Сейчас Англии не до музея... Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет?

— Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роется в саду, поливает розы... Да, впрочем, хотите нанести ему визит?

Я с радостью согласился.

Конечно, старик был «крепок» лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана-гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепная память не оставили капитана Ричарда Вуджета.

Я прогостил у него два дня — до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на «Катти Сарк», а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первой молодости моряки относились к старому Вуджету.

Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными, на японский манер, стенками. С шумевшего поодаль моря ползли вереницы слезливых туч. Прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки устилали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием необычайного.

Дополняемый сыном и Ирвингом, старый Вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она-то после болезни стала подводить... Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получилось вроде маленькой повести, и я когда-нибудь прочту ее вам.

Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Раззадоренные гости потребовали от юбиляра «выкладывать все, и теперь же». Он сдался, принес пачку исписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, очки, прочел их нам, держа перед собой на вытянутой руке.

МЕЧТА-ВЕДЬМА

Главный строитель верфей Скотта и Линтона в Думбартоне встал навстречу важному заказчику. Фирма уже давно переписывалась с судовладельцем Джоном Виллисом о его намерении построить корабль-мечту, который не только взял бы первенство на гонках кораблей чайной торговли, но и смог бы постоянно удерживать его.

Оба шотландца пожали друг другу руки. Общительный, полный юмора кораблестроитель был противоположностью угрюмоватому и заносчивому судовладельцу.

— Мне достали сведения насчет того нового клипера, — начал, отдуваясь, Джон Виллис, — что строится Худом в Эбердине.

Кораблестроитель выразил живейший интерес. Судовладелец извлек книжку в черной коже:

— Сравните с вашими расчетами. Регистровых тонн будет девятьсот пятьдесят, длина двести тринадцать с половиной...[1]

— У нас двести четырнадцать,— вставил инженер, — и девятьсот шестьдесят тонн. Ширина тридцать шесть с половиной.

— Ого, такая же!

— Глубина двадцать и восемь десятых...

— У них больше — двадцать один с третью. Но это пустяк. Похоже, очень похоже... Набор железный, обшивка— тик, вяз и сосна?

— Да, да!

[1] Меры длины в футах. Фут равен 30,5 сантиметра.

— Понимаю. Они учли весь опыт Великой гонки прошлого, шестьдесят шестого года.

— Вы имеете в виду гонку из Фучоу в Лондон?

— Да. Гнались девять лучших чайных клиперов. Победитель — Джон Кэй со своим «Ариэлем». На десять минут позже — «Тайпинг». На девяносто девятый день после выхода из Фучоу.

— Худ взял пропорции «Ариэля».— Инженер порылся в справочниках. — Да, «Ариэль» чуть-чуть короче и у́же — восемьсот пятьдесят две тонны. Но главное не это, главное — площадь парусности. Она вам известна?

— Все известно, даже имя корабля — «Фермопилы». Странное имя! Почему...

— Так что же парусность? — перебил судостроитель.

— Сейчас. Мне дали ее в этих новых мерах — квадратных метрах. Вот, площадь основной парусности — две тысячи пятьсот двадцать этих метров.

Судостро́итель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным.

— Что такое? — встревожился Джон Виллис. — Неужели у вас меньше?

— Меньше... две триста пятьдесят. Да, этот корабль будет серьезным соперником... Сколько дополнительной парусности?

— Девятьсот тридцать... Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете — самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этими «Фермопилами», черт возьми это дурацкое имя!

— Вы получите самый лучший. Я увеличу вашу дополнительную парусность, всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов — около тысячи метров.

— Вам виднее! Но извольте сделать обшивку только из тика, ну... можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера! Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях!

Судостроитель встал.

— Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных па-

русов на нашем клипере, разве только маленький грот-трюмсель [1]. Ведь я не собираюсь построить рекордиста по скорости. Такой уже был. И до сих пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверно, и не будет побит: тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей.

— Кого вы имеете в виду?

— Американцев. Их три клипера — «Летящее облако», «Молния» и «Джемс Бэйнс». Антони Энрайт на «Молнии» поставил в пятьдесят седьмом в Южной Атлантике, к югу от острова Гоф, мировой рекорд — прошел за сутки четыреста тридцать миль.

— Бог мой! «Джемс Бэйнса» я сам видел по пути из Кейптауна в Сидней.

— В каком году?

— В пятьдесят шестом.

— В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован... Возьмите журнал. Двадцать один узел!

Виллис схватил номер «Морского альманаха».

— А наш клипер так ходить не будет? — спросил он с нескрываемой обидой.

Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца:

— Поймите, Виллис, это не годится! Американцы оказались слишком смелы: еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули назад фок-мачту и начали крепить стеньговые штаги на палубу, а не к топам мачт... Корабли стали нести громадную парусность. Но эти знаменитые клипера служили только лет шесть-семь, не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов! «Джемс Бэйнс» — две с половиной тысячи тонн, «Молния» — две. Гротарей у «Джемса Бэйнса» чудовищен — сто футов, вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны... Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они и развалились, эти великолепные ходоки, едва себя окупив... Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все равно быстрее никого не будет, разве худовский... Ну, да мы примем меры...

[1] В английском флоте самые верхние паруса (трюмсели) назывались лунными, бом-брамсели — небесными, брамсели — королевскими и т. п.

— Так вы ручаетесь за восемнадцать узлов? — повеселел Виллис.

— Скажем так: с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжать и восемнадцать. Не рекорд! Постоянная коммерческая скорость!

Судовладелец вскоре откланялся, захватив с собой «Морской альманах». Провожая его к дверям, строитель вспомнил:

— Имя, давайте имя клипера, на днях будем закладывать. Иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в шестьдесят девятом!

Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете.

— «Джемс Бэйнс». 1856 год. Одиннадцать лет назад... — бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению.

Наконец он нашел нужное — выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста.

«1856, июня 18, широта 42° 47 южная, долгота 115° 54 восточная, барометр 29,20 дюймов. Ветер меняется от З до ЮЗ. Первую половину дня сильно свежеет... В 8 ч. 30 м. под всеми лиселями с правой и грот-трюмселем скорость 21 узел. С полуночи шторм от ЮЗ, но ясная светлая ночь. В 8 часов утра ветер и погода те же. Пройдено за сутки 420 миль».

Джон Виллис опустил альманах на колени и глубоко задумался.

...Июнь 1856 года. Да, в двадцатых числах. Ему было тогда всего сорок шесть лет, и здоровье еще не начало сдавать, как теперь. Им была предпринята поездка в Австралию с целью самолично изучить условия австралийских фрахтов. Корабль его находился в водах великого западного дрейфа в пятистах милях к югу от Австралии, на долготе ее западных берегов. До Бассова пролива оставалось еще около тысячи двухсот миль, а до цели плавания, Сиднея, — тысяча семьсот. «Ревущие сороковые» [1], как бы приветствуя судовладельца, посылали крепкие зимние штормы — все время западные, попутные. Океан взметывался громадными волнами, сеял водяную пыль. Клочья и струи пены в воздухе обгоняли корабль. Старый крепкий почтовик скрипел, взмахивал

---

[1] Ревущие сороковые — сороковые широты южного полушария, очень бурные.

длинным, крутым бушпритом и грузно проваливался между склонами мечущихся водяных холмов. Мокрые кливера на секунду обвисали и вновь надувались с гулким рывком, сотрясая корпус. Виллис не вел корабль, но проводил на палубе долгие часы, зачарованный мощью этого моря. Океан поражал своей мрачной первобытной силой. Внезапные шквалы у южноамериканских берегов, бешеные тайфуны китайских морей были опаснее, но ни один океан не требовал такой прочности от корабля и непрерывной, изматывающей борьбы с бурей и страшным волнением, как здесь, вдоль сорокового градуса южной параллели, на границе Индийского и Южного Ледовитого океанов.

Незабываемая встреча произошла в светлую июньскую ночь. Джон Виллис задержался на палубе, пытаясь рассеять головную боль от тяжелой многодневной качки. Ветер крепчал с каждым часом. Грустное пение такелажа, которому вторил низкий гул парусов, становилось резче и как-то наглее, пока не перешло в победный вой. Вахтенный помощник вызвал людей наверх — уменьшить парусность. Лаг исправно отсчитывал мили, и заслуженный корабль шел со скоростью в тринадцать узлов.

Внезапный крик вахтенного перекрыл свист ветра и всплески волн:

— Корабль справа, с кормы, идет тем же галсом!

В свете луны показалось сначала расплывчатое белое пятно, потом черная точка корпуса. С невероятной быстротой догонявшее судно росло, становилось отчетливее. Джон Виллис бросился на мостик. Корабль шел в бакштаг[1] правого галса с креном на левый борт. Корпус казался странно узким под огромной массой парусов и почти исчезал в облаке пены. Исполинские нижние реи разносили белые полотнища далеко в стороны от бортов. Нижние паруса будто касались гребней пенящихся волн в двадцати пяти футах от бортов. С правой стороны все лисели были выдвинуты на лисель-спиртах. Корабль загребал начинающуюся бурю простертым направо крылом и рвался вперед, отталкиваясь от ураганного ветра. Обращенный к Виллису борт корабля едва различался в хаосе волн и всплесков, по палубе извивались водяные потоки, пологий бушприт протыкал верхушки встречных

[1] Бакштаг — ветер, дующий сзади наискось по курсу корабля; здесь: дующий в правый борт корабля.

валов. Судно словно могучим плугом вспарывало океан, тяжко трудясь в борьбе с надменной стихией.

Корабли сблизились. Несколько сорванных ветром выкриков в рупор, приветственные взмахи — и изумительный корабль, точно Летучий Голландец, исчез впереди в волнах и несомом бурей водяном тумане.

— «Джемс Бэйнс», Бостон! — наконец раскрыл рот вахтенный помощник. — Клянусь Юпитером, это моряки!..

Джон Виллис только кивнул в знак согласия.

— Мы убрали часть парусов, а у них не только лисели, даже лунный парус стоит. Видели?

Виллис вспомнил, что действительно видел парус на самой верхушке грот-мачты, но промолчал. Ему хотелось наедине обдумать впечатление. Встреча с американским клипером потрясла его сильнее, чем сначала показалось. И в Австралии, и на обратном пути он не мог забыть ломившегося сквозь бурю с поразительной отвагой корабля, который обогнал их, будто какую-нибудь баржу. Гордость судовладельца, собственника отличных кораблей, вдобавок еще шотландца, была уязвлена. Уж очень велико было превосходство американского клипера! Перебирая в уме — в который раз! — все известные ему корабли британского торгового флота, Виллис признавался, что нет ни одного, который мог бы совершить подобный же подвиг двадцатиузлового полета через ураган. А еще через год миру стал известен рекорд «Молнии», в западном дрейфе Атлантики на десять миль превысившей суточный переход «Джемса Бэйнса»...

Но что-то мешало Виллису признать «Молнию» или «Джемса Бэйнса» идеалами корабля. Встреча в Индийском океане разбудила не только жажду соревнования, но и смутное ощущение, что идеальный клипер, корабль-мечта, должен быть другим. Громадный плуг, вспарывающий океан под напором чудовищной парусности, — нет, в этом судне не было той чарующей легкости усилий, какой-то простоты движения, которое пленяет нас в быстрых лошадях, собаках или птицах.

Несколько лет спустя, осторожно, боясь показаться смешным, Джон Виллис поведал свои мечты знаменитому судостроителю. И вот подошла пора осуществления, а строитель говорит, что клипер не будет таким же быстрым, как те прославленные американцы. Но он обещает всестороннее совершенство корабля.

Это верно! Клипер-мечта должен быть меньшим, легко нести свои паруса и скользить по волнам, а не пахать их. Как прекрасен был бы танец на верхушках волн! Нестись вместе со свитой пенных гребней, сливаясь с движением ветра.

Внезапно острое воспоминание как молния вспыхнуло в мозгу. Джон Виллис понял, откуда появилось у него представление о скользящем полете. Сорок лет назад он видел картину художника — он давно забыл какого, — изображающую молодую ведьму из поэмы Бернса — Нэн Короткую Рубашку. Вызывающе смеясь, лукавая и желанная, юная женщина неслась в беге-полете над вереском и кочками шотландских болот, ярко освещенная ущербной луной. Ее обнаженная левая рука была поднята вверх и изогнута, словно лебединая шея, а правая легко отведена в сторону. Тонкая рубашка, ниспадавшая с плеч, короткая, как у выросшего из нее ребенка, открывала во всю длину сильные стройные ноги. В круглом лице и изгибе широких бедер художник сумел отразить ненавязчивую порочность, напоминавшую, что эта красивая не по-английски девушка, настоящая дочь Шотландии, все же... ведьма!

Картина впервые разбудила у юного Джона Виллиса сознание сладкой и тревожной привлекательности женщины. Образ юной Нэн Короткой Рубашки накрепко запечатлелся в памяти, связанной с ожиданием неопределенных чудес будущего. И только самому себе сознавался гордый судовладелец, что ему пришлось позже встретить похожую на ту Нэн девушку. Простая служанка из горной шотландской деревни, она не могла быть женой, подходившей чопорной семье молодого Виллиса. Стыдясь своей любви, Джон грустно вздыхал, так и не признавшись насмешливой и смелой девушке. Все давно миновало, жизнь прошла совсем по-иному, чем это мечталось смолоду, но в потаенных уголках души заносчивого богача продолжало жить сожаление о сладостном и запретном образе Нэн, сливающемся с утраченной любовью к Джэн.

И сейчас, слегка взволнованный воспоминаниями прошлого, Джон Виллис решил, какое имя больше всего подходит его будущему кораблю.

Нэн Короткая Рубашка! Быстрая, как ветер, прекрасная и своенравная! И его клипер будет носиться по океанам в легком беге-полете юной ведьмы!

Джон Виллис довольно ухмыльнулся, но тут же сообразил, что имя ведьмы, данное кораблю, вызовет недоумения и нарекания. Что ж, у него хватит воли отстоять свое, но все же лучше назвать клипер просто «Короткой Рубашкой» — «Катти Сарк», без имени Нэн. Носовая фигура, деревянная статуя под бушпритом, будет изображать Нэн Короткую Рубашку. Он позаботится, чтобы ее сделали похожей на ту самую Нэн — Джэн...

ДВА СОПЕРНИКА

Клипер Виллиса получил название «Катти Сарк», сколько бы ни удивлялись и ни отговаривали упрямого шотландца приятели и товарищи.

А осенью 1868 года вышел из Эбердина новый худовский клипер «Фермопилы». Вскоре среди моряков разнеслась слава о необыкновенном корабле, превосходившем всех быстротой, управляемостью, легкостью хода. В следующем году отчалила от пристани Темзы и «Катти Сарк», направляясь в далекий Китай. Флот чайных клиперов, пораженных мореходными качествами «Фермопил», скоро понял, что у этого замечательного корабля есть соперник, не худший, а может быть, даже и превосходящий его. Как настоящая ведьма, «Катти Сарк» настигла только что ушедший в очередной рейс худовский клипер и, несмотря на отчаянные усилия его экипажа, пришла одновременно с ним в Шанхай. С этой поры между двумя лучшими парусниками мира началось неустанное соревнование, продолжавшееся двадцать пять лет.

Когда на туманном рассвете с наступлением прилива «Катти Сарк» и «Фермопилы» одновременно исчезли из Шанхая, моряки поняли, что началась самая интересная за столетие гонка кораблей. Оба соперника пролетели Зондский пролив, не теряя друг друга из виду. Затем медленно, час за часом, сутки за сутками, «Катти Сарк» стала опережать «Фермопилы». В бейдевинд[1] оба клипера шли по тринадцати узлов — неслыханное дело, недоступное всем другим клиперам. Затем бейдевинд стал круче, и тут «Катти» оказалась быстрее на полтора узла, чем шедший десятиузловым ходом ее соперник.

Всё дальше расходились корабли. «Катти Сарк» скры-

[1] Бейдевинд — ветер, дующий наискось, спереди и сбоку.

лась за горизонтом, и, как ни лавировал ее противник, в течение двух суток впереди ни разу не показались паруса «Катти Сарк».

Барометр неуклонно падал, густой, удушающий зной плавал над маслянистым океаном, и вечерние звезды плясали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно неслась навстречу грозному тайфуну, не изменяя курса, а вдалеке, невидимые за выпуклым простором моря, так же неустрашимо и упорно следовали за ней «Фермопилы».

Оба клипера проскочили через тайфун, но «Катти Сарк» не повезло. Виноват был замешкавшийся рулевой. Тяжкий вал ударил по старнпосту[1], расщепил руль. Штуртрос лопнул, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным креном судорожно нырять в гремящих валах. Но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с наскоро прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства «Фермопилам».

В чайном флоте «Катти Сарк», как и «Фермопилы», пробыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чаеторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клипера перешли на австралийские рейсы и тут-то наилучшим образом проявили себя.

От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через «Ревущие сороковые» с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь «Фермопилы» и «Катти Сарк» возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась все увеличивающемуся текстильному производству Англии.

Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль.

Дик Вуджет радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым, редким наслаждением. Вуджет изучал свой

---

[1] Старнпост — ахтерштевень, вертикальный кормовой брус, к которому крепится руль.

превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветры или тяжелое волнение, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва руль перекладывался на ветер.

В штилевых полосах тропической Атлантики «Катти Сарк» окончательно и навсегда покорила свой экипаж.

В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару.

В южных широтах устойчивый зюйд-вест сразу прибавил клиперу ходу. Лаг принялся отсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бейдевинд. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту, по мере того как летели навстречу срываемые ветром всплески и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйд-вест нес прохладу из ледяных просторов Антарктического океана.

Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вант-путенсы [1], думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали в глубь этого всемирного ледяного погреба. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далеко заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги.

Вуджет старался представить по читанным когда-то описаниям плаваний странный материк на Южном полюсе — чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и в клубящейся белесоватой бес-

[1] Вант-путенсы — боковые нижние растяжки мачт.

солнечной мгле в океан ползут мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы.

Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда на хорошем корабле в хорошую погоду, различаясь лишь вахтами, реже — сменой галсов да еще обсервациями места корабля.

Красивая ведьма пронесла, плавно покачиваясь, свои высокие белогрудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, с зловещим упорством.

Вахта капитана Вуджета пришлась на безлунную светлую ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущения тишины. Волны мерцали свежеразрезанным свинцом и, казалось, освещали борта корабля. Вода тускло отблескивала; обычные зеленый и красный блики бортовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет, и, может быть, это и было так на самом деле.

Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа, на юге, звезды на горизонте затемнялись узкой, серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза [1].

— Кто на руле? — негромко спросил Вуджет.

— Бэйкер, сэр! — звонко отозвался матрос.

Это прозвучало для капитана успокоительно. Бэйкер был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.

---

[1] Нактоуз — деревянная колонка, на которой устанавливается судовой компас.

Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задергивать небо снизу, от горизонта, плотной массой.

Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фоке и формарселе, а также закрепить грот и контр-бизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра «Катти Сарк» вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый фордевинд. Тяжелые, низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже, и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер.

Капитан распорядился закрепить все крюйсельные[1] паруса, рискнув оставить полный грот-марсель, все брамсели и бом-брамсели[2], положившись на прекрасную остойчивость «Катти Сарк». Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне.

Шторм установился в одном направлении. Клипер несся сквозь бушующий океан, словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя «Катти Сарк».

Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал

[1] Крюйсельные паруса — паруса на задней мачте (бизани).
[2] Брамсели и бом-брамсели — верхние паруса на мачтах.

рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый. Чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти.

Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни — матросы изо всех сил горланили какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет приказал первому помощнику не уменьшать парусов.

— Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинул взглядом беснующееся море и удалился в свою каюту...

Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что долго спал, и вскочил на ноги.

На палубе его приветствовал молодой второй помощник:

— Все великолепно, сэр! И вас убаюкало на славу!

— Только не знаю, на чью! — буркнул Вуджет, удивляясь, что проспал полторы вахты.

— Конечно же, во славу нашей «Катти»! — восторженно воскликнул молодой моряк.

Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море.

Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались всё выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстое облачное одеяло от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расползлась в стороны, уходя на норд и зюйд. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую, светлую дорогу.

Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль.

Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно накренившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама «Катти». Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, был еще очень свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халф-

винд [1]. Кроме основных парусов, судно несло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание моряки следили за кораблем, и ревнивое чувство завладело ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали, уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а может быть, его сигналы уже не различались.

— Это «Фермопилы», только «Фермопилы»! — восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника «Катти Сарк» в китайских водах.

Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй знаменитый клипер. Что-то одинаковое с «Катти» было во всей повадке корабля; та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться даже неопытных пассажиров.

Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для «Катти» ветер был бакштагом — наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага возвестили семнадцать узлов. Но ветер слабел, можно было рискнуть, и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели — всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами.

— Восемнадцать узлов! — завопил помощник, осекся, покраснел, но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился.

Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить. Но ветер дул теперь ровно, мягко шипела и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Катти Сарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира! Если бы только не «Фермопилы»! А впрочем, может быть, и хорошо, что их — кораблей-альбатросов — два. Будет с кем потягаться, попробовать силы!

---

[1] Халфвинд — полветра, когда ветер перпендикулярен курсу корабля.

ПАР И ПАРУС

Капитан Ричард Вуджет при поддержке своей команды не переставал изучать «Катти Сарк». В его руки попало чудесное творение рук человеческих, с помощью которых можно было бороться за скоростной полет по половине земного шара при любых условиях того сложного сочетания жары и холода, ветра и штиля, дождей и сухих бурь, которое для сокращения именуется погодой и к которому на море добавляются волнение, течения и противотечения, приливы и отливы. Вуджет учился брать от корабля все богатство его управляемости, невероятно гибкой для парусника с прямым вооружением, способностями к лавировке и движению при слабых ветрах. Результаты труда капитана и экипажа не замедлили сказаться: все бегуны шерстяного флота оказывались неизменно побежденными. Быстроногая ведьма, выходя одновременно с другими судами, опережала их на целые недели.

«Фермопилы» были тоже побеждены: и в первый, и во второй, и в пятый раз... Первенство «Катти» утвердилось, хотя и не столь прочно, как хотелось бы капитану и команде корабля. «Фермопилы» уступали «Катти Сарк» в переходах всего на часы, самое большее — на сутки. Упрямый корабль не прекращал состязания, казалось впитав в себя шотландское упорство своих строителей.

Целыми неделями «Катти Сарк» мчалась с попутными ветрами со скоростью семнадцать узлов, покрывая более трехсот шестидесяти миль в сутки. В 1885 году «Катти Сарк» сделала переход из Лондона в Сидней, преодолев расстояние в двадцать одну тысячу триста километров с буксировками, ожиданием лоцманов и заходом в Кейптаун за шестьдесят семь дней. Джон Виллис, которому перевалило за семьдесят, устроил банкет и принимал поздравления, как владелец лучшего в мире корабля. Однако новая сила вступила в соревнование на морских просторах: пароходы — эти жалкие каботажные скорлупки — превращались в настоящие океанские суда. Применение винта сделало их надежными; строители паровых машин и котлов накопили нужный опыт. И даже на далеких и тяжелых австралийских рейсах доставка почты была поручена пароходам... Резвость шерстяных клиперов с каждым годом все более уступала работе машин, более стойкой и постоянной, меньше зависящей от капризов погоды.

«Фермопилы» и «Катти Сарк» дольше всех держали знамя в соперничестве пара и паруса, вызывая неизменное восхищение у пароходных пассажиров и команды, когда при попутном ветре тот или другой из красавцев клиперов возникал белокрылым лебедем среди моря, нагоняя дымившее, глухо шумевшее чудовище и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий.

В 1889 году мир удивился новому подвигу «Катти Сарк». «Британия» — один из лучших почтовых пароходов Полуостровной и Восточной Компании — отправился в австралийский рейс. У острова Гарбо пароход встретил «Катти Сарк», шедшую тоже в Сидней. Крутой бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно, сутки за сутками, делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды.

Пассажиры и моряки «Британии» наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее: по неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса.

И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены. Но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути.

Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. «Катти Сарк» теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу.

Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов «Британии». С мягким шипением воды и гудящим на высоких басах такелажем клипер промчался в двух кабельтовых[1] от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команда и пассажиры «Британии», высыпавшие на палубу, устроили «Катти Сарк» бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая восемнадцать узлов, оставил пароход позади, несмотря на

[1] Кабельтов — 0,1 морской мили — 185,2 метра.

распоряжение капитана «Британии» увеличить ход до предела. Только один человек на пароходе — один из лучших инженеров пароходной компании — молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца.

— Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение! — отвечал он на вопросы спутников.

Несмотря на то, что пароходная машина в этом рейсе без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. «Катти Сарк» пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера. Но старый Виллис лежал уже под каменной плитой — он не дождался новой победы своей любимицы над пароходами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен: его мечта-ведьма много раз вступала в соревнование с пароходами и побеждала их. И все же пароходный инженер оказался прав...

„КАТТИ-САРК" ОБРЕЧЕНА

Лунная ночь чем-то тревожила капитана Вуджета. Атлантический океан был спокоен. Уже шестые сутки пассат гнал клипер ровным, быстрым ходом. Ни единого звука, кроме журчания воды и гула снастей, не слышно на затихшем корабле. Изредка возглас впередсмотрящего или удары колокола, отбивавшего склянки, — и снова молчание теплой, светлой ночи.

Вуджет, сняв фуражку, теребил свои поседевшие, коротко остриженные волосы. Старший помощник заступил на вахту, но капитан не уходил с мостика. Шагая взад и вперед, Вуджет думал.

Решетки настила из крепкого тикового дерева истерты его ногами. Не так уж много осталось до дня, когда он отпразднует пятнадцать лет командования «Катти Сарк». Замечательный клипер по-прежнему крепок: никакой течи в корпусе, никакого износа главного рангоута. Он, капитан, не щадил корабля, выжимая из него невиданную скорость, и в то же время берег корабль, пользуясь слабостью старого Виллиса. Но старик давно уже умер, а наследникам... что им до корабля! «Больше фунтов, шиллингов, пенсов, капитан! Капитан, наш клипер скоро станет убыточен!»

Вуджет мысленно злобно передразнил старшего сына Джона Виллиса. Тревога не оставляла моряка, все больше овладевала им. Сознание обреченности «Катти Сарк» проникало в душу и, точно ржавчина, разъедало ее.

Он всего себя отдал кораблю. Отборная команда подбиралась годами. За счет морской выучки и сработанности каждой вахты Вуджету удалось уменьшить против обычной нормы число людей. Но все равно — шестьдесят человек! И девятьсот шестьдесят регистровых тонн. По шестнадцати на человека, на деле и того меньше! Даже большие американские клипера-скоростники середины столетия были выгоднее. При сотне человек экипажа они обладали средней грузоподъемностью в две тысячи тонн — около двадцати тонн на человека.

Пока в тяжелых морских условиях возили скоростной дорогой груз, клипера чайного и шерстяного флота были рентабельны. Но что же можно сделать теперь, когда пароходы, точные, как часы, возят по сотне тонн на человека команды, а новые — и по сто пятьдесят... Им не уступают вновь придуманные барки. После того как американцы провалились с постройкой дешевых больших шхун — эти рыскливые суда оказались очень опасными в океане на попутном волнении, — в Европе стали строить большие стальные суда с прямой парусностью, по очень простым такелажем. Марсели разрезали на две части, поставили лебедки, и четыре человека легко справляются там, где раньше едва хватало десяти. С барком в три, а то и четыре тысячи тонн управляются лишь двадцать четыре человека команды. Скорость, конечно, несравнима с клиперами — дай бог десять узлов, но ведь сколько есть дешевых, нескоростных грузов: уголь, лес, соль, удобрения, руда!..

Капитан Вуджет был образованным моряком и не мог не понимать назревшую трагедию старых парусников. Уже два года, как исчез с австралийских рейсов клипер «Фермопилы», вечный соперник «Катти Сарк». По слухам, он продан куда-то в Канаду, но и там вряд ли продержится. Парусники покупают сейчас на Средиземном море и Зондских островах — в странах, где труд дешев и численность команды на коротких рейсах не имеет большого значения.

Вуджет наклонился и осторожно потрогал рукой отполированное углубление в медной поперечине поручня.

Здесь, у этого столбика, он привык стоять в трудные минуты жизни корабля и, упираясь коленом в стойку, встречать лицом к лицу ярость бушующего моря.

«Конечно, они позолотят пилюлю, — вернулся он снова к мыслям о судовладельцах, — но надо смотреть правде в глаза. Песенка моей «Катти» спета. Боюсь, что они стесняются только славы корабля, но ее хватит еще года на три, не более! Ну, пятнадцать лет отпраздную, а дальше...»

Капитан оказался прав. Невыгодность знаменитого корабля надоела потомкам Джона Виллиса. И в 1895 году британский флаг сняли с «Катти Сарк», с этой гордости английского флота, как пятью годами раньше его сняли с «Фермопил». Оба гордых океанских лебедя, четверть века честно служившие своим хозяевам, были проданы и в буквальном смысле слова пошли по рукам. Никому из британцев, занятых только чистоганом, не пришло в голову, что такие совершенные творения мысли и опыта подобны произведениям искусства и принадлежат, в сущности, всему человечеству как памятники развития его культуры.

Судьба обоих кораблей сложилась по-разному.

В португальском военном флоте тогда были настоящие знатоки. Проследив за «Фермопилами», они приобрели в Канаде этот клипер, уже приспособленный было к перевозкам свежей рыбы, «Фермопилы» вошли в состав португальского военного флота в качестве учебного судна. С таким кораблем моряки могли чувствовать себя в безопасности у родных берегов и в Бискайе, всегда отличавшейся грозными бурями и справедливо прозванной «кладбищем кораблей». Владельцы «Катти Сарк» также продали ее португальцам — фирме Феррейра в Лисабоне. Если бы они решили отделаться от «Катти Сарк» на полгода раньше, то учебным судном стала бы «Катти», а не «Фермопилы». Вся история нашего клипера стала бы иной.

«Фермопилы» выдерживали шквалы Бискайского залива, бури Средиземного моря и неистовые налеты штормов близ Южной Америки еще двенадцать лет. В 1907 году, когда исполнились сроки службы корабля, стала очевидна его дальнейшая непригодность. Связи корпуса расшатались еще за время работы в шерстяном флоте. Постоянная гонка с максимальной парусностью на крупном волнении состарила в конце концов замеча-

тельный корабль, и надо лишь удивляться его долгой жизни. Сказалась облегченная в сравнении с «Катти Сарк», частично сосновая, обшивка. Но моряки португальского флота остались верны себе. Они не продали состарившийся клипер на дрова, не превратили его в угольный плашкоут или речную баржу. Португальское адмиралтейство издало специальный приказ: парусник вывели в море и устроили ему морские похороны перед строем военных судов. Под звуки шопеновского траурного марша украшенный флагами клипер был торпедирован.

Очевидцы рассказывали потом, что день был ослепительно ярок, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой. «Фермопилы» погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки!

Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лисабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходившие высоко в пасмурное небо клотики столько раз просекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма в предгрозовых ночах... Как знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего дэкхауза, тысячи раз встречавшего взгляд капитана за тысячи вахт!

Два клерка, не понимающие и удивленные, ожидали на палубе. Капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика, так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сгорбившись, понурив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачт «Катти Сарк».

Вуджет не показывался из дому несколько дней, пока клипер не исчез из порта...

ПОД ПОРТУГАЛЬСКИМ ФЛАГОМ

После гибели «Фермопил» «Катти Сарк» оставалась совсем одинокой, единственной в мире, но и она фактически исчезла для него. Португальский флаг не прибавил ничего нового к прошлой славе клипера. А старая слава забылась, как забывается все в быстром течении жизни, несмотря на усилия людей, особенно власть имущих, удержаться подольше в памяти человечества.

Новые капитаны неплохо обращались с кораблем. Память прошлой любви и тугой кошель давно умершего Джона Виллиса продолжали играть свою роль — тяжелый железный набор и тиковая обшивка «Катти Сарк» сделали ее корпус несокрушимым. Годы шли, а клипер продолжал плавать без малейшей течи. Разразилась первая мировая война. «Катти Сарк», проданная и забытая своим отечеством, снова начала служить Англии, войдя в состав торгового флота союзников как одна из самых незаметных и незначительных единиц. Скромные перевозки английского угля на юг Франции, в Италию и Гибралтар стали уделом старого парусника.

В один из холодных дней поздней осени 1915 года клипер шел из Лисабона к западным берегам Англии. Дождь, моросивший из низких туч, подхватывался резким ветром. Серое, взъерошенное море сливалось с таким же серым горизонтом. Темное небо опускалось все ниже на побелевшую от вспененных гребешков волну. Барометр предвещал сильную бурю, но капитан клипера и его совладелец, один из молодых родственников известных в Лисабоне судовладельцев Феррейра, был отважным моряком. Раскачиваясь под глухо зарифленным фоком, верхними марселями и брамселями, «Катти Сарк», сохранившая прежнюю резвость юной ведьмы и под новым, благочестивым именем, шла тринадцатиузловым ходом. Съежились у вант вахтенные, посинел на мостике офицер; все мечтали о конце вахты и кружке горячего кофе. До зоны плавающих мин было еще далеко, и капитан Феррейра мирно спал в той самой каюте, в которой провел такой большой кусок жизни капитан Вуджет.

Гулкие раскаты прогремели впереди слева, там, где смыкалась узкая щель между тучами и морем. Баковый матрос закричал, что видит отблески огней. Вахтенный помощник разбудил капитана. Тот, позевывая, вышел на палубу, но сумрачное море молчало. Капитан, по-

стояв на мостике с полчаса, озябнув и кляня помощника, направился в каюту, но был остановлен криком вахтенного:

— Судно слева по носу!

То, что предстало спустя некоторое время его глазам, мало походило на судно. Из моря торчала высокая башня, ржаво-красная, черно-белая. Она высилась над водой неподвижно, пугая своей необычностью. Это тонул кормой большой пароход, став среди моря почти вертикально. Множество обломков плавало вокруг, появляясь и снова исчезая в волнах, по которым все шире расползалась радужная пленка масла.

Изменив курс, клипер подошел к гибнущему великану. Передняя мачта парохода тонким крестом нависла на уровне верхних рей парусника. В проходах между спардеком и носовой палубой, на передней стенке салона и ходовой рубки сгрудились люди, казавшиеся на белой краске скопищем черных мух. Некоторые в страхе цеплялись за лебедки, горловины люков, грузовые стрелы — за все выступы носовой палубы, стоявшей отвесно. Среди волн плавали четыре опрокинутые шлюпки, много белых досок, весел, донных решеток.

Холодный ветер выл над бурным морем, и волны тяжело и глухо шлепали о подножие страшной башни. У переднего выреза фальшборта появился моряк с рупором в руке: немецкая подводная лодка торпедировала пароход, кормовое орудие которого успело несколько раз выстрелить и, по-видимому, повредило перископ. Обозленная сопротивлением субмарина всплыла и расстреляла все шлюпки, которые удалось спустить до того, как крен корабля стал так велик. Положение судна безнадежно, хотя погружение приостановилось, — должно быть, в носовой части образовалась воздушная подушка.

Капитан Феррейра стоял на мостике, задрав вверх голову, и чувствовал, что сотни глаз жадно следят за ним. Для всех погибавших он явился избавителем от страшной участи, и не было на свете корабля благословеннее его клипера.

— Сколько людей на корабле? — не теряя времени, крикнул капитан в рупор и с ужасом услыхал, что осталось не меньше тысячи.

Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять

всех немыслимо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе самое большее семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много места. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи. А ветер все крепчает, и пароход может затонуть в любую минуту, как только сдаст главная передняя переборка.

Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув реи по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейра стал медленно осаживать корабль боком по ветру. Затаив дыхание обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером... Вот корма его коснулась борта парохода — там уже висели приготовленные кранцы и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонувшего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По четкой команде экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых: транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным ни казалось это предприятие — спускать почти беспомощных людей с высоты отвесно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник, — но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе «Катти Сарк». Все раненые были переправлены до последнего человека. Оставались здоровые.

— Капитан, сколько еще сможете принять? — раздался сверху чистый, сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуацией парохода.

— Еще на палубу, — хрипло выдавил Феррейра, — человек двести...

Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу.

— В первую очередь идут молодые! — крикнул он не допускавшим возражения голосом.

Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди выстраивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусника и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всем, но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнувшего парохода послышалось глухое урчание. Громадный корпус вздрогнул и как будто стал погружаться в пучину.

— Отваливайте, капитан! Да сохранит вас бог за ваше мужество! — прогремел голос полковника. — Ура в честь капитана и его корабля!..

Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно призрак, клипер начал удаляться от парохода. Спасенные стояли у борта «Катти Сарк», не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду.

Торчавшая из моря башня скрылась за кильватерной струей парусника, и нельзя было решить, погрузился ли несчастный пароход или еще на плаву скрылся в туманной дали... Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратимо. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка — перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его смелости и отваги.

— Все наверх! — заорал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить!..

Почуяв беду, команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из волн вынырнула рубка, затем продолговатый корпус.

Плотно сбившиеся на палубе клипера люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крейсеров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть подступала вплотную, и нервы людей начали сдавать. Толпа загудела и заколыхалась.

— Молчать, стоять по местам!.. — взревел Феррейра по-английски и добавил спокойнее: — Если хотите спасти свои шкуры...

Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом.

— Реи обрасопить на левый галс! Руль — два шлага под ветер! — звучали резкие слова команды.

Клипер начал терять ход, и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться. Тем временем на подводной лодке открылись люки. Из переднего показалось длинное орудие — стопятидесятимиллиметровая дальнобойная пушка; из рубки высунулся ствол пулемета. Сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля, никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе!

Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со злорадством заметил, как артиллеристы у орудия скользили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек.

Кусая губы, Феррейра не замечал, что громко говорит сам с собой.

— Еще минуту, минуту, минуту!.. — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания.

Клипер вздрогнул, покачнулся; огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды стал справа от клипера, с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову.

— Капитан, они приказывают остановиться! — выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий голос.

— Молчать, смирно! — яростно рявкнул Феррейра. — У меня шлюпок на пятьдесят человек!.. Эй, ложись на палубу!

Команда пришлась кстати. Клипер набирал ход, и с субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад, рухнувший на палубу. Еще!..

Минуты «Катти Сарк» были сочтены. Но тут... будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев — и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины.

— Руль прямо! Прямо руль!! — вопил капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра силились перебросить его через перила.

Только «Катти Сарк» могла выпрямиться из такого крена, и она сделала это.

Подхваченный бурей, клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот... Мимо!

«Сейчас перестанут стрелять...» — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву.

Клипер гордой беспомощной птицей летел по волнам, распустив все свои белые крылья словно в предсмертном порыве. Два шестидюймовых снаряда вылетели вдогонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал, смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей и треск дерева. Но вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. «Катти Сарк», кренясь, продолжала мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейра хотел встать, но не смог и застонал от беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с бакштага на фордевинд. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи — бурный океан взял клипер под крепкую защиту.

Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения. Но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые, слабые звуки. А корабль тем временем продолжал нестись на крыльях бури. Прочные стеньги гнулись, а стальные растяжки — фордуны — начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном.

Пока ошалевший от событий помощник начал распоряжаться, ряд последовательных страшных рывков потряс клипер. Капитан Феррейра, умирая, уже ничего не почувствовал. Славный моряк мог не беспокоиться: «Катти Сарк» выдержала испытание моря, а снаряды врага пощадили ее. Только, как в первую гонку с «Фермопилами», сорок пять лет назад, клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целости свой груз человеческих жизней.

„КАТТИ САРК" — БАРКЕНТИНА

Гибель капитана Феррейры повернула судьбу «Катти». Еще раз проданный, еще дешевле, клипер попал в плохие руки.

Весной 1916 года в Бискайском заливе разразился шторм, сильный даже для этого котла бурь. «Катти Сарк», в третий раз переименованная, шла из Англии с обычным грузом угля. Испугавшись дикой ярости шторма, шкипер решил повернуть на фордевинд и удрать от урагана. Ленивая, собранная из случайных бродяг команда ненавидела работу со снастями, точно брасы, топенанты и шкоты были личными врагами каждого матроса. Перед грозной опасностью вместо слаженных и самоотверженных усилий матросы сыпали замысловатые ругательства, а иногда вместе с капитаном призывали Иисуса Христа и Деву Марию. Поворот недопустимо замедлился, и ураган сильно накренил клипер. Экипаж еще больше растерялся и упустил время.

«Катти Сарк» поднялась бы из крена, но сместился груз угля, и клипер совсем повалился на борт. Оставалось срубить мачты — те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь такелаж. Корабль немного выпрямился.

Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но клипер и без мачт, повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лисабона с временной фок-мачтой.

Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут «Катти Сарк», не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля требовала мно-

голюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было, и вот лучший клипер мира стал баркентиной. Иначе говоря, фок-мачту оставили с прямой парусностью, а грот- и бизань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. «Катти Сарк», превращенная в баркентину, переименованная в четвертый раз, запущенная и пестро раскрашенная, утратила свою поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимая сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи.

Исполнилось пятьдесят три года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то не ремонтировавшаяся с давних времен палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.

ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ

В сентябре 1922 года «Катти Сарк» вернулась в Фальмут с тем, чтобы навсегда остаться в Англии. Капитан Доумэн израсходовал все свои сбережения, чтобы выкупить и восстановить «Катти Сарк». Приобретение мачт и рей было последним усилием старого капитана. Но начатое им дело не остановилось. Был начат сбор средств на такелаж; каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для знаменитого корабля: хоть бухту троса, хоть несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег — помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно вырастали громадные мачты.

Так простые люди Англии, сознававшие, что сохранение лучшего корабля страны, всем обязанной морю, является делом национальной чести, сберегли «Катти Сарк». Аристократы, столь ревниво оберегающие традиции своей родины, когда эти традиции касаются их собственных привилегий, забыли о реликвии английского флота. Забыли о ней и те богачи, состояния которых были добыты трудами тысяч безвестных моряков и славных кораблей. Но простые моряки, не заслужившие чинов и орденов, понимали ценность народного труда и бережно отнеслись к одному из лучших воплощений гения и рук

английского народа... Их соединенные усилия воскресили корабль.

Капитан Доумэн наконец дождался исполнения своей полувековой мечты. Открытое море приняло возрожденный клипер. Корабль семидесятилетнего возраста оставался почти прежним, созданным для бега взапуски с ветрами морей. Но глухая тоска не покидала капитана Доумэна с того момента, когда берега скрылись за простором моря и океанская зыбь стала привычно качать «Катти Сарк». На мостике, крепко вросши ногами в настил, стоял капитан — командир и владелец лучшего клипера его страны, да что там... всего мира. Что же нет настоящей радости исполнения заветной мечты? Скорее беспричинная грусть, какая-то жалость к самому себе одолевает его!

Доумэн почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он вытянулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн в борта. Семьдесят лет волны всех морей бьются в борта «Катти Сарк»; на корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумэн, тоже оставит здесь какую-то частицу себя и тоже уйдет в прошлое...

«Прошлое! Вот в чем разгадка этой печали», — продолжал думать Доумэн. Его мечта родилась давно и вся принадлежит прошлому — отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и... его самого!

Но жить прошлым нельзя! Разве может он сейчас, одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперницами в трехмесячном рейсе? Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов и десятки тысяч тонн грузоподъемности! Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, выйдя на состязание с современностью. Ведьма «Катти Сарк» была создана для важных дел, но значение их давно умерло, и нелепы попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но клипер еще не умер — он может учить! Он, Доумэн, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели — учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, которые может дать только парусное плавание.

Капитан Доумэн присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удоволь-

ствием. Докурив, Доумэн вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвевал отяжелевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумэн приказал повернуть на обратный курс.

ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ „КАТТИ САРК"

Даниил Алексеевич окончил чтение своей рукописи, вытер лицо и попросил чаю покрепче. Его гости и слушатели продолжали сидеть, будто ожидая еще чего-то.

— Я кончил! — пробурчал старый капитан и, сам взволнованный, сурово нахмурился.

После минутного молчания гости заговорили, перебивая друг друга:

— А дальше, что же дальше? Ведь вы довели рассказ до тридцать девятого года, а сейчас пятьдесят девятый. Где теперь «Катти Сарк»? Ведь еще двадцать лет прошло!

— Я был в Лондоне в 1952 году и видел ее стоявшей на Темзе у Гринхита, рядом со старым «Уорчестером». Этот двухпалубный военный корабль был учебным судном морских кадетов и практикантов торгового флота, а подаренная вдовой Доумэна «Катти Сарк» — вспомогательным. Затем в качестве учебного судна куплен «Эксмут». А оба старых ветерана остались плавучими памятниками. Дерево на «Катти» выветрилось, краска облезла и облупилась — восемьдесят три года службы! Не было еще корабля в истории флота, который плавал бы — и как плавал! — почти столетие!

— Даниил Алексеевич! — чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. — Неужели нельзя уберечь «Катти Сарк» от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это...

Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию:

— Погодите немного!

Он порылся в столе, извлек несколько английских газет и два номера журнала «Судостроительные и морского флота сообщения».

— Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клэрнс Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председа-

тельством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров длины и шесть метров глубины, близ королевского Морского колледжа в Гринвиче. «Катти Сарк» теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура, но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нэн Короткая Рубашка. Теперь наконец англичане не рассчитывают больше на старых чудаков капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно.

Найдены подлинные доказательства первоначального устройства рангоута «Катти Сарк». Основные факты взяты из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов». Некоторые дополнения даны Монгриффом Скоттом из Дисса в Норфольке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса — владельца «Катти Сарк». На картине клипер показан под всеми парусами, что прямо-таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения.

Из трех тысяч листов металла Мюнца, которыми обшита подводная часть корабля, около шестисот потребовали замены. Вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой, на что потребовалось особое научное изыскание.

Проволочные канаты стоячего такелажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, — которому придан цвет слабо просмоленной пеньки. Из этого волокна специально для «Катти Сарк» приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на пятьдесят метров над стенами дока, а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов... Одно мне не нравится — стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный павильон — не так уж сложно это теперь, при современной технике. Тогда и только тогда клипер бы сохранился на вечные времена...

Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова:

— Последнее мое впечатление о «Катти» было.. как бы это сказать... странным. Может быть, я не сумею его выразить. В последнюю поездку мне пришлось спачала осмотреть новый лайнер «Гималайя», только что пришедший из Австралии, а потом уже ехать в Гринвич к «Катти Сарк». Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика «Гималайи», размером чуть не во всю палубу «Катти Сарк», знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами.

В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком — всего не перечислишь! Великан шутя справлялся с «Ревущими сороковыми» и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцати пяти узлов.

Я любовался и восхищался красавцем лайнером — детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии.

Но обветшалый, маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с «Гималайей». Больше того, взгляд на «Катти Сарк» будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты такелажа, магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то... корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт нисколько не менее уверенно, чем его колоссальный электроход-потомок. А скорость в тридцать семь километров в час, достигнутая парусами сто лет назад, вовсе не убога перед пятьюдесятью километрами, выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил...

И вот на набережной Гринвича я закрывал глаза, силясь мысленно представить себе оба эти корабля в океане. И, как много лет назад Джон Виллис при виде клипера «Джемс Бэйнс», я почувствовал в лайнере «Гималайя» то же яростное вспарывание океана, теперь еще более подчеркнутое высотой корабля и защитой тысячесильных машин. При всей своей мощи это не было ис-

кусство. Вместо единого ритма, почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком «танце на волнах», мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достигалась путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого...

Тогда я понял, что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля... и что это слово не будет сверхгигантом-лайнером!

Мне думается, что понять законы стихий — это знание, а овладение этими силами, подчинение их — это искусство! И в нашем веке искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время «Катти Сарк»... Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только... Человеческая мысль, экономика, техника развиваются — как бы это сказать? — рейсами, что ли, этапами.

И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу, плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!.. Вот почему я думаю, что англичане должны построить еще и крышу над сухим доком «Катти Сарк», — закончил свою речь практичный капитан.

Он с размаху опустился в кресло, с минуту ожесточенно грыз мундштук и воскликнул:

— А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться!

— Отчего же грустно? — спросил кто-то.

— Я написал стихи и отвечу ими:

Но это сон... Волны веселой пену
Давным-давно не режут клипера.
И парусам давно несут на смену
Дым тысяч труб соленые ветра!..

Что поделать — в этом наша молодость!..

ПОСЛЕДНИЙ МАРСЕЛЬ

Корабль умирал. Море, несколько часов тому назад покорно несшее его на себе, теперь врывалось в него с глухим плеском. Горячее сердце судна остыло и смолкло, в машинном отделении воцарилась гробовая тишина.

Лишенный хода корабль тяжело качался с борта на борт, уваливался под ветер, рывком бросался к ветру и опять продолжал свое неравномерное вращение.

Нос корабля поднялся, высоко выставив над волнами красные скулы и ржавое закругление форштевня. На палубе, заваленной обломками, битым стеклом, обрывками тросов, не видно было людей. День, вначале солнечный и веселый, кончился туманом, липнувшим к волнам и, казалось, душившим даже ветер. Туман густел и обтекал корабль, охватывая его не спеша, как заранее обреченную жертву.

Семь часов назад «Котлас» был вполне исправным транспортом, совершавшим свой шестой рейс из Америки в СССР. Вместе с десятком более крупных пароходов под конвоем военных судов «Котлас» благополучно проделал бо́льшую часть пути, несмотря на два налета немецких бомбардировщиков.

Если бы корабль мог говорить, он рассказал бы, как в солнечной синеве погожего осеннего дня появились фашистские бомбардировщики и завязался бой. «Котлас», один из «малышей» каравана, шел в числе концевых кораблей. Грязно-серый «юнкерс», круживший вначале над головными крупными кораблями, неожиданно отвернул и, задрав хвост, ринулся на «Котлас». Зенитка бесстрашно встретила ревущее чудовище, но «Котласу» не повезло. Одна бомба, сокрушив гакаборт, разорвалась под кормо-

вым подзором, подбросив судно так, что исковерканный руль на секунду повис в воздухе; другая через полуют проникла в заднее отделение кормового трюма. «Котлас», потеряв руль и винты, под угрозой затопления топок стравил пар.

Громкое шипение, как тяжелый вздох, разнеслось вокруг, оповещая караван об аварии одного корабля. Начальник конвоя не счел себя вправе из-за этого задерживать весь караван. «Котлас» был взят на буксир кораблем охранения, раненых перевезли на другое судно, и дым от многочисленных труб закрыл горизонт впереди: караван, развивая ход, двинулся своим путем.

В течение пяти часов оба оставшихся корабля шли спокойно, надеясь вскоре увидеть эсминец, который начальник конвоя обещал выслать навстречу, едва караван минует опасную зону. Но задул свирепый норд-вест, ветер развел волну, буксир оборвался. Вся команда «Котласа», не исключая кочегаров и машинистов (кроме тех, которые во тьме трюмов боролись с проникновением воды через разбитый рецесс и туннель гребного вала), была на палубе, выбирая тяжелый перлинь буксира. Отчаянными усилиями обрыв буксира удалось ликвидировать. Но перлинь лопнул вторично, и почти у самой кормы буксирующего корабля. В довершение всего появился вражеский разведчик.

Не успели моряки «Котласа» полностью выбрать буксир, как вызванные разведчиком бомбардировщики атаковали из-за облаков оба судна. Сторожевик получил две пробоины и, приняв сотни две тонн воды, осел носом. Бомбардировщики старались уничтожить корабль охранения, справедливо полагая, что без него беспомощный «Котлас» все равно не уйдет. Израсходовав тяжелые бомбы, фашисты бросили на палубу «Котласа» лишь несколько осколочных, а затем секли оба корабля пулеметными очередями. При этом погибли капитан «Котласа», боцман и несколько моряков; некоторые были ранены.

Самолеты исчезли, но поврежденный ими сторожевик больше не мог буксировать: он сам оказался в опасном положении. Оставалось одно — уходить, пока сторожевик еще не потерял возможности двигаться своим ходом. Командир сторожевого корабля предложил затопить «Котлас», но старпом парохода, заменивший убитого капитана, отказался. Вместе с ним решили остаться все не получившие ранения моряки с «Котласа». Они хотели

продолжать борьбу за живучесть гибнущего корабля, надеясь на скорый приход эсминца конвоя.

Сторожевик ушел, взяв на борт раненых с «Котласа». Море было пустынным, и таким же пустым, покинутым казался «Котлас», медленно дрейфовавший на зюйд-зюйд-ост. Рация на нем больше не работала, паровые донки не могли откачивать воду, свет отсутствовал. В сущности, это был лишь холодный труп корабля, еле державшийся на воде. Но с ним оставались шесть моряков.

Один из них, высокий, худощавый, осматривал рубку. Это был старпом «Котласа» Ильин. Углы его рта опустились, на щеках обозначились длинные вертикальные морщины, отчего лицо стало напряженным и жестким. Туман — прежде друг, скрывавший корабль от врага, — сейчас был грозной опасностью. Найти «Котлас» в обширной зоне тумана для шедшего на помощь корабля конвоя было непосильной задачей. Дать радио Ильин не мог: для гудков не было пара. Оставалось бить в колокол, рискуя приманить подводную лодку или рейдер врага.

Старпом задумался. Скоро ночь, норд-вест, по-видимому, установился надолго. Холодный ветер, пролетая над теплыми струями Гольфстрима, подхватывает насыщенный водой воздух и гонит его сюда, сгущая в туман. Дрейф несомненный, и этот дрейф несет «Котлас» к вражеским берегам. До них далеко, но и осенняя ночь длинна, и если вовремя не придет помощь... Ильин сжал зубами мундштук давно погасшей трубки, представив себе растаявший поутру туман и «Котлас» в виду вражеского берега.

Волна плеснула, слабо звякнула дверца шпигата. Этот звук напомнил старпому картину недавних похорон погибших в бою товарищей и капитана «Котласа». Ильин любил капитана, и мало кто на судне знал о задушевной дружбе, связывавшей обоих. У старпома снова защемило сердце, как в тот момент, когда он наклонился над смертельно раненным капитаном. В последний раз заглянул он в глаза друга, которые вдруг потеряли обычную серьезность и смотрели на старпома по-детски открыто и ясно. Побелевшие губы разжались. Ильин уловил слабый шепот: «...вам... Вы сохраните для...» Старпом так и не узнал, говорил ли капитан о корабле или о своей заветной тетради.

Капитан уже несколько лет писал записки по истории русского флота.

«История русского флота, — не раз говорил капитан Ильину, — для меня делится на три части. Одна — это военный флот, имеющий большую официальную историю. Вторая — торговый флот, такой истории не имеющий. Длинная цепочка тянулась от царствующего дома (тут капитан пускал крепкое морское слово) до хозяев. Кому здесь было историю писать? Однако русский торговый флот рос и развивался, давал замечательных моряков, и тут он никому, кроме как русскому народу, не обязан. О нем вы прочтете в разных произведениях, учебных и литературных. Но уже совсем никакой истории не имеют те русские моряки, которые не нашли себе места в царской России и вынуждены были уйти на чужие корабли. Об этих подчас замечательных моряках ничего не известно, истории своей они никакой не имеют. Пробел этот я пытаюсь заполнить. Ведь я — из старинного моряцкого рода и многое знаю такое...»

Все это Ильин вспомнил сейчас, стоя на исковерканной палубе «Котласа».

* * *

Два керосиновых фонаря, качаясь и коптя, бессильны разогнать душный мрак. Вода выше пояса. С каждым размахом судна тяжелая масса воды грозно и глухо ударяет в переборки. Эта черная, кажущаяся неимоверно глубокой вода — самый неумолимый, опасный враг.

— Ух, холодище! — послышался ясный молодой голос откуда-то из темноты.

— Ничего, Витя, сейчас погреемся! — отозвался другой, хрипловатый голос. — А ну, Титаренко, давай ее сюда.

— Не подпереть, выдавливает...

— А богатырь наш где?

— Курганов, на подмогу!

— Не могу, мы тут с механиком...

— Стой! Вот попало... Давай жми, дер-ржи-и-и! Эх, проклятая!..

— Выдавило опять? — спросил сверху Ильин. — Сейчас я спущусь... Заводи под стрингер... Стой!.. Так, бей!

Удары молота, всплески воды, резкие окрики наполняли темное и тесное помещение.

— Фу! — отдуваясь, сплюнул кто-то. — Нахлебался...

— Вкусна трюмная водичка? — подшутил над ним другой голос.

— Как будто все, Матвей Николаевич? — негромко спросил Ильин.

— Все пока, — ответил второй механик, Головин, беспрерывно отплевываясь.

— С тоннелем справились, — продолжал старпом. — А в машинном?

— Там ничего не сделаешь! — И невидимый в своем углу механик махнул рукой, появившейся в свете фонаря. — Гребной вал согнут, сальники протекают, ахтерпик разбит, рецесс разбит, коридор поврежден — давить все равно будет...

— Да, тут подкрепить нечем, — согласился старпом.

Насквозь промокшие моряки вылезли на палубу, где их сразу до дрожи в теле прохватило холодным ветром. Солнце село, но было еще достаточно светло, чтобы видеть, насколько плотен туман, — даже шпиль на приподнятом носу «Котласа» расплывался. Пятеро мокрых, дрожащих людей посмотрели на Ильина, и на лицах их был написан один и тот же вопрос. Молодое, красивое лицо третьего помощника казалось растерянным, механик зло закусил губу, а гигант-кочегар угрюмо хмурился. Ильин предложил всем поскорее переодеться и подкрепиться, а затем поочередно дежурить у судового колокола, уцелевшего на покривившейся стойке. Это было единственное средство дать знать о себе — звонить в колокол. Делать это надо осторожно, все время прислушиваясь, и чуть что — прекратить и звать всех наверх. «А там — как судьба!» — заключил Ильин и, сопровождаемый своим немногочисленным экипажем, направился в каюту.

* * *

— Прибавляется? — отрывисто спросил механик.

— Еще фут.

— Порядочно, даже чересчур! — Механик вопросительно посмотрел на старпома.

— Запускайте, — распорядился Ильин. — Бензина мало, но другого выхода нет.

Механик поманил рукой кочегара, и оба исчезли в темноте. Скоро к размеренным ударам колокола прибавилось пыхтение мотора. Механик кончил регулировку,

любовно погладил по гладкому зеленому цилиндру бензиновой помпы:

— Выручай, милая!

Слегка сконфузившись, он посмотрел на стоявшего с фонарем кочегара. Но кочегар прислушивался к звуку мощной струи воды, лившейся за борт, и одобрительно кивнул:

— Маленькая, да удаленькая! Эх, хватило бы бензина!.. — Кочегар замолчал и совсем другим тоном закончил: — Пойдемте, Матвей Николаевич.

Темная, беспросветная ночь, нависшая над кораблем, тянулась медленно. Моряки собрались в каюте старпома, поближе к выходу. Сменялись дежурные у колокола — входили закоченевшие, отогреваясь приготовленной на столе стопкой. Много раз старпом и механик спускались в трюмы измерить уровень воды. И по мере того как шло время, приближаясь к рассвету, все меньше оставалось надежды на спасение корабля. Приток воды усиливался. Глухой стон переборок и скрип упоров говорил о возрастающем давлении воды. Если еще в помпе кончится бензин... Моряки старались не раздумывать, скрашивали тяжелое ожидание шутками и рассказами, но под конец все замолчали. В тишину едва освещенной каюты зловеще и настойчиво доносились редкие удары колокола, словно твердившие: «Нет, нет...» Минута тишины, нарушаемой слабым тарахтением помпы, и снова: «Нет, нет...»

Кочегар вдруг смущенно улыбнулся:

— Спой-ка нам, Витя...

Остальные поддержали его.

Третий помощник, Виктор Метелицын, не заставил себя упрашивать. Юное лицо его порозовело и стало мечтательным, едва только пальцы коснулись гитары, которую он принес из своей каюты. Высоким, сильным голосом он запел знакомую песню. Метелицын пел, склонившись слегка набок и подняв красивое лицо к тускло светящему фонарю. Мрак каюты, квадрат белой скатерти на столе, и снаружи, в открытую дверь, настойчивые удары колокола, которые уже не казались зловещими, а как бы аккомпанировали песне... Надолго запомнил этот предрассветный час каждый из четырех моряков, слушавших молодого помощника.

Ты, родина, долго страдала,
Сынов своих верных любя.
Ты долго меня ожидала...

Голос певца оборвался. Последняя высокая нота ещё звучала в гитарной струне, когда, словно подчиняясь певцу, внезапно замолчал и колокол. Ильин быстро выбежал к дежурившему матросу Чегодаеву.

— Мотор, Антон Петрович! — прошептал матрос.

Едва различимый рокот почудился Ильину. Моряки долго стояли в безмолвии ночи. Потом снова запустили остановленную было помпу.

Близился рассвет, но туман не пропускал лучей солнца, и контуры судна всплывали из сумерек рассвета очень медленно. Ильин вместе с молодым помощником упорно старался определить скорость дрейфа корабля, пока после долгих расчетов не убедился, что судно за ночь сильно отнесло к зюйд-осту и приблизило к вражеским берегам. Исчезла последняя надежда на помощь: слишком много воды принял «Котлас», чтобы долго держаться на поверхности, и слишком далеко отнесло его.

Под испытующим взглядом товарищей старпом сохранял спокойствие. Он не хотел сообщать печальные вести, прежде чем люди не подкрепятся, и с бодрым видом председательствовал за столом, чудом державшим тарелки на своей наклонной плоскости. Дневной свет после полной тревог ночи, казалось, обещал скорое появление помощи. Моряки повеселели.

Вдруг Головин изменился в лице и, с грохотом двинув стулом, бросился на палубу. Все замолчали, быстро поняв, в чем дело: остановилась помпа. Это значило, что бочка бензина, присоединенная шлангом к баку мотора, опустела и, следовательно, до гибели «Котласа» остались считанные часы.

— Пойдемте, друзья, на палубу, на простор, посоветуемся! — Эти непривычные в устах строгого старпома слова подчеркивали наступление критического момента.

Из-за крена на палубе было трудно стоять. Пятеро моряков уперлись спинами в переднюю стенку рубки, защищавшую их от ветра, и выжидательно смотрели на Ильина. Тот, сгорбившись и расставив ноги, чтобы противостоять качке, обдумывал те простые и грозные слова, которые сейчас должен был сказать товарищам. Волны заливали корму и набегали на палубу со стороны накрененного борта. Изредка корабль вздрагивал, будто по его большому телу пробегала судорога, и тогда глухо звякал маленький колокол.

— Друзья, надежды сохранить корабль больше нет, —

начал тихо, не поднимая головы, старпом. — Через час «Котлас» пойдет ко дну. Мы отнесены ветром и течением к берегам Норвегии, захваченной немцами. Шлюпки разбиты. Есть спасательные плоты, но продержаться на них долго мы не сможем, а подобрать... подобрать нас могут только враги. Значит, плен. Если выживем, прибьемся к берегу — тоже плен... или...

Старпом открыто взглянул на побледневших товарищей.

Механик зябко вздрогнул. Ему представился клочок грязной земли, обнесенной колючей проволокой, и за ней — толпа измученных, исхудалых людей с погасшими глазами... «Нет, никогда!» Словно отвечая ему, Метелицын закричал:

— Только не плен! — и сжал рукой тяжелый автоматический пистолет.

Шестеро моряков стояли лицом к лицу с невыносимой для мужественных людей судьбой — погибнуть без борьбы.

— Не нужно, — отстранил револьвер помощника кочегар Курганов. — Я думаю так, — кочегар ударил своим огромным кулаком по стенке рубки, — в плен нам нельзя, а так умирать тоже неладно. Надо прибиваться к берегу. Высадимся и будем биться... Я уж себя меньше чем за десяток не продам. А патроны кончатся — с этим всегда успеем... — Курганов показал на револьвер.

Словно горячим ветром пахнуло на моряков от слов кочегара. Смерть в бою не казалась тяжкой. Метелицын поспешно спрятал револьвер. Ильин крепко пожал руку кочегару.

Туман рассеивался, видимость улучшалась.

— Сцепим оба плота, — распорядился старпом, — иначе нас быстро унесет в разные стороны. Что приготовили? — обратился он к Метелицыну.

— Воду, галеты, шоколад, вино... — перечислял помощник.

— Водку, спирт. А колбаса есть?

— Есть.

— Еще один автомат возьмите в каюте капитана. Револьверы у троих, одну винтовку в запас, патроны грузите все. Компас, фонарь, журнал и карты района на всякий случай... Да сапоги не забудьте подвязать накрепко!

Старпом критически осмотрел, как принайтовлены

к плотам тючки, и поспешил в капитанскую каюту. Он бережно завернул толстую черную тетрадь в клеенку и бегом вернулся на палубу. Возраставший крен судна заставлял торопиться: вода с правого борта подступала уже к центральной надстройке, корма скрылась в волнах. Тетрадь капитана Ильин засунул вместе с картами и журналом в жестяной ящик.

Скользя по мокрой наклоненной палубе, моряки перетащили оба сцепленных вместе плота ближе к корме, надели спасательные нагрудники и торопливо выпили по стакану водки. Кочегар, старпом и рулевой вооружились веслами, чтобы отвести плот подальше от тонущего корабля.

Решительная минута приближалась, но моряки невольно задерживались на палубе. Внутри корабля раздался глухой, похожий на тяжелый вздох шум. Корпус содрогнулся и начал заметно оседать.

— Пора! — резко скомандовал старпом.

Моряки выпрямились, обводя взглядом палубу, прощаясь с родным кораблем. Их ждали одиночество и полная неизвестность.

Ильин нахмурился и, схватившись за петлю леера, потянул плот через фальшборт. Волны приняли моряков в свои ледяные объятия. Плоты отошли.

— Ну и вода... — через силу выговорил механик.

Никто не ответил. Все смотрели в сторону «Котласа».

Для всякого представляющего себе гибель судна лишь по картинкам обычно рисуется уходящий носом в воду корабль с вертящимися в воздухе винтами и развевающимся на корме флагом. Но страшно самому видеть тонущее судно, особенно когда оно тонет кормой. Корабль словно падает навзничь, в судорогах поднимая высоко нос, затем медленно переворачивается, показывая ослизлое, обросшее днище, безобразное, подобное разложившемуся трупу, и медленно исчезает в волнах. Такое зрелище предстало перед моряками «Котласа», уносимыми ветром и течением в даль моря.

* * *

Никто из них не мог сказать, сколько прошло времени — может быть, всего несколько часов, может быть, несколько суток: в сознании моряков перестали существовать обычные человеческие представления. Только воля

еще жила в этих полумертвых телах. Это она заставляла людей поднимать голову над захлестывавшими волнами и держаться за леера продетыми по локоть в петли руками: кисти рук, опухшие и сведенные, не могли больше служить морякам.

Инстинктивное ощущение близости берега проникло в слабеющее сознание старшего помощника. Ильин поднял тяжелую голову и некоторое время боролся с плававшими в глазах черными пятнами. Наконец ему удалось разглядеть, что берег совсем близко. Редкий на море, возле берега туман становился гуще. В глубине скалистого коридора — фиорда, — черные ворота которого привлекли внимание Ильина, туман стоял плотной сизой стеной.

— Берег! Берег! — хрипло прокричал кочегар.

Моряки зашевелились, собирая остатки сил. Ильин достал заветную бутылку со спиртом. Девяностопятиградусная жидкость вливалась в горло, и в глазах моряков появился живой, осмысленный блеск. Ильин настолько пришел в себя, что сказал кочегару:

— Хорош сейчас наш десант!

— Спрятаться надо на берегу, пока в себя придем, — отозвался Курганов.

Крутые темно-серые стены фиорда надвигались и вырастали, всплывая из тумана. Теперь моряков относило налево, за скалистый мыс или остров, за которым фиорд разветвлялся, выдвигая посередине скалистый клин. От клина шла полоса ровной земли, поросшей деревьями, осенняя листва которых едва краснела сквозь туман. Дальше ничего не было видно, а близ устья фиорда, на обрывистом каменном мысу, выступали четыре белых домика, гуськом спускавшихся по пологому склону.

Против мыса волны начали швырять плоты. С большим трудом морякам удалось обогнуть мыс, и они очутились на спокойной темной воде, в белесой мгле густого тумана. Отвесные скалы отошли, образовав полукруглую бухту. Ближний берег бухты представлял нагромождение огромных камней, разделенных узкими протоками. Меж этих камней виднелись две высокие мачты парусного судна, а дальше сквозь туман смутно рисовался целый лес мачт.

Ильин щелкнул языком от неожиданности. Моряки на своем плоту осторожно продвигались по протоку, надежно скрытые высящимися с обеих сторон черными

камнями. Узкий просвет пересекся бушпритом судна, чьи мачты моряки заметили при входе в бухту. Напряженно вытянув шею, все шестеро старались разглядеть это судно. Что-то в его внешнем облике говорило о том, что судно давно не ходило в море: рангоут был убран, швы конопатки виднелись четкими серыми линиями на черном борту.

Тихо причалив к тупому носу парусника, моряки внимательно прислушались. Ни одного звука не доносилось с палубы или изнутри. Судно, очевидно, было пусто. Старпом молча кивнул. Товарищи поняли его без слов. По узкой полосе воды между левым бортом судна и каменистым обрывом люди быстро добрались до руля, надеясь по нему подняться на судно, и увидели свисавший по срезанной прямо корме парусника штормтрап.

Уцепившись за руль, было не трудно подняться по трапу, но оказалось, что у моряков не хватает на это сил. Наконец кочегар отчаянным усилием подтолкнул вверх старпома и, скрипя зубами от напряжения, взобрался сам с леером на шее. На палубе у обоих все поплыло перед глазами. Ильин упал, но кочегар устоял и принялся разматывать линь, чтобы помочь взобраться на палубу остальным.

Вдруг где-то внизу заскрипели доски под тяжелыми шагами — на палубе выросла огромная фигура в синей рубашке, высоких морских сапогах и... остановилась в изумлении. Ветер трепал светлые, как солома, волосы и узкую золотистую бороду, которой обросло крупное, смелое лицо неизвестного. Курганов выпрямился — два светловолосых гиганта стояли друг против друга. Ильин тоже поднялся и стал рядом с кочегаром..

Высокий норвежец пытливо разглядывал незнакомую форму и сказал что-то, показав в сторону моря. Ильин и Курганов переглянулись, затем старпом решительно ответил по-английски:

— Русские моряки... спаслись с потонувшего судна.

— Рашен, рашен... — забормотал норвежец, заметно взволнованный. Он обвел рукой вокруг фиорда и добавил, коверкая английские слова: — Немцы везде, будут хватать... — и сжал в кулак раскрытую ладонь.

Кочегар тряхнул головой и сделал вид, что прицеливается из винтовки. Норвежец опять внимательно посмотрел на моряков — едва заметный насмешливый огонек зажегся в его спокойных глазах. Тут из-за борта появи-

лась голова Метелицына. Беспокойство за товарищей придало силы оставшимся на плоту, и они принялись карабкаться на парусник. Норвежец невольно попятился, но кочегар просто, по-товарищески взял его за руку и подвел к борту. Норвежец опять забеспокоился и произнес несколько слов, из которых одно было английское: «прятать». С его помощью моряки подняли на борт плоты, а затем красноречивой мимикой норвежец дал понять, что скоро подует ветер из фиорда, прогонит туман, поэтому с палубы все должно быть немедленно убрано.

Плоты спустили в трюм. Норвежец зажег фонарь и повел нежданных гостей вниз, в носовую часть парусника. Согнувшись в три погибели, он нырнул в низенькую дверцу небольшого помещения, вроде кладовой или шкиперской, и подвесил фонарь к потолку, энергично топоча тяжелыми сапожищами. По его знаку моряки очутились за массивной переборкой, в маленькой каюте, заваленной старыми парусами, которые были постелены норвежцем на пол.

В потолок выходил шпор бушприта, охваченный железными стяжками и обрамленный массивными дубовыми балками. Соответственно наклонному положению бушприта потолок каюты поднимался по направлению к носу, а к выходу понижался так, что можно было войти, только сильно согнувшись. Неподвижный воздух, пропитанный запахом смолы, лежалой парусины и дуба, показался морякам жарким, их исхлестанные водой и ветром лица загорелись. Хозяин опустился на колени и возобновил жестикуляцию, часто повторяя по-английски: «Не отворять! Не отворять!» Ильин объяснил товарищам, что норвежец, по-видимому, собирается уйти и просит, чтобы русские не отворяли, если кто-нибудь взойдет на судно. Когда он вернется, он постучит к ним так: кулак норвежца стукнул по полу дважды двойными ударами, как бьют склянки. Ильин бросил норвежцу: «Иес» [1], и тот быстро вышел, заботливо прикрыв дверь.

Моряки некоторое время молча переглядывались. Тепло помещения приятно охватывало их, туманя рассудок. Клонило ко сну.

— А не пошел ли наш друг за фрицами? — тревожно спросил механик, выразив общее недоверие, возникшее у моряков при поспешном уходе хозяина.

---

[1] Да *(англ.)*.

Только кочегар энергично запротестовал:

— Я первый его встретил и заглянул, можно сказать, в самую душу, когда раздумывал, треснуть ли его по башке. Нет, он моряк и смелый человек, не будет он за фашистов, которые его родину поганят. Верить ему можно.

Старпом поддержал кочегара:

— Деваться сейчас все равно некуда, оружие у нас с собой, норвежец о нем не знает. Скоро ночь. Забаррикадируемся покрепче и, если начнут дверь ломать, обязательно услышим. Зато как следует отдохнем, а там... утро вечера мудренее.

Все согласились со старшим помощником. Надежно заклинив крепкую дверь болтом и найденной тут же свайкой, моряки принялись стаскивать с себя и выкручивать мокрую одежду. Невыразимое ощущение тепла, покоя и слабости овладевало измученными людьми, но у них все же хватило энергии развязать тюк с оружием. Автоматы и винтовки были аккуратно вытерты и положены по три с каждой стороны. Моряки укрылись несколькими слоями парусины и, прижавшись друг к другу голыми телами, почти мгновенно забылись крепчайшим сном.

Глухо, будто издалека, Ильин услышал сквозь сон неясный шум, затем в дверь постучали. Старпом, откинув парус, резким движением сел. Сон слетел. Морщась от боли во всех мышцах, Ильин разбудил товарищей. Между тем за дверью раздавалось настойчивое «тук-тук-туктук» — условные удары хозяина.

С револьвером в руке, согнувшись, старпом двинулся к двери, а за ним, выставив плоские штыки, выстроились остальные. Едва открылась дверь, моряки увидели тусклый дневной свет, падавший через люк сверху. За дверью знакомый голос норвежца сказал кому-то несколько слов на своем языке. Кряхтя и цепляясь спиной за низкую притолоку, в каюту пролез седобородый старик почти такого же роста, как сам хозяин, который следовал за ним, и тотчас притворил дверь.

Оба пришельца изумленно рассматривали необычайную картину. В низкой, душной кладовой, под потолком, завешанным мокрой одеждой, слабый свет фонаря едва освещал шестерых совершенно голых людей, сжимавших в руках оружие. Старик сурово улыбнулся и что-то сказал хозяину. Тот обратился к морякам, по-прежнему коверкая английские слова:

— Вот. Старый моряк. Он может. Немцев нет. Наверху сторожит еще человек.

Старик шагнул вперед, бесстрашно отстранил автомат кочегара и, с облегчением выпрямив спину, сел. Хозяин потрогал одежду моряков, покачал головой, быстро собрал ее в тюк и вышел наружу.

Моряки уселись против старика, все еще не выпуская из рук оружия. Старый норвежец осмотрел каждого острыми, глубоко сидящими глазами, поскреб пальцем густую бороду и заговорил по-английски. Все, даже не знавшие языка, внимательно слушали. Хозяин тихо вошел и опустился на пол, присоединившись к слушателям. Старик подмигнул морякам и закурил вонючую трубку. Тут только моряки вспомнили, как давно не курили. Нашелся обрывок бумаги, две невероятной величины самокрутки пошли по рукам, а Ильин бережно извлек из кобуры револьвера свою верную трубку. Моряки наслаждались. Только некуривший Курганов кашлял и чертыхался да изредка вторил ему тоже некуривший хозяин.

Старпом начал переводить товарищам слова старика:

— Мы попали в фискевер (рыбачий порт). Имеется здесь отряд береговой охраны немцев, но морская база — в соседнем фиорде. Этот парусник стоит уже давно здесь, приведен из Кумагсфьюра; шкипер бежал к англичанам, команда тоже разбежалась. В бухте около шестидесяти рыбачьих моторных судов. На ловлю не ходят — не хотят снабжать немцев, а немцы иначе не разрешают ходить в море, да и горючего нет. Наш хозяин живет здесь потому, что немцы выселили его с братом из дома на той стороне фиорда — дом понадобился для береговой охраны. Вот и облюбовал он этот парусник: помещение просторное и ненавистных фашистов не видит. Оказывается, хозяин-то наш бегал вечером в поселок, рыбаки собрали совет: что с нами делать? Старик спросил меня, что мы сами думаем. Я сказал: «Биться с немцами. Каждый моряк стоит десяти немцев, так за шестьдесят мы ручаемся». Он ответил, что тут их больше, чем шестьсот. Но шутки в сторону. Рыбаки решили, что, если дело до боя дойдет, немцы на сто километров кругом всех перебьют или загонят в тюрьму — решат, что спрятали парашютный десант. Рыбаки предлагают помочь нам бежать, и как можно скорее. Из бухты ни одно моторное судно не выйдет, горючего нет. Кроме того, от мотора шум. Лучше всего на

этом же паруснике, на котором мы находимся: он стоит очень удачно, у самого входа в бухту.

В это время года всегда туманы, когда ветер с моря. К вечеру ветер меняется — дует из фиорда на запад — и сгоняет туман в море. Если мы успеем выйти сразу, вместе с туманом, успех обеспечен. Парусник идет бесшумно, и за ночь мы сможем отойти далеко от берега, в зону, где патрулируют английские суда. Перед вечером, в тумане, придут на судно рыбаки из поселка — поставят реи и привяжут паруса. Конечно, судно большое, морское, справиться нам с парусами будет очень трудно. Кроме того, и опасно — оснастка старая. Но другого выхода нет — провести нас в горы к партизанам они не берутся: нет умелого человека... А молодцы! Слово не расходится с делом: этой ночью, пока мы спали, они доставили сюда два бочонка с водой, соленой рыбы, ячменного хлеба. Вот люди! А проспали мы, оказывается, больше двенадцати часов, — закончил старпом. — Ну как? Я думаю, дело стоящее?

— Ясно, стоящее! — хором отозвались моряки.

— Да, — обратился Ильин к старику по-английски, — исчезновение большого судна немцы ведь заметят?

— Это наше дело, — ответил старик. — Целая ночь. Приведем старую большую шхуну и затопим здесь, чтобы мачты торчали.

Хозяин принес высушенную у печки одежду и котел с горячим кофе.

— Товарищ старпом, — вдруг сказал Курганов, — вы у него спросите, — кочегар кивнул на хозяина, — может быть, он с нами? Чего ему тут с немцами? Парень хороший.

Старик с насмешливым огоньком в глазах перевел вопрос старпома хозяину. Тот улыбнулся и быстро заговорил по-норвежски.

— Он говорит — нельзя, семья пропадет. Его брат отвез обе семьи — свою и его — в Рерос, там дядя в лесничестве работает. Зимой и он туда.

— Жаль, подходящий человек, — ответил кочегар. — Ну, фамилию его и адрес запишите, хорошо бы встретиться после войны... А куда это мы попали?

— Черт, не могу разобрать название поселка, они его так произносят... — смущенно сознался Ильин. — А район называется Лоппхавет, между большими островами Серё и Арнё. Это значит, на северо-восток от Тромсё.

Моряки крепко жали руки норвежцам. Потом старпом, выполняя общее желание, написал на двух листках бумаги фамилии и адреса советских моряков и вручил их обоим норвежцам. Старик тщательно сложил записку и долго засовывал ее куда-то за кушак, бросив несколько отрывистых слов.

— Он говорит, что это нужно хорошо спрятать, — перевел старпом, — если увидят немцы, то смерть ему.

Норвежцы ушли. Моряки, возбужденные событиями, оживленно обсуждали дальнейший план действий.

— Что я говорил! — торжествовал Курганов.

— Погоди радоваться, — буркнул Титаренко. — Это, может быть, все липа, чтобы полегче нас взять...

— А ты не каркай, ворона! — с сердцем оборвал кочегар. — Не может фашистская сволочь всех людей испохабить. Есть еще люди... В себя веришь, а другие, думаешь, хуже тебя?

Растерявшийся от неожиданного красноречия кочегара рулевой замолчал. Ильин, приказав товарищам не появляться на палубе, решил осмотреть судно, а главное, состояние рулевого привода, и осторожно поднялся по скрипучим ступенькам наверх. Деревянный колпак, прикрывавший люк с носа, не давал возможности видеть море; зато фиорд был весь как на ладони.

Узкий язык почти черной воды вползал далеко внутрь обрывистых гор. Суровые, изборожденные трещинами утесы наступали на берега. Разбросанные вдоль берега домишки робко прижимались к подножию скал. Немного дальше, на каменной площадке, возвышалась странная постройка. Балюстрада из коротких столбиков поддерживала несколько чешуйчатых деревянных крыш, громоздившихся одна над другой. Казалось, что на один дом насажен другой, меньший, а на этом точно таким же способом сидел еще меньший, с четырехгранной крышей, оканчивающейся заостренной башенкой с высоким шпилем. Здание украшали железные флюгера в виде голов драконов с раскрытой пастью и высунутым тонким языком.

Удивленный странной архитектурой, Ильин долго всматривался, пока не различил небольшие кресты. По-видимому, это была старинная норвежская церковь. Дерево почернело от времени, и угловатая, устремленная вверх форма здания резко выделялась мрачно и угрожающе. Темные ели окружали церковь, а позади уже са-

дились на горы белесые хмурые облака. Ильин ощутил вдруг печаль, исходившую от этой полной холодного покоя обители севера.

Прячась за борт, он вылез на палубу. Высота мачт ему, привыкшему к пароходам, вначале показалась несоразмерной. Фок-мачта имела поперечные реи и, следовательно, прямые паруса, бизань вооружена гиком и гафелем, судно было бригантиной. По обе стороны люка, только что покинутого Ильиным, стояли две лебедки для марса-фалов и брам-фалов. «Марсели разрезные, с лебедками — может быть, справимся», — отметил про себя старпом, торопясь припомнить свою парусную практику, которую когда-то проходил в мореходных классах. Сложные перекрещивания тросов, то взвивавшихся высоко и казавшихся тонкой паутинкой, то спадавших с мачты вниз — на борта, на палубу, на бушприт, на другую мачту, — казались совершенно непостижимыми. А ему, начальнику, предстояло управлять этим судном, командовать.

Ильин поморщился и посмотрел на море. Левее бушприта, вдоль черной тени скал фиорда, море в отдалении преграждалось цепью куполообразных, близко расположенных островов. Они походили на костяшки исполинского подводного кулака, выступавшие на поверхность моря. «Обогнем мыс, держать правее, только миль через десять ложиться на чистый вест», — продолжал соображать старпом. Оснастка судна все еще не давала ему покоя. «Будь это шхунка... да что угодно, лишь бы поменьше и с косой парусностью...» Он перегнулся через борт и прочитал надпись на носу: «Свольвер».

Предсказание старика норвежца сбылось совершенно точно. Перед вечером фиорд заполнился густейшим туманом, еще более непроницаемым, чем вчера. Моряки вылезли наверх и вдруг схватились за винтовки: на палубе одна за другой стали вырастать человеческие фигуры. Скоро судно было полно людей. Норвежцы неторопливо, но не теряя ни одной лишней минуты, обтягивали такелаж, вытаскивали, разворачивали и поднимали паруса, улыбаясь русским морякам. Управлял коренастый старик, негромко покрикивавший на работавших.

— Это старый капитан, — объяснил Ильину приходивший утром знаток английского языка.

Опасная работа близилась к концу. Коренастый капитан подошел к Ильину, пожал руку:

— Я Оксхольм. Все готово. Паруса поставил левентик к ветру, который сейчас. Подует из фиорда — для такого положения рей будет бакштаг. Когда ветер рванет из фиорда, брасопить реи некогда будет: расклепывайте якорные цепи — и пошли. Да, еще: бом-брамселя, бом-кливера — этих парусов не ставим. Они перепрели. Стаксели тоже не все. Вместо крюйс-стеньги-стакселя мы поставили штормовой апсель.

— Спасибо, — ответил Ильин, когда сообразил, что нет бом-брамселя — паруса, находящегося на той самой ужасной высоте, которая поразила его в первый момент, и облегченно вздохнул.

Ветер стих, слабо хлопавшие паруса повисли, время бегства подходило. Норвежцы, вытирая пот, по-прежнему молча, по-дружески пожимали советским морякам руки или хлопали по плечу и исчезали за бортом. Курганов обнял хозяина парусника, повторяя ему свою фамилию, пока тот не произнес почти чисто: «Курганофф!»

— Ветра и счастья! — донесся из-за борта голос капитана Оксхольма. — О, ветер есть, расклепывайте цепь. Гуд бай!

Паруса, уходившие в туман над головами моряков, расправили складки. Ветер из фиорда тихо зашипел в снастях. Времени оставалось немного. Кочегар вооружился заранее приготовленными инструментами и стал выбивать шпильку, расклепывая верхнюю смычку якорной цепи; механик взялся за другую. Туман заглушал удары, но все же они разносились по бухте. С грохотом, заставившим моряков вздрогнуть, якорная цепь упала в воду, за ней другая. Едва заметный толчок прошел по судну; медленно, почти нечувствительно оно двинулось. С увеличением скорости стал наконец действовать руль, и вовремя: даже в таком тумане можно было различить впереди смутные контуры скалистого мыса.

— Лево руля! — тихо скомандовал Ильин, не снимая руки со штурвала.

Тупой, тяжелый нос едва слышно плескал о воду: волнение сделалось попутным, бушприт быстро метнулся налево. Титаренко, закусив губу, завертел штурвалом в обратную сторону.

— Уваливается, одерживай! — шепнул Ильин, вглядываясь в серую стену тумана, протыкаемую бушпритом судна.

К счастью, выход из фиорда был широк. Миновав

мыс, Ильин повернул к северу, взял к ветру. В густом тумане судно бесшумно шло в открытый океан, покидая норвежский берег, где совершенно неожиданно для себя советские моряки получили товарищескую поддержку стольких людей. Предсказание старого капитана сбывалось — бригантина не встретила никого.

Через час она опять легла в бакштаг на вест и пошла заметно скорее. Старпом собрал свою немногочисленную команду, объявил, что парусную науку придется изучать на ходу, и предложил пока ознакомиться с оснасткой бригантины.

— Раскиньте мозгами, соображайте, как управиться в случае надобности. Шлюпочные паруса всем вам знакомы, теперь постигайте настоящие. Вот, кстати, судно увальчиво, значит, надо...

— ...уменьшить парусность на фок-мачте, — быстро ответил Метелицын.

— Правильно! Хотя и невыгодно, а придется брамсель убрать: мало парусов у нас на бизани — получается неуравновешенная парусность. За это дело всем нам нужно браться, а я от руля отойти не могу, пока Титаренко не приспособится.

— Мы вчетвером, — отозвался механик.

И моряки бросились к лебедкам.

Бригантина ушла далеко в открытое море и сильно качалась на крупной волне. Метелицын первым достиг салинга и, стараясь не смотреть вниз, полез по вантам, добираясь до верхнего брам-рея. Палуба исчезла в тумане, мачта уходила далеко вниз, а брам-стеньга казалась чересчур тонкой. Было слышно, как она потрескивает в эзельгофте.

С каждым креном судна мачта описывала в воздухе дугу. Когда бригантина ныряла носом, мачта словно проваливалась под Метелицыным, и он судорожно цеплялся за перекладины вант. Еще хуже показалось молодому моряку при подъеме судна на волну — огромная мачта ринулась на него, словно желая ударить, ноги ушли вперед, и он повис над палубой спиной вниз. На лбу Метелицына выступил пот, слегка мутило на непривычной высоте. Но он быстро освоился и смог рассмотреть проводку снастей — гитовых, топенантов и горденей.

Общими усилиями на кофель-планках у бортов судна были разысканы ходовые концы этих снастей — правых и левых. Навалившись животами на парус и упершись но-

гами в зыбкие, качающиеся, как люлька, перты, «паровые мореходы» сумели справиться с непривычной задачей. Несмотря на темноту, брамсель был убран.

Ветер сильно засвежел и начал заходить, но экипаж бригантины уже немного освоился со снастями. Реи обрасопили как нужно, парусность уравновесилась, и старое судно бежало по морю со скоростью десяти узлов. Единственно, что смущало моряков, — это сильный скрип и треск, исходивший откуда-то из глубины судна.

— Всегда это так у парусников? — недоумевал Метелицын, обращаясь к старпому. — Ребята беспокоятся, как бы не развалилась наша посудина.

— Не знаю. По-моему, тоже что-то неладно. Вода в трюме не прибывает?

— Течет понемножку, но это что за течь: двумя помпами покачали — и сухо.

— Спущусь-ка я сам, — решил Ильин, — а вы здесь побудьте.

Взяв оставленный норвежцами фонарь, старпом спустился в трюм, ступая по покрытым водою шатким доскам, проложенным поверх балласта. Громкий треск наполнял душное пространство трюма, подавляя шум моря, бившего в деревянные борта. Походив по трюму, старпом уяснил себе, что треск издается почти всем корпусом бригантины, а раздирающий уши скрип идет от мачт судна. Ильин постоял и вернулся на палубу.

— Неладно, конечно, — ответил он на вопрос помощника. — Черт его знает, посудина расхлябалась, да и наш стоячий такелаж, наверно, следовало бы еще раз обтянуть. Мачты пошатываются в гнездах.

— Ночь как уголь, где уж тут этим заниматься с единственным фонарем!

— Попробуйте все-таки.

— Сейчас приступим.

— Фонарь прихватите!

— А разве он вам у компаса не нужен?

— Ох, морячок! — рассмеялся Ильин. — На компасто и не посмотрел! Из котелка спирт давно уже выпит или высох. Куда ветер — туда и мы, только бы скорее уйти. И не все ли равно — вест, зюйд-вест или норд-вест? Свидание с англичанином у нас, к сожалению, не назначено. Вы бы, наверно, хотели, по всем морским правилам, в бейдевинд, с переменой галсов? А как вы, дружок, вчетвером с такой парусностью управитесь? То-то. Карманный светя-

щийся компасишко есть, и ладно... Черт, как курить хочется...

Ночь шла для Ильина и рулевого в чутком выслушивании звучания ветра в парусах. Едва только шум ветра становился сильнее и звонче, оба моряка уже знали, что судно бросилось к ветру. Возросшее сопротивление штурвального колеса немедленно сигнализировало о том же. Для остальных четверых ночь пошла в беспрерывной возне со снастями. Руки моряков, привычные к работе совсем другого рода, болели, а на ладонях образовались волдыри.

Утром судно встретилось с сильным волнением. Ветер стал слабее, но громадные волны росли, бросая бригантину как щепку. Ход судна сделался неровным, паруса во время судорожных нырков тяжело хлопали. Треск и скрип усилились; казалось, что доски палубы вибрируют и гнутся под ногами.

— Развалится наша посуда, честное слово!.. Вот вода стала прибывать заметнее, — ворчал механик.

— Чего вы боитесь, Матвей Николаевич? — неуверенно возразил Метелицын. — Пока прем здорово...

— «Марсофлот» этот мне не по душе, не понимаю я в этом деле. А когда не понимаешь, чувствуешь себя неладно... как и вы, милый Витя. — И механик снисходительно потрепал по плечу Метелицына.

Тот вспыхнул и открыл рот, чтобы возразить, но тут раздался резкий сухой треск и оглушительные хлопки — разорванный сразу в нескольких местах фок бил по мачте и штангам. Огромные лоскутья парусины завивались вокруг снастей, колотя бросившихся к парусу моряков. Чегодаев получил такой удар по лицу, что свалился на палубу.

— Ножом, ножом режьте гордени! — закричал снизу старпом.

Совет пришелся кстати. Из-под рея взмыли белые ковры-самолеты, цепляясь за штанги, словно не желая расставаться с судном, и полетели, кружась и скрываясь, за встававшими перед парусником валами.

Новые парусные матросы во главе с «боцманом» Метелицыным смущенно предстали перед старпомом.

— Тут вы ни при чем, — хмуро сказал он, — паруса, видно, сильно подопрели.

За три часа скачки по волнам бригантина потеряла еще три паруса — бизань-гаф-топсель, форстаксель и

верхний марсель: то лопались снасти, то разрывалась перегнившая парусина. А волны все росли, наваливаясь на судно, тормозя и без того замедлившийся ход.

— Как бы не было шторма! — кричал старпом своему помощнику сквозь треск и скрип мачт и снастей. — Жаль, барометра у нас нет. Давайте задраим люки покрепче, заложим румпель-тали.

— А с парусами как? — тревожно спросил Метелицын.

— А с парусами?.. — протянул старпом. — Сейчас. Давайте сообразим... Больше половины парусов уже нет, но нужно, нужно...

— Бизань бы убрать, — осторожно подсказал помощник.

— Бизань-то само собой. Тогда у нас на бизань-мачте останется один этот косой парус, который ходит по бизань-штагу, как его тот парусный спец называл — апсель. Он сказал, что это специально штормовой. Кливера, конечно, придется убрать, но на фок-мачте у нас остался единственный парус и здоровенный нижний марсель. Придется оставить, только глухие рифы взять. Да, еще, кажется, спускают на палубу верхние реи и гафель — вот это надо сделать. Пожалуй, и все. Начинайте с парусов. Вы думаете, еще что-нибудь? — спросил Ильин, глядя на замявшегося помощника.

— Нет, что вы, Антон Петрович, но... как этот марсель глухо зарифить и что значит — глухо?

Ильин разъяснил Метелицыну, сам удивляясь, как могли так долго храниться в памяти все эти подробности прямого парусного вооружения. А моряки уже возились у бортов, подтягивая риф-тали и гордени, затем полезли на рей. Площадь огромного паруса сильно уменьшилась. Моряки тянули еще и, уменьшив ее до предела, стали привязывать риф-сезни.

— Поплавать так месяца два — лихими парусниками стали бы! — сказал Ильин Титаренко, вернувшемуся к рулю после короткого отдыха.

Украинец утвердительно кивнул, следя за гигантским, отблескивавшим сталью валом, который грозно вздымался справа. Сложив свои крылья, бригантина походила теперь на большую растрепанную птицу. Небо закрывала густая облачность. Ветер то ослабевал, то налетал порывами, неся издалека как бы хор глухих воплей, в которые изредка врывались пронзительные звуки труб.

Голос приближающегося шторма обладал тягостным и зловещим очарованием. Исполинская мощь его готова была обрушиться на старую бригантину, метавшуюся на волнах, и шестеро моряков почувствовали себя такими же одинокими, как тогда, когда покидали свой тонущий «Котлас».

Море неистовствовало. Огромные, сплошь покрытые пеной валы вздымались на десятиметровую высоту. Ветер с ревом обламывал гребни, и пена, похожая на разлохмаченные седые космы, летела по ветру. Казалось, каждый из исполинских валов, вставая из моря, простирал свои длинные руки навстречу судну. Все звуки моря слились в непрерывный тяжелый гром, которому вторил рев ветра.

Бригантина под единственным уцелевшим марселем неслась по бурному морю. Скрип судна, голоса людей потонули в оглушительном грохоте шторма. Мачты, казалось, бесшумно раскачивались и гнулись в своих гнездах, угрожая обрушиться на палубу. Бушприт то устремлялся вниз, намереваясь вонзиться в крутую стену воды над глубоким ущельем между двумя волнами, то пытался проткнуть побуревшие облака. На палубе крутилась и неслась вспененная вода, водопадом низвергаясь со шканцев. Иногда передняя половина судна исчезала, отрезанная стеной пены, хлеставшей поперек палубы, или гигантский вал опрокидывался своей вершиной, догнав убегающий парусник. Тогда, цепляясь изо всех сил за поручни, согнувшись и задерживая дыхание, моряки чувствовали, как оседает под ними судно, придавленное многотонной тяжестью, и наконец резко, будто собрав все силы, выпрямляется, сбрасывая с себя цепкие щупальца моря, которые, извиваясь и пенясь, устремляются обратно за борт.

Старпом вместе с Титаренко, обливаясь пóтом под мокрой насквозь одеждой, крепко держали штурвальное колесо. Штурвал сопротивлялся, и малейшая неверность руля грозила немедленной гибелью. Ильин старался угадывать в неистовом танце волн ту линию, стремясь по которой судно, как балансирующий над пропастью человек, могло надеяться сохранить свое существование.

Остальные моряки, изнемогая от усталости, беспрерывно качали помпы: вода в трюме — из разошедшихся швов — быстро прибывала. Никто не испытывал страха: слишком яростна была борьба за жизнь.

* * *

В просторной кают-компании английского крейсера «Фирлесс» ярко горел свет. Большинство свободных офицеров собрались здесь, расположившись в удобных кожаных креслах. Качка изматывала, не давая возможности чем-нибудь заняться или спать.

— Ужасная вещь, джентльмены, быть сейчас в море! Наше патрулирование совпало с началом осенних штормов, — сказал молодой лейтенант своему соседу.

— Ничего, скоро уйдем в базу, — откликнулся тот, не раскрывая глаз.

— Свирепое здесь море, — продолжал лейтенант. — Я понимаю теперь, отчего норвежцы слывут лучшими моряками в мире!

— Где это вы слыхали, Нойес? — насмешливо спросил другой офицер. — Лучшие моряки — мы, англичане.

Офицеры заспорили. Настроение несколько оживилось. В кают-компанию, протирая глаза платком, вошел еще один офицер, красное лицо которого говорило о том, что он только что с палубы. Несколько голосов наперебой приветствовали вошедшего:

— Наконец, Кеттеринг! Сменились?

— Мы скучали без ваших старинных рассказов...

— Что наверху?

— Бал сатаны, — отвечал Кеттеринг на последний вопрос. — Сейчас сам капитан на мостике. Будем поворачивать на фордевинд.

— Отлично! — обрадовался кто-то.

— А мы тут спорили, сэр, — почтительно обратился к Кеттерингу лейтенант Нойес. — Ждем вашего просвещенного заключения.

— О чем спор?

— Какие моряки лучшие в мире.

— И что вы решили?

— Мнения разошлись, — вмешался заспоривший с Нойесом офицер. — Я утверждаю, что мы, англичане, Нойес — что норвежцы, Уотсон — что японцы, а Кольвер клянется, что лучше турок нет и не было моряков.

— Спор интересен, — улыбнулся Кеттеринг, — но я боюсь спешить с заключением. Могу рассказать вам одну небольшую историю, происшедшую больше века назад. Потом мы обсудим все доказательства в пользу той или другой нации. Идет?

Офицеры согласились. Кеттеринг уселся поплотнее в кресле, расставив длинные ноги, и зажег трубку. Помолчав, он начал:

— Вы знаете, что я работал до войны в архиве адмиралтейства по поручению Парусного клуба. В числе других документов я обнаружил интересный рапорт полковника индийских колониальных войск Чеверленджа и сублейтенанта флота его величества Губерта о причинах гибели трехмачтового корабля Ост-Индской компании «Фэйри-Дрэги» в тысяча восемьсот семнадцатом году. Этот корабль попал в большой циклон в Индийском океане. Шквал налетел так внезапно, что рангоут корабля был сильно поврежден, груз сместился в трюмах вследствие крена. Только опытность искусного капитана и героическая работа матросов вывели «Фэйри-Дрэги» из крайне опасного положения. К несчастью, шквал был предвестником страшного циклона, противостоять которому поврежденный корабль в конце концов уже не смог... Черт! — прервал свой рассказ Кеттеринг.

Крейсер повалился на борт, резко выпрямился и метнулся в противоположную сторону.

— Слава богу, повернули... Когда разбитый корабль уже погружался в океан, — возобновил Кеттеринг рассказ, — с него заметили бриг неизвестной национальности, шедший тоже на фордевинд и догонявший тонущий «Фэйри-Дрэги». Неуклюжий широкий корпус судна временами весь исчезал в колоссальных волнах, виднелись только верхушки его двух мачт. Судно шло под единственным парусом, не соответствующим силе циклона, — нижним марселем. Пораженные благополучным состоянием судна, моряки тонущего корабля дали сигнал бедствия. Неизвестный бриг стал осторожно приближаться к «Фэйри-Дрэги», но тут «Фэйри-Дрэги» пошел ко дну...

В кают-компанию быстро вошел старший офицер в штормовой одежде, с которой еще стекала вода, на ходу бросив стюарду:

— Виски!

— Что-нибудь случилось, сэр? — тревожно спросили офицеры, приподнимаясь в креслах.

— Ничего. В море парусник неизвестной национальности, под одним марселем, идет на фордевинд, как и мы.

— Что такое, сэр? — вскочил Кеттеринг. — Уж не черное ли двухмачтовое судно?

Теперь настала очередь старшего офицера изумиться:

— Вы угадали, Кеттеринг! Будь я проклят, если знаю, каким образом. Ему плохо приходится. Я сигнализировал — не ответили, только зажгли, кажется, фальшфейер, на секунду что-то вспыхнуло. Помочь сейчас невозможно, однако мы идем одним курсом, и шторм начинает стихать. Сигнализировали, чтобы держались около нас, но близко не подходили, а то потопим. Но не немецкая ли это ловушка?

Старший офицер выпил свое виски и вышел. За ним направился к выходу Кеттеринг.

— Стоп! Рассказ — на самом интересном месте! — закричали ему.

— Обязательно доскажу, только взгляну на судно, — ответил Кеттеринг уже из-за двери.

Следом за ним стали подниматься и другие офицеры.

* * *

Шторм утих. Красные лучи заходящего солнца кое-где пробивались сквозь тучи. Багряные отблески змеились па мокрой палубе.

Только что был окончен трудный маневр подъема спасательной шлюпки. Люди, собравшиеся на палубе, почтительно расступились перед шестью русскими моряками, которых старший офицер повел переодеваться.

Спустя некоторое время офицеры обступили Кеттеринга, вернувшегося от командира:

— Ну, что русские?

— Спят, — улыбнулся Кеттеринг и коротко рассказал удивительную историю шестерых моряков с «Котласа».

— Вот это история! — воскликнул лейтенант Нойес. — Шесть «паровых» моряков — и справились с таким парусником! А мы считали русских сухопутной нацией.

Долгое молчание, отметившее подвиг русских, нарушил высокий офицер:

— Кеттеринг, а конец вашего рассказа? Он так удивительно совпал с появлением судна, что я готов думать...

— Вы не ошиблись, — быстро ответил Кеттеринг. — Судьба уже досказала за меня. Тот бриг, называвшийся «Ниор», был французским судном, но команда была русская, и вел бриг после смерти капитана-француза русский помощник. Русские моряки показали тогда изумительное искусство. Им удалось спасти часть экипажа «Фэйри-Дрэги», в том числе и авторов рапорта, и благо-

получно справиться с циклоном, несмотря на грубую оснастку и неуклюжий вид брига. Начиная этот рассказ, я хотел показать вам, что есть нация, морские способности которой часто недооцениваются...

— Полно, Кеттеринг! — перебил высокий офицер. — Неужели вы решаетесь ставить русских рядом с англичанами? Мы создали всю культуру мореплавания, науку о море, все флотские традиции... Как же может быть, чтобы континентальный народ оказался настолько способным к морскому искусству?

— Мне кажется, тут дело в особых свойствах русского народа. Из всех европейских наций русская сформировалась на самой обширной территории, притом с суровым климатом. Этот выносливый народ получил от судьбы награду — способности, сила которых, мне кажется, в том, что русские всегда стремятся найти корень вещей, добраться до основных причин всякого явления. Можно сказать, что они видят природу глубже нас. Так и с морским искусством: русский очень скоро понимает язык моря и ветра и справляется даже там, где пасует вековой опыт.

— Но... — начал высокий офицер.

— Но, — перебил Кеттеринг, — подумайте-ка над нашей встречей! У нас еще много времени, чтобы закончить спор до возвращения в Англию.

На рассвете «Фирлесс» остановил пароход, шедший из Англии в СССР, и шестеро советских моряков продолжали свой отдых уже па пути к Родине.

...Осеннее солнце клонилось к закату, когда Ильин вышел из штурманской рубки. Он знал, что до места встречи с конвоем осталось всего два часа ходу. Старпом вошел в коридор и остановился. Толпа сгрудилась у приотворенной двери, из которой доносился прекрасный тенор Метелицына. Он пел ту самую песню, которая так захватила Ильина в темной каюте тонувшего «Котласа». Только в голосе Метелицына не было теперь звенящей печали.

Ты, родина, долго страдала,
Сынов своих верных любя.
Ты долго меня ожидала —
И, видишь, приплыл к тебе я!

Ильин тихо вышел на палубу. Далеко впереди, в ясном небе, проступала светлая полоса — отблеск близких полярных льдов. Там — поворот на восток.

АФАНЕОР ДОЧЬ АХАРХЕЛЛЕНА

Пламя убогого костра мерцало. Огромная равнина — рег Амадрор, обдутая, казалось, до последней пылинки, все же доставляла ветру достаточно песку, чтобы подпортить скромный ужин. Маленький лагерь геологов прижался к склонам песчаных холмов на краю сухого русла — уэда. Тонко шелестели, напевая звонкую и унылую песню, пучки сухого дрина — жесткого злака Сахары. По склонам дюн с заметным шуршанием скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Шестеро людей растянулись вокруг костра в одинаковых позах, прикрыв лицо от ветра кольцом руки. Только один, закутанный в просторные складки темной одежды, лежал на животе в свободной позе, высоко подперев голову, и смотрел не мигая в темную даль над костром. Отблески слабого пламени плясали в его больших темных глазах, едва различимых под покрывалом, надвинутым на лоб и закрывавшим рот. Узкая рука с длинными пальцами лениво перебирала застежки седельной сумки, подложенной под голову. Другая небрежно держала сигарету высшего сорта.

— Тирессуэн! — окликнул его низкорослый плотный человек в защитной рубахе и шортах. — Будет ветер ночью? Надо ли ставить палатки?

— Не надо, капитан, — ответил Тирессуэн, — ветер утихнет через час.

Капитан удовлетворенно хмыкнул и щелкнул портсигаром.

— Почему ты так уверен? — спросил юноша, лежавший рядом, поднимая угловатые брови и щуря от пыли бледно-голубые глаза.

— Дрин прощается с ветром, — отвечал, не поворачи-

вая головы, Тирессуэн, — он поет гуще тоном. Послушай сам!

Юноша приподнялся и громко обратился к капитану, перейдя с арабского языка на французский:

— Не могу поверить, что этот важный черт действительно прав! Очень он уверен и быстро находит на все ответ...

— Полегче, Мишель, туарег знает наш язык!

— Как бы не так! Он говорит с нами только по-арабски или на своем ужасающем тамашеке.

— Туарег без крайней необходимости не будет говорить на языке, которым плохо владеет. Гордость и застенчивость этих детей пустыни еще надо понять, — скороговоркой ответил капитан, искоса поглядывая на неподвижного, как темно-синяя статуя, туарега. — Наш проводник окончил начальную школу в Тидикельте и, без сомнения, знает французский. Новые веяния коснулись его — видишь, он курит сигареты и не таскается с вечным копьем и щитом. Но уж что касается Центральной Сахары, тут нам очень повезло. Для поисковой экспедиции такой проводник — клад! Знающий всю страну и много ходивший с экспедициями — следовательно, понимающий, где могут идти автомобили...

— Мне не верится, чтобы такую проклятую богом местность можно было помнить во всех ее подробностях, убийственно однообразных...

— Только на ваш взгляд, Мишель, но не для сахарского кочевника и даже не на мой. Здесь судьба каждого путника и каравана всегда зависит от точности следования по маршруту. Впрочем, устройте пробу, убедитесь.

— Каким образом?

— Ткните пальцем в первое попавшееся место карты и спросите о нем Тирессуэна.

— А! Интересно! Я сейчас! — Юноша пошел к машине, угрюмо черневшей силуэтом в стороне, и вернулся с кожаной сумкой.

Лежавшие у костра сели, поджав под себя скрещенные ноги.

— Тирессуэн, можно тебя спросить? — вкрадчиво начал по-арабски Мишель, прижимая указательный палец к смутному узору горизонталей, в то время как другой геолог подсвечивал карманным фонариком.

— Спроси, я отвечу, — не меняя позы, согласился туарег, — если смогу.

— Ты был в Анахаре?
— Был.
— Знаешь ли там гору Исседифен?
— Горы Исседифен там нет, — спокойно сказал Тирессуэн, — есть гора Исадифен против адрара Незубир, в центре Анахара, и есть гурд Исседифен южнее, в Хоггаре, на юге адрара Тенджидж...

Растерявшийся Мишель увидел широкие улыбки своих товарищей и вспыхнул от необъяснимой злобы.

— А дальше? — пробормотал он.
— Дальше на юг? — переспросил туарег. — Там будет широкое тассили...
— Какое тассили?
— Тассили Тин-Эгголе.
— Ты что, и там был?
— Был, шесть лет назад. С профессором Ка-По-Рэ... — Тирессуэн замолчал и замер, прислушиваясь.

Французские путешественники последовали его примеру.

— Мотор, — первым нарушил молчание Мишель.

За черным обрезом низкого плато на севере разлилось туманное облачко света, стало ярче и превратилось в два пучка желтых лучей, ударивших в звездное небо. Машина поднималась по крутому северному склону плато. Еще несколько минут — и глухое урчание мотора превратилось в звонкий гром. Лучи фар пронеслись над головами ожидавших, метнулись вниз и слепящим пятном пробили темноту. Огромный белый грузовик, завывая передачами и тяжело переваливаясь, вполз на бугристые пески, окружавшие лагерь. Он замер в полусотне шагов от костра, дыша жаром натруженного двигателя, запахом горячего·масла и резины. В широкой кабине зажегся тусклый свет. Оттуда, устало потягиваясь, вылезли трое. Самый высокий и тучный бодро зашагал к костру, и к нему устремился капитан.

— Кто это? — на ходу спросил его Мишель.
— Археолог, профессор Ванедж, кто же еще! — вполголоса буркнул капитан.
— Кого ждали?
— Черт вас возьми, конечно! Скажите Жаку, чтобы он развертывал рацию. Сообщить о встрече наших отрядов... Рад встретить вас, господин профессор!..
— А я еще больше! — громко и весело заявил археолог. — Крутясь в лабиринте тассили, я боялся вас не

найти. Но вы оказались точно в намеченном на карте пункте...

— Мы с Тирессуэном.

— Это очень важно. Вы говорили с ним... предварительно?

— Нет, ждал вашего прибытия. Успеем. Хотите ужинать? Но вода плохая...

— Благодарю, мы ели три часа назад. Могу вас угостить холодной содовой или лимонадом. Сегодня из отеля мосье Блэза!

— О, вы посланец небес!

— Всего лишь Сахарского комитета исследований!

Долговязый радист Жак возился у станции, устроившись на широкой плите песчаника, наполовину погруженной в дно уэда. Разноязычный говор, треск, мгновенно обрывавшиеся музыкальные аккорды — вся сумятица эфира, пронизанного десятками тысяч передач, в суровом молчании пустыни, заглушенная рыхлыми обрывами сухого русла, казалась жалкой. До костра достигал лишь неясный шум. Профессор и капитан негромко разговаривали, прибывшие с археологом делились новостями. Туарег вытянул свое длинное тело поодаль от французов и, глубоко задумавшись, неторопливо курил, освободившись от лицевого покрывала и поднося ко рту сигарету плавными движениями обнаженной до плеча руки. Каменный браслет охватывал руку выше локтя — дань старине, прежде служившая защитой от сабельных ударов.

— Интересно, о чем он может думать? — спросил Мишель, глядя на противника, когда новости и сплетни были исчерпаны.

— Что тебе за дело? — лениво ответил один из собеседников. — Мало ли о чем может думать туарег!

— Он молчит, пока едем, молчит на привалах. Но не спит и не дремлет — очевидно, о чем-то думает. Я наблюдаю за ним!

— Мишель, у вас странный интерес к Тирессуэну, — вмешался вдруг капитан. — И, мне кажется, с изрядной долей неприязни. Смотрите, чтоб дело не кончилось каким-либо конфликтом. Мне не хотелось бы лишиться... вас!

— Ах, вот как! — вспыхнул Мишель, но сдержался и, стараясь казаться спокойным, добавил: — Честное слово, мой капитан, я только любопытствую. Я впервые в Сахаре, и этот народ интересует меня: прежде знаменитые раз-

бойники, рабовладельцы, говорящие на не ведомом никому языке, с тифинарской письменностью, которую хорошо знают у них только женщины. Женщины у них главенствуют в роде, свободны и не закрыты, как у окружающих мусульман. Туареги живут в самом сердце Сахары и, вместо того чтобы превратиться в дикарей, усвоили манеры под стать нашей аристократии — смотрите, сколько важности в Тирессуэне! А помните: там, на юге, юлемидцены, так, кажется, зовут это племя. У них, как у всех здесь, отняли рабов, так они — ха-ха! — пасут коз сами, подгоняя их своими длинными мечами. Смешно! А мне хочется знать, о чем все думает наш проводник! Об оставленной где-то в пустыне жене или о былом раздолье грабежей?

— Вы не представляете, молодой человек, — внезапно сказал высоким голосом археолог, — какой богатой фантазией обладают эти сыны пустыни. В их шатрах — кстати, у них не арабские шатры, а кожаные палатки — вы услышите такой букет сказок, легенд, притч и пословиц, какого нет, пожалуй, у всех других кочевников мира, тоже немалых фантазеров. Вот хорошее дело, если хотите послужить науке и сами прославиться... Изучите язык туарегов-тамашек и займитесь собиранием этого фольклора. Я писал в Академию наук, что надо немедля браться за это дело — туареги, по-моему, быстро исчезнут, отдельные племена уже сейчас насчитывают по нескольку десятков человек; например, кель-ахнет — их осталось двадцать три человека. И на каждого примерно по тысяче квадратных километров пустыни! Или вот Тирессуэн — он соседнего с ними племени тай-ток, их не более ста человек вместе с их имрадами — вроде вассалов, что ли. Они ненадолго переживут двадцатый век!

— Будь я проклят, если когда-нибудь... — начал Мишель и осекся под осуждающим взглядом ученого.

Тирессуэн не прислушивался к болтовне беспокойных и истеричных европейцев.

Он думал об Афанеор и о том, как совершить для нее невозможное. Афанеор — луна, богиня со странной властью над бесконечными просторами пустыни. Знакомые с детства места становятся какими-то другими с ее появлением на небе — она приближается к земле и сливается с ней. Холодный свет луны ложится покровом тайны на любую местность. Даже безрадостный Танезруфт кажется серебристым морем, а черный панцирь тенере становится

призрачной сокровищницей — необозримой россыпью кусочков серебра. И Афанеор, девушка, его избранница, тоже обладает непонятной властью над ним, как луна над землей. В ее присутствии он изменяется, открывая в себе необузданные мечты, звучащие песнями, томящие жаждой прекрасного, не менее острой, чем жажда в пути сквозь песчаную бурю.

Не колдунья ли эта невысокая девушка? Она происходит из племени тиббу, родом из южного Феццана, но воспитана туарегами — злой старухой могущественного племени кель-аджеров. На юг от Феццана, не в душных оазисах, а среди низких разрушенных скал и в горах Тибести, живут «люди камней» — тиббу, потомки очень древнего народа гарамантов, не покорных никому волшебников и наездников, которых боялись и старательно истребляли древние римляне и арабы. Кель-аджеры тоже считают себя потомками гарамантов, но у них он не видел ни разу такого цвета кожи, как у Афанеор и ее соплеменниц, — светлой красно-коричневой с характерным металлическим отблеском.

Тирессуэн достал новую сигарету и покосился на своих французских спутников, следивших за действиями радиста, быстро стучавшего ключом позывные. Перед мысленным взором кочевника пустыни, цепко схватывающего малейшую подробность местности, пронеслась картина первой встречи с Афанеор.

В стороне от торных троп и дорог пустыни, в малоизвестной впадине, стоят развалины древнего города. На каменистой, окруженной изрытыми ветром холмами равнине неожиданным лесом поднимаются остатки колоннад и обрушенные стены. На окраине поля развалин находится большой, выложенный камнем квадрат, обрамленный белыми плитами. С северной стороны на плитах уцелели восемь колонн из белого камня — высоких, необыкновенно стройных и красивых. Некоторые колонны еще поднимают в бледное слепящее небо свои резные верхушки, подобные распускающимся вершинам молодых пальм.

Здесь, где съехались на ахаль — музыкальное собрание — окрестные туареги кель-аджер, случилось быть и ему, одинокому тай-току.

В ярком лунном свете между светившимися белизной колоннами расположились темные закутанные фигуры мужчин — зрителей и гостей, потому что собранием руко-

водили женщины и они же начинали первые выступления. Мать Тирессуэна советовала ему при каждом удобном случае посещать эти собрания.

— Эти песни, музыка и танцы объединяют и поднимают женщин, — говорила она, — а вас, мужчин, учат любви. Туарегская женщина непроста, и, если ты хочешь долгого счастья, умей обращаться с ней, сделать совместную жизнь как сможешь легче и... интереснее. У нас, кочевников, много свободы, много времени на мечты, сказки и песни. И твоя подруга жизни должна быть товарищем в мечтах, а не только работницей или наложницей, как у других народов. Посещай же эти школы любви, где бы ты ни был!

Тирессуэн, как и всякий туарег, привык слушаться простой и доброй мудрости матери.

Женщины — благородные ихаггаренки, бедно одетые имрадки и даже темнокожие рабыни в своих белых одеждах — составляли немногочисленный оркестр, играя на амзатах — однострунных скрипках, флейтах и отбивая ритм на маленьких барабанах. На середину квадрата вышла высокая девушка. Ее гибкая фигура в синем плаще казалась черным силуэтом на серебряно-белых камнях плит и колонн.

«Песни дрина!» — подумал Тирессуэн, примащиваясь поудобнее и стараясь не шуршать своим жестким плащом о шероховатый ствол колонны. В самом деле, как в зарослях дрина, звенящих под ветром в уэдах, музыка казалась хором колокольчиков, то приближающихся, то удаляющихся. Звенел высокий и чистый голос девушки; как стебель дрина, гнулась ее тонкая фигура в темных складках свободной одежды. Медленно тянули флейта и скрипка грустную, монотонную мелодию. Изредка глухо ударял барабан. В ответ ему руки девушки вздымались плавными взмахами крыльев большой птицы, начинающей свой полет и еще плененной тягой земли. С надменной важностью переступали ноги в цветных, украшенных бусами сандалиях.

Ласковая, грустная песнь, медленные движения убаюкивали Тирессуэна. Он оперся затылком о колонну и впал в приятное оцепенение, следя за певицей из-под опущенных век. Четыре женщины сменили выступавшую. Они выстроились в ряд, то приближаясь к сидевшим у колонн зрителям, то пятясь спинами к хаосу белых плит и камней, оставшихся от римского города. Женщины пели

в унисон ритмическую былину о небесных людях — звездах, слетающих ночью к бесстрашным воинам на их длинном и опасном пути через пустыню. Тирессуэн знал некоторые стихи с детства, и его сонливое состояние усилилось воспоминанием о матери, склонявшейся над его детской постелью в тихие вечерние часы, когда смолкает блеяние коз, удаляются от палаток верблюды и замирает на закате вечный спутник кочевника — ветер. Чтобы не вызвать насмешек соседей, Тирессуэн надвинул край покрывала пониже на глаза.

Должно быть, он проспал какое-то время и очнулся от наступившей тишины.

Произошла заминка — женщины кончили выступления, а мужчины еще не воодушевились на свои воинственные танцы. Там, в тени выступа обрушенной стены, где сидели женщины, послышалась возня. На залитую луной площадку была вытолкнута среднего роста девушка в одежде, не похожей ни на длинное темное одеяние благородной ихаггаренки, ни на светлое покрывало имрадки, оставляющее открытыми плечи, ни на тонкую дешевую хламиду рабыни-харатинки.

Грубое шерстяное одеяние, по-видимому темно-голубого цвета, подхваченное на бедрах узкой перевязью, спадало широкими складками до щиколоток. Выше перевязи одежда разделялась на две широкие полосы, закрывавшие грудь и спину и соединенные на плечах большими серебряными кольцами-застежками. Руки и бока девушки оставались открытыми, маленькие, белые от пыли ноги были босы. Густейшие черные волосы, схваченные по темени шелковой головной повязкой, низко спускались на широкий лоб. Узкие, широко разделенные, прочерченные прямыми линиями брови, длинные, тоже узковатые глаза, прямой красивый нос, в котором не было ничего от сухости черт туарегов, небольшой рот, добрая округлость лица — да, девушка казалась чужеземкой. «Не арабка, не кабилка...» — заинтересованно думал Тирессуэн, разглядывая ее из-под покрывала. Девушка повернулась, отвечая кому-то позади себя, и подняла правую руку жестом шутливой мольбы, блеснув в лунном свете гладкой, как полированный металл, кожей, показавшейся Тирессуэну очень темной. Линии ее рук, очертания тела, сквозившие в разрезах одежды, были чеканны, как у французских бронзовых статуэток, виденных им в Таманрассете, и так красивы, что у Тирессуэна захватило дух. Он выпрямил-

ся. Дробно и неровно запели струны, казалось ведомые смятенной рукой. Голос девушки, сильный и глубокий, заставил вздрогнуть туарега, потянул, повлек за собой. Песня — полная противоположность только что слышанным! Скачущая, мятущаяся, почти неуловимая мелодия, звенящие болью и тоской вскрики, угрюмо зовущие страстные и низкие переливы, тревожные замирания... Гулкий и зловещий грохот неведомо откуда взявшегося большого барабана, тупые и отрывистые удары маленьких. От этого странно замирает сердце, нарастает дикое желание вскочить, рвануться куда-то!

А волшебство звучного голоса все сильнее томило и волновало Тирессуэна. Песня металась, как преследуемый беглец в поисках выхода. Торжество, призыв, дикая радость сменялись яростными и тревожными вскриками, стихавшими в мелодии тихой беспомощностью, и опять нарастало яростное сопротивление в резкой смене высоких и низких нот. В такт этой бурной, мятежной и страстной песне девушка, не сдвинувшись с места, отвечала быстрым спадам и переходам мелодии такими же движениями рук, раскачиваниями и изгибами тела.

«Что это? — думал Тирессуэн. — Куда мчится эта песня юной жизни? Что хочет она, кого зовет с собой? Или, как вырвавшаяся в пустыню арабская лошадь, она несется, не разбирая куда и зачем, наслаждаясь своей силой и быстротой скачки?..»

Ошеломленные незнакомой песней, мужчины не успели опомниться, как певица исчезла в тени. С началом мужского танца Тирессуэн не мог более оставаться в неведении. Он незаметно скользнул за обрушенную стену...

— Тирессуэн, тебя зовет начальник! — С этими словами туарег снова очутился в действительности. Он оглянулся, приходя в себя, и спустился с пригорка.

Костер догорел. Капитан и профессор, сидевшие у замолкшего ящика радиостанции, казались суровыми и величественными в свете высокой поздней луны. Туарег уселся на предложенный складной стул и стал ждать. Что-то нужно французам! Они не звали бы его так торжественно сюда, в сторону, только для обсуждения завтрашнего пути.

— Тирессуэн, профессор Ванедж — знаменитый ученый не только в нашей стране, но и во всем мире... — Капитан сделал паузу, собираясь с мыслями.

Профессор оказался нетерпеливым, как того и ожидал туарег от европейца — новичка в Сахаре.

— Слушайте, Тирессуэн, — вмешался он на отличном арабском языке, — вы можете оказать большую услугу Франции и всему миру... науке. Как-то вы обмолвились капитану, что знаете в глубине Танезруфта, в месте, где не бывал никто из европейцев, древние развалины города. Надо думать — это ключ к древней истории Сахары, всей Северной Африки. Мы проверяли эти сведения, никто не смог подтвердить или отвергнуть их. Но такой знаток Центральной Сахары и такой проводник, как вы, Тирессуэн, не мог ошибиться, и мы хотим, чтобы вы провели нас туда. — Профессор выпалил всю тираду одним духом, словно боясь, что Тирессуэн не будет слушать, и выжидающе умолк.

— Мои знания Танезруфта малы, — спокойно возразил туарег. — Я не был там и не видел города. А по рассказам — есть остатки построек... Но где в Сахаре не говорят о развалинах?

— Но вы проведите нас к тому месту, о котором говорят! — настаивал археолог.

— Я не могу вести к месту, которого не знаю. Танезруфт — это слишком далеко без воды. Опасно.

— Тогда покажите на карте, где эти развалины, мы... — Профессор осекся от резкого толчка капитана.

Наступило неловкое молчание.

— Теперь говорю я, — начал капитан на ахаггарском диалекте тамашека. — Пятую экспедицию мы делаем вместе, Тирессуэн. И до этого ты ходил с хорошими людьми, большими учеными моей страны. Ты проводил наши машины далеко на запад и на юг. У горы Таманат, близ гурда Дьявола, вы нашли залежи соды в стране Эль-Масс. Еще дальше от гурда Дьявола, в семистах километрах отсюда, ты прошел через опасную себхру Мекерране весной, когда страшные бури песка сменяются наводнениями. Вы тогда пересекли ее по всей длине до уэда Ин-Рарис. Со мной ты работал в Тифедесте от Тин-Фидиянджа до Амсимассена. Мы с тобой четырежды пересекали Аретхум, и в сердце Ахаггара — Атакоре мы ходили в Тахат и Таэссу и нашли ценную руду всего в одном переходе от Таманрассета. А помнишь тяжелый путь в Танезруфт в прошлом году? У нас сломалась машина в Тассили-тан-Адрар, но мы на верблюдах пошли в Тахальру и

потом на юг до уэда Танеруэльт... Ох и досталось нам тогда!

Улыбка осветила суровые глаза Тирессуэна в тени покрывала.

— В Танезруфте мы работали успешно лишь благодаря тебе, твоему опыту, уму и отваге. И ты не бывал до того в Танеруэльте. Скажу еще: ты взялся вести ученых в Тибести — крепость племени тиббу, и вы нашли эннери с красными землями и скелетами огромнейших слонов и этим открытием прославились на весь мир.

— И я тоже? — с оттенком наивности спросил туарег.

— И ты, конечно, — не сморгнув, солгал капитан. — О тебе написано в книгах.

— Я что-то не слыхал! — равнодушно сказал Тирессуэн. — Тогда мне обещали много: медаль, деньги... как это... выкуп... нет, по-другому. — Проводник запнулся по-детски беспомощно, и оба начальника увидели, что этот знаменитый водитель экспедиций еще очень молод. — Ничего не прислали, даже фотографий...

— Люди бывают разные и здесь и у нас, — нахмурился капитан. — Я говорю и вспоминаю это потому, что ты сможешь, если захочешь, вести экспедицию туда, где сам не был. Ты понимаешь местность, ты знаешь, как идут автомобили, а не только верблюды. Тебе за это платят много денег, больше, чем другим проводникам. И мы хорошо заплатили бы... очень хорошо!

— Зачем мне много денег? — беспечно ответил туарег. — У моей матери есть все, что нам нужно.

— Действительно, чем их соблазнишь? — негромко спросил по-английски археолог. — Автомобиля или особняка с клочком земли им не надо... Если бы он был оседлым, тогда...

— Тогда он не знал бы Сахару!.. Но ты не прав, Тирессуэн, деньги всегда понадобятся. Знаю, у тебя нет жены, но будет... Может быть, ты хочешь поехать к нам, во Францию, Европу, посмотреть все чудеса нашего мира... увидеть Париж, театры, рестораны, миллионы красивых женщин, поехать на море!

Внезапно глаза туарега блеснули.

Капитан опять слабо толкнул профессора и, протягивая Тирессуэну сигареты, закончил:

— Подумай над этим, Тирессуэн, завтра скажешь свое решение. А сейчас надо пользоваться прохладой ночи, она — увы! — коротка.

Туарег закурил, слегка поклонился и в задумчивости пошел к холмику, где поодаль от лагеря он расстелил свою нехитрую постель.

Лукаво улыбаясь, капитан посмотрел ему вслед, а профессор радостно хлопнул начальника по плечу.

— Ну, кажется, вы проняли невозмутимого сахарца! Неужели им всем так хочется в Париж или Ниццу?

— Поверьте мне, никто из них не может устоять перед тягой города. Где здесь, в Сахаре, эти простодушные и симпатичные дикари смогут увидеть всю мощь соблазнов нашей цивилизации? Я изучил кочевников за десять лет скитаний по пустыне. Но действовать с ними надо осторожно — вы чуть не испортили дела. Они медленно живут и медленно соображают, а наша обычная спешка кажется им просто безумием. Вот почему я дал затравку и предложил подождать с решением. И нам, я думаю, тоже лучше отложить все остальное до завтра. Спокойной ночи...

Вопреки мнимой прозорливости капитана, туарег не думал мечтать о Париже и прелестях европейской культуры. Растянувшись на тонком тюфяке, положенном на коврик, тканный из жесткого верблюжьего волоса, защиту от «слюны злого духа» — скорпионов и фаланг, — Тирессуэн закрыл глаза. Волнение не дало ему заснуть, и он опять закурил. Как это он не догадался раньше! Слова капитана о жене, мгновенно вызвавшие образ Афанеор, совпали с предложением поездки в Европу. Только тогда Тирессуэн сообразил, что мечта Афанеор, может быть, не так уж невозможна. Ему следует попытаться. Ему следует попытаться. Ценой похода в безжизненный Танезруфт — гигантскую мертвую равнину в центре Сахары — он может поставить выполнение желания Афанеор.

В Танезруфт есть только два пути — автомобильный и караванный, пересекающие его с севера на юг почти рядом, и более ничего. Когда-то очень важная караванная дорога для вывозки соли из Тауденни в Судан ныне заброшена, как почти все важные караванные пути прошлого. Лишь тысячи скелетов погибших животных, а подчас и людей отмечают белыми пятнами эти занесенные песком старые дороги. Умерла слава азалаев — огромных сахарских караванов, снабжавших страну черных драгоценной солью и доставлявших хлеб и просо не знавшим земледелия кочевникам. Умерла и доблесть туарегов, защищавших караваны от своих же собратьев и облагав-

ших данью купцов, караванщиков и оседлых жителей оазисов, добывающих в поте лица сладкие прозрачные финики. Теперь огромные автомобили привозят все нужное откуда угодно, а на долю верблюдов осталась лишь доставка товаров от торговых складов и баз поближе к временным стоянкам кочевых племен. В Сахаре появилось больше пищи, уже не грозят смертью пятые голодные годы, хотя по-прежнему женщины собирают мелкие беловатые зерна дрина и по-прежнему в Атакоре собирается чуть ли не весь народ Ахаггара в период созревания гаунта — низкорослых пучков травянистого растения с мелкими, как манная крупа, зернами. Собирают и терфас — род подземного гриба, вырастающего ранней весной, после дождей. Хлеб из пшеницы гораздо вкуснее, чем даже просяная каша, но за это надо платить! Где возьмешь денег, если французские власти всячески препятствуют караванным перевозкам, справедливо видя в них объединяющее людей Сахары дело. Мир туарегов, суровый, бедный и свободный, умирает под пятой наступающего нового мира, непривычного и неприятного... Так говорила ему и Афанеор!

Вторая встреча с Афанеор произошла в исконных кочевьях племени кель-аджерсв — необъятном лабиринте обрывов, ущелий, останцов и плоскогорий Тассили-дез-Аджер. Окончив экспедицию в Апре, он поехал на север по уэду Тафассасет. От палаток к палаткам нес его высокий белый мехари, нагруженный всем нехитрым скарбом путешественника пустыни. Чем ближе, по уверениям местных туарегов, становилось кочевье старухи Лемта, тем большее нетерпение охватывало Тирессуэна. Его мехари, по имени Агельхок, — один из знаменитых в Хоггаре бегунов, часами несся, мерно покачиваясь, по плотным, как цемент, глинам солончаков-себхр, осторожно ступал по раскаленным черным камням и щебню, покрывающим плоскогорья, нырял и скользил по склонам песчаных холмов в узких проходах — таяртах. Жестокий пламень дней, режущие холодом ночные ветры, бесконечное одиночество странника, идущего напрямик не по проторенным путям, — все это, привычное туарегу, совсем не замечалось Тирессуэном. Он сетовал лишь, что верблюд не обладал неутомимостью автомобиля. Впрочем, какой автомобиль мог бы пройти здесь? Путь удлинился бы на тысячу километров, и в конечном итоге неизвестно, кто бы пришел к цели раньше.

Наконец он достиг впадины Тирхемир и указанных ему трех палаток у подножия горы Амарджан.

Какое вещее чувство предупредило Афанеор о его приезде? Он ехал так быстро, что устная почта пустыни не могла обогнать его. Но едва он завидел вдалеке черные точки палаток и верблюд стал подниматься на пологий каменистый склон, как девушка возникла перед ним из-за груды каменных глыб. В пламенном свете солнца ее блестящая кожа была теперь совсем светлой. Синие цветы камнеломки, воткнутые над ухом, оттеняли иссиня-черный цвет ее волос. Жемчужинки пота выступили над чертой бровей, когда Афанеор, учащенно дыша, подбежала ближе. Тирессуэн с удивлением заметил у нее в руках пучок мелких цветов горячего красно-оранжевого цвета. Мехари возвышался над девушкой, как боевая башня, и туарег сильно нагнулся с седла. С неизведанным удовольствием он принял редкие в Сахаре цветы из рук Афанеор — подносить их воинам было не в обычаях туарегов. Тирессуэн почувствовал, как запах цветов смешался с собственным запахом девушки — чистым и солнечным, жарким, как могучий полдень пустыни, заставляющий людей склонять головы и прятать глаза под навес покрывала.

Три недели оставался Тирессуэн гостем палаток Лемта. Все сильнее становилась его любовь к Афанеор, вспыхнувшая внезапно на музыкальном собрании у римских развалин. Женщины туарегов, владевшие языком и тайнами тифинарского письма лучше мужчин, свободные спутницы жизни, превосходные воспитательницы детей, были гораздо выше женщин арабов — все еще пленных узниц женского отделения шатра или половины дома, невежественных, придавленных тяжкой пятой военной религии.

Где плен и насилие, там становятся шатки устои морали. Только в свободе человек понимает необходимость строгих правил жизни. Сын Сахары женится на женщинах своего народа или дочерях родственных берберских племен — кабилов, но избегает женитьбы на чужеземках, инстинктивно чувствуя, что ему нужна взращенная пустыней ее неприхотливая дочь. Афанеор была чужеземкой из страны Тиббу. Однако Тирессуэн видел, что она ни в чем не уступает женщинам туарегов. Она даже превосходила их, эта наследница волшебников — гарамантов, — древних эфиопов эллинских мифов.

Откуда были ее познания, он не успел еще расспросить ее, больше рассказывая о своей жизни. Он родился в исконной земле тай-токов Ахенете. Потом, когда колодцы Ахенета иссякли и дыхание смерти пронеслось над страной, тай-токи ушли вместе со своими имрадами на юг — в Ахаггар и Адрар-Ифору. Но его родители, у которых он остался единственным сыном, переехали в Тидикельт, а маленького Тирессуэна выучили западной мудрости и языку в начальной школе. Едва подросши, Тирессуэн начал скитальческую жизнь вместе с отцом — проводником караванов, который научил его всей древней мудрости путей через пустыню. Отец так и погиб в пути, и Тирессуэн заступил на его место. Отец был из тех горных тайтоков, которые не считали себя ни владетельными ихаггаренами, ни подневольными имрадами. Таких бедных, свободных, трудно живущих туарегов насчитывалось по нескольку десятков в разных небольших племенах. Они добывали средства к существованию работой проводников или перегонщиков стад на новые далекие пастбища и становились самыми закаленными кочевниками Сахары, не уступавшими даже племени тиббу с их сказочной выносливостью в беге, езде и охоте.

— Но Тирессуэн не имя? — лукаво поглядела на него Афанеор.

— Не имя, название места, — признался он. — Это для французов.

— А настоящее имя? — настаивала девушка.

— Иферлиль.

— Мне нравится оно. Мое имя тоже мне нравится, и жаль, что это всего лишь прозвище... Его придумала старая Лемта, когда меня взяла.

— Она хотела назвать тебя древней богиней луны нашего народа?

— Вовсе нет. В честь Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Ахархеллена, большого вождя кель-аджеров? Я слыхал о нем!

— Да, он правил здесь пятьдесят лет назад. И у него была дочь Афанеор, прекрасная и мудрая девушка. Первая женщина туарегов, которая стала думать о прекращении исконной вражды кель-аджеров и кель-ахаггаров и вообще всех племен туарегского народа, белых и черных...

— Разве это было возможно?

— Французы сделали это силой и унижением нас.

А если бы мы сами? Нет нигде народа, подобного туарегам. Несмотря на войны, на древние обиды и кровь, разве не считают себя туареги потомками мудрой царицы Тин-Хинан, могила которой в уэде Абалесс и сейчас, полторы тысячи лет после ее смерти, священна для всех племен. Разве не считают себя и тай-токи и юлемиддены одним народом? Туареги — путники и воины, не привязанные к домам и вещам, — глядят широко в мир; вот за что я люблю наш народ. Наша жизнь не сходится в одно место, где есть вода и растут пальмы или просто где жили родители и предки.

— Ценой трудной жизни в пустыне, страдая от жары и холода, от жажды и малой еды, мы приобрели большую свободу, — ответил Тирессуэн, не понимая, куда клонит девушка.

— Да, ушли в сердце пустыни, чтобы сохранить свободу. Вокруг, будто волны моря, текли, сражались, покоряли один другого, избивали друг друга разные народы — на плодородных, удобных для жизни землях, на берегах моря и больших рек. Но чтобы жить в пустыне, надо было воспитать себя для этого — вот в чем были преимущество и сила туарегов...

— Были? — быстро спросил Тирессуэн.

— Да, его теперь нет. Автомобили и самолеты дают возможность проникнуть в глубину Сахары любому европейцу. Изнеженные французские женщины посещают теперь страшный Тифедест, когда-то недоступное непосвященным обиталище духов, и пьют ледяные напитки у черных скал с загадочными рисунками и письменами. Чужая жизнь, совсем не похожая на нашу, властно ломится в пустыню, и ей нет преграды.

— Может быть, наша сила в том, что мы рассыпаны по необъятной пустыне, не зная болезней, тесноты и мелкодушья, как в оазисах. «Отдалите ваши шатры, приблизьте ваши сердца» — хорошая старая пословица, — рассмеялся Тирессуэн. — Все равно владеем пустыней мы.

— Напрасные слова! Рассеявшись, мы потеряли силу! Нас становится все меньше, а жизнь делается труднее детям, чем отцам. Теперь европейцы заразили нас желанием легкой жизни. Но, добывая деньги, мы потеряли половину стад. Даже топлива не стало в пустыне — сожгли, приготовляя дорогую пищу, на кухонных кострах...

— Плохое будущее! — нахмурился Тирессуэн. —

Я тоже его вижу в своих скитаниях. Но зачем затеяли мы этот разговор? Будто нет слов о другом?

— Я вспомнила об Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Зачем? Умерший человек — высохший агельман.

— Нет! Пройдут дожди — и агельман наполнится, придет нужда — и человека вспомнят! Старая Лемта сказала мне... — Девушка осеклась, чуть было не обмолвившись о тайном союзе женщин, который создавала Афанеор.

Женщины у туарегов — гораздо большая общественная сила, чем у других народов Сахары. С их помощью хотела умная дочь вождя возродить древнее единство туарегов времен царицы Тин-Хинан.

— Сказала тебе? — повторил Тирессуэн.

— Она рассказала мне об Эль-Иссей-Эфе, об Афанеор и о великой северной стране. И я решила, что всю жизнь буду искать человека, который может побывать там.

— И ты его нашла?

— Еще нет, — протянула Афанеор, отвернувшись от туарега.

Тому стало жарко под низкой палаткой.

— О какой стране говорила старуха? — нетерпеливо спросил Тирессуэн.

— Не одна она! Есть предание... Поедем на могилу Афанеор, к горе Атафайт-Афа. Хорошо? — Внезапно девушка обвила руками шею Тирессуэна и притянула к себе так сильно, что он уперся ладонью, чтобы не упасть.

Молодой туарег забыл про невзгоды и удачи. Все необъятное пространство пустыни исчезло в глубине темных глаз, широко раскрывшихся навстречу его взгляду...

Два верблюда мерили размашистой иноходью пустынное плато, начисто сожженное солнцем. Ярко-желтые песчаники, плитами и уступами выступавшие из-под крупного гравия и щебня, покрылись коричневой блестящей коркой. Мехари осторожно обегали эти уступы, скользкие для их широких мозолистых ступней. Афанеор, закутанная до глаз в темно-синий плащ, казалась незнакомой и отчужденной. Молча всматриваясь в какие-то ей одной известные приметы, она ни разу не заставила мехари замедлить свой бег. Гора приближалась. Верблюды пошли по твердому дну крутого уэда, лавируя между остроугольными обломками скал. Гора вознеслась над уэдом отвесной стеной, расщепленной посредине, будто врубом гигантского топора. Вздыбленные и отогнутые назад пласты

плотного темного камня выступали на отвесной груди горы грубыми продольными ребрами, срезанными и стертыми наверху многими тысячелетиями песчаных бурь. Моряк сравнил бы выпуклую стену горы с надутым парусом, но туарегу она казалась крепостью злых духов, властвовавших здесь в незапамятные времена. Всадники на высоких верблюдах казались перед зловещей горой ничтожными букашками. Ветер ударял с разлету в накаленную беспощадным солнцем стену и упруго отскакивал назад, закручиваясь вихрем на дне уэда и усыпанной обвалом каменных глыб подошве. Гора отбивалась от людей, приближавшихся несмотря на вихри песка и раскаленное дыхание темной стены. Афанеор повернула мехари, поднялась со дна сухого русла и въехала на закругленный бугор. Отсюда пологий склон плавно спускался на северо-запад к просторному регу, границы которого тонули в зыбкой дымке горячего воздуха, струившегося по раскаленной щебнистой равнине. Холмик гладких, одинаковой величины камней, обнесенный овалом из синевато-серых плиток кварцита, увенчивал бугор.

Столообразная глыба базальта, несколько палок и сучков, украшенных выгоревшими, истрепанными ветром лентами, означали могилу Афанеор, дочери Ахархеллена. Живая Афанеор встала в седле, чтобы миновать очень высокую, украшенную крестом луку, и спрыгнула с верблюда, даже не заставляя его сгибать колени. Тирессуэн придавил новодья животных тяжелой глыбой и осторожно подошел к могиле. Девушка молча достала из-за пазухи пучок разноцветных лент и стала обновлять убранство. Туарег принялся помогать ей и получил полную любви улыбку.

— Теперь садись и слушай. — Афанеор ловко поднесла зажженную на ветру спичку к его сигарете.

И Тирессуэн узнал старинную легенду о путешественнике Эль-Иссей-Эфе, приезжавшем в страну туарегов более семидесяти лет назад из очень далекой и холодной северной страны России. Он был врачом и художником, жил в Гадамесе и оттуда совершал поездки по пустыне, где и подружился с туарегами кель-аджер. По их приглашению он совершил тайную поездку в глубь Сахары, и впервые кочевники пустыни увидели европейца, не преследовавшего никаких иных целей, помимо знакомства с народом пустыни и с ее природой.

Русский врач пришел, полный уважения к туарегам,

их обычаям и суровой жизни. Он отличался удивительной в чужеземце глубиной понимания и чуткостью. С ясной и высокой душой, он, слабый и непривычный, одолевал трудности дорог через пустыню и завоевал путь к сердцам кочевников. Эль-Иссей-Эф скоро уехал в свою страну. Осталась легенда о том, что далеко на севере живут люди, не похожие на других европейцев, но обладающие всей их мудростью, более добрые к чужим народам, которых они считают равными. Память о русском враче сохранилась в народе, и неудивительно, что когда в гости к могущественному Ахархеллену прибыл другой русский путешественник, писатель, по имени, кажется, Немирдан, то Афанеор позвала его на ахаль и сама пела ему. После музыкального собрания Афанеор долго говорила с чужеземцем и окончательно уверилась в правоте легенды об Эль-Иссей-Эфе. Далекая и недоступная кочевникам пустыни страна стала для Афанеор и ее друзей той страной мечты, какая есть у каждого хоть сколько-нибудь знающего мир человека.

Дочь Ахархеллена и ее отец понимали, что прежняя жизнь кончается, что народ туарегов не сможет вечно скрываться в пустыне, избегая культуры Запада. Но помочь в овладении этой культурой могли бы лишь та страна и тот народ, намерения которого чисты и бескорыстны, иначе вместе с чужой культурой придет гибель туарегов как народа.

Афанеор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Так же увлекла она и новую Афанеор.

— Известно, — закончила девушка, — что никто из туарегов или других народов Сахары еще не был в России. Но это нужно сделать! Я тоже поклялась в память дочери Ахархеллена просить своего будущего любимого побывать в этой стране. Мне посчастливилось — меня полюбил самый лучший путешественник Сахары. — В голосе девушки зазвучала гордость. Она подняла голову и сделала шаг к Тирессуэну. — Перед могилой Афанеор я прошу тебя — поезжай в страну русских, посмотри этот народ, расскажи нам, есть ли правда в легенде об Эль-Иссей-Эфе!

Необыкновенная сила убеждения была в словах девушки. Тирессуэн вздрогнул. Ему почудилось, что с ним говорит не его порывистая и задорная возлюбленная, а

сама дочь Ахархеллена, вышедшая из могилы, чтобы заставить его исполнить ее желание. Туарег смущенно отступил и пробормотал:

— Никто из нас не был в этой стране. Даже если смогу я добраться туда, что я увижу и пойму в чужой жизни? Без знания языка, обычаев, природы я пройду там тенью, не в силах даже расспросить тех людей, ибо не знаю, что спрашивать...

Афанеор опустилась на землю перед Тирессуэном и обняла его ноги.

— Теперь не то, что было во времена дочери Ахархеллена. Люди летают быстро на большие расстояния, страны приблизились друг к другу. Приезжают из Франции люди, знающие не только арабский, но и наш язык. Может быть, и в России ты встретишь таких людей. Но главное, даже не владея языком и не зная обычаев, просто заглянуть в душу русских, почувствовать силу, знания, искусство этого народа! Я женщина, я не могу поехать, потому что бедна и невежественна, потому что это не в обычаях даже европейцев — они считают нас за темных затворниц ислама! — Слезы покатились по гладким щекам Афанеор, а глаза на поднятом вверх лице смотрели с такой мольбой, что сердце Тирессуэна сжалось.

Он сделал еще попытку образумить девушку:

— Но ты сама даже не принадлежишь к нашему народу. Что заставляет тебя страдать с ним вместе, думать о нем и посылать меня в такой путь, какого не проделывал еще ни один из туарегов?

Девушка медленно поднялась и опустила глаза.

— Я сирота, вскормленная туарегами, живущая одной с вами жизнью, одними стремлениями... Только, может быть... — голос девушки вздрогнул, — мои чувства просто сильнее ваших. Как и моя тяга к широкому миру без вражды и невежества, к ласке и красоте...

— Я вижу, — ласково сказал Тирессуэн, — но я вспомнил, что мне говорили французы. Страна русских стала другой, там правят свирепые люди, захватившие власть и угнетающие народ. Эта страна грозит сейчас всем, и европейские страны должны вооружаться до зубов, чтобы не попасть под тиранию русских.

— Почему же ты веришь в этом французам? А говоришь, что тебя и нас всех часто обманывали. Может быть, обманывают и с Россией?

— Может быть, — согласился Тирессуэн и умолк.

— Ты, наверно, считаешь меня безумной, — воскликнула Афанеор. — Едем!

Девушка, сделав земной поклон могиле, поставила на колени своего мехари. Перед тем как взобраться на седло, девушка обернулась к Тирессуэну. Ее правая рука поправляла повод на шее верблюда, левая подбирала складки одежды. Спина прикоснулась к шелковистому белому боку мехари, голова откинулась назад. Туарег навсегда запомнил печальный и полный надежды взгляд Афанеор. Еще миг — и ее верблюд бешено рванулся с места. У Тирессуэна был превосходный мехари, но мехари девушки не уступал ему.

Тирессуэн вернулся сюда, в геологическую экспедицию капитана. И вот судьба сама идет ему навстречу! Недостойно воину прятать лицо и убегать от нее. Завтра он согласится вести ученого в Танезруфт.

Весь следующий день потратили капитан и профессор, чтобы уговорить туарега отказаться от его желания. Тирессуэн был непреклонен, требуя письменного условия. Капитан уверял, что в Алжире идет война, что власти не разрешат кочевнику Сахары ехать в страну смутьянов. Да и сами русские никого не впускают к себе без особенной надобности — какая же надобность у Тирессуэна? Угрюмый туарег спокойно говорил, что русские обязательно впустят его.

Истратив все красноречие, капитан зло плюнул и приказал радисту связаться с Таманрассетом, а туарег величественно удалился в тень под обрывом, не замечая насмешливых взглядов и оживления людей обеих экспедиций. Особенно ярился Мишель, предлагая арестовать Тирессуэна, доставить в Таманрассет и держать, пока не расскажет дорогу к развалинам.

Никто не знал, какой ответ пришел от больших начальников, только капитан заключил с проводником письменное соглашение, по которому Комитет сахарских исследований обязывался вознаградить туарега туристской поездкой в Советский Союз. Обе автомашины взяли курс на Таманрассет. Шоферы ехали по знакомой дороге, и машины уверенно ныряли в рытвины и сухие русла, вертелись между каменными глыбами, ускоряли ход на

талаках — ровных площадках сцементированных солнцем глин.

Часами метались фары по бесконечному щебню и песку, вырывая из теплой тьмы скалистые, присыпанные песком холмы или заостренные скалы из отшлифованных ветром черных пород. В широких сухих руслах появились правильные ряды деревьев: тамариски и колючие акации — тальхи. На холмах торчали кустарники — машины углублялись в горную страну Ахаггар. Уныло завыли передачи на тяжелом подъеме по широкому уэду, стиснутому хаосом острых скал и осыпей растрескавшегося камня. В отдалении высились конические горы, как гигантские кучи угля. Черные хребты Хоггара становились все выше, все больше встречалось груд и полей каменных обломков, дорога извивалась, то спускаясь, то поднимаясь. Угольно-черные горы сливались с мраком ночи в единую бесконечность каменной бездны, поглотившей машины.

Внезапно с последнего перевала через очередной хребет сотни электрических огней вспыхнули впереди и внизу в огромной долине, окаймленной хребтами, отдельными пиками, плоскогорьями и острыми, как иглы, вершинами, обрисовывавшимися в отдалении на зареве поднимавшейся луны.

Тирессуэн постучал по кабине, подавая сигнал остановки.

Капитан распахнул дверцу и заглянул в кузов с подножки.

— Ты хочешь сойти, Тирессуэн?

— Да! — ответил туарег.

— Поедем с нами в город. Тебе дадут комнату в отеле, охлажденную льдом, где в самое жаркое время дня будет прохладно, как ночью. Ты сможешь пить ледяные напитки, есть много мяса, по-туарегски жаренного над углями в течение трех часов. Здесь готовят и отличный кус-кус со свежими овощами и крупной цельной пшеницей! Тебе не придется шагать в темноте несколько километров, пока найдешь палатку. Здешнее племя дагхали бедно, возможно, у них не окажется еды... Почему ты боишься города?

— Я не боюсь, капитан. Подумай сам: если я привыкну к охлажденной комнате, к обильной еде, как пойду я отсюда в зной и пламень Танезруфта? Я не смогу более делать длинные переходы, не выдержу зноби-

щие зимние ночи. Мне не захочется больше возвращаться в пустыню, и тогда что я? Презренный бродяга, ничего не умеющий, живущий воровством или подачками в грязи городских стен. Воздержанность моего народа не суеверие и не прихоть — это его жизнь. Прощай!

— На рассвете третьего дня приходи в гостиницу! — крикнул капитан в темноту, в которой мгновенно исчез туарег...

Таманрассет — новый город в центре Сахары, на месте, где когда-то стояли маленький форт-бордж и часовня миссионера. Скопление красных и оранжевых построек выросло в кольце бесплодных гор, посреди искусственно орошенной долины. Зелень ее полей всегда свежая и поражает путника контрастом с морем черных скал Хоггара. Каждое строение, планированное военными архитекторами, вливается в общий ансамбль особенного модернизированного стиля старинных городов Судана. Широкие улицы чисто выметены и, так же как просторные дворы, обрамлены высокими красными зубчатыми стенами. Свежая поросль небольших акаций, обложенных кольцевыми решетчатыми стенками из больших кирпичей, подрастает в каждом дворе, на каждой площади. Но еще более разительна щедрая тень высоких деревьев, выросших за несколько лет под жарким солнцем, кажущаяся совсем черной на залитых ослепительным солнцем площадях. Этот городок — удобное и тщательно содержащееся жилище французских офицеров, просторные виллы которых составляют большую часть городских строений.

Вернувшись возрожденными из плавательного бассейна, профессор и капитан наслаждались отдыхом, едой, новостями широкого мира в отличном отеле. Археолог, попивая кофе и покуривая, в несчетный раз возвращался к загадочному желанию проводника.

— Туарег — и Советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего Тирессуэна такое несуразное, а главное, настойчивое желание? Держу пари, что он не слыхал про Советскую Россию и кто такие коммунисты, да и русского-то не видел даже на картинке. Чушь какая-то, ха-ха-ха!

— Напрасно смеетесь! — сердито возражал капитан. — Это слишком нелепо и потому серьезно. Кто-то его распропагандировал!

— Агенты Кремля — в Сахаре! Капитан, вы образованный, умный человек, как же вы можете верить в эти сказки для новобранцев и фашиствующих юнцов?

— Э, не с того конца, профессор! Идеи самоопределения народов разносятся по всей Африке не хуже чумы. Пришло время, и с этим ничего не поделаешь — знамение века. А умная политика Советов делает так, что все они смотрят туда... И вот вам самое убедительное доказательство — туарег! А я бы голову дал на отсечение, что туареги меньше всех знают о том, что делается в мире.

— И потеряли бы голову! Но как же будет с поездкой Тирессуэна? Обмануть мы его не можем.

— Не можем. Что-нибудь потом придумаем... неизвестно, какие там еще будут развалины. Да, по-моему, пусть едет, только ненадолго — ничего не сможет понять сахарский кочевник в столь чуждой стране. Скоро зима, пусть там промерзнет как следует... Войдите! — прервал он свою речь.

Щеголеватый адъютант вытянулся, шагнув за порог, и, козыряя, протянул пакет. Капитан извинился и вскрыл тщательно запечатанное короткое сообщение.

— Прошу передать — явлюсь в назначенное время!

Адъютант вышел.

— Что-нибудь важное? — спросил археолог.

— Не знаю. Через час буду знать, а пока давайте пить кофе, и черт с ним, с Тирессуэном. Есть интересные новости в «Ла трибюн де насьон».

Капитан вернулся через полтора часа другим человеком, угрюмым и встревоженным, и резко постучал в номер профессора.

— Так и знал, — упавшим голосом встретил его тот, — что-то случилось, и мы не едем!

— Вы отгадали! Мне придется направить свою экспедицию в другое место. Выезд сегодня ночью, и я вынужден покинуть вас. Поверьте, я огорчен не меньше и еще более встревожен. У меня совсем отказала радиостанция, и я не смею не выполнить приказа, но и ехать без радио тоже нельзя!

— Может быть, возьмете мою?

— Черт возьми, это спасение для меня, профессор! Однако вам ехать в Танезруфт на одной машине, без радио рискованно. Не будь у вас такой хорошей машины и, главное, Тирессуэна, я ни за что не воспользовался бы

вашей любезностью. Но с таким проводником есть возможность рискнуть, если хотите...

— Конечно, хочу! А что это за внезапное назначение... Простите за бестактность, я часто забываю, что вы военный геолог.

— Видите, теперь без Тирессуэна вовсе не обойтись, даже знай мы место развалин. Пусть едет хоть в Японию, хоть в Тибет, все равно! До свиданья, профессор, я должен идти. Примите еще раз мои искреннейшие сожаления и самую горячую благодарность. За радиостанцией подъедет Жак.

Капитан вышел, проклиная все на свете отборными словами сахарских сержантов. Полученное из Парижа распоряжение не только нарушало все его собственные планы — оно было противно душе любителя природы, всем сердцем привязавшегося к пустыне. Его небольшая экспедиция получила сверхсекретное, почетное в глазах записных вояк поручение: наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний, запроектированных в Сахаре французским правительством.

В разговоре с генералом уже определилось это место — рег Амадрор, огромная мертвая равнина в семь тысяч квадратных километров к северу от Атакора, там, где он обрывается крутым уступом на тысячу метров. Но капитан предложил более изолированное, хотя и менее доступное место — пустыню Тенере. Это абсолютно голая и безжизненная равнина, простирающаяся на двести пятьдесят километров между Ахаггаром и Аиром. Даже в Танезруфте в руслах уэдов изредка встречаются тальхи или пучки чахлой травы и редкие антилопы, но на тысячах квадратных километров Тенере вряд ли найдется заметная растительность или признаки животных.

Тенере дальше от населенных мест и дорог, чем Амадрор, и гораздо больше его по площади — вот чем руководствовался капитан, предлагая перенести испытания в эту местность. Однако сила взрывов современных термоядерных бомб так велика, возникающая радиоактивность так сильна и распространение ядовитых продуктов распада так широко, что испытания безусловно нанесут вред всей Сахаре.

Это казалось капитану преступлением, недостойным человека высокой культуры — европейца, в миссию которого он верил. И сам он, выполняющий хотя бы самый

начальный этап отвратительного дела, чувствовал себя предателем. Да, он тоже предаст этот свободный мир, широко раскинувшийся в горячем пламени солнца и мягкой ласке поразительно ярких звездных ночей. Мир, который он, как и все обитатели пустыни, чувствовал похожим на небо, близким вечному сиянию космоса. Капитан лихорадочно обдумывал возможность отказаться или саботировать поручение. И, как бесчисленное количество раз до этого, во все времена и во всех странах, услужливая мысль подсказала ему, что он не сможет задержать даже на день то, что совершается. Не он, так другой, третий, десятый, двадцатый — у военных начальников и у правительства было даже слишком много отважных и достаточно умных людей, готовых на все.

И еще задолго до зари машина геологической экспедиции покинула чистенькие улицы Таманрассета и направилась к юго-востоку, туда, где за горами Хоггара и оживленными растительностью долинами Аира распростерлась мертвая Тенере, скрытая крутящимися вихрями горячего воздуха и призрачными стенами миражей.

А еще через день большой белый автомобиль профессора, глухо ворча, одолевал длинный подъем на хребет к западу от Таманрассета. Тирессуэн беззаботно восседал на своем обычном во всякой экспедиции месте — у передней стенки кузова, над открытым окошком водителя, готовый в любой момент указывать направление.

Острые пики Хоггара медленно отступали назад, сменялись более светлыми, округлыми, будто гигантские валуны, горами. В ущельях прекратились каменные потоки с обрушенных крутых склонов. Твердое дно сухих русл стало рыхлым. Гулкое эхо сильного мотора загрохотало по всем направлениям, достигая отдаленных хребтов, чьи ощеренные скалы и пильчатые спины резко обрисовывались позади, на загоревшемся востоке.

Машина раскачивалась, ныряла, содрогалась всем корпусом на сыпучих песках, отчаянно колотилась и дрожала на мелких рытвинах. Пассажиров мотало, бросало и раскачивало, но это был привычный народ, с телами, приобретшими ту автоматическую способность приспособляться к любым рывкам машины, какая еще развивается у моряков с многолетней привычкой к качке.

Широкими ступенями спускалась к Танезруфту горная страна. Алый огонь восхода вспыхнул над стеной

гор, и от него устремились вниз гигантские косые покровы розовых сумерек. Слоями, один над другим, чередовались разные оттенки розового света, розовато-пепельные внизу, на дне ущелий и у подножий уступов, все более яркие и чистые вверху. По мере того как поднималось солнце и уходила вниз машина, розовый свет, заливший пустыню, бледнел и как бы сдувался жарким дыханием дня. Совершенно черные плато из лав перемежались с утесами розовых гранитов. Темные вулканические пики горели фиолетовым светом в лучах зари. Путешествие всегда облегчается, если местность разнообразна. Скалы Атакора с причудливыми фигурами выветривания, фантастическими обрывами и утесами дают волю фантазии не занятого в медлительном пути ума. Странные лица, маски, враждебные лица глядят сверху, с обрывистых стен, на поворотах ущелий внезапно вырастают чудовищные звери; заколдованные башни и осыпающиеся склоны кажутся развалинами неведомых городов. В знойном солнце черные камни раскаляются, как чугунные котлы. Горячий воздух струится над ними синеватыми озерами-призраками, а его восходящие потоки заставляют предметы расплываться зыбкими, неверными очертаниями, в которых глаза, уставшие от слепящего света, могут увидеть невероятные вещи. И европейцы — те, которые приходят к кочевникам Сахары внимательными друзьями, — не перестают удивляться беспредельной фантазии туарегов, черпающих ее из природы своей страны — неиссякаемого источника вдохновения. Пески становились рыхлее, чаще попадались обширные конусы размывов глин, сцементированных жаром солнца. Понижались, отходя назад, горные кряжи; светло-желтые плащи песка вползали выше по их склонам. Казалось, что каменные щупальца горного массива, тянувшиеся вдогонку за путешественниками, бессильно погружаются в море рыхлых песков, мелкого щебня и пестрых глин со сверкающими выцветами горьких солей. Утопавшие в песке пустыни кряжи расходились все шире, пока не разделились на отдельные увалы и останцы, каменными островами поднимавшиеся на равнине. Пояса рассыпавшегося в щебень камня окружали эти острова как свидетельство жестокой борьбы твердой формы с бесформенной рыхлой материей.

Жара усиливалась, высокое солнце изливало поток света, сиявшего так, что он казался серым и ощутимо

тяжелым, как свинец. Свинцовой тяжестью он оседал на головы путешественников, сопротивлявшаяся ему кровь бурно стучала в виски, теснила череп нестерпимой болью. Глаза ощутимо вспухали в орбитах, яркие цветные пятна крутились за темными стеклами защитных очков. Водитель и профессор, овеваемые в кабине специальным вентилятором, были вынуждены с усилием прогонять этот цветовой бред перегретого мозга, чтобы следить за дорогой. Но страшная мощь солнца то застилала дали завесой горячего воздуха, то неправдоподобно приближала отдаленные холмы, гряды и песчаные дюны. Все мелкие рытвины, впадины и промоины казались однообразной серой поверхностью, стелившейся ровным ковром. Это затрудняло выбор пути. Машина моталась и завывала еще сильнее, а сила перегретого мотора падала с каждым часом пути, несмотря на радиатор двойной емкости и восьмилопастный вентилятор.

Вняв жалобам водителя, профессор обратился к Тирессуэну, как ни в чем не бывало покуривавшему на своем посту в кузове.

— Не пора ли остановиться и подождать спада жары?

Туарег покачал головой.

— Надо беречь машину! — воскликнул профессор. — Почему мы не можем ехать вечером?

— Вечером сюда придет сильная буря, — отвечал Тирессуэн. — Вода в бочках будет высыхать... и придется стоять на месте. Нужно сейчас ехать дальше!

— Почему ты знаешь, что будет буря?

— Здесь всегда бури. Такое место. Горы Ахаггара сражаются здесь с Танезруфтом.

Профессор приказал водителю ехать дальше.

Танезруфт — страна гибели, жажды и миражей — расстелился необъятной равниной. Когда-то доступный караванам не во всякое время года и лишь по единственной дороге через колодцы Ин Зиза и эрг Афараг, страшный Танезруфт оказался удобным путем для быстроходных автомобилей. Правда, автомобили в Судан ходили по той же старой караванной дороге, снабжаясь привозной водой на промежуточной станции Бидон-5. Одинокая машина археологической экспедиции везла в двух белых бочках солидный запас в триста литров воды и могла не заходить на станцию. В середине дня бензонасос грузовика стал отказываться подавать испаряющийся бензин.

Пластмасса рулевого колеса стала обжигать руки водителя, и он обернул руль тряпкой. Пора было сделать остановку. Неглубокое сухое русло приютило путешественников, растянувшихся на песке под машиной. Это единственно возможная в Танезруфте тень — маленький прямоугольник, которого едва хватало на пять человек. Было жутко отойти на шаг от нее, в неистовствующий пламень солнца. Будто все живое исчезло с лица земли и пятеро путешественников остались последними людьми в море слепящего зноя на песке, сверху присыпанном мелким серым щебнем.

Пустыня огнем веяла в лица пришельцев, и от ее дыхания трескались губы, лопались кровеносные сосуды в глазах и в носу, становилось все труднее разлеплять отяжелевшие веки. Во рту появилось отвратительное ощущение — точно язык, покрытый ранами, касался сухой бумаги или ткани. От смачивания водой боль проходила, но вскоре появлялась снова. Люди были испуганы Танезруфтом, но слишком отупели и измучились, чтобы роптать на судьбу, как неминуемо делают европейцы во всех трудных случаях своей жизни.

Незаметно бесконечный день перешел в вечер, и ярость опустившегося солнца наконец ослабела. Машина выбросила длинную тень, в которой укрылось бы полсотни людей, но теперь в ней не было нужды. Все кругом приобрело отчетливость очертаний, стали видны и пологие волнообразные всхолмления пустыни, днем размытые в сероватом тумане раскаленного воздуха. Вялые и ослабевшие люди расселись по своим местам, водитель, проклиная день и час своего рождения, запустил мотор, и белый грузовик принялся покачиваться и нырять по пологим буграм. Проплыли мимо узкие уэды с одним-двумя пучками иссохших трав. Экспедиция углубилась в Танезруфт — вокруг не было ничего, кроме уплотненного бурями песка, иногда прикрытого полосами и клиньями темноватого гравия и дресвы. Насколько хватал орлиный взор туарега и даже десятикратный бинокль профессора, стлилась равнина, вдали, у горизонта, тонувшая в пылевой дымке.

Внезапно люди встрепенулись. Очень четкие, совершенно прямые линии прорезали равнину Танезруфта на всем ее видимом протяжении, от северного края горизонта до южного. Ближе линии разбежались, разъехались, как пути на железнодорожной станции, и преврати-

лись в широкие следы могучих машин. Профессор остановил автомобиль. Путешественники невольно застыли перед величественным зрелищем. Что такое след автомашины на избитых дорогах между деревнями и заводами родной Франции? Совсем обычное дело, не привлекающее ничьего внимания. А на асфальтовых или бетонных шоссе след машины едва заметен и нужен разве лишь расследующему происшествие специалисту.

Но здесь, в глубине страшной пустыни, совсем другое! Вот главный след, глубоко раскатанный широкими шинами тяжелых автобусов и грузовиков, с четкими рисунками протектора. Он уносится вдаль, узорчатый, прямой и непреклонный. Две его колеи постепенно сближаются и наконец сливаются в одну узкую ленточку там, в мутнеющей ровной грани пустыни и неба. Рядом идут еще следы, более старые, частью уже сглаженные ветром, иногда перебрасывающиеся с одной стороны на другую, описывая красивые пологие кривые. Иногда неведомые водители предпочитали свой собственный путь — тогда, отделенный полосой нетронутого песка от главной дороги, рядом тянулся неглубокий, но отпечатанный во всех деталях протектора след, также прямо несущийся через Танезруфт к невидимой цели. Вся мощь нашего времени, казалось, сосредоточилась в этих стремительных, слишком прямых линиях, знаках победы машины над пустыней, над самой недоступной и опасной частью Сахары, которая не смогла ни задержать, ни замедлить бег железных верблюдов двадцатого века.

Отважные водители жарили яичницу прямо на капотах своих машин, раскалившихся под солнцем Танезруфта, и упорно пробивались вперед, борясь с пугающими миражами. Если туареги видели в зное страшной пустыни Деблиса — демона Танезруфта с пустыми глазницами, одетого в черное покрывало, восседавшего на скелете верблюда и кружившего около обреченных путников, — то шоферы рассказывали иное. У вехи 285, где на строительстве дороги погибло множество осужденных за бунт солдат Иностранного легиона, за автомобилями гнались их призраки — тонкие извивающиеся фигуры, вертевшиеся вокруг машины, с какой бы скоростью она ни шла. Они звали хриплыми голосами, и единственная возможность спасения от них заключалась в жертве бурдюка с водой. Его надо было бросить им, и тогда они отставали, а машина уходила на полной скорости.

Многое чудилось изнемогающим от зноя людям — перегретый мозг вызывал в глазах самые чудовищные видения. И все же прямые линии машинных следов чертили пустыню гигантской линейкой!

Машина археологической экспедиции, постояв немного, пересекла поперек путь транссахарских автомобилей и пошла печатать свой, здесь, на ровном участке, такой же прямой и отчетливый. Путешественники встретили дорогу между станцией Бидон-5 и вехой 540, далеко к северу от оазиса Тессалит — преддверия уже менее пустынных степей Судана и Нигерии. Одинокая машина долго шла в розовой мгле заката, затем по узкой дорожке света фар в однообразном море ночной тьмы. Короткий ночлег, и снова путь с остановкой задолго до наступления жаркого времени дня, под высоким обрывом у начала большого эрга Аземнези. Отсюда дорога сделалась тяжелой — рыхлые пески покрыли всю площадь эрга волнистой чередой. Машина продвигалась в ней на подстилаемых «лестницах» из связанных цепью деревянных плашек, сделав за вечер лишь несколько километров.

На утренней заре грузовик, словно отдохнувший за ночь, быстро вылез на сыпучий подъем окраины эрга. Дальше на запад местность была усеяна конусовидными холмами песка, тупо срезанными на верхушках и покрытыми удивительной рябью — сеткой чашеобразных углублений. Тирессуэн повел машину в обход этих холмов, на подъем к каменистой гряде, внезапно возникшей среди песчаного пространства.

— Далеко ли развалины, Тирессуэн? — окликнул проводника профессор, с тревогой подсчитывавший в уме, сколько литров бензина ушло на борьбу с песчаным дном эрга Аземнези.

— Уже близко, там. — Туарег показал на юго-запад, где на пологом скате гряды виднелось множество закругленных ветром черных глыб, издалека казавшихся толпой каких-то черепахообразных существ.

Ученый вздохнул с облегчением.

— Почему здесь такие странные холмы? — спросил он, указывая на конусы песка с их скульптурной поверхностью.

— Ветер, — лаконически сказал туарег, описывая рукой несколько кругов, и все поняли, что он говорит о крутящихся вихрях, вздымающих столбы песка на высоту в полкилометра и сокрушающих все, что не камень

или не вросшее в землю двадцатиметровыми корнями растение пустыни.

Снова медленно ползущие, уподобляясь машине, часы. Опять свинцово-серая мгла тяжкого зноя, звонкий стук пальцев перегретого двигателя, едкий дым горящего масла. Но вот машина поднялась по твердому скату, лавируя между изъеденными ветром валунами. Круглые глыбы, пирамидальные навесы, острые выступы сменялись стенами, башнями, воротами... Острая, тревожная догадка заставила профессора встрепенуться. Невежественные и фантазирующие сыны пустыни иногда принимают эти причудливые скалы за развалины. Неужели и его экспедиция сделается жертвой подобной ошибки? Ох, ублюдок дьявола, так и есть!

Туарег властным жестом остановил машину в тот момент, когда водитель собирался заявить профессору о необходимости остановиться и переждать жару.

Вне себя от ярости, с помраченными жарой и тяжелой дорогой чувствами археолог выскочил из кабины.

— Куда мы приехали? Где развалины? — завопил он.

Ясные серые глаза Тирессуэна блеснули гневом под навесом головного покрывала. Неторопливо подняв левую руку с широким кожаным браслетом, за который был заткнут кинжал с крестообразной рукоятью, туарег показал вниз.

Машина остановилась на краю склона плато, заваленного сплошной каменной россыпью. Черными контрфорсами спускались вниз сглаженные ветром обрывы, прорезанные глубокими и короткими оврагами, придававшими всей скалистой стене фестончатый контур, будто выполненный руками человека в затейливом архитектурном замысле. Под обрывом стелился небольшой серир — равнина, покрытая обломками отглаженных ветром кремнистых сланцев с углублением древнего озера, от которого осталось круглое пятно островерхих дюн.

А на равнине, отчетливые даже в дымке горячего воздуха, виднелись обрушенные стены, сложенные из глыб красного камня, какие-то пересекающиеся выступы, проходы ворот и улиц. Вот и несомненные башни — только кретин может их спутать с нерукотворными созданиями ветра! Площадь развалин была невелика, но постройки очень массивны и обладали чертами большой древности, распознаваемой опытным взглядом археолога.

Французы закричали. Секунду назад готовые смотреть на Тирессуэна как на идиота и преступника, они наперебой хвалили проводника.

— Зачем же стоять здесь? — воскликнул профессор. — Осталось несколько километров. Развалины совсем близко! — И археолог перевел свой вопрос на арабский для Тирессуэна.

Проводник объяснил, что дальше дорога очень плоха. Будет лучше пойти к развалинам пешком и осмотреть их.

— Нам не смотреть надо — изучать их, — возразил археолог. — Надо пробыть там дня три, сколько хватит воды.

— Лучше посмотреть, потом приезжать снова. Привозить запас воды, пищи...

— Сначала надо выяснить, стоит ли. Бессмыслица — ходить отсюда по жаре, будто мы на курорте... — Профессор спохватился, что туарег не понимает его и смотрит с вежливым, чуть снисходительным любопытством. — Надо подъехать. И сейчас же. Незачем терять время на остановку, а нужно окончательно расположиться на месте исследования! — настаивал археолог.

Туарег послушно полез на свое место у кабины. Машина долго заводилась и наконец тронулась. Проводник, умело выбирая путь, повел ее направо, где плато плавно понижалось и фестоны крутых ущелий превращались в широкие углубления промоин.

Визжа тормозами, машина спустилась по плитам песчаника в углубление, крупный щебень заскрежетал под массивными шинами. Грузовик пересек промоину. Форсируя мотор, водитель кинулся на штурм подъема. Гром мотора, вой низшей передачи и обычное раскатистое эхо. Вдруг стрелка масляного насоса упала налево, к нулю, слабый хруст послышался в недрах двигателя, и побелевший шофер выключил зажигание. Машина поехала вниз, скользя на крупном песке, катавшемся, как дробь, под неподвижными колесами. Все метнулись к бортам в опасении, что грузовик опрокинется. Но машина медленно сползла к промоине и задержалась, упершись в выступ каменной плиты.

— Что, что случилось? — выдавил из себя археолог. (Ответственность начальника, до сих пор существовавшая лишь в плане исследования, вдруг стала огромной перед лицом опасности.) — Попробуйте... — начал он.

Водитель мотнул головой и, запустив мотор, сразу же

выключил его. В гнетущем молчании все сгрудились около машины, в то время как шофер полез под капот. Тирессуэн уселся на камнях и переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь понять случившееся.

Скоро выявилась вся серьезность повреждения. Маленькая шестеренка масляного насоса разлетелась на куски, повредив вторую. Ошибка ли, небрежность изготовления или плохое качество материала, там, во Франции, угрожавшая лишь волочением на буксире или несколькими часами ожидания, здесь, в Сахаре, для одинокой машины стала смертным приговором. Только профессор и радист знали, что они отдали радиостанцию капитану, понадеявшись на прочность своей машины и обилие запасных частей. А среди всех этих частей не было нужной, ибо поломка масляного насоса — редкий случай для современного автомобиля.

Пока сотрудники экспедиции осознавали положение — с проклятьями, молчаливой тоской или в трусливом смятении, профессор и туарег, согнувшись над картой, старались как можно точнее установить место аварии. Самое близкое и самое надежное — линия транссахарской дороги, которую они пересекли. Это сто двадцать километров на восток. Если идти прямо в Бидон-5 — сто сорок пять километров. Зато там можно достать шестеренки или вызвать срочную помощь. Европеец в Танезруфте вряд ли пройдет и шестьдесят километров. Это значит: если за эту попытку не возьмется туарег, то все они погибли.

Европейцы резко изменились. Шумные и нетерпеливые, заносчивые и мелочные, они стали медлительны и суровы. Полные тревоги, они зорко следили за Тирессуэном. Так мелкие хищники сидят вокруг льва в ожидании, какое решение примет могучий зверь. Так следят обвиняемые за судьей, вышедшим огласить приговор.

Туарег курил, бросая мимолетные взгляды на карту и снова уходя в неподвижное созерцание чего-то, проходящего перед внутренним взором. Все участники экспедиции знали, что Тирессуэн призвал на помощь всю свою колоссальную память и опыт, все рассказы товарищей и старинные предания, чтобы решить, куда идти. Сто сорок пять километров — это было слишком много и для тиббу, не только для туарега, но Тирессуэн считал себя равным этим замечательным властелинам пустыни. Властелинам, завоевавшим ее без технической мудрости евро-

пейцев — единственно с помощью своего выносливого тела и стойкой души!

День клонился к вечеру. Тирессуэн словно очнулся. Он откинул назад головное покрывало, тяжело вздохнул и застенчиво улыбнулся. И европейцы увидели, как еще молод и добр этот суровый кочевник, становившийся таким грозным с закутанным лицом, в своих темно-синих одеждах.

— Пойду на Бидон-Пять! — объявил туарег.

К нему бросились, пожимали руки, заискивающе хлопали по плечу, предлагали любые консервы, вино и сигареты. Туареги не едят ни рыбы, ни яиц, ни птицы, и Тирессуэн опасался консервов. Он согласился взять флягу с водой, немного шоколада и соленых галет, а также набил пазуху сигаретами.

— Возьмите мой компас, Тирессуэн, — предложил шофер.

Но кочевник отказался и от карты и от компаса.

Звезды и солнце — вот безошибочные путеводные маяки туарега, а небо пустыни почти никогда не бывает закрытым.

— Мы так благодарны тебе, Тирессуэн! — воскликнул растроганный профессор. — Мы, если спасемся, никогда не забудем, что ты делаешь для нас...

— Я еще ничего не сделал, — туарег снова стал суровым, — и не для вас — ведь я спасаю и самого себя. Если я буду ожидать счастливого случая, то погибну наравне со всеми. Воды — на пять дней... Что случится за это время?

— Да, да, конечно, — поспешно согласился археолог.

Сомнение метнулось в его следивших за Тирессуэном глазах, губы дрогнули. На лице стоявшего рядом шофера отразился еще более откровенный испуг. Тирессуэн понял. Как все мелкие люди, считающие себя проницательными, они думали прочесть в Тирессуэне собственные мысли и скрытые чувства. Они боялись, что туарег, спасая собственную шкуру, сбежит куда-нибудь.

Подозрение спутников рассердило Тирессуэна, но он поборол себя, сказав:

— Теперь надо спать — до наступления ночи!

Отойдя за каменный выступ, он принялся расстилать плащ на маленьком пятнышке тени. Не успел он сделать это, как услужливые руки раскинули брезент, положили мягкий тюфяк. Спутники ходили тихо, разгова-

рывали шепотом. Туарег лежал и думал, почему европейцы могут действительно хорошо относиться к жителям пустыни, лишь когда приходит беда и необходимость в помощи. Европеец становится по-настоящему человечным в тисках жестокой нужды — это туарегу казалось низостью.

Тирессуэн проснулся, как назначил себе — в вечерних сумерках. После молитвы, напившись вволю и немного поев, он повернулся к востоку.

— Барак аллах фик! (Бог да хранит вас!) — сказал туарег и неторопливо зашагал, напутствуемый ободряющими криками оставшихся.

Профессор долго смотрел туда, где растворилась в прозрачной темноте высокая фигура проводника. Снедаемый опасениями, он в сотый раз клялся щедро наградить туарега, если тот вернется... Но ведь если он не вернется, некому и не за что будет награждать. Их найдут, конечно, но какое это будет иметь значение для всей его небольшой экспедиции! И снова археолог проклинал себя, что поддался на просьбу капитана. Никакая опытность не может противостоять случайности, и это он, как ученый, должен был бы знать! К дьяволу эти терзания — радиостанции-то нет!

Молодой ассистент профессора неслышно приблизился.

— Ваши распоряжения на завтра, шеф? — Ассистент был англофилом.

— Подъем до зари. Пойдем на развалины — надо же осмотреть это трижды проклятое место! Огюст, шофер, останется с машиной и приготовит обед. Отправимся мы трое — вы, я и Пьер.

Развалины отстояли дальше, чем показалось профессору. Они были к тому же захватывающе интересными, и, когда археолог спохватился, что пора возвращаться к машине, солнце поднялось уже высоко. Обратный путь показался профессору настоящей пыткой. Борясь с желанием выпить весь остаток воды во фляжке, грузно шагая по хрустящему грубому песку и перекатывавшемуся под ногами черному щебню, археолог чувствовал, что его тело ссыхается в палящей печи. Мысли мутились, назойливо возвращаясь то к ледяной шипучей воде отеля в Таманрассете, то к сказочному разнообразию напитков на любой из улиц Парижа, то просто к холодным ручьям и рекам, которыми он так пренебрегал в Европе, не подо-

зревая, какую живительную силу таят в себе эти потоки обыкновенной воды...

— Воды! — Профессор громко произнес последнее слово, слегка всхлипнув от мысленного зрелища холодного и чистого горного потока, так невыносимо чудесно журчавшего по камням.

— Сюда, шеф, — окликнул его молодой помощник, указывая на небольшой песчаный холм с обрывистым восточным склоном. Растянувшись на земле, за этим склоном можно было укрыться в спасительной тени.

Ассистент посмотрел через плечо на горный уступ, где засел автомобиль, взвесил на руке фляжку и со вздохом положил ее обратно под бок.

— Кажется, мы никогда не дойдем, — промямлил студент-радист Пьер, перехватив взгляд ассистента. — Время тянется так же медленно, как тащишься сам. И с каждым шагом теряешь силы. Знал бы, взял на плечи ведерный термос...

— И тащился бы с его тяжестью еще медленнее! — возразил ассистент.

— Зато пил бы! Пил! Представляешь, сейчас литра два холодной воды...

— Довольно! — оборвал его сердитый окрик профессора. Археолог лежал ничком, и его голос шел будто из-под земли. — Я запрещаю разговоры о воде, о лимонадах, о Париже с его кафе и пивными, где на каждом шагу можно пить сколько угодно. Хватит болтать о реках, о купании!

Молодые люди переглянулись. Никто из них и не думал говорить ничего подобного. Ассистент покрутил пальцем у своего виска.

— Где-то сейчас Тирессуэн? — вдруг спросил студент. — Что он делает? Нам идти осталось километров шесть, а сколько ему?

Профессор повернулся на бок. Он отчетливо представил себе высокую синюю фигуру, безмерно одинокую среди палящего океана Танезруфта, такую слабую перед чудовищной силой пустыни.

— Пойдемте, друзья, — твердо произнес он, вставая.

— А что там, профессор? — вдруг спросил студент, показывая на запад.

— Очень далеко до помощи! Огромные эрги и себхры, древняя караванная дорога в Тимбукту и знаменитые соляные копи Тауденни, в которых обитает кучка людей.

— Соляные копи в центре Сахары! Кто же копал там?

— Раньше рабы, а потом и свободные люди, согласившиеся прожить там от одного каравана до другого.

— А если караван опаздывал?

— Все погибали, что и случалось не один раз. Погибали и караваны в пути из Тимбукту в Тауденни. Например, в тысяча восемьсот пятом году караван из тысячи восьмисот верблюдов и двух тысяч людей погиб от жажды до последнего человека. Никто не спасся! Небольшая ошибка проводников или пересохшие от бурь колодцы — и все...

— Золотая соль доставляется в страну черных!

— Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах и в саваннах...

Ассистент, жадно прислушивавшийся к разговору, остановился.

— О, я понял важную штуку, шеф! Вот почему наш Тирессуэн и все туареги закутаны в свои темно-синие покрывала. Они белокожие, и им надо защищаться от вредного ультрафиолета сахарского солнца!

— Совершенно верно! И добавлю: знаете ли вы, что есть так называемые белые туареги? Это чернокожие, которые носят белые покрывала, проницаемые для ультрафиолета, который им не страшен, но отражающие инфракрасные тепловые лучи, которые слишком нагревают темную кожу. Прежде эти чернокожие были рабами. Им запрещалось законом носить синее, и они ходили в белом — то, что им и было нужно. Пусть-ка поразмыслят над этим господа медики — они мало думают о таких вещах...

Последние сотни метров по крупному булыжнику у подножия обрыва были настоящей мукой. Вода была выпита, и жажда терзала горло, заволакивала красным туманом глаза. Хватая ртом раскаленный воздух, три исследователя вскарабкались на обрыв, одолевая его на четвереньках, и повалились в тень машины, пока Огюст торопливо наливал большие суповые чашки. Жажда не голод, и напившийся человек быстро оживает. Остается

лишь клонящая в сон усталость. Охотники за древностями задремали в тени тента, который Огюст растянул у борта грузовика. Это была уже реальная защита от солнца Сахары, и европейцы скоро ободрились. По обе стороны промоины, в которой засела машина, выпячивались закругленные склоны утесов белого песчаника. Камень покрылся темно-коричневой, почти черной корой, блестевшей на солнце, как броня. Остывание скал в холодные ночи покрыло склоны широкими трещинами, по которым черная корка отслоилась исполинской шелухой. Ослепительно сверкали белые камни там, где отваливался черный покров. От резкого контраста блестящей, как черное зеркало, коры и слепящих белых пятен рябило в глазах. Бескрасочный серый свет над пустыней тоже не давал отдыха зрению. Только глетчерные очки спасали европейцев. Они лучше стали понимать, что обычай туарегов-мужчин чернить краской веки возник вовсе не как требование моды или своеобразной эстетики.

Каждая ночь оживляла путешественников после дневного отупения. Если день казался океаном зноя и слепящего света, необъятная звездная ночь Сахары становилась бездной бесконечного неба, уносившего человека в такие глубины и дали чистой прозрачной темноты, что невзгоды, опасности и даже сама смерть начинали странным образом мельчать, уподобляясь исчезнувшей во мраке грозной пустыне.

В Европе кончалась осень. Здесь это время выражалось лишь в наступлении холодных ночей, казавшихся ледяными после адского дневного жара.

Было невыразимо отрадно лежать на спине, закутавшись в шерстяное одеяло, и отдаваться гипнотизирующей власти бездонного неба, погружая свой взор в звездные рои Млечного Пути.

Украдкой подступали мысли о Тирессуэне. Туарег не взял с собой одеяла, и если он не сгорел в огненной печи дня, то неминуемо должен был замерзнуть ночью. А с ним и возможность легкого спасения для тех, кто остался у бочек с водой, под спасающим от убийственных копий солнца тентом, кто укрывался теплыми одеялами в знобящей ночи.

Только на третий день стоянки исследователи отважились на вторую экскурсию к развалинам. Двадцать километров пути туда и обратно были бы не страшны для ночного похода. Но изучать развалины ночью, как

на грех безлунною, было невозможно. Волей-неволей археологи задерживались до знойного времени дня, и поход становился для них мучением. Решено было отправиться на развалины к вечеру, успеть там немного поработать, переночевать и воспользоваться всем временем от утренней зари до девяти часов, когда следовало быть у машины.

Никогда исследователи не решились бы повторить ночевки. На свет костра из развалин выползли тысячи скорпионов и ядовитых пауков — фаланг. Все это скопище ринулось к расположившимся на ночь людям. Костерок из жалких стеблей, принесенных с собою щепочек и бумаги быстро догорел, и люди остались во тьме в неравной борьбе с ползучей и ядовитой гадостью. Единственным спасением было поспешное бегство в серир, как можно дальше от развалин. Всю ночь в шорохах ветра людям чудились ползущие скорпионы. Опять не хватило питья, хотя Пьер и ассистент сдержали обещание и тащили в заплечных мешках большие термосы. В третьем походе, снова днем, профессор получил легкий тепловой удар, пренебрегши солевыми таблетками. Его молодые помощники ушли в четвертый поход на развалины, а ученый, ослабевший телом и духом, лежал под тентом. Молчаливый Огюст хмуро поил его бульоном из концентратов. Несколько раз археолог заставлял его измерять воду в последней бочке, с ужасом убеждаясь, что они израсходовали ее слишком много в походах сквозь палящий зной Танезруфта.

Профессор обратил взгляд на восток. Черная россыпь обточенных ветром пирамидальных камешков полого поднималась к серому, угрюмому, без единого облачка небу, сокращая видимость постоянного горизонта до нескольких километров. Туарег должен был появиться неожиданно через несколько минут или дней или не появиться совсем. Профессор вспомнил свои опасения, что Тирессуэн может бросить их на произвол судьбы, но все, что он знал об этих детях пустыни, противоречило такому предположению. Но Тирессуэн мог погибнуть, как, безусловно, погиб бы любой из них, отправившийся в подобный поход. Если туарег погиб, то все равно идти придется, идти всем! Это будет скоро. Если проводник не вернется через два дня, то надо бросать все, нагружаться водой и шагать по следу своей машины. Археолог представил себе этот безнадежный путь и содрогнулся.

Свинцовое небо душило его, угасавший после полудня ветер шумел по камням назойливо и безотрадно. Край тента размеренно хлопал по застывшей машине. Застывшей безнадежно, как эти источенные ветром и почерневшие от солнца скалы, как весь этот сожженный и мертвый мир, поймавший в западню его экспедицию.

Пятый день! Никто уже не ходил к развалинам, экономя воду. Люди валялись, курили, без охоты играли в карты. Профессор заметил, что во всех разговорах старательно избегалась одна тема — предположения о Тирессуэне. Видимо, слишком серьезен был этот вопрос для каждого из путешественников, чтобы обсуждать его в праздной болтовне. Лагерь, автомашина — все предметы кругом создавали привычную походную обстановку, ничем не напоминавшую о беде. Но пустыня вокруг, мертвая, угрюмо шуршавшая ветром, стояла настороженно враждебная, словно готовясь к решительной атаке на горсточку привязанных к машине людей. Будто они перенеслись на другую планету — настолько непохоже здесь было все на мир, с детства привычный европейцу. Пустыня воспринималась как некая нереальность, изменчиво проплывая мимо в быстрых автомобильных маршрутах. Но теперь, окружая маленький бивак уже несколько дней, она стояла неизменной, как вечная угроза всему живому, бесконечно удаленная от многообразного существования людей, от их труда, развлечений, радостей и горя. Никак нельзя было поверить, что на востоке, всего в полутораста километрах от лагеря, бегут через пустыню быстрые машины. Любая из них перенесла бы всех путешественников туда, где их жизни не будут более качаться на зыбких весах неверной судьбы. Там пролетают аэропланы... Стоит любому из них немного отклониться от обычного пути, тогда их заметят с воздуха, и помощь придет через несколько часов!

Шестой день — последний день возможного ожидания. Готовясь к гибельному походу, молодежь не выдержала. Люди напились вина, пытаясь успокоить напряженные нервы и легче свыкнуться с неизбежным.

Начавшийся день был особенно жарким, точно пустыня, предчувствуя наступающий период прохладных ночей, изливала днем весь запас своей огненной ярости. Профессор, еще не вполне оправившийся от теплового удара, лежал в полузабытьи. Медленно, точно увязая в жаркой смоле, ворочались мысли в болевшей голове.

Лежавшие вокруг спутники противно храпели, сопели, тяжело вздыхали, беспокойно дергаясь во сне, измученные зноем и тяготевшим над ними сознанием обреченности. Мрачный Огюст изредка стонал, а Пьер жалобно всхлипывал, выдавая свои чувства в пьяном сне.

Профессор приподнял чугунную голову и механически огляделся по установившейся за пять дней привычке, ничего более не ожидая от изученного до отвращения ландшафта. Вдруг археолог дернулся, провел рукой по лицу, прогоняя сон. Поодаль от машины, на заваленном черными камнями плоском дне промоины, росла небольшая тальха. За ней виднелось нечто высокое, белое... Неужели? Да, это мехари! Громадный верблюд приближался к лагерю, неся закутанную в обычное темное одеяние фигуру. Переметные сумки из узорной кожи свисали с убранного серебром седла с лукой в форме креста. К левому боку верблюда была приторочена винтовка дулом вниз.

Комок, подступивший к горлу профессора, помешал ему закричать. Археолог вскочил на ноги. Мехари подошел вплотную. Никогда не думал археолог, что туарег на верблюде окажется таким гигантом. Величественная фигура рыцаря пустыни наклонилась с высоты мехари. Он, Тиpессуэн!

Ужасный крик раздался над ухом археолога, заставив его пошатнуться: это увидел туарега проснувшийся ассистент. Его товарищи, не успев подняться, завопили, точно орда людоедов. Все побежали навстречу туарегу, который опустил верблюда и медленно, видимо от большой усталости, слез с седла. На молчаливый вопрос путешественников Тиpессуэн порылся за пазухой и протянул на раскрытой ладони две маленькие шестерни, завернутые в промасленную бумагу. Огюст схватил их, всхлипнул, потряс руку туарега и бросился к машине, так ничего и не сказав. За ним поспешил его всегдашний помощник Пьер. Минуту спустя они уже открыли капот и полезли под машину.

Тиpессуэн устало потянулся, уселся под тентом и закурил обычную сигарету. Будто и не было серьезного несчастья, не было шести тяжких дней, полных тревоги и опасности. Туарег, по обыкновению, ожидал, пока его спросят.

— Бидон-Пять? — Профессор показал на восток.

— Да.

— Как дошел, тяжело было?
— Да. Много солнца. Торопился!
— Устал?
— Да.
— А верблюд откуда?
— Ездили со станции на машине в кочевье знакомого. Взял доехать.

Археолог прекратил расспросы и предложил Тирессузну отдохнуть. Через час Огюст и Пьер переминались на месте от нетерпения скорей завести машину, но профессор яростным жестом запретил их попытку. Только когда солнце склонилось к горизонту, проводник проснулся. В тот же миг заревел мотор, будто тоже очнувшийся от долгого сна. Все путешественники, не исключая профессора, принялись поспешно свертывать лагерь, а Тирессузн долго пил теплый чай, заедая финиками, которые он отламывал от комка, извлеченного из седельной сумки, и совал, по обыкновению, под лицевое покрывало, чтобы не показывать рта. Французы подошли приласкать спасшее их животное — и отшатнулись: от мехари исходил отвратительный запах. Тирессуэн заметил недоумение спутников.

— Если верблюд долго идет по жаре и не пьет, он пахнет очень плохо! Я должен был ехать днем, зная, сколько у вас воды.

Профессор, так же как, наверно, и другие члены экспедиции, испытывал желание крепко обнять Тирессузна, высказать ему горячую благодарность за выручку, за тяжелый, для европейца невыполнимый поход. Но туарег сидел с прежним спокойным достоинством, будто ничего не случилось. Археолог чувствовал перед ним смущение, заставлявшее его сдерживаться.

— А как же верблюд, Тирессузн? — подошел к проводнику шофер.

— Да, совсем забыл, как же мехари? — спохватился профессор.

— Напоите верблюда, дайте мне запас воды и отправляйтесь, — ответил туарег.

Медленно, обходя каждую выбоинку, грузовик поднялся на плато и повернул на восток по собственным следам. Огюст ехал с предельной осторожностью, твердо решив ничем не рисковать, пока они не выберутся из этой западни и не наполнят водяные бочки. Сверху они еще раз увидели белого верблюда и едва заметную фи-

гуру туарега, улегшегося в тени скалы в ожидании ночи. Тирессуэн явно находился на пределе усталости, и его европейские спутники опять ощутили угрызения совести за поспешность. Но после всего пережитого казалось невозможным остаться здесь лишний час. А туарег... что ж, для него пустыня — родной дом. Их женщины ездят в гости к подругам за двести-триста километров, а мужчинам ничего не стоит провести несколько суток в пути, чтобы услышать новости. Все это так, но, если бы это произошло в другом месте, а не в Танезруфте, тогда бы они уехали со спокойной совестью.

Но машина перевалила за гребень плато, проклятое место скрылось из виду, и оставшийся позади проводник перестал смущать европейцев. В конце концов, до Бидона-5, где они должны его дождаться, не так уж далеко для быстроходного мехари!

* * *

— Я прошу вас срочно связать меня с министерством, генерал!

— Полно, профессор, стоит ли вам так волноваться из-за какого-то туарега с его бешеными претензиями!

— Поймите, что я, вся моя экспедиция, мы обязаны этому вовсе не какому-то, а замечательному человеку жизнью!

— Он только выполнял свои обязательства!

— Я тоже только выполняю свои. Это для меня вопрос чести. У вас, военных, есть свой кодекс чести, у нас, ученых, свой. Позор, что проводник третью неделю ждет разрешения пустякового вопроса. Болтается где-то около Таманрассета. Хорошо еще, что туареги терпеливы, он не надоедает мне. Наш брат француз...

Генерал поморщился.

— Вопрос вовсе не пустяковый, профессор. Поймите, что у нас непопулярная война в Алжире, чуть ли не с родственниками Тирессуэна...

— Положим, арабы и туареги — мне ли вам говорить...

— Есть еще одно обстоятельство, неизвестное вам. Под честное слово, профессор! Ни одному человеку, ни при каких обстоятельствах!

Заинтересованный ученый согласно наклонил голову.

— В Центральной Сахаре проектируются испытания

нашей, французской, водородной бомбы. Понимаете всю сложность обстановки, которая получится, как только секрет станет известным? И он неминуемо станет известен! А мы отправим туарега в Советскую Россию!

— Испытание... здесь... в Сахаре! — Археолог был ошеломлен и потерял все возобновленное после возвращения из Танезруфта достоинство. — Вы будете проводить испытания!

— Да где же еще нам найти столь подходящие условия, черт возьми! Ну вот, вы теперь сами убедились! Еще бокал, профессор?

Археолог молча выпил придвинутый ему аперитив, закурил и решительно выпрямился в кресле.

— Я все же буду настаивать, мой генерал!

— Что ж, я предупредил вас, мой профессор! — кисло усмехнулся генерал. — Я позвонил начальнику южных территорий генерал-губернаторства, директору Службы сахарских дел и военнослужащих, но...

— Очень сложный титул, — усмехнулся профессор.— И он отказал, конечно?

— Да!

— Что ж, одна надежда на Париж!

* * *

Профессор вернулся в свой комфортабельный номер с чувством досады, бо́льшим, чем того стоило упрямство генерала. На полированном столе лежали куски древней керамики из развалин в Танезруфте. Археолог задумчиво поднял тяжелый кусок изделия двадцатипятивековой давности, чтобы в сотый раз полюбоваться находкой, предвкушая сенсационное сообщение в печати. Но странное дело, победные результаты экспедиции, чуть было не оказавшейся роковой, как будто потускнели. Прежней светлой радости исследователя, открывшего для мира новое, не было у археолога. Ему показалось, что поездка туарега в Россию чем-то важнее для него, чем древности, извлеченные из забытья в глубине пустыни. Заинтересованный собственными ощущениями, ученый вытянулся в кресле и зажег сигарету. Может быть, дело в том, что подсознательная благодарность Тирессуэну еще очень сильна после пережитых испытаний? Нет, не в этом дело! И не в том, что совесть человека науки, поставившего целью жизни раскрытие и отстаивание истины, была бо-

лее неуступчивой, чем у политикана и военного. Генерал пытался сыграть на его патриотизме. Он сын Франции, не меньше любящий ее, чем этот властный генерал! Но не к лицу ему, человеку мыслящему и к тому же историку культуры, дешевая военная демагогия, высокие слова о миссии европейца, несущего культуру дикарям-туземцам. Вторая четверть двадцатого века наглядно показала человечеству, что все это навоз для почвы, на которой пышно зреет фашизм. И тут еще эта бомба — подготовляется великое отравление Сахары! В этом случае судьба сахарских кочевников, и без того трагическая, станет попросту ужасной!.. К дьяволу эти мысли! Если он может помочь, то Тирессуэну, но не туарегам вообще. И тиббу, и западным берберам, и арабам севера. Он только археолог, не политик, не финансист, не военный... Ага, пожалуй, вот в чем дело — у него тоже была с детства лелеемая мечта, сказочная страна детских книг, потом романов и кинофильмов, потом и строгого научного интереса — Северная Африка. Родом из департамента Нор, он неудержимо стремился к заветной стране, казавшейся ему — чтó уж скрывать от самого себя — гораздо прекраснее, чем он нашел ее, впервые попав сюда тридцатипятилетним человеком... Может быть, потому, что он был не молод, получил уже от жизни изрядную долю усталости и скептицизма? Но туарег молод и тоже стремится в страну своей мечты. Чепуха, что он подвергся пропаганде каких-то таинственных коммунистов в центре Сахары! Как ни мало еще он знает туарегов, бессмыслица очевидна. Может быть, у Тирессуэна есть возлюбленная, такая же необузданная фантазерка, как и он сам? Она говорит ему о загадочных странах севера, о самой таинственной для Сахары далекой и холодной России... просит поехать туда... Она готова на разлуку, на опасность, на долгое ожидание... Все может быть, и он поможет Тирессуэну не только из-за данного обещания, не в благодарность за спасение, но прежде всего как человек, знающий, что такое мечта!

Судьба покровительствовала археологу (или, может быть, Тирессуэну). Министерские знакомства сделали свое дело. Профессор вручил туарегу билет на трансафриканский самолет Аулеф — Марсель и квитанционную книжку Международного союза сахарского туризма.

В зимнее время туристские группы в Россию ездили редко. Туарега должны были присоединить к торговой

делегации, отправлявшейся в Ленинград на четыре дня для участия в пушном аукционе. «Хватит с него!» — так звучало решение власть имущих.

* * *

Мехари, сильно раскачиваясь, продолжал свой неутомимый бег, как будто Афанеор только что начала свой пятисоткилометровый путь. Это был лучший беговой верблюд старухи Лемты, по прозвищу «Талак» — «Глина», указывавшему на светло-желтый цвет его короткой шерсти.

Незримая почта сахарских кочевников передала Афанеор зов Тирессуэна. Девушке предстояло разыскать его па окраине эрга Афараг. Она не знала, что заставило Тирессуэна не вернуться к ней после приезда из России.

Каменистое пустынное плоскогорье — тассили — было сплошь покрыто воронками, вырытыми хозяином пустыни — господином ветром. Дальше тассили, понижаясь, переходило в аукер — лабиринт обрывов, промоин, останцов и отдельных крутых, как стены, гребней. Это означало близость большой впадины — эрга. Афанеор никогда не бывала здесь, но выбирала дорогу, ориентируясь безошибочно, с тем почти бессознательным чувством, которое кажется европейцу чудом. На самом же деле кочевник Сахары, с детских лет странствуя по пустыне, научается выбирать наилучший путь при одном взгляде на местность. Этот путь выберут также и другие кочевники — вот почему туарег легко находит след другого туарега, не говоря уж о проходе целой семьи со стадами и вереницей груженых верблюдов. Нескольких самых общих указаний о местопребывании Тирессуэна было достаточно для девушки, выросшей в кочевье.

Красными воротами, пробитыми в сияние солнца, потянулось впереди глубокое ущельице. Массивные каменные столбы, высеченные древними волшебниками, шли чередой по обе стороны ущелья и загораживали весь мир своим гигантским частоколом. Косые выступы почерневших твердых плит перерезали каждый столб примерно на середине его высоты. Девушке казалось, что это стоят арабские воины, одетые в красные бурнусы, с патронными перевязями через плечо... Заколдованные воины замерли в молчании — сюда, на дно ущелья, не доходил неизменно свистевший по пустыне ветер. На каждом

повороте вставали новые воины, и в этом их обязательном появлении было что-то угрожающее, невольно действовавшее на Афанеор. Она возвращалась к мыслям о том, что же случилось с Тирессуэном, раз он не смог примчаться к ней на своем Агельхоке. Что-то случилось! Тирессуэну надо удалиться от людей и дорог... Может быть, он провинился перед властями? Может быть, не следовало ему ездить в Россию, а ей — просить его? Скорей бы! Чем ближе к указанному ей месту, тем длиннее кажется путь и тише бег верблюда.

На дне ущелья выступали плиты камня. При таком крутом спаде ущелье не может быть длинным... Это тинрерт — боковой «приток» уэда. Скоро красные стены сделались серыми, понизились, разошлись в стороны, и Афанеор выехала в ираззер — главное «русло» уэда Тин-Халлен.

Уэд расстелился полосой плотного песка не меньше двух километров ширины, быстро расширявшейся к северо-западу, к впадине эрга Афараг. Весенние дожди пропитали песок водой — свежая трава, низкая и редкая, покрывала все просторное русло уэда. Издалека ее тонкие стебли придавали дну уэда вид пушистой шкуры, испещренной пятнышками синих, оранжевых и розоватых цветов. Ветер свободно разгуливал здесь, налетая могучим валом с запада. Нежная трава не могла просуществовать и недели под наливающимся злой силой весенним солнцем. Это эфемерное пастбище — ашеб — должно было исчезнуть раньше, чем к нему подошли бы стада. Солнце сильно склонилось к западу и теперь слепило глаза верблюду, по-прежнему бежавшему неторопливой широкой иноходью. Мехари сердился, вскидывал гордую голову с презрительно сложенными губами и, пронзительно вскрикивая, старался дать понять своей всаднице, что надо переменить направление. Но девушка, опустив покрывало на левый глаз, слегка дернула за поводную веревку, и желтошерстный бегун покорился. Ветер дул все сильнее, прижимая мягкую траву к почве. Казалось, что гигантская рука гладит зеленую шерстку уэда Тин-Халлен... Низкие, сильно разошедшиеся берега вдруг совсем потерялись — начался эрг Афараг. Несколько размашистых шагов верблюда — и, будто заколдованная, исчезла зеленеющая трава.

Занесенная песком, изрытая бурями поверхность эрга казалась на всем огромном пространстве совершенно

мертвой. Ветер озлобленно ревел, обнажая кое-где иссохшие корни или переметывая трухлявые остатки стеблей — призраки когда-то зеленевших здесь растений. Ни кустика тамариска, ни пучка дрина, ни тальхи — ничего живого. Свирепая засуха умертвила эрг. Афанеор сообразила, что Афараг сейчас надежное убежище для человека, не желающего лишних встреч. Солнце садилось в красной пылевой дымке западного горизонта, длинные тени ползли по необитаемой равнине, чередуясь со вспышками красного света на острых гребешках песчаных дюн, невысоких тут, неподалеку от устья уэда.

Девушка устала и приуныла. Пугающим владычеством смерти веяло от громадного выжженного эрга, чувство одиночества стало гнетущим. Даже презрительный Талак замедлил свой бег, часто озираясь и сбиваясь на рывки. Ветер бросал в лицо горсти песчаной пыли, трепал одежду, бил по щеке краем покрывала. Тягостное предчувствие давило Афанеор. Чтобы отогнать невеселые думы, девушка отвернула лицо от ветра, стараясь перебить веселой песней его унылый свист. Афанеор не могла ехать ночью по незнакомому месту и разыскивать приметы, а ночлег тут одинок и уж очень печален... Что это с ней? Или пятисоткилометровый путь слишком утомил ее? Где-то здесь должна быть высокая, отдельно стоящая дюна — гурд... Надо ехать на нее и затем правее... О, аллах велик, то Тирессуэн!

Белый Агельхок был заметен на бледно-серой поверхности эрга только глазам кочевника. Девушка погнала своего верблюда. Талак, заметив собрата, понесся во весь опор, раскачиваясь так сильно, что моментами казалось, будто мехари свалится на бок. Ветер донес зов Тирессуэна. Радостно прозвучал звонкий отклик Афанеор. Не помня себя, девушка спрыгнула на землю, не опуская верблюда. Башней вознесся над ней подлетевший Агельхок. Ноги белого мехари зарылись в песок, и Тирессуэн соскочил с седла. Афанеор была поднята сильными руками и прижата к патронным сумкам на груди туарега.

Эхен — кожаный шатер из шкур диких баранов, со столбом в центре, по обыкновению, был обмазан изнутри и снаружи светлой глиной. Надежно укрытый на окраине эрга, шатер Тирессуэна был велик, и девушка сразу поняла, что ее любимый пользовался помощью друзей. Друзья Тирессуэна — кто они? Какие они? Афанеор только сейчас спохватилась, что она не знает никого из

близких ее жениха. С кем живет ее Иферлиль — с матерью, родственниками? Девушка знала, что отец Тирессузна умер, утонув во время внезапного наводнения, какие случаются в Сахаре после ливней...

Коротки были их свидания между поездками Тирессузна. Она не успела ничего расспросить, слушая рассказы любимого и отвечая на его вопросы. И сейчас он вернулся из России... ему угрожает какая-то опасность! В конце концов, не все ли равно, какие есть у него родственники и где он живет! Ее Тирессузну покорна вся пустыня, а для нее нужен только он сам...

Холодная ночь высыпала ворохом леденящие далекие звезды. Тусклый огонек маленького костра едва мог согреть скудную пищу. Темнота почти побеждала жалкий красноватый свет, необъятная пустыня стала невидимой. Двое молодых людей сидели во мраке перед лицом великого нового мира, открывавшегося им в словах и памяти Тирессузна, в ответном воображении Афанеор. Туарег сбросил свое покрывало. В широкой синей рубахе без рукавов, туго стянутой у пояса, знаменитый проводник казался совсем юным. Горячее возбуждение от воспоминаний об увиденном покрыло темным румянцем его бронзовые щеки, заставило засветиться, как у мальчика, его суровые серые глаза.

Туарег говорил о том, как он поехал через Тидикельт и Ин-Салу в Аулеф, где находился большой аэродром. Огромный самолет, перелетевший море, доставил его в Марсель. Потом его везли в большом автобусе, связанном с целым десятком таких же. Вся связка неслась с чудовищной скоростью и поразительным грохотом. Он был привезен в небольшую гостиницу на окраине города, превосходившего своими размерами всякое воображение, около поля с целый эрг величиной, на котором день и ночь ревели такие громадные самолеты, что в них поместился бы десяток самых больших сахарских грузовиков. Не в пример другим туарегам, считающим, что всякое закрытое помещение — местопребывание злых духов, Тирессузн не боялся комнаты. Хотя жизнь в гостинице угнетала его, он ожидал там в уединении и молчании три дня. Потом его посадили в один из огромных самолетов, и он снова летел, глядя вниз, но ничего не увидел, кроме бесконечной равнины из белых облаков, в прорывах которых иногда блистала большая вода. Дважды садился самолет в каких-то неведомых странах, но Тирес-

суэна не отпускали далеко от самолета. После короткого отдыха снова ревели моторы, и самолет опять поднимался за облака. Путь был совсем недолог — меньше дневного перехода. Самолет опустился в туман и сел на гладкое, как талак, место, покрытое снегом. Стало очень холодно. Приветливо улыбавшиеся девушки, подобные служившим в самолете, только говорившие по-французски медленнее и понятнее, отвели его с пятью спутниками в холодный, как палатка, автобус и повезли в громаднейший город. Долго ехали они по улицам, покрытым снегом. Их привезли к большому серому дому на площади, украшенной статуей всадника на коне, а поодаль — неописуемо великолепным зданием из полированного серого камня с золотым куполом и высокими колоннами из цельных кусков красного гранита. Тирессуэн привык к домам и более не задыхался под потолками в клетке из каменных стен. Все же он не стал спать на мягкой кровати, вделанной в углубление стены, а улегся посреди комнаты, на ковре, где было прохладнее и больше воздуха. На следующий день его повезли через весь город к еще большему зданию, тоже серого цвета, с широкими лестницами, наполненному шкурами невиданных зверей. Покупать эти шкуры съехались купцы разных стран, в том числе и те, которые доставили его сюда. Тирессуэн молча сидел в зале такой величины, что туда вместился бы дом губернатора в Таманрассете, наблюдая, как на необъятные столы вываливались связки шкур и седовласый человек что-то кричал, стучал молотком, а купцы писали и тоже кричали. Разве за этим приехал Тирессуэн? Что увидит он здесь, в доме шкур? Туарег медленно встал, оглянулся и, видя, что на него никто не обращает внимания, вышел. На лестнице к нему подскочил какой-то человек, показывая на стоявший поодаль черный автомобиль. Туарег отмахнулся от него и пошел пешком, осторожно и недоверчиво разглядывая встречных. Тирессуэн старался запомнить дорогу между хмурыми громадами бесконечных каменных домов, таких высоких, что даже большие кипарисы в ущельях Тассили едва достали бы до крыш.

Прохожие встречали его изумленными взглядами — сразу видно было, что они никогда не видели туарегов. Но взгляды их были приветливы, молодые мужчины и женщины весело улыбались, мальчишки некоторое время бежали за ним, как это делают все мальчишки го-

родов Сахары, Нигерии и Франции. Его поразила одежда женщин — голову и шею они кутали в меха, оставляя обнаженными стройные, покрытые загаром ноги, не боявшиеся резкого, секущего сухим снегом ветра...

Тирессуэн дошел до огромной реки. Исполинские мосты горбились над ней, позади высилось необычайно красивое желто-белое здание с золотой иглой, вонзившейся в низкое, хмурое небо. Не обращая внимания на ветер, туарег пошел через мост и повернул по набережной. Река покрылась толстым льдом, местами изломанным и торчавшим остроугольными прозрачными глыбами, похожими на кристаллы горного хрусталя, которые находят в скалах Тифедеста. Ниже второго моста река была свободна на всю ширину и быстро несла свою чистую воду цвета стали, покрытую рябью под ветром. Туарег облокотился на загородку из глыб красного камня, закурил и начал раздумывать. Громадный город был прекрасен особенной, хмурой красотой. Люди, в нем жившие, казались приветливыми и несердитыми, но крепче всякого забора отделяло от них Тирессуэна незнание языка и обычаев. Кочевник Сахары, тысячи раз пускавшийся в одиночку в самые далекие поездки по мертвым пространствам пустыни, почувствовал себя здесь забытым, чуждым всем и никому не нужным. Даже мехари не было с ним, чтобы разделить его бесконечное одиночество...

Вот она перед ним, легендарная страна русских, мечта его Афанеор. Но что же он расскажет, вернувшись в Сахару? Бесполезен его сказочный путь по воздуху, бесполезны усилия, приложенные, чтобы попасть сюда.

Французы хитры — они сначала не хотели пускать его, потом разрешили поехать на четыре дня с купцами, засевшими в доме шкур. Они знали, что он ничего не поймет, не узнает, не поговорит ни с одним человеком. Афанеор просто сказала: «Поезжай, посмотри и расскажи, что увидел!» А что он увидел?

Тирессуэн осмотрелся. Город, стынувший на морозном ветру, был запорошен чистым белым снегом — праздничным цветом Сахары. Там, на юге, белое трудно сохранять таким безупречно чистым — это стоит дорого: белоснежные дворцы и дома, автомобили, ковры и циновки. Самые лучшие мехари тоже чисто белые... А здесь белый снег щедро сыплется с неба и не тает, придавая всему нарядный и богатый вид! Небо низкое, будто по-

толок в большом доме, — сплошная пелена серых туч. Поразительно, но небо здесь более темное, чем земля в ее праздничном наряде!

Нежный сумеречный свет, рассеянный, будто жемчужный, трогательно мягкий, ласкающий, а не убивающий человека, настраивающий его на тихое, грустное размышление. Ночь наступает здесь рано, тянется долго, но она гораздо светлее, чем ночи Сахары, хотя тяжелые облака лишают ее звезд и луны.

Эта страна — полная противоположность пламенной пустыне, сгорающей в неистовом буйстве солнца, сухой и каменистой, ночью тонущей в черной тьме бесконечного пространства под шатром серебристых звезд или сплошь залитой ярким светом луны, накладывающей на все кругом печать волшебства и несбыточных грез...

Тирессуэн закурил снова и повернул к гостинице близ храма с золотым куполом. Туарег закоченел: несмотря на всю его закаленность, одежда была слишком легкой для такой холодной страны. Кончился день — четверть всего срока его пребывания в России. Едва он появился в нижнем зале, как к нему подошла маленькая девушка, служившая переводчицей для приезжающих французов. Широко расставленными глазами и мелкими кудряшками светлых волос она напоминала туарегу молодую овечку. Кочевник, с молоком матери всосавший любовь к домашним животным, никогда не евший их мяса, может быть, потому относился к переводчице с симпатией. Волнуясь, девушка стала говорить Тирессузну. Она заметила полную отрешенность туарега от торговых дел и поняла, что он приехал просто посмотреть ее страну. Однако он очень плохо знает французский язык, и, чтобы помочь ему в знакомстве со страной, нужен человек, знающий арабский. Языка туарегов, прибавила девушка, она думает, никто здесь не знает. Но ее друг изучает арабский язык, был в Египте и сможет быть полезным Тирессузну. В тот же вечер явился молодой веселый человек с рыжими волосами и лицом, усеянным, несмотря на зиму, веснушками. Французские спутники туарега отнеслись к новому знакомству неодобрительно. После ухода студента они до ночи объясняли ему козни коммунистов и их умение обманывать и опутывать неопытных людей. Но, в конце концов, навязанный им туарег только мешал. Они были довольны, что его смогут занять осмотром Ленинграда и они избавятся на оставшиеся три

дня от сурового чужака, который не пил вина, ничего не смыслил в еде и почти все время молчал. На следующее утро студент явился за Тирессуэном. Судьба помогла ему, одинокому и невежественному страннику, хоть немного узнать страну, в которую он попал по просьбе Афанеор...

Туарег замолчал и задумчиво стал подгребать несгоревшие стебли на середину костра. Ветер упал — подошел самый поздний, предрассветный час безлунной ночи, когда ложится лошадь и встает верблюд. Звезды померкли, будто стихший ветер перестал раздувать их огоньки, и на небе едва обозначилась уходящая за горизонт волнистая поверхность эрга. Афанеор воспользовалась задумчивостью Тирессуэна и задала ему вопрос, который сейчас интересовал ее больше всего.

— Это очень важно, — нахмурился Тирессуэн, — и я должен был бы пояснить тебе ранее, но увлекся рассказом. Большая беда надвигается на нас, худшая, чем голод, засуха или война!

— Что же может быть хуже всего этого?

— Помнишь у могилы дочери Ахархеллена наши думы? Как мы, туареги, сделались владыками пустыни? Ценой отрешения от благ оседлой жизни, закаленным во множестве поколений, привычным к лишениям, скудной пище, жаре и холоду, нам удалось победить пустыню и сделать ее местом своей жизни, недоступным гораздо более многочисленным и могущественным народам. Сравни нас с жителями оазисов — те изможлены нездоровым воздухом, поголовно больны лихорадкой, запуганы. В тесноте они начинают и кончают свою жизнь. То же я видел на берегах Нигера, и правы наши отцы, говорившие: «Бойся страны без скал, где растут большие деревья, — там ты умрешь, а с тобой твой верблюд». Теперь подходит расплата: отказавшись от оседлой жизни, мы отбросили и возможность получить большое знание и остались такими же простыми воинами и скотоводами, какими были предки наших предков...

— Но ты ведь учился во французской школе, усвоил их мудрость! — не сдержалась девушка.

Тирессуэн рассмеялся и ласково убрал со щеки Афанеор непослушный завиток ее иссиня-черных волос.

— Меня только выучили говорить на их языке, и то плохо. Может быть, я неспособный? Французы не верят нам, они следят за нами, всегда судят о нас с подозре-

нием... По-своему они правы! Но все знания о мире и жизни были в их руках, ибо только через них мы узнавали дорогу к мудрости мира. Теперь я понял, какая большая беда, если дорога к знанию находится во власти военных начальников, преисполненных лжи и трусости! Мы можем знать лишь то, что разрешат нам! И мы живем на острове невежества среди громадного мира, в котором, как в пустыне после дождей, бурно растет могущество знания.

— Только в этом беда? — ласково усомнилась Афанеор. — Уйдем с тобой через Ливийскую пустыню к арабам — там, говорят, новые государства, освободившиеся из-под власти европейцев. Там ты получишь знания и... научишь меня. И мы вернемся, чтобы показать этот путь всем. Кто удержит верблюда в песках или туарега в пустыне?

— Беда в другом! Придумано небывалое оружие — бомба, которую сами европейцы называют адской. Взрыв ее может уничтожить в мгновение ока самый большой город, такой, как Париж или город Ленина, в котором я был в России. Мало того. После взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная отрава. Она проникает в кости человека, заставляет его умирать в мучениях, лишает силы. Она делает мужчин и женщин бесплодными, а нерожденных детей — уродами. Никто не может спастись от яда — он в земле и воздухе, в огне и воде, в пище, даже в молоке матери!

Афанеор в испуге отшатнулась:

— Это так ужасно, что кажется сказкой о злобных джиннах!

— Горе, но это правда! Джинны действительно создали эту страшную штуку. Весь мир в большой опасности, а теперь эта опасность подошла и к нам. Чтобы сделать эти бомбы еще страшнее и ядовитее, они устраивают пробы. Для этого выбирают пустынные, не нужные им места, отдавая их в жертву отраве, и вот французы выбрали Сахару!

— Но ведь не будут делать пробу там, где есть люди?

— Нет, конечно. Я думаю, что они возьмут самую мертвую местность пустыни.

— Танезруфт?

— Нет, там проходит большая автомобильная дорога в страну черных. Они, наверно, выберут пустыню Тенере или рег Амадрор. Я не знаю, только думаю так!

— Но там и в самом деле никого нет!

— Но яд разнесется оттуда по всей Сахаре!

Афанеор опустила голову и молчала. Тирессуэн закурил, устремив взор в розовую мглу, заливавшую эрг с востока. Девушка, помолчав, сказала:

— И ты, узнав об этом, рассказал другим? И за это военные стали преследовать тебя?

Туарег кивнул, зорко взглянув на Афанеор.

— И ты чувствуешь, что обязан это делать... я то же сделала бы на твоем месте и... буду делать с тобой или одна!

Тирессуэн порывисто поднялся.

— Ты хочешь мне помочь? Ты будешь со мной? Это так хорошо, что даже трудно сказать! Французы — они думают, что наши женщины такие же пленницы мужчины, какими они представляют себе арабок! Поэтому ты не будешь у них на подозрении, а то, что знают женщины, будут знать все!

— Да, я постараюсь — и дети узнают от матерей, мужчины — от возлюбленных, внуки — от бабушек!

— Но ты будешь в большой опасности. Если узнают, то не пощадят тебя!

— А ты что хочешь делать? — упрямо нахмурилась девушка. — Расскажешь все... а потом? У французов — броневики, самолеты, они сотрут с лица земли горстку туарегов... Неужели возможно сопротивление?

— Сопротивляться безнадежно — пустыня вся открыта с воздуха, и мы на ней как на ладони для самолетов. Но весь народ уничтожить не дадут — это я тоже узнал! Теперь другое время, и каждая страна уже не может делать все, что хочет, в своих владениях. Есть собрание союза стран, есть твоя заветная Россия — она уже выступала в защиту арабов. А мы не дадим привезти ядовитую бомбу ни в Тенере, ни в Амадрор! В пустыне есть тайные источники, не отмеченные на французских картах, есть и хорошие убежища. Если аллах судил нашему народу умереть, то он умрет с оружием в руках, а не подохнет от отравы, как облезлый пес жителя оазиса!

Девушка прильнула к Тирессуэну, обвивая его шею своими смуглыми тонкими руками.

— Ты дашь мне, — горячее чистое дыхание ласково коснулось лица туарега, — это... — девушка показала на винтовку, прислоненную к опорному столбику шатра, — я умею стрелять!

— Потом! Сейчас нужнее твое слово и твои песни.

— Я поняла! Но как ты узнал о низком деле, задуманном французами? В России? «Поселитесь под крышей в городе, и низость войдет в ваши сердца!» — верна старая поговорка.

— Нет! Была верна для прадедов в маленьком нашем мире! Я узнал обо всем не в России — во Франции. И там есть люди, много людей с чистым сердцем. Они защищают нас, они пишут, кричат, рисуют — делают все, чтобы не дать отравить Сахару. И еще множество людей во всех странах...

— Тогда почему же не запретят совсем эти адские бомбы?

— Есть страны, где народ под гнетом власти, тем более сильной, чем выше стало могущество оружия. Когда-нибудь, если смертельная опасность наступит им на горло, народы поднимутся, презирая смерть, и никакое оружие не спасет зарвавшиеся власти. Найдут самую глубокую на земле пещеру и закопают там навсегда ужасное порождение злых джиннов.

— А сейчас?

— Прости их, они не воины! Еще очень плохо — людям так много лгали, что они не верят друг другу более, не верят никому, хотя бы тем, кто пришел открыть им глаза и спасти их. Это самая большая беда для народов Европы.

— О да! Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее сердца! Но что же увидело твое сердце в России? Теперь я знаю о тебе, иду с тобой, но ты мне не сказал еще всего о путешествии...

— Очень поздно. Завтра мы поедем к ихаггаренам твоего племени. Путь длинен, и ты узнаешь все, что я видел!

Верблюды выбрались из уэда и пошли по длинной гряде над морем высоких дюн. Острые, изогнутые верхушки песчаных холмов были окрашены солнцем, как тысячи кривых сабель из сверкающего золота, разбросанные по равнине. Горячий ветер немного умерял зной солнечных лучей, лившихся на землю потоками огня. Мехари не любят бежать вплотную. Тирессуэну приходилось напрягать голос, продолжая свои рассказы. Под свист ветра пустыни он говорил о молодом друге из русского

города, который не задавал ему назойливых вопросов, какими досаждали ему французские газетчики. Он охранял Тирессуэна от излишнего любопытства, вызываемого его необычным нарядом, и старался лишь показать ему побольше.

Туарег запомнил посещение громадного завода, где люди в промасленных костюмах ловко повелевали непонятными машинами. Металлическая пыль въелась в их лица и руки, отчего все они казались более черными, чем другие люди русского народа. Там, где плавили сталь, работа показалась туарегу достойной духов ада — джиннов. Но там были не джинны, а приветливые люди, которые встречали Тирессуэна так просто и открыто, что туарегу казалось, будто он давно знает их.

Тирессуэн запомнил также гигантский дворец, наполненный картинами. Туарег долго шел по бесконечным высоким залам, увешанным картинами от пола до потолка. Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и рыхлыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то униженно валялись в ногах у свирепых владык, то объедались невероятным количеством пищи. Нередко на картинах размерами больше эхена была изображена только пища — отвратительные груды зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлебы...

Недоумевающий Тирессуэн попросился уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высокими колоннами из розового или серого полированного камня. Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубовато-зеленого камня, оправленного в золото (бронзу, как сказал его спутник-студент). Белые статуи нагих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося от серого неба через громадные, наглухо закрытые стеклами окна...

Окончательно примирил Тирессуэна с дворцом северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высоко вверх уходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч граненых кусочков хрусталя, переливавшихся всеми

цветами радуги. Блестел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В нишах справа и слева по резным из мрамора раковинам, вделанным в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала не с обычным резким и мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега и свет неба за окном соединялись в одно с серебряно-белым хрустально-зеркально-мраморным залом. Это было такое неописуемо чудесное зрелище, что туарег долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тирессуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной...

Афанеор вскрикнула от восхищения, и Тирессуэн вернулся к действительности. Далеко вперед уходила золотисто-бурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озерки.

— А наши мерайа, — воскликнула девушка, — отдают тот же могучий свет, какой низвергает солнце нашей страны! И в нем понятная нам красота и сила...

— У нас свет слишком беспокойный. Он не дает думать, чувствовать, так же как дышать — глубоко и долго. Здесь человек размышляет, поет, собирает мудрость и счастье по ночам, там, на севере, это делают днем, и времени на труд и мысли у них больше...

— И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы! — добавила Афанеор.

Тирессуэн остановил мехари.

— Здесь надо повернуть на восток, туда. — Он показал на отдаленный горный уступ, один из северных отрогов Тифедеста, окутанный в дымку горячего воздуха, невероятно искажавшую его очертания. — Там проходит автомобильная дорога, — продолжал туарег, — и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полдневной жары. Поедем направо и спустимся в аукер.

...Афанеор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала Тирессуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопанье бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева, — хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение.

Тирессуэн продолжал говорить о России. Мощь памяти человека побеждала природу и переносила Афанеор за тысячи километров, в страну, где впервые побывал человек Сахары.

В день посещения серебряного зала — третий, предпоследний день его пребывания — к проводнику Тирессуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели туарега вечером на ахаль — музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречалось Тирессуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На ахалях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании.

За Тирессуэна заплатили его провожатые и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала обитой красным бархатом загородкой. Провожатые объяснили туарегу, что здесь собрался вовсе не весь город, а меньше тысячной части его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тирессуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени кель-ахаггаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом...

Спутник Тирессуэна стал объяснять представление — сказку о девушках, превращенных в лебедей злым волшебником и освобожденных любовью юноши к царице лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди — это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тирессуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших над западной частью Сахары.

Потух свет. Оркестр из сотни людей с какими-то сильно и красиво звучащими инструментами начал пленившую туарега мелодию. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные и тоскливые, потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились всё более звенящими, теперь напоминая Тирессуэну те таинственные зачаровывающие звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, — пение песков перед сильной песчаной бурей. Слыхал их и Тирессуэн — звонкие вопли серебряных труб, несущие оцепенение и сознание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли как на крыльях, томили ожиданием чего-то пре-

красного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств — исканий и непокоя...

Туареги — музыкальный народ, и Тирессуэн, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл о самом себе.

Ожидавший несколько насмешливо европейского ахаля, думая, что европейцам несвойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, туарег был захвачен врасплох и побежден русской музыкой.

Все было необыкновенно в поразительном представлении — и яркие сцены придворных балов, и замечательные декорации, делающие сказку действительностью. Но туарег весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тирессуэн видел в Бу-Сааде знаменитых танцовщиц племени улед-наиль с гор Любви — девушек, о которых по всей Африке говорят, что у них глаза как огненные мухи, ноги газелей, а животы подвижнее и быстрее, чем язык хамелеона. Танец живота выражал неутомимость и гибкость, поразительную подвижность всех мышц тела, яростные, почти гневные порывы страсти и также удивлял поразительным искусством. Но туарег не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девические тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. Не надо было даже слышать музыки, чтобы понять происходящее. Тирессуэн видел, что красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как беломраморные создания искусства, виденные им во дворце-музее. Нет, неверно, во сто раз более прекрасной, потому что здесь — сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм!

Музыка и танец сливались воедино... Протяжное и грустное пение скрипки улетало ввысь, как луч одинокой звезды, и белая девушка-лебедь тоже стремилась унестись за ним в томлении пробуждающейся любви и тоске, что не сможет осуществиться запрещенная ей страсть...

И звенящая музыка, и прозрачный свет над ночным озером, и белые девушки-птицы сливались в такую же гармонию хрустально-серебряной белизны, как необыкновенный зал во дворце странных картин, как сам заснеженный северный город на широкой заледенелой реке.

Другая музыка, такая же певучая, но более глухая

и низкая, остерегающая проскальзывавшими недобрыми нотами резкого диссонанса, сопровождала танец черного лебедя. Обтянутое черным бархатом точеное тело девушки изгибалось в призыве темных чувств, прорвавшихся в насмешливо-торжествующей музыке удавшегося обмана... Размеренно стонала и билась в отчаянии мелодия утраченной надежды и обреченности, легкие взлеты скрипок отражали певучие жалобы девушек-лебедей, склонявшихся перед судьбой в голубом лунном свете...

И возрождение былой любви в том же стремлении поющих скрипок, закончившееся победой над глухими диссонансами обмана и насилия...

Тирессуэн был потрясен невиданным музыкальным собранием. Кристально-чистую музыку сопровождал столь же совершенный, как граненый самоцвет, танец. Ритмически сменявшиеся позы царицы лебедей чудились туарегу буквами таинственного тифинара, вещавшими ему особенную, полную неожиданностей судьбу. Ему трудно было поверить, что девушки-лебеди — простые смертные, а не волшебницы или гурии, ниспосланные с неба в северную страну. Провожатые уверяли туарега, что единственным отличием танцовщиц от всех других людей было лишь долгое — с пятилетнего возраста — обучение искусству танца.

Тирессуэн попросил показать ему одну из этих девушек, а если бы это было возможно, то он мечтал бы поглядеть на саму царицу лебедей. Провожатые посовещались и обещали, что попросят ее об этом завтра, но не теперь, после трудного представления. Тирессуэн напомнил, что завтра — конец его пребывания в России. Но молодые люди не обманули его. Туарега пригласили на поездку в парк на острова, и сама царица лебедей согласилась принять в ней участие. Тирессуэн изумился, увидев невысокую светловолосую девушку, такую простую и скромную, что с первого взгляда он не мог найти в ней ничего общего со вчерашней волшебницей танца и красоты. Серое толстое пальто, перехваченное в талии широким поясом, задорная детская шапочка на густых светлых стриженых волосах, большие, чуть грустные серые глаза... Только необычайное изящество и легкость движений, какая-то не покидавшая девушку внутренняя сосредоточенность могли подсказать наблюдательному взору, что перед ним — выдающаяся артистка. Душевный огонь, сделавший девушку царицей лебедей, как бы про-

свечивал изнутри, выдавая долгие годы физической и духовной тренировки, воздержания в пище и удовольствиях — то, что было близким и понятным туарегу.

Автомобиль шел вдоль неоглядной снежной равнины, как сказали потом — замерзшего моря, под раскидистыми соснами с красно-лиловой корой. Потом они шли пешком по протоптанным в снегу тропинкам и попали в рощу огромных серебристо-белых деревьев. Всюду, куда только хватал взгляд, стояли белоснежные, украшенные черными штрихами стволы. Тонкие черные веточки наверху были без листьев. Они опали в долгое и суровое холодное время года...

Внезапно покров тяжелых туч распахнулся, открыв небо очень яркой голубизны. Солнце зажгло миллионами сверкающих искорок крупный снег.

— Смотрите, смотрите! — воскликнула царица лебедей.

И Тирессуэн обернулся, поняв восклицание чужого мелодичного языка. Девушка показывала вверх.

Заледенелые белые деревья начали оттаивать. Высоко в ясном голубом небе их ветви переплелись серебряной, унизанной жемчугом пряжей. На гибких веточках повисли капли воды — в солнце они горели алмазами над другими темными и колючими деревьями, покрытыми пухлыми тюрбанами снега.

Вдруг сверкающая, шатром раскинутая в бездонной голубизне жемчужно-серебряно-алмазная сеть угасла. Низко опустилось закрывшееся облаками небо, более темное, чем земля. Зелень колючих конических деревцев сделалась совсем черной. Призрачными полосами убегали вдаль голые кустарники. Крупные блестящие хлопья падали медленно, крутясь в безветренном воздухе, полные немыслимого в Сахаре покоя.

Но ярче созданного морозом алмазного шатра засветились серые ясные девичьи глаза, поднятые к Тирессуэну. Снежинки блестящим венцом легли на выбившиеся из-под шапки волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

Свежий, особенный запах тающего снега шел от разрумянившегося лица, а напоенные морозным воздухом волосы издавали теплый аромат жизни. И туарег, любуясь этой чужой и бесконечно далекой девушкой, ощутил контраст холодной зимней красоты, сотканной бесплотным светом, и человеческой живой прелести. Теперь

Тирессуэн понял все до конца. Бессолнечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, порождала таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как пламенная сухая земля юга. Права была дочь Ахархеллена, устремляя свои мечты вслед за Эль-Иссей-Эфом к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли, как то сделали и предки туарегов. Они закалили тело и душу в морозной белизне севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары! Вот почему душа русского человека смотрит глубже в природу и чувствует богаче, чем душа европейца, вот почему Эль-Иссей-Эф так хорошо понимал кочевников пустыни, а те — его!

Четыре дня в России пролетели мгновенно, но он все же успел почувствовать, понять страну сердцем, а не разумом, как то и советовала ему Афанеор. Он вернулся вестником правоты дочери Ахархеллена!

И еще узнал Тирессуэн совсем странные вещи. Будто бы есть такие догадки или легенды, что народы тиббу и туарегов — близкие родичи и оба составляют самый конец тоненькой ветки, протянувшейся из ночи прошедших веков. Другой конец той же ветки тянется в обширные степи к северу от Черного моря — прародине русского народа. А оба конца сливаются в общем основании — общих предках где-то в степях Средней Азии и предгорьях громадных хребтов за Ираном.

Тирессуэн умолк и закурил, вновь переживая все врезавшееся в его острую память. Афанеор молчала, лежа у ног Тирессуэна, пока тот не погладил ее растрепавшиеся волосы. Девушка подняла к нему свои огненные глаза и смущенно спросила:

— Они очень красивы?

— Кто?

— Девушки-лебеди и она... их царица?

Туарег рассмеялся.

— Очень красивы. И в жизни и в музыкальном собрании. Красивы так, что трудно поверить. Но мою черную, насквозь сожженную солнцем Афанеор я не отдам за всех них. Ты сама мое солнце, и такое же пламенное, какое оно здесь, на нашей с тобой земле. Ты моя избранница, а значит, лучше всех женщин на земле, хотя их очень много и все они разные. Но я люблю тебя и жизнь буду делить только с тобой!

Ночь была безлунной и безветренной, как там, на далеком севере. Но воздух пустыни был прозрачен, как темный свет, и вечно безоблачное небо приближало звезды к земле, отчего земля как будто сливалась с бесконечным пространством. Когда-то, очень давно, древние египтяне поклонялись всеобъемлющему пространству, называя его Пашт, и всепоглощающему времени — Шебек. Оба божества олицетворялись пустыней, как бы соединявшей их в одно целое, бездонное и молчаливое, в котором тонули все мысли, усилия, жертвы и сама жизнь бесчисленных и безымянных поколений людей. Современные обитатели Сахары не знали об этом, но, как и древние египтяне, чувствовали свою связь с бесконечностью пространства и времени, уносясь взором и мыслью в ночную пустыню. Только теперь пустыня уже не казалась им всеобъемлющей. Как озеро мертвенного покоя и молчания, она была окружена жизнью множества стран, стремившейся все заполнить и все подчинить себе.

Туареги знали теперь, что все грознее становится могущество человека и все больше — его слабость перед лицом им же созданных опасностей, каких еще не существовало в прежнем мире. Что на всей огромной планете идет борьба за справедливость и счастье, что непоборимая европейская цивилизация сама подтачивает себя изнутри и ее полный противоречий мир должен уступить место другому, более совершенному.

Белый и желтый мехари отдувались после долгого бега, медленно поднимаясь на широкий уступ отрога Тифедеста.

— Сегодня ночь холодного огня! — воскликнула Афанеор, проводя рукой по шее своего верблюда и вызывая этим множество голубых искр.

Электрические ночи нередки весной в горах Сахары. Чем выше поднимались всадники на гору, тем сильнее сыпались искры с шерсти животных и с их собственной одежды. Ущелье, служившее тропой на плоскогорье, вилось синеватой мерцающей речкой в непроглядном мраке среди черных стен.

Оно привело путников в небольшую циркообразную впадину со ступенчатыми краями, обставленную заостренными скалами отполированного ветрами и солнцем черного диорита. Каждая скала была окутана слабым голубым мерцанием, на острие верхушки уплотнявшимся в факел синего огня. Глубочайшая тишина нарушалась

только легким шарканьем верблюжьих ног. Афанеор и Тирессуэн молчали, чувствуя себя в запретной стране заколдованного Тифедеста, принадлежащей иному миру, чем тревожная и мечтательная ширь Сахары.

Медленно поднялись они на плоскогорье, и в темном просторе мгновенно исчезло колдовство синих факелов. Тирессуэн остановил мехари, сбросил головное покрывало и прислушался. Издалека, с дороги, которую они только что пересекли, нарастал мерный грохот. Разлилось, приближаясь, сияние автомобильных фар. Девушка хотела спешиться и положить верблюда, но туарег остановил ее:

— Они ослеплены собственным светом!

Внизу, из-за поворота, вынырнула первая машина. Длинная, на шести высоких колесах, с низким корпусом из броневых плит, она отличалась от своих мирных собратьев, как отличается крокодил от рабочего быка. Что-то рептильно-злобное и тупое было в ее плоской передней части с горящими, широко расставленными фарами и боковым прожектором. Броневая машина металась по извилистой дороге, хлеща фарами по сторонам, будто выслеживая кого-то. Следом один за другим появлялись такие же крокодилообразные броневики, так же метались из стороны в сторону и уносились к югу в клубах золотившейся в свете их фар пыли. Глухо, назойливо и упрямо ревели моторы, громко шуршали по щебню широкие шины, угрожающе торчали вперед дула пулеметов и скорострельных пушек. Сила Запада, непреклонная и безжалостная, тянулась стальной вереницей по пустыне. Афанеор тревожно посмотрела на Тирессуэна и замерла. Голубое холодное пламя обтекало туарега с головы до ног, струилось по верблюду, горело высокими огнями на ушах и носовой палочке мехари. Бронзовое лицо туарега в рамке голубого свечения казалось отлитым из чугуна и приобрело нечеловеческую четкость и твердость. Тирессуэн почувствовал взгляд девушки и положил на ее отставленный локоть свою сильную руку. Афанеор взглянула и поняла, что сама облита таким же голубым огнем.

«Не боишься?» — взглядом спросил ее туарег.

«Нет!» — так же ответила Афанеор.

Два всадника на высоких, как башни, верблюдах стояли меж черных скал над проползавшей внизу вереницей броневиков.

АДСКОЕ ПЛАМЯ

Тяжелые грузовики раскачивались и глухо урчали в знойной пыли. Массивные баллоны с хрустом давили поросли колючек. Горячий ветер задувал под тенты, сохли и трескались губы людей, скучившихся на дне кузова, под надзором конвойных с автоматами.

Машины бросало из стороны в сторону на кочковатых песках, головы усталых людей вяло мотались. Лязгали и гремели замки бортов, назойливо колотились на ветру распахнутые брезентовые стенки, шестерни передач тянули безнадежно унылую песню.

На сотни миль вокруг простиралась Большая Песчаная Пустыня северо-западной Австралии. Машины пробирались к какой-то неведомой цели, скрывшейся за серой пылевой завесой тусклого горизонта. Озлобленные тяжелой дорогой и жарой, водители упрямо гнали, форсируя моторы, не обращая внимания на рытвины и бугры бездорожья и не церемонясь с живым грузом, плотно забитым в раскаленные железные кузова.

Ауробиндо сидел среди товарищей по несчастью в предпоследней машине, прижатый к горизонтальному ребру борта. Это ребро, точно осатанелый враг, беспрерывно толкало его в наболевшее плечо. Но мысли индуса были далеко. В тысячный раз перебирал он в памяти все, что привело его к этой участи. В тысячный раз спрашивал он себя, не допустил ли ошибки, согласившись променять тюрьму на родине, в Южной Африке, на работу здесь, в три раза сокращавшую срок его заключения.

Около двух месяцев прошло со времени суда, который, несмотря на благоприятные показания многих свидетелей, знавших Ауробиндо с пеленок, несмотря на умелую защи-

ту опытных адвокатов, приговорил его к трем годам тюремного заключения. Ведь он был индус, и его защитники тоже были индусы...

В тюрьме, в тишине одиночной камеры, он мог без конца предаваться своим мыслям. Индус не думал о мести при воспоминании о подлом предательстве, бросившем его в тюрьму, опозорившем его имя, повергшем в отчаяние его родных. Ауробиндо понял, что жизнь столкнула его с огромной и безжалостной системой, составлявшей основу благополучия другого, обладавшего властью и силой,·государства. Те подлецы были только частичками, неотвратимо включенными в ход всей машины... Он думал бороться с произволом властей оружием интеллигентного человека — противопоставить их уму и знаниям, их воле и философии свой ум и свою философию. А они в мгновение ока применили к нему грубую силу, обошлись с ним как с низким преступником. С глубокой печалью Ауробиндо прощался со своими юношескими мечтаниями. Он думал идти по жизни бесстрастным, чистым и далеким от всей ее мелочности, тоски и убожества, постепенно совершенствуя себя в духе великих установлений Веданты. Отстраняясь от всего недостойного, не преследуя никаких личных целей, кроме самовоспитания, он думал быть неуязвимым для ударов судьбы. Но вся его жизнь сломилась от первого серьезного столкновения с судьбой, подобно вот этой веточке кустарника, только что вдавленной в песок тяжелым колесом автомобиля.

«Легко быть хорошим среди хороших, много труднее быть хорошим среди плохих» — так говорил новый его друг, зулус Инценга. Ауробиндо встретился с зулусом, тоже студентом, только другого, Блюмфонтейнского университета, в тюрьме, в которую тот попал по столь же подлому обвинению, как и он сам. Инценга сообщил ему, что среди заключенных производится набор на тяжелые работы в Австралийской пустыне, где белые не могут работать из-за жары, а цветные рабочие бегут вследствие трудных условий. За год работы там осужденным не за слишком тяжкие преступления засчитываются три года заключения. Зулус советовал Ауробиндо рискнуть и отработать год, зато быстро покинуть тюрьму и вернуться к жизни. Индус согласился и оказался вместе с двумя сотнями подобных ему заключенных — негров, индусов, малайцев — в Австралии. Но сейчас, несмотря на то, что неунывающий Инценга находился за несколько десятков

метров от него, в другом грузовике, Ауробиндо терзался сомнениями. Тупое существование изнуренного рабочего скота среди таких же отупевших товарищей было очень тягостно нервному индусу. Ауробиндо начинал мечтать о покое тюремной камеры, где он мог хотя бы спокойно размышлять, погружаясь в философскую флегму. Но как только он начинал думать о сроке, то сразу ощущал прилив сил, угасавшая в душе надежда возрождалась снова...

Грузовик повернулся, солнце позолотило запыленные складки брезента, остро напомнив индусу складки занавесей в его родном доме. На мгновение Ауробиндо унесся мыслями в тот далекий и недоступный ему мир.

Ауробиндо шел, гордо неся голову в белоснежном тюрбане. Прямые улицы Иоганнесбурга были полны тяжелого зноя. Запах разогретого асфальта смешивался с перегаром бензина. Прохожие, редкие в этот час январского солнцепека, укрывались под рядами белых навесов, затенявших витрины магазинов.

В подъезде большого дома прятался пожилой газетчик, хрипло и вяло выкрикивавший последние новости. Ауробиндо, поравнявшись с ним, был выведен из задумчивости.

«Мэлан отстаивает свои позиции в комитете ЮНО с прямотой и твердостью истинного британца... Мы не позволим вмешиваться в наши внутренние дела... Долой коммунистическую пропаганду и слезливое сочувствие индусам!..» — хрипел газетчик, обмахиваясь пачкой свежих листов.

Молодой индус поспешил взять газету, стараясь не замечать лукавой гримасы старого пропойцы.

Худшие опасения оправдались. Ни полные истинно человеческой гуманности выступления лидеров Советского Союза, ни заявления делегатов Индии не имели результатов. Реакционеры в правительстве Южно-Африканского Союза продолжали неистовствовать, а Совет Безопасности не хотел вмешиваться... Смутное ощущение надвигающегося несчастья легло на душу Ауробиндо. Мысли индуса перенеслись к своим соплеменникам. Как по-разному воспринимают они полосу притеснений здесь, в этой стране, ставшей для многих второй родиной!.. Ауробиндо и не знал никакой другой родины. Да разве в Ориссе, где родился его отец, индусы в лучшем положении? Он вспо-

мнил молодого Ананд-Наду с обогатительной фабрики Де Бирса, посещавшего вечерние курсы, где преподавали студенты-добровольцы. Ауробиндо нередко беседовал с ним, отдавая должную дань силе его ума. Теперь Ананд-Наду в тюрьме, и с ним несколько сот индусов — тех, которые думали серьезно бороться с притеснениями... Вот и весь их короткий путь. Разве не более прав он, последователь Веданты, носящий имя величайшего философа Индии Ауробиндо Гоза? Внутренний путь усовершенствования — вот та единственная дорога, которая приведет его к торжеству над угнетателями, над их грубой силой и животными инстинктами. И все же он не мог не думать о тех, в тюрьме, без чувства невольного уважения. Много других покорно склонилось перед неизбежной судьбой. Одни — с отчаянием, другие, богатые, — с надеждой на продажность чиновников и судей. Но его путь — ни тот, ни другой.

Молодой индус незаметно дошел до своего дома. Длинный проход подворотни встретил его приятным полумраком. Домашние отсутствовали, и Ауробиндо быстро прошел в свою комнату, выходившую в глубину двора. За приоткрытой дверью послышались легкие шаги. Голос сестры окликнул его. Девушка быстро вошла, чем-то встревоженная, с гневными словами:

— Ты знаешь, Ауробиндо? Это становится нестерпимым!.. Отца вызывали в полицию и угрожали, что вышлют отсюда. Им не нравится, что ты студент, скоро уже будешь врачом. Ищут, к чему бы придраться... Будь осторожен! — Девушка подняла опущенную руку брата и прижала к своей щеке.

Ауробиндо повернулся к сестре и ласково посмотрел на нее. Черные глаза из-под длинных ресниц ответили ему преданным взглядом. Бронзовое лицо сестры, как всегда, обрадовало Ауробиндо своей нежной красотой, часто свойственной дочерям индусского народа. Ауробиндо нежно коснулся иссиня-черных волос, прикрытых голубой шелковой кисеей, и стал уверять сестру, что ему ничего не угрожает. Если бы он знал, что через два дня будет увезен в полицейском автомобиле как тяжкий преступник!..

На северной окраине пустыни Джибсона протянулась унылая гряда холмов красного песчаника. Вокруг, насколько хватал глаз, простиралось скопище бесчисленных

бугров песка, поросших пучками редкой и высокой, неимоверно колючей травы — спинифекса. Резкий ветер почти не колебал ее жестко торчащих вверх серых побегов, но зато наполнял воздух тучами пыли, сквозь которую даже свет ослепительного солнца казался красноватым. Этот красноватый свет, красные пятна голого песка между редкими пучками спинифекса, красные скалы на склонах холмов подчеркивали безжизненность пустыни, казалось затерявшейся на краю света. Высокие заросли малли-скреба — эвкалиптового кустарника — тянулись полосами среди песчаниковых гряд, но лишь усиливали безотрадное впечатление мертвым сизо-зеленым цветом своей жесткой, повернутой ребром к небу листвы.

На востоке горизонт был яснее, и там очень далеко едва выступала среди песчаного моря в призрачной голубой дымке острая вершина горы Разрушения. Но на западе в багровой дымке пыльного воздуха виднелись неожиданно четкие контуры каких-то построек, стальных вышек. Ночью зрелище было еще более поразительно. В непроглядной тьме горели, как большие звезды, яркие огни сторожевых вышек, разливалось общее сияние освещенных зданий, мастерских, строительных площадок...

Зулус Инценга, тщательно подбирая все крошки драгоценного табака, набивал самодельную трубку. Оба товарища лежали рядом на самом краю деревянного помоста, под низкой крышей без стен — месте ночного отдыха сотни рабочих. Сильные электрические лампочки на высоких столбах бросали резкий свет в глубину мрака пустынной ночи. Где-то направо, у колючей ограды, слышались ленивые шаги часового. Почему-то на всей территории строительства было много охраны, хотя бежать из лагеря в окружающую пустыню было то же самое, что попросту повеситься.

Слабое дуновение ветра чуть обвевало обнаженные тела — индус и зулус были в одних набедренных повязках. Черная кожа и бронзовая одинаково отблескивали в свете сторожевых фонарей, падавшем на край помоста. Ауробиндо растирал свои руки — они превратились в мозолистые, грубые лапы с исковерканными ногтями. Когда-то, бесконечно давно, он мечтал о тончайших операциях нервной хирургии. Представив себе такую операцию, производимую своими лапами, он горько улыбнулся. Инценга раскурил трубку и, как бы угадав мысли индуса, сказал:

— Забавно подумать, что тут вот, в этой безлюдной пустыне, лежат два студента, девять месяцев работавшие землекопами и каменщиками. Должно быть, мир очень богат медиками и гидрогеологами... — Зулус невесело рассмеялся. — И как зависит человек от своей жизненной обстановки!.. Вот мы с тобой в Австралии — такой интересной стране, когда-то называвшейся раем для белого человека. А что мы видели здесь, кроме пустыни? Даже высадить нас сумели в самом унылом порту... Где-то растут исполинские леса пятисотфутовых эвкалиптов, расстилаются цветущие просторы голубых трав, плавают черные лебеди... А как интересна Австралия для людей нашей науки — гидрогеологии! Огромные бассейны подземных напорных вод, очень древних по своему происхождению, — таковы и наши артезианы здесь, в этом гиблом месте. Большинство этих вод горячие — Австралийский материк таинственным образом более горяч в своих глубинах, чем все другие материки мира... Да, обо всем этом нужно сейчас забыть, — оборвал зулус, — иначе не вытерпишь и того, что осталось!!

Они замолчали, припоминая все испытанное ими за двести семьдесят дней отупляющего рабского труда. Они строили дорогу через пустыню, вырубали ужасные колючие кустарники акаций — мульга-скреб, — протянувшиеся бесконечными милями под безжалостным солнцем. Дробили щебень, ломали камни, вертелись, дрожа и задыхаясь от усталости, у ненасытной пасти машины, изготовлявшей бетон, и копали, копали и копали песок и затвердевшую красную глину, трещиноватую скальную почву... Тянули провода, ставили столбы, возводили стены и крыши...

Ауробиндо невольно повернул голову налево, туда, где слышался ровный, монотонный гул электростанции и разливалось в темноте сияние электрических ламп.

Там возвышались огромные массивы бетона, покрытые толстыми стальными плитами, — странные и чудовищные постройки неизвестного назначения. Поодаль вытянулись разборные белые дома — жилища только что приехавших сюда серьезных людей в безукоризненно белых костюмах, которым, казалось бы, вовсе не место в этой глухой, безлюдной пустыне. Окруженные рвом, стояли низкие здания без окон, как бы наглухо замкнувшиеся от окружающего мира. Они намекали на недобрую и таинственную работу, которая должна была происходить внутри, работу, прятавшуюся от света дня и человеческих глаз.

Инценга и Ауробиндо давно уже пытались разгадать назначение этих таинственных построек, так поспешно возведенных в удаленном от всего мира и неудобном для жизни месте. Они понимали, что только соображения величайшей тайны и в то же время опасности могли заставить государство, взвешивающее каждый грош при экономике, хромающей на обе ноги после войны, проводить такую работу в сердце пустыни.

Зулус высказал предположение, что деньги, возможно, были даны другой страной, не обедневшей, а разбогатевшей от страшной войны. Это предположение, по-видимому, оправдывалось: Ауробиндо слышал обрывки разговоров недавно приехавших незнакомцев — их речь с характерным американским произношением.

Если бы оба осужденных студента принимали участие во внутренней отделке загадочных зданий, площадок и туннелей, то они смогли бы лучше понять их назначение. Однако, как только здания были вчерне закончены, цветные рабочие потеряли всякое право доступа в расположение городка. Теперь дела здесь больше не было. Позавчера большинство рабочих отправились на запад, к уединенной морской бухте у края бесплодных песков. Там, как узнали от партии прибывших оттуда арестантов, выстроились высокие мачты радиовышек.

Осужденным студентам оставалось около трех месяцев каторжного труда. Самое страшное было уже позади, и они с честью вышли из испытания. Когда-нибудь, много позднее, они смогут рассказать, чего стоило им быть безупречными рабами, терпеливыми и молча сносящими любой произвол начальствующих над ними людей, чтобы неосторожной вспышкой не свести на нет все усилия, сделанные для скорейшего освобождения.

Ауробиндо и Инценга остались людьми, но этого нельзя было сказать про всех заключенных. Лишь небольшое количество удержалось на моральной и духовной высоте. Это были по большей части скоро освобождавшиеся. Другие, срок терпения которых был гораздо большим, надламывались психически или теряли голову от отчаяния, пытаясь бессильно бунтовать. Проступки их неизбежно удлиняли сроки их заключения, и не было никакого выхода из мрачной бездны.

Ведущий инженер строительства приказал отобрать сорок лучших рабочих в какую-то отдаленную поездку на море. Ауробиндо и Инценга попали в их число, избежали

переброски на железнодорожное строительство и получили три дня неожиданного отдыха. Завтра они должны были покинуть опустевший лагерь и направиться на грузовиках на «Восьмидесятимильное побережье», где предстояла посадка на судно.

Инценга давно докурил свою трубку. Больше табака не было, и зулус меланхолически сосал пустой чубук. Два дня товарищи почти непрерывно спали, и теперь освободившийся от тумана усталости мозг требовал деятельности. Зулус потянулся и сел, поджав под себя ноги.

— Я подслушал кое-что из разговора двух приехавших инженеров. Третьего дня меня послали вымыть их машину... — задумчиво начал Инценга.

— Неужели они разговаривали при тебе? — усомнился Ауробиндо.

— Да, это было так. Инженеры, американцы, не могли представить себе, что грязный и невежественный негр сможет понять что-либо из их разговора. Они не виноваты, ха-ха-ха! — рассмеялся зулус. — Откуда могли они знать, что этот негр едва не получил университетского диплома и только заботами их просвещенных сородичей вернулся к прежнему дикому состоянию! Англичане, безусловно, правы...

— В чем? — нетерпеливо спросил Ауробиндо.

— С дикарями им спокойнее. Легче чувствовать себя белыми богами, непогрешимыми и непонятными...

— Довольно шутить! Что же именно ты услышал от этих богов?

— Один сказал: «Вот мы и кончили здесь раньше срока». А другой ответил: «Осталась только мишень на Русалочьих рифах...»

— Мишень? — воскликнул Ауробиндо.

— Тише!! Да, именно мишень, я не ослышался. Но что это за Русалочьи рифы?

— Не знаю. Какие-нибудь мелкие островки в океане...

Зулус снова схватился за пустую трубку, ожесточенно грызя мундштук. Энергичное лицо его напряглось, твердые челюсти сжались.

— Тебе действительно удалось услышать нечто весьма важное, — сказал Ауробиндо после раздумья.

Инценга не отвечал, возбужденно раздувая ноздри. Он старался восстановить общую картину всего строительства по тем кусочкам его, в которых сам принимал участие, по отрывочным сообщениям других заключенных, попадав-

ших в его отряд из соседних отделений. Огромные выемки в почве, обделанные в сталь и бетон, продолжавшиеся двумя толстыми стенами, были направлены на северо-запад. Дорога к побережью, пересекавшая пустыню, направлялась на северо-запад... Далеко в пустыню шли двумя параллельными рядами стальные мачты с какими-то антеннами наверху. Они шли на северо-запад и, вероятно, доходили до побережья. Да, все направлялось к северо-западу, по направлению к Русалочьим островам, по направлению к мишени. Зулус подскочил. Ему показалось, что он разгадал тайну этих странных работ. Поспешно, словно опасаясь, что пойманная догадка ускользнет, Инценга зашептал в ухо индусу свои соображения. Ауробиндо крепко сжал руку товарища:

— Ты прав, мой дорогой. Здесь должны стрелять чем-то в острова. Чем же иным, как не ракетами? Но если отсюда до побережья почти тысяча миль, сколько-то еще до островов, получается необычайный по длине полигон — больше тысячи миль. О таких ракетах я еще не слыхал, и это, наверно, атомные ракеты. Ужасную вещь узнали мы! Вот зачем тут, в скрытом от всего мира месте, идет такое дорогое строительство...

— Тсс!.. Кто-то идет, — прошептал зулус, заслышав приближающиеся шаги.

Оба бывших студента поспешно растянулись на помосте. Темная фигура медленно прошла в двадцати шагах от края помоста. Это был один из часовых, которые днем и ночью стерегли окрестности строительства. Ауробиндо и Инценга долго молчали. Индус заговорил первым.

— Помнишь годы войны? — зашептал Ауробиндо. — У всех у нас было ожидание больших и хороших перемен...

Инценга усмехнулся и согласно кивнул.

— Сначала Атлантическая хартия, — продолжал индус, — прекрасные устремления Рузвельта... Затем показавшаяся чудом великая боевая мощь Советского Союза, растоптавшая чудовищную силу расистской коалиции. Все шло к тому, что Советский Союз с Америкой поведут мир к свободе, пресекут произвол и угнетение в колониях, больше того — уничтожат самые колонии... И что же? Вот мы тут свидетелями жестокой насмешки судьбы... Америка стала оплотом подавления колоний и маленьких стран, до конца порвав с мудрой политикой Рузвельта. Советский Союз, оставшийся нашей единственной надеждой,

слишком далеко от нас, жителей южных стран. А здесь затеяно серьезное дело. Создают новое оружие против демократии и свободы народов, как в прежней Германии. И мы принимаем в этом участие! — Ауробиндо тоскливо вздохнул.

Инценга слушал печальную речь индуса, и странным образом в нем росла озорная бодрость, словно раскрытие этой вредоносной для человечества затеи придавало особую значимость его дальнейшему существованию. Теперь и близящееся освобождение имело совсем другой, больший смысл.

— О, мы еще многое можем узнать там, на островах! — шепнул он индусу, оставляя без ответа его думы, слишком созвучные его собственным.

Ауробиндо понял все, что стояло за этой короткой фразой. Глаза истинной мудрости человечества должны проникнуть в тайные дела, творимые в этих стенах. Но привычная настороженность индуса и тут не изменила ему.

— Нам нужно быть очень осторожными, — едва слышно сказал он зулусу: — Ведь если нас заподозрят хотя бы в небольшом интересе к тому, что мы делаем, все погибло.

— Конечно, конечно, — подхватил Инценга, — и так кто-то сделал большую ошибку, направив сюда нас, образованных людей. Должно быть, уж слишком велико презрение к нам. Мы для их чиновников всегда только глупые, невежественные цветные.

— И кто-то повторяет эту ошибку, направляя нас туда, на мишень. Впрочем, мы, должно быть, заслужили это старанием и тупостью, которые так усердно соблюдали. Но повторную ошибку легче заметить, — заключил индус.

— Ничего, осталось уже мало времени, — беспечно ответил Инценга.

* * *

За красными песчаными дюнами засветилась синева моря. Ауробиндо встрепенулся. После долгого пребывания в пустыне особенно отраден был запах морского простора, влажный и свежий, обещавший что-то новое и хорошее. И в самом деле, возвращение к морю было для Ауробиндо обещанием скорого освобождения. Так не похоже было оно на его отъезд из Кейптауна в ветреную погоду, в сыром и душном носовом трюме! Тогда море ничего не сулило, кроме тяжких испытаний в далекой стране, кроме позорного и униженного существования.

Все те же красные песчаные дюны шли до самой воды, уходили под нее, и прибрежная вода моря становилась мутной, приобретала суровый серый цвет. Лишь вдали от берега расстилались в своем великолепии сверкающие темно-голубые воды Индийского океана. Ветер шумел среди редких казуарин, древних деревьев с безлистными нитевидными побегами, похожих издалека на низкие сосны.

Грузовики остановились. Люди выбрались, отряхивая густую пыль и разминая кости. Сержант, командовавший рабочим отрядом, заговорил о чем-то с офицером, подъехавшим на белой военной машине. Затем партия заключенных рабочих быстро зашагала вниз по дороге к пристани. Едва только привезенные арестанты разместились на грузе, почти целиком заполнявшем все помещения небольшого парохода, как судно сразу же отвалило. По-видимому, с работами на островах очень торопились...

Океан встретил невольных путешественников тяжелой зыбью. Много рабочих, в том числе и Ауробиндо, заболели от качки. Индус валялся, безмолвный и неподвижный, на брезенте, брошенном поверх мешков с цементом, и почти не разговаривал с Инценгой за весь полуторасуточный переезд. Зулус был бодр и здоров. Целыми часами он сидел, поджав под себя ноги, подле Ауробиндо, тихонько напевая дико звучавшие зулусские военные песни. По временам Инценга погружался в глубокую задумчивость или вычерчивал ногтем на брезенте непонятные знаки.

К концу второго дня по суете на палубе арестанты угадали, что подходят к цели. Машина остановилась, и якорная цепь загремела уже в сумерках, когда тусклые лампочки трюма стали бросать заметный свет вокруг потемневшего отверстия открытого люка. Рабочий отряд вывели на палубу только утром. Шумели вокруг корабля и бежали к берегу посеревшие волны. Рассвет над рифом вставал во всем своем тропическом могуществе. Первые лучи пробили влажную мутноватую мглу, и внезапно появившееся солнце залило все ярким розовым светом. Легкий туман засеребрился над рифом, и тот засверкал перламутровыми переливами, точно вытянувшаяся вдаль створка чудовищной раковины. Русалочий риф... Да, в этот рассветный час казалось вполне возможным, что в чистой тишине острова, в дымке жемчужного тумана возникнут сказочные зеленоглазые девушки моря... Слева далеко в открытое море уходил широкий мыс — низкая

скалистая площадка, выровненная приливами. Белая полоска прибоя виднелась в отдалении двух миль с западной стороны мыса. В глубине небольшой бухты, прямо перед носом судна, вздымалась небольшая гора. Ее обнаженные скалистые склоны спадали в мангровые заросли, темневшие у подошвы. Направо розовела широкая лента прибрежных песков. Арестанты принялись за разгрузку судна. По пояс в воде, шатаясь под ударами волн на ускользавшем из-под ног песке, люди до темноты таскали тяжелые ящики и мешки, железные полосы и большие катушки проводов из баркасов на прибрежный уступ. На следующее утро, еще в предрассветном сумраке, работа возобновилась снова. Так продолжалось три дня, пока наконец последние ящики и бочки с бензином не легли на берегу, перед горой нагроможденных правильными штабелями грузов. За все это время ни одно человеческое существо не приблизилось к месту выгрузки — остров был совершенно безлюден. Первобытная тишина нарушалась только грохотом лебедок да непрерывными воплями ворочавших тяжести людей, которым вторили резкие крики морских птиц и плещущие волны моря.

После неимоверно тяжелой работы в раскаленной пустыне арестанты вздохнули здесь свободнее. Свободой казалось и то, что здесь не было неотступно сопровождавших каждую рабочую группу часовых с автоматами, гранатами и пистолетами. Инценга и Ауробиндо скоро поняли причину такого «доверия» к арестантам.

Обоим друзьям было поручено установить прочный железный столб на самом краю рифа, там, где выровненная волнами плоскость кораллового известняка покрывалась почти на метр водой во время прилива. Партия рабочих притащила бочонок цемента, столб, железные костыли и молот и, оставив зулуса с Ауробиндо, направилась к другому уступу рифа. Друзья упорно долбили камень, меняясь у молота. Столб надо было поставить и зацементировать до прилива, и арестанты спешили изо всех сил.

Скважина подходила к концу. Решив освежиться купаньем, Инценга и Ауробиндо пошли к краю рифа, всего в двухстах футах от столба. Край рифа круто обрывался здесь в прозрачную воду до глубины около двадцати футов. Даже сквозь колыхание волн ясно виднелось серебрящееся песчаное дно. Еще не достигнув обрыва, друзья остановились в испуге. На них смотрело много глаз, без

всякого выражения, но с пугающей настойчивостью. Косые хвосты, острые спинные плавники, морды конусом, угловатые щелястые рты, наполненные ужасными зубами, — это были акулы.

Ауробиндо знал из географии о поразительном обилии акул в водах Австралии, но реальная картина этого обилия наполнила его ужасом. Гигантские, десятиметровые, свинцово-серые тела хищных рыб сновали взад и вперед.

— Что это за мерзость, во имя всех чертей! — воскликнул оторопевший зулус.

— Так называемые белые акулы, или акулы-людоеды, — самая страшная их порода, — меланхолически отозвался индус. — Вот она, наша стража. Попробуй бежать отсюда на плоту или в шлюпке — перевернут и разорвут в клочья. Плыть нечего думать... Понятно, отчего наши начальники купались только на мелком песочке, у самого берега!..

Две страшные твари высоко подняли из воды огромные морды и пристально следили за людьми, балансируя хвостами. Зулус внезапно преисполнился ярости. Он отломил, пнув ногой, крупный кусок коралла и с силой бросил его в голову акулы. Камень ударил тварь около глаза, но акула не обратила на него никакого внимания, зато другая, плывшая под водой, в мгновение ока перевернулась и подхватила падающий на дно бесполезный снаряд Инценги.

Зулус злобно плюнул и поплелся назад.

Товарищи работали до самого прилива и, только когда первые всплески его зашумели на рифе, наконец установили столб по отвесу. Оставалось лишь зацементировать. Ауробиндо поспешно откачивал воду из ямки, в то время как зулус размешивал портландский цемент. Внезапный крик вырвался из груди Инценги. Индус поднял голову и увидел незабываемое. Прилив медленно поднимался, и на прибрежной плоскости рифа было уже около четверти метра воды; лишь небольшая выпуклость, где работали друзья, оставалась незатопленным островком. Десятиметровая акула подплыла к обрыву рифа, с хода выскочила на его край, тяжко перевалилась боком и затем поползла, извиваясь всем телом, иногда перекатываясь с боку на бок, по направлению к столбу. Волосы стали дыбом на голове индуса, он схватил товарища за руку и ринулся к берегу. Но было уже поздно. Между берегом и

краем рифа поверхность известняка была слегка углублена, всего на каких-нибудь полметра. Для акулы этого оказалось достаточно. Она скатилась в прибрежное углубление и стала двигаться быстрее. Секунда — и она оказалась между берегом и двумя товарищами. Друзья остановились...

Инценга бросился назад, к столбу, схватил молот.

— Бери бур! — крикнул он индусу. — Скорее, скорее, вода все прибывает, нельзя, чтобы тварь плавала свободно!

Ауробиндо оглянулся на море. Там, за набегающими пенящимися волнами, торчали вверх еще шесть конических рыл. Отчаяние придало индусу силы. Плечом к плечу с товарищем он поспешил вперед и вошел по пояс в замутневшую воду. Акула, подползая по дну, подобралась близко. Под тяжестью ее тела, одетого прочной шершавой кожей, скрипели и хрустели отростки кораллов. В раскрытую треугольную пасть заплескивали волны. Жаберные щели пульсировали позади головы, хвост бил по воде, и акула извивалась в усилиях схватить обреченную добычу. Инценга выжидал, рассчитывая расстояние...

— Ауробиндо, пасть! — крикнул зулус.

И индус, инстинктивно поняв, что надо делать, воткнул двухметровый стальной бур прямо в глотку страшной рыбы. Акула метнулась, бур вырвался из рук индуса, но в этот момент зулус, подскочивший сбоку, изо всех сил ударил тварь по голове. Двадцатикилограммовый молот на длинной ручке глубоко вмял твердую шкуру в хрящевой череп. Оглушенная рыба забилась, перекатываясь со спины на брюхо, но очень быстро пришла в себя и снова устремилась на людей. Однако товарищи уже миновали опасную зону и быстро выбрались на сушу, где проклинали мерзкую рыбу, пока не подбежали другие рабочие с солдатами. Треск автоматов раздавался в течение нескольких минут, но это мало подействовало на невероятно живучую рыбу. Лишь когда над морем пронеслись бухающие разрывы гранат, с акулой было покончено.

* * *

— Теперь, черти, можете отдыхать! — весело обратился к рабочим помощник инженера. — Вы славно поработали эти два месяца и получите хорошие отзывы... Завтра придет наш пароход, и мы поедем домой.

Помощник инженера произнес последнее слово с особенным удовольствием. Удачно выполненная работа сулила премию и, может быть, повышение по службе. Помощник инженера удовлетворенно окинул взглядом приготовленное к погрузке, теперь уже ненужное здесь оборудование и зашагал к домику отдать рапорт начальствующему инженеру. Рабочие проводили его взглядами — одни тоже веселыми, другие хмурыми — и разбрелись по берегу в ожидании обеда; бо́льшая часть поспешила растянуться в тени нескольких пальм, стоявших у полосы влажного песка. Этим людям возвращение сулило только новую подневольную работу, наверно еще худшую, чем проделанная здесь. В конце концов, здесь было не так уж плохо по сравнению с пустыней. На кормежку начальство, очень торопившееся с выполнением задания, не скупилось: остатки военных запасов были еще велики.

Но для двадцати трех человек возвращение с острова должно было совпасть с освобождением. Конец заключения, и впереди — свободный путь к далекому дому, к миру прежних забот и жизненных планов, прежде казавшемуся канувшим в небытие. Инценга и Ауробиндо были в числе счастливцев.

Подтрунивая друг над другом, они присоединились к группе, спешившей к голубоватому дымку кухни. Молодость пробивалась в их унылом существовании, подобная ярким зеленым росткам, упрямо завоевывавшим солнечную радость в трещинах серых скал. А оба студента были очень молоды.

Помощник инженера вошел в затененный тентами домик, пропитанный запахом душистого табака. Инженер поднял на него вопросительный взгляд, задержал руку с вечным пером на раскрытой записной книжке.

— Все готово, сэр. Можно радировать, что завтра мы покидаем остров. Если судно не запоздает, то к полудню можем отойти.

— Отлично, Фредди! Я пробуду здесь до конца. Мой катер на подходе...

— Вы возьмете меня с собой, сэр? — взволнованно спросил помощник

Инженер некоторое время размышлял, крутя автоматическую ручку своими толстыми пальцами.

— Хорошо, — наконец сказал он (и лицо помощника осветилось), — вы заслужили это. Завтра, отправив пароход, мы переедем с вами на риф Клерка. Наблюдательная

станция там. Здесь останутся только приборы, автоматические фотоаппараты и радар.

— А в свинцовом блиндаже разве никого не будет, сэр? — осторожно спросил помощник.

— Конечно, нет, — усмехнулся инженер. — В момент выстрела... Блиндаж — для последующих наблюдений за излучением...

Помощник поднял брови в знак понимания и, помолчав, сказал:

— Наши цветные хорошо работали, сэр. Они заслужили отличные отзывы... Особенно удачными оказались один негр и один индус, понятливые молодцы. Я их приспособил даже к топографической работе...

Инженер внезапно встрепенулся, и помощник был встревожен озабоченностью своего патрона.

— Вы имеете в виду Ауробиндо и Инценгу, Фредди? Эти двое, конечно... — Инженер бросил ручку и потянулся за трубкой. — Скажите, вы не замечали у них явного интереса к производимым нами работам? Отвечайте обдумав, это очень важно!

— Нет, сэр... то есть они... — замялся не подготовленный к вопросу помощник, — они только показались мне способнее всех других. Но за ними ничего не замечено, и агент наблюдения ничего не доносил... Да и что могут они понять в нашей работе, эти цветные! Мозги не доросли... — успокоился помощник.

Инженер порылся в столе, извлек какую-то бумажку и задержал ее в руке.

— Для того мы и набрали цветную рабочую силу, чтобы обеспечить полную секретность, — подтвердил инженер. — Но иногда бывают ошибки. Сюда особенно опасно допустить каких-нибудь таких... понятливых, как эти двое... И я послал запрос в управление лагеря. Вот ответ, — инженер взмахнул бумажкой: — Ауробиндо и Инценга — студенты из южноафриканских университетов.

— Студенты! — ужаснулся помощник. — Но кто же допустил?..

— Кто бы там ни допустил, ошибка налицо. Вот вам ваши понятливые молодцы, Фредди. Вы сами еще очень молоды...

Помощник растерянно молчал.

— Еще полбеды, ведь оба не техники — медик и гидрогеолог, — проворчал инженер, которому стало жаль своего подчиненного, — следовательно, ничего не смыслят в

наших делах. Но мы не можем рисковать ничем. Немедленно повидайте агента наблюдения и установите самый тщательный надзор за этими двумя. Хотя бы одно слово, свидетельствующее о понимании нашего дела, — и их придется изолировать.

— Слушаю, сэр! — Помощник заторопился к выходу.

* * *

Пароход ожидался после полудня, но уже на рассвете все было готово, даже палаточный городок свернут и увязан в тюки.

Арестанты лениво лежали на песке, когда помощник инженера вдруг позвал Инценгу и Ауробиндо: техник спохватился, что забыл поставить сигнальный фонарь на северо-западной стороне острова — временный маяк для судов наблюдения. Оба товарища были несколько встревожены тем пристальным вниманием, которое проявлял к ним в последний день молодой помощник, и поэтому вздохнули с облегчением, узнав о задаче. Навьюченные фонарем, батареями, тросом и блоками, они поспешили на северную сторону рифа. Товарищи скоро достигли мангровой заросли и тут поняли, что им досталось труднейшее дело. Бесчисленные корни, то густо переплетенные, то стоявшие частоколом, уходили глубоко в вонючий черный ил. На дне, под грязью, множество нагроможденных подгнивших столбов и корней образовывало опасные капканы. Товарищи углублялись все дальше в непролазную чащу, где померк дневной свет, и в темноте передвижение стало еще труднее. Балансируя с тяжелым грузом на скользких корнях, срываясь в вязкую топь, Ауробиндо и Инценга продвигались вперед очень медленно. В недрах зарослей пришлось зажечь электрический фонарь будущего маяка, чтобы найти проход. Чьи-то глаза загорелись красными огоньками из-под темного свода корней.

— Это крокодилы, у них глаза горят красным... — пробормотал зулус, вытягиваясь во весь свой шестифутовый рост и высоко поднимая фонарь.

Теперь падение с корней вниз угрожало смертью, но, к счастью, мангровая заросль, достигшая наибольшей густоты в этом месте, скоро окончилась, и товарищи добрались до намеченного мыска. Поспешно обтесав ствол самого высокого из деревьев, друзья прикрепили к нему толстую дюралевую трубку с гнездом для фонаря, установи-

ли фотоэлектрический выключатель и соединили контакты батарей. Все было кончено, и можно было идти назад — скорее, как можно скорее: солнце перевалило за полдень. Смутная тревога владела обоими товарищами: ведь пароход должен был уже подойти к острову. Их, конечно, подождут, но мало ли что может случиться!

* * *

Инженер быстро шел по опустевшему берегу.

— Как у вас, Фредди?

— Готово, сэр. Только нет двух рабочих. Знаете, тех, о которых мы вчера говорили. Я отправил их на ту сторону острова для установки временного маяка.

Инженер выставил растопыренные пальцы, как он делал всегда, когда хотел остановить своего помощника, немного подумал и спросил:

— Вы установили сигнал возвращения для отправившихся?

— Да, сэр, четыре гудка. Но они еще не могли окончить работу...

— Так дайте скорее гудки. Удобный случай... — Инженер криво усмехнулся, пряча глаза. — И заодно, поскольку поедете на судно, вот телеграмма, подписанная мной, о готовности острова!

— Но, сэр... — Помощник инженера замялся. — Это станет известно их... их товарищам.

— Оставьте, Фредди! Неужели вы хотите рискнуть своей репутацией, а может быть, и попасть на их место... ради двух цветных преступников? Ошибка не наша, но разве мы тоже не окажемся в ответе, если... Ну что там говорить! Сама судьба идет нам навстречу, и неумно отказываться. А другим скажите... скажите, что их заберет мой катер. Мы уедем после того, как скроется пароход. Не медлите, Фредди!

Помощник послушно повернулся и побежал к дожидавшейся на берегу шлюпке. Гудок всхлипнул, прервался и сейчас же громко заревел. Четыре раза рев уносился вдоль по пустынному берегу, отражаясь эхом от мрачных скал...

Инценга и Ауробиндо услышали гудки, едва успев установить фонарь. С головы до ног покрытые грязью, измученные, они пробивались назад сквозь громадное болото. Пот струился по их лицам, в глазах мутилось, ноги

были изранены. Ауробиндо провалился в скрытую яму и ушел по плечи в черный вонючий ил. Зулус, напрягая последние силы, вытащил товарища и опустился на груду ослизлых корней, нагроможденных вдоль глубокой промоины. Товарищи поняли четыре гудка как сигнал скорого отхода, и все же еще целую вечность боролись они за каждый фут. Топь кончилась внезапно. Едва отдышавшись, Ауробиндо и Инценга прошли по воде, потом побежали, обогнули поворот берега и... замерли. Пароход виднелся маленькой черной лодочкой в нескольких милях от острова. Светлый дымок вился над его трубой — словно судно, издеваясь над оставшимися, махало им платком. Оглушенные случившимся, друзья недоуменно оглядывались и не сразу услышали стук мотора. Большой морской катер нырял и сверкал зеркальными стеклами в одной миле от берега, направляясь на юг, перпендикулярно курсу парохода. Инценга и Ауробиндо заскакали по берегу, размахивали руками и неистово вопили. За кормой катера поднялся белый бурун. Маленькое судно пронеслось тридцатиузловым ходом, не меняя курса. Еще немного, и катер исчез в сияющей синеве, там, где у самого горизонта едва виднелся маленький темный купол — соседний остров Клерка.

* * *

В Австралийской пустыне был предрассветный час. Мрак и тишина еще простирались над разрушенной солнцем, мертвой землей. Но в глухом каземате, за шестиметровой толщей бетона, свинца и стали, разливался яркий голубоватый свет. Четырнадцать человек нетерпеливо толкались в просторном помещении. Все с волнением ждали. Стены, заделанные блестящими черными панелями, были усеяны круглыми стеклами бесчисленных приборов. В центре одной стены против входа матово светилось небольшое квадратное окошечко, затемненное выступающей рамой. Под ним выдвигался широкий уступ. На его наклонной поверхности четырьмя рядами располагались белые шляпки регуляторов и реостатов, кнопки и стрелки. Все сооружение напоминало гигантский радиоприемник. В широком кресле перед центральным окошечком сидел седой человек, нервно приглаживавший волосы. Над ним склонился массивный американец в золотых очках—главный инженер строительства. Стоящие сзади люди пред-

ставляли виднейших ученых, военных и инженеров двух англосаксонских стран. Среди военных и инженеров явно преобладали американцы, державшиеся очень уверенно, с видом хозяев. Англичане стояли несколько особняком и поглядывали по сторонам с оттенком робости, как будто им не по душе было то дело, ради которого они собрались здесь, в ночной пустыне. На круглом столике рядом с креслом в ящичке красного дерева под толстым стеклом бежала по кругу длинная тонкая стрелка хронометра. Главный инженер не отрывал от нее глаз.

— Заряжено три боевых гнезда, — полушепотом объяснял группе из четырех военных ведущий конструктор.— Честь пуска первой ракеты принадлежит... — Конструктор еще более понизил голос и назвал знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии и члена Королевского общества. — Вторую ракету выпустит главный инженер, третью — я.

Главный инженер выпрямился:

— Осталось пятьдесят секунд, сэры. Сэр, включите экран и доску радиолокаторов...

Свет потух. Ярче выделилось квадратное окошечко и черное длинное стекло под ним. Стрелки бесчисленных указателей настороженно трепетали, как будто охваченные нервной дрожью.

— Ноль секунд! — прогремел голос главного инженера.

Тонкая рука, бледно выделявшаяся в отблеске освещенных циферблатов, нажала круглую кнопку.

Стрелки приборов прыгнули в разные стороны. Здание содрогнулось, глухой низкий рокот проник через толщу стен. Присутствовавшие замерли. Здание продолжало содрогаться, но тяжкий гул постепенно замирал, удаляясь. Физик, нажавший пусковую кнопку, невольно съежился, представив себе, что творится снаружи, на подъемной площадке ужасной машины. Раздался тихий звонок. На черном стекле осветился маленький квадрат с цифрой «1». Шумный вздох облегчения вырвался из груди главного инженера. Еще звонок — вспыхнул второй квадратик, за ним третий, четвертый... Это сигнализировали локаторы, установленные на столбах, двумя рядами протянутых до побережья. Они точно фиксировали момент прохождения ракеты над ними, когда ее металлический корпус пробивал незримую преграду радиоволн, протянутую на громадной высоте, отвесной плоскостью в небо.

— Она летит, сэры! Летит точно по заданному направлению! — гордо повернулся к присутствующим главный инженер.

Ведущий конструктор в это время возился с вычислительной машиной.

— Сигналы локаторов дают увеличение скорости, — объявил он. — Еще через шесть минут можно будет сказать, какова максимальная. Тогда же установим момент, когда ракета должна достигнуть острова.

— Опыт исключительно удачен! — отозвался главный инженер. — Серия предварительных испытаний с меньшими снарядами обеспечила успех.

Взволнованные военные, ученые и конструкторы придвинулись к столу. Все глаза были устремлены на ленту черного стекла, освещенная часть которой быстро удлинялась. Прошло восемь минут. На самом конце ленты зажглась цифра «92», звонок прозвенел в последний раз, и прибор прекратил работу.

— Ракета над океаном, — объявил конструктор. — Через пять минут следите за локатором самой ракеты.

На экране возникло мутное, дрожащее пятно. Оно слегка двигалось в разные стороны, следуя колебаниям несущейся в бездонной глубине неба ракеты. Немного спустя пятно потемнело, края его обрисовались резче — на экране возник темный плоский холмик, увенчанный пирамидальным возвышением. Если бы в комнате мог присутствовать кто-либо из работавших на далеком острове, он без труда узнал бы очертания горы Русалочьего рифа.

* * *

Мрачные ребра горы заиграли красноватыми отблесками. Инценга и Ауробиндо проснулись. Жестокая тревога не давала им покоя. В надежде, что за ними вернется какое-нибудь судно, товарищи спали на берегу бухты — единственной, куда мог подойти корабль. Но восходящее солнце освещало все такое же пустынное море, без малейшего признака какого-либо судна.

— Нас бросили. И бросили с целью! — гневно заявил зулус. — Нужно спасаться самим, пока не поздно: ведь мы на мишени и сами тоже мишень. Должно быть, они заметили что-то... Эх, как глупо, что мы согласились идти устанавливать маяк!

— Если бы не согласились, тогда с нами расправились бы другим способом, — спокойно ответил Ауробиндо. — Но я все-таки думаю, что за нами приедут. Ведь тут установлено много приборов. Кто-нибудь должен наблюдать за ними...

— Наблюдать после обстрела, — мрачно возразил Инценга. — И боюсь, они скоро соберутся стрелять сюда. Вспомни, как торопились наши начальники. Это плохой признак для нас: это значит, что там все готово. Нет, нужно бежать отсюда немедленно! Пойдем опять на северную сторону острова — стрелять ведь будут оттуда. — Зулус показал на юго-восток. — Кажется, с той стороны у них был сторожевой пункт с лодками. А я что-то не видел, чтобы их грузили на пароход. Возможно, они забыли или нарочно оставили их. Еды наберем в поселке из разных отбросов и остатков в домике инженера — вчера мы там нашли достаточно — и переправимся на другой остров.

Ауробиндо колебался. Он очень хорошо помнил приключение с акулой. В глубине души индус надеялся на скорый приход катера, надеялся, что их оставили по ошибке. Слишком жестоко было бы намеренно оставить их здесь на смерть, их, невинно осужденных и отбывших свой срок, работавших старательно и безупречно.

— Идти на ту сторону нужно, но кому-нибудь одному. И один все узнает. А другой останется здесь на случай прихода катера.

Инценга согласился. Предложение индуса было разумно. Идти на север вызвался зулус — он был великолепным ходоком и бегуном, и путешествие должно было занять у него гораздо меньше времени, чем у индуса. Инценга немедленно пустился в путь, забыв о еде. Он вскарабкался на крутой склон, перевалил через гору и скрылся из глаз. Ауробиндо остался в одиночестве перед пустым морем, на берегу бухты. Солнце, поднявшееся уже высоко, стало жарким. Ауробиндо огляделся и заметил небольшую лощину, заросшую лесом. Лощина врезалась в юго-западный склон горы и уходила в глубь ее, за ребро западного отрога. Там не производилось никаких работ, и индус направился в лощину, надеясь найти тень и собрать каких-нибудь съедобных плодов. Устье лощины оказалось заваленным громадными камнями, и Ауробиндо с трудом перебрался через них. Позади глыб оказалось что-то вроде пещеры, на углублен-

ном дне которой среди замшелых камней стояло небольшое озерцо. Впереди поднимались пологие скаты, поросшие густым кустарником. Ауробиндо забрался в прохладную пещеру, напился и стал на плоский камень, чтобы осмотреться и выбрать направление. Он не беспокоился о катере: стоило ему вскарабкаться на глыбы и выглянуть из-за ребра горы, как сразу же открывался вид на весь берег.

* * *

— Пора! — отрывисто крикнул главный инженер, и рука ученого послушно нажала вторую кнопку.

С невообразимой быстротой радиоволны догнали бешено несущееся стальное чудовище и произвели сложную работу в его механизме. Изображение на экране исчезло, и перед затаившими дыхание зрителями экран засветился ровным матовым светом.

— Ракета упала! — воскликнул главный инженер. — Сейчас поступят сообщения с наблюдательных судов и станций.

* * *

Ауробиндо заметил недалеко от себя маленькое дерево с темными круглыми листьями. Меж листьев покачивались мясистые плоды. Индус поднял голову вверх. Немыслимо яркий свет ударил в небо, мгновенно разлился по голубому куполу, погасив солнце. Краски чудесной чистоты и исполинской яркости сменяли друг друга, как несущиеся с быстротой мысли волны. Этот свет, в котором не было ничего земного, знакомого человеку, ударил в глаза Ауробиндо, проник в самую глубину мозга, вонзился в нервы раскаленным острием. Индус упал навзничь назад в пещеру, и в тот же момент громовой свистящий рев потряс все клеточки его тела, погасил сознание. Ауробиндо не видел, как за каменистым мысом взвился столб песка, воды и пара, подобный громадной колонне правильно круглой формы, встал на высоту трех миль над океаном и, как бы ударившись в небо, стал расплываться исполинским грибом. Ножка этого чудовищного гриба, толщиной в две мили, была плотной на вид, хотя по ее поверхности вихрились крутящиеся массы раскаленных газов и пыли. Индус не чувствовал, как над лощиной пронесся вал адского пламени,

от дыхания которого испарился кустарник на склонах, треснули скалы и с грохотом обрушились каменные лавины. Неподвижное тело Ауробиндо распростерлось на дне мшистой пещеры, в воде озерка.

...Зулус был застигнут взрывом на той стороне горы. Адское пламя не ослепило чернокожего, укрытого зеленым покровом леса. Оно потеряло здесь свою все сжигающую силу, отброшенное в небо склоном горы. Только взрывная волна повалила деревья, сбила Инценгу с ног и осыпала дождем мелких камней. Неимоверный грохот оглушил зулуса, потоки горячей воды хлынули с неба. Счастье благоприятствовало Инценге. Он отделался незначительными царапинами и сильной головной болью. Зулус сразу понял, что в остров попал атомный снаряд, и первая его мысль была о товарище.

Индус находился с другой стороны горы, там, где проявилась вся адская сила атомного взрыва. Опомнившись от контузии, под непрекращавшимся горячим дождем зулус повернул обратно. Он читал в описаниях действия атомных бомб о смертоносном остаточном излучении на месте взрыва, но не думал об этом, спеша на помощь своему другу... Не думал он и о том, что мог последовать второй выстрел. Сильнее всех страхов и чувств сейчас была дружба. Она гнала его вперед, вверх по крутому склону, заставляла пробираться через груды поваленных деревьев, нагромождения остроугольных глыб...

Ауробиндо очнулся от страшной боли, терзавшей его внутренности. Абсолютный мрак и тишина окружали индуса. Ауробиндо не сразу понял, что он ослеп и оглох. Но когда ужасная истина проникла в сознание индуса, дикий, нерассуждающий, животный страх охватил его. Весь мир оказался где-то по ту сторону бытия, а он лежал, совершенно, беспомощный, на дне черной бездны, откуда не было возврата, но не было и смерти. Почва палила снизу его тело, как раскаленная плита, и Ауробиндо пополз. Минуту назад он не мог двигаться сам, но теперь полз вперед и вперед, слепой и обезумевший, сдирая о камни сожженную кожу. Индус стонал и кричал, сам не сознавая этого. Так дополз он до моря. Теплая вода показалась холодной, набегавшие волны окатывали индуса с головой, мокрый песок был райским ложем после раскаленных камней, и мысли Ауробиндо стали проясняться...

Теперь он знал, что стал первой жертвой нового изобретения — атомной ракеты, — и знал, что ему немного осталось жить. Жгучая боль внутри переходила в лихорадку, странно возбуждавшую и обострявшую мысли. Мозг работал четко, с необыкновенной яркостью, быстротой и уверенностью заключений. Мысль Ауробиндо словно хотела вырваться из непроглядной темницы изувеченного тела и подняться на крыльях муки, перед тем как погаснуть навсегда.

Индусу казалось, что за несколько мгновений он просмотрел всю жизнь, побывал в звездных пространствах и вернулся, одаренный нечеловеческой мудростью. И эта мудрость властно приказывала ему во что бы то ни стало открыть людям глаза на тот тупик, куда заводит человечество дикая власть войны и наживы, наука, служащая войне, философия торжествующего капитала... Но кому он сможет передать свои мысли, полные великолепной ясности, мысли, которые помогут людям понять то великое, чего он достиг в момент необычайного взлета и напряжения его мозга, в последние часы жизни! Инценга погиб, а если и спасся, то найдет его уже мертвым. Вокруг него только вода и сожженные адским пламенем скалы. Но гордая мысль, раз взлетевшая, не признавала никаких препятствий. Индус стал писать на песке свое завещание миру, не сознавая, что всплески волн непрерывно смывают написанные строчки. Призывая к себе человечество, Ауробиндо упорно писал, борясь со смертью, уже всползавшей вверх по его ногам...

Инценга добрался до перевала. Но здесь герой-зулус вынужден был отступить. Дыхание колоссального пожарища было нестерпимым. Нечего было и думать пробраться через пепел сгоревшего леса и поля оплавленных камней. Вместо привычного зрелища рифа, с его перламутровой грядой кораллового известняка, с девственно зелеными склонами горы, с поразительно чистой, прозрачной водой, зулус увидел потрясающее разрушение. Серая грязь бухты, дымящиеся, абсолютно мертвые, спаленные камни, тусклый красный свет солнца, едва пробивающийся через завесу дыма и пара...

Острые глаза зулуса различили с высоты на узкой полосе песчаного берега крохотную фигурку. Неутомимый зулус снова пустился в путь, проделывая головокружительный спуск по северному отрогу, и достиг бе-

рега. Теперь он мог без труда пройти по мелкой воде до лощины на юго-западном склоне, против которой лежал Ауробиндо. Зулус увидел, что Ауробиндо шевелился, и громко позвал друга, но тот не откликался. Зулус подбежал и приподнял товарища, придя в ужас от его истерзанного и опаленного тела. Ауробиндо крепко схватил руки Инценги — он все еще находился в невероятном возбуждении. Зулус тревожно ощупывал индуса, пытался спрашивать. Не получая ответа, Инценга стал кричать Ауробиндо прямо в ухо, пока не убедился, что друг его ослеп и оглох... Ауробиндо поднял руку, как бы призывая к спокойствию, и заговорил, торопясь, пропуская отдельные слова, потому что речь не успевала за полетом мысли. Индус спешил передать товарищу все великие мысли, окрылившие его на пороге смерти, в слепой и безотчетной надежде, что зулус передаст их людям.

Инценга слушал, поддерживая друга за плечи, исполненный мрачного гнева.

* * *

Главный инженер отошел от телефона.

— Прошу внимания, джентльмены! Передали обобщенную сводку всех наблюдательных станций. Ракета не попала в гору, она взорвалась в двух милях от склона, на отмели. Мы поспешили на секунду... — Инженер помолчал и торжественно закончил: — Сила взрыва, как доносят, колоссальна! Ракета достигла острова. Значит, новое оружие создано. Я счастлив поздравить вас, сэры, с крупной победой нашей науки...

Аплодисменты, восторженные вопли наполнили помещение, прервав инженера. Важные генералы, серьезные ученые, озабоченные инженеры запрыгали, как ребята, обнимаясь и целуясь, неистово били друг друга по спинам и свистели. Можно было подумать, что все эти люди выдающегося ума и знания приветствуют великое, благодетельное открытие, несущее счастье человечеству. Главному инженеру с трудом удалось снова заговорить.

— Сэр Халлес считает, что нужно сейчас же выпустить вторую ракету. Погода благоприятна, и мы сможем в первый же день испытаний определить, насколько трудна корректировка прицела... Я приветствую это ре-

шение, тем более, — главный инженер широко улыбнулся, — что мне предоставлена честь второго выстрела...

Присутствующие одобрительно загудели.

— Дайте сигнал опасности наверх! — решительно бросил инженер и опустился в кресло перед экраном.

Зазвенели телефоны, раздались отрывистые распоряжения. Синяя лампочка вспыхнула над экраном. Главный инженер подождал у хронометра, затем увереиной рукой нажал кнопку. Снова задрожали толстые стены: там, на пусковой площадке, в оглушительном реве пламенного вихря взвилось в высоту второе чудовище. Сопровождаемое сигнальными звонками и вспышками на доске локаторов, оно помчалось опять к океану из глубины красной пустыни.

Там, на мокром песке у воды, умирал Ауробиндо. Голова его запрокинулась на колени зулуса, и широко открытые глаза вперились в глубину высокого неба, свет которого не мог проникнуть в бездну мрака, окутавшего умирающего. Руки Ауробиндо судорожно цеплялись за товарища.

Далекий грохот наполнил небо и мгновенно растаял вдали. Инценга изумленно осмотрелся. Море перед ним было по-прежнему тихо и пусто, ничто не нарушало грозного покоя опаленных утесов горы.

* * *

— Все наблюдательные станции сообщили, что ракеты нет, — хмуро возвестил главный инженер и с оттенком смущения добавил: — Непонятно, куда она девалась. Локаторы показали ее нормальный полет до девяносто второго номера, а над океаном ракета исчезла. Или она упала недалеко от берега вследствие какой-либо порчи?

— Я предупреждал о необыкновенной трудности точного прицела на такие расстояния, — вдруг проговорил маленький человечек с всклокоченными волосами, скромно стоявший поодаль у стены.

— Э, да ведь мы не дураки! — почти грубо отрезал главный инженер. — Восемьдесят опытов с меньшими моделями...

— Наш старый спор: я говорю, что между малой мо-

делью и настоящей ракетой есть глубокое качественное различие, — перебил человечек. — Ваши прежние опыты...

— Пустое! Мы сейчас всё выясним, — не сдавался главный инженер. — Сам создатель ракеты выпустит третью! Может быть, это я неудачлив, ха-ха!

Стоявший у стены скептически покачал головой, но отвернулся, поймав злобный взгляд главного инженера.

Снова сотряслась земля, раздались звонки локаторов. Сбившиеся в кучу люди затаили дыхание, следя за полетом ракеты. Она вышла на океан, но радарный экран не показал очертаний островной горки. Конструктор закусил губу, брови его сдвигались и раздвигались. Наконец, решившись, он нажал кнопку, обрушивающую снаряд на цель...

* * *

Передовой крейсер «Принцесса Шарлотта» бороздил двадцатиузловым ходом голубую воду. Грозные орудия прицеливались в морскую гладь океана. На траверсе корабля, в полумиле, шел второй крейсер того же класса, а далеко позади виднелся дымок третьего. Капитан-коммодор Чепин, сложив рот в брюзгливые складки, недовольно оглядывал с мостика спокойное море.

Командир корабля вышел из ходовой рубки и приблизился к коммодору, стараясь с высоты своего роста смотреть почтительно на коротконогого и толстого старшего начальника.

— Мы радировали миноносцам ваше приказание, сэр. Получено подтверждение приема.

— Хорошо, — угрюмо ответил коммодор, продолжая мерить капитана недовольным взглядом.

— Еще что-нибудь, сэр? — осторожно спросил тот, угадывая желание начальника поговорить.

— Нет! Эта старая калоша нас задерживает! — Коммодор кивнул назад, за корму, на дымок третьего крейсера. — И без того тошно: погнали зачем-то в Австралию встречать дружественную эскадру янки...

— Правда, сэр, — охотно подхватил капитан корабля, — после стоянки на острове Бали... — Лицо моряка приняло мечтательное выражение.

Начальник молчал, и капитан продолжал в том же тоне:

— Этот остров — мечта. Какая природа, какие красивые женщины!.. — Капитан смолк и испуганно покосился на начальника: всей эскадре стал известен его неудачный роман с красивой малайкой.

Коммодор покраснел и рассердился еще больше.

— Мне нет дела до ваших воспоминаний! Я говорю — поднимите сигнал с выговором этому размазне Уорбертону! Больше ход! — рявкнул коммодор, окончательно озлившись.

Капитан поднес руку к козырьку, но не успел повернуться. Случилось что-то невероятное. Вдали, на северо-западе, из моря встала мгновенно и бесшумно исполинская клубящаяся башня. Из башни вылетело гигантское белое облако, взвившееся в небо и одновременно широко раскинувшееся в стороны, как будто кто-то раскрыл невероятной величины белый зонт. Страшный рев, гул, свист — корабль рывком подбросил корму и повалился на бок. Ноги коммодора мелькнули через перила мостика — начальник полетел на палубу. Капитан ошалело ринулся вперед, но тут солнце затмилось, новый тупой толчок страшной силы потряс крейсер, и все же корабль выпрямился. Вой и вопли ужаса влились в гремящую кругом мглу, потом целый океан горячей воды хлынул с неба, и все замолкло. Капитан валялся на мостике оглушенный. Медленно, едва соображая, что он жив и цел, капитан поднялся на четвереньки. С палубы внизу несся пронзительный визг коммодора:

— Эй, сюда! Всех под суд! Сигнальщики! Капитана!

Через несколько минут все опомнились. Коммодор был отнесен в рубку; зенитная артиллерия готова к бою. На весь мир загремело сильное радио крейсера, оповещая о чудовищном нападении. Сквозь облака тумана и пара сверкали вспышки выстрелов и доносился грохот орудий — второй крейсер бил по неведомому врагу.

* * *

В недрах бетонного каземата разрастался ученый спор. Третья ракета тоже не попала на остров и не была отмечена наблюдательными станциями. Главный инженер потерял значительную долю своего апломба, но беднягу ожидали еще более крупные неприятности. В разгар спора, когда скромный противник инженера убедил

всех в том, что прицельность еще далеко не разрешена конструкторами ракеты, зазвенел телефон.

Конструктор схватил трубку, выругался и внезапно побелел. Отозвав в сторону главного инженера, он принялся, захлебываясь, шептать:

— Эскадра коммодора Чепина... близко... Кажется, утопили концевой корабль... двести миль от цели...

Главный инженер смяк. С минуту он стоял неподвижно, неопределенно вертя рукой, затем упавшим голосом объявил о конце испытаний.

* * *

Инценга осторожно снял голову индуса со своих колен и медленно поднялся, расправляя онемевшие ноги. Он отнес тело друга повыше на берег и стал на колени, прощаясь с верным товарищем.

— Бедный мой Ауробиндо, — тихо сказал чернокожий, — как торопился ты выразить мне свои предсмертные мысли!.. Ты не знал и не узнаешь больше, что то же самое, только гораздо яснее и подробнее, написал далеко на севере, в России, сорок лет назад Ленин...

Рокот мотора оборвал размышления Инценги. Катер шел полным ходом к скалистому мысу. Молниеносная догадка пронеслась в голове чернокожего. Он упал на песок, лежа выждал приближение судна, приподнялся, взмахнул руками, снова упал и пополз к воде, навстречу катеру.

* * *

«Заключенный Инценга, находившийся на острове вместе с другими осужденными, в момент разрыва ракеты подвергся тяжелой контузии, лишившей его слуха и речи. Кроме того, названный заключенный выказывает признаки поражения других мозговых центров, выражающиеся в частичной потере памяти и аграфии, хотя в остальном жизнеспособен. По всей вероятности, больной должен вскоре погибнуть от биологического действия излучения атомного взрыва, тем более что находившийся вместе с ним другой заключенный умер на острове еще до прихода судна. Вследствие своего состояния заключенный Инценга не представляет никакой опасности в отношении вашего секретного запроса

№ 32-94-76/2. Инценга может быть освобожден и переведен в гражданскую больницу, пока не сможет вернуться на родину...»

Начальник лагеря отложил заключение врачебной комиссии и подписал лежавшую перед ним бумагу.

* * *

Инценга вышел на палубу и остановился у перил. Свежий ветер озорно и вольно носился над морем, рвал пену с гребней хмурых валов. Сильное тело зулуса переполняла энергия, он нетерпеливо ждал конца пути. Военные песни зулусского народа сами собой рвались из широкой груди, могучие руки крепко держались за поручни. Инценга овладел собой, закурил трубку и стал обдумывать свою речь на Конгрессе защитников мира.

Зулус ехал на съезд друзей человечества, простых людей — черных и белых, желтых и краснокожих. Ехал, чтобы поведать борцам за мир новую злобную затею врагов человечества.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИВАНА ЕФРЕМОВА

1

1957 год положил начало новому этапу в развитии научно-фантастической литературы и оказался для нее решающим рубежом. Конечно, это только случайность, что роман Ефремова «Туманность Андромеды» вышел в свет в том же году, когда был запущен первый искусственный спутник. Но в таком совпадении есть и какая-то закономерность. Ведь мировая наука давно уже начала готовиться к штурму космоса, а писатели-фантасты еще раньше приняли на вооружение идеи Циолковского.

За короткий промежуток времени в сознании людей произошли удивительные перемены. Раздвинулись границы мышления. Сложнейшие астрономические понятия из специальных научных трудов перешли на страницы газет.

Русское слово «спутник» стало международным, воплотив в себе все лучшее и передовое, что было создано страной социализма.

С тех пор «Туманности Андромеды» суждено было обойти в переводах на тридцать с лишним языков весь земной шар, выдержать сотни изданий, остаться в истории литературы как классическое произведение советской научной фантастики о всепланетном коммунистическом обществе.

Прочитав в журнале «Техника — молодежи» сокращенный вариант романа, покоренные силой мысли и воображения автора, мы захотели во что бы то ни стало познакомиться с Иваном Антоновичем, чьи «Рассказы о необыкновенном» и «Звездные Корабли» еще раньше произвели на нас большое впечатление.

И вот мы в Москве, в его тесной, сплошь заставленной книжными стеллажами квартире в Спасоглинищевском переулке. Навстречу нам выходит высокий, широкоплечий, моложавый для пятидесяти лет человек с миндалевидными голубыми глазами. Чуть тронутые сединой волосы стрижены ежиком. Его огромная

сильная ладонь, протянутая для рукопожатия, способна еще, как он сам говорил, разогнуть подкову. Хотя он без бороды и усов и облачен не в доспехи, а в черный морской китель, не скрывающий могучего торса, Ефремов представляется нам с первого взгляда едва ли не былинным богатырем, и такое впечатление еще усиливается его мягким рокочущим басом.

Поначалу, как это бывает при первой встрече, разговор не очень клеился, пока не обнаружились наши общие пристрастия к литературе романтической мечты, к морским и экзотическим приключениям, и особенно к научной фантастике. Писатель заговорил о ее удивительных судьбах, о покоряющей воображение способности соединять прошлое с настоящим и настоящее с будущим.

— К сожалению, — заметил Ефремов, — у нас пока еще недооценивают фантастику, но она может и должна воздействовать на воспитание молодежи в нужном нам направлении. К этому я и стремился, изображая в своем романе Землю, освобожденную от всяческих скверн, объединенное человечество Эры Великого Кольца...

В первой же затянувшейся за полночь беседе раскрылась его необыкновенно многогранная личность, покорил его глубокий ищущий ум, свободно преодолевающий пространственно-временные барьеры, которыми разделены земные цивилизации и отделенные друг от друга безмерными межзвездными расстояниями очаги высокого Разума в космосе. И вместе с тем поражала его озорная, почти мальчишеская увлеченность всем необычным, загадочным, таящим в себе приключения, отвагу, преодоление невероятных преград как в литературе, так и в реальной жизни.

Но мы тогда еще не знали, что этот с виду такой могучий человек, возглавлявший в пустыне Гоби палеонтологическую экспедицию «за костями драконов», перенес в полевых условиях, буквально на ходу, инфаркт миокарда и был уже неизлечимо болен.

Как странно и порою несправедливо складываются людские судьбы! Ему, влюбленному в древнюю Элладу, мечтавшему о путешествиях по Африке и по Индии, получавшему десятки приглашений на международные научные конгрессы чуть ли не во все страны мира, предстояло прожить оставшиеся годы в четырех стенах своего кабинета или в лучшем случае на подмосковной даче.

Спустя несколько лет, когда мы уже настолько сблизились, что смогли с его помощью собрать материалы для монографии о жизни и творчестве Ивана Ефремова (книга «Через горы времени», изданная «Советским писателем» в 1963 году) и по-

стоянно обменивались письмами, в одном из них, от 6 марта 1967 года, он впервые признался:

«У меня ощущение, что я как хороший броненосец, с большой силой машин, запасом плавучести и т. д., но получивший пробоину, которую никак не могут заделать... И вот медленно, но верно заполняется водой один отсек за другим и корабль садится все глубже в воду. Он еще идет, но скорости набрать нельзя — выдавятся переборки, и сразу пойдешь ко дну. Поэтому броненосец идет медленно, почти с торжественной обреченностью, погружаясь, но с виду все такой же тяжелый и сильный. А в рубке управления мечется, пытаясь что-то сделать, капитан (моя жена) и экипаж из моих друзей, готовых сделать, что возможно, кроме главного — пробоина незаделываемая. Так и у меня — с каждой новой кардиограммой смотришь, как поднимаются одни зубцы, опускаются другие, расползаются вширь, осложняясь дополнительными, третьи. Эту картину я отчетливо вижу и сам. Это не паника, не внезапный припадок слабости или меланхолии, просто облеклось в поэтический образ мое заболевание. И не говорите ничего никому, ведь сколько осталось плавучести — величина неопределенная, зависящая от общей жизненности организма, и, может быть, и не так уж скоро, кое-что, во всяком случае, успею сделать — это я как-то внутренним чутьем понимаю, хоть и не исключаю возможности внезапного поворота событий, — но ведь это уже опасение кирпича на голову и потому не принимается во внимание. Меня всегда привлекал один эпизод из Цусимского боя. Когда броненосец «Сисой Великий», подбитый, с испорченными машинами, спасаясь от японцев, встретил крейсер «Владимир Мономах» и поднял сигнал: «Тону, прошу принять команду на борт». И на мачтах крейсера взвились флаги ответного сигнала: «Сам через час пойду ко дну». Мой броненосец пока не отвечает этим сигналом людям, введенным в заблуждение моей всегдашней бодростью, но дело к тому пошло за последний год довольно быстро».

Поражает мужественная оценка писателем своего физического состояния. Но ведь он был не только писателем, но и крупнейшим ученым биологического профиля. Необходимость соизмерять свои силы с трезвым сознанием неизлечимости недуга, предопределившего в недалеком будущем роковой исход, заставляла его рассчитывать свое время не только по часам, но и по минутам. Каждая очередная книга, которую он доводил до конца, казалась ему последним сказанным словом. Однако строго регламентированный режим и неусыпные заботы жены, Т. И. Ефремовой, продлили Ивану Антоновичу творческую жизнь еще на пятилетие со времени получения цитированного письма и позволили ему

выполнить за эти годы поистине гигантскую работу — написать еще два романа, не считая многочисленных статей, отзывов, интервью и огромнейшей переписки с учеными, литераторами и читателями.

Тем самым как бы подтвердилась на его личном примере одна из любимых идей писателя о почти безграничных возможностях организма, подчиненных самовнушению и сильной воле, что ярче всего воплотилось в образе доктора Гирина из романа «Лезвие бритвы».

5 октября 1972 года Ивана Антоновича не стало.

На протяжении многих лет — после появления «Туманности Андромеды» — он был признанным главой научно-социологического направления в советской фантастике и оказывал заметное влияние не только на советскую, но и мировую научно-фантастическую литературу. Вдохновляющим примером служат жизнеутверждающий пафос его творчества и глубокая убежденность в высоком назначении Человека, который сумеет преодолеть на своем пути все предвидимые и непредусмотренные трудности и построить общечеловеческий дом по законам всеобщей Справедливости, Разума и Красоты.

2

В 1944 году в журнале «Новый мир» появился цикл «Рассказов о необыкновенном», подписанных неизвестным в литературе именем И. Ефремов.

Читатели и критика встретили вполне доброжелательно произведения «молодого автора».

Одним из первых обратил на них внимание А. Н. Толстой. Тяжко больной, находясь уже на пороге смерти, Алексей Николаевич продолжал живо интересоваться всем, что происходило в советской литературе. Он пригласил Ефремова к себе в кремлевскую больницу и с места в карьер обратился с вопросом: «Рассказывайте, как вы стали писателем! Как вы успели выработать такой изящный и холодный стиль?»

«Начинающему автору» исполнилось к тому времени тридцать семь лет. Доктор биологических наук, видный палеонтолог и геолог, Иван Антонович Ефремов был участником и руководителем многих экспедиций Академии наук на Севере, в Закавказье, на Урале и в Восточной Сибири. Его перу принадлежало уже около полусотни опубликованных научных трудов. Ученому постоянно приходилось вести полевые дневники, описывать ископаемые, условия залегания пластов, окружающий ландшафт, минералы с их бесконечным разнообразием красок и оттенков.

Профессия геолога и палеонтолога требует точных наблюдений и умения фиксировать все, что видит глаз... Отсюда и поразивший А. Н. Толстого «изящный и холодный стиль».

Но главное, в чем выразилось подлинное новаторство автора «Рассказов о необыкновенном», — соединение строжайшей логики научного поиска с раскованностью художественного воображения — было понято позднее, с дальнейшим прогрессом науки и популяризацией ее достижений.

В самом деле, «приключения мысли», определяющие движение сюжета, Ефремов впервые в нашей литературе раскрыл в природоведческом плане.

В наши дни новеллы о необычайных наблюдениях, открытиях и находках в различных отраслях науки стали самостоятельным и весьма популярным ответвлением научно-художественного жанра.

Ефремов выступил как новатор и в историко-фантастической дилогии «Великая Дуга», состоящей из повестей «Путешествие Баурджеда» (1953) и «На краю Ойкумены» (1949).

Дело не только в том, что в те годы в советской литературе почти не было оригинальных произведений, посвященных великим цивилизациям древности. Разрабатывая эту тему, Ефремов воздействует на воображение читателей совершенно необычным подходом к изображению интеллектуального облика своих героев, которые в борьбе с жестокой природой и социальной несправедливостью приходят к целостному восприятию окружающего мира, к осознанию могущества, заложенного в дружбе и солидарности людей разных народов.

«Великая Дуга» отмечена обычным в творчестве Ефремова сочетанием строгих научных данных с богатейшей фантазией. Точное воссоздание исторического, географического и этнографического колорита и... явно модернизированные образы героев. Но в этой сознательной модернизации, пожалуй, и заключается глубинный смысл произведения. Идеи интернационализма, истоки которого Ефремов находит в далекой древности, делают его историческую дилогию вполне современной. Символика исканий на Великой Дуге древнего мира воспринимается как своеобразный пролог коммунистической утопии Великого Кольца грядущих времен в романе «Туманность Андромеды».

Этот роман, принесший Ефремову мировое признание, был не только новым словом в научно-фантастической литературе, но и открыл для советской, шире говоря — социалистической фантастики новые, неизведанные пути.

Ефремов-писатель как бы дополняет и продолжает Ефремова-ученого.

Способность легко и непринужденно подниматься от частного к общему, от отдельного факта к множеству причин и следствий, от разрозненных наблюдений к еще не познанной, но уже наметившейся в воображении картине целого — характерная черта Ефремова, выделяющая его среди писателей-фантастов современности.

Пафос безграничного познания, радость постижения окружающей природы и всего материального мира — основа основ его литературного творчества. И в большом и в малом он старается уловить действие определенных закономерностей, за хаосом фактов — железную логику причинности. Иначе говоря, материалистическая диалектика подчиняет себе работу мысли ученого и писателя, в каком бы направлении она ни велась.

Своеобразие Ефремова — мыслителя и художника, в том, что он в состоянии охватить исторический процесс в его всеобъемлющем комплексе. От далекого прошлого Земли и предыстории человечества он свободно переходит к временам грядущим, опираясь на познанные закономерности исторического и научного прогресса.

Космическое видение мира выражается у него и в «формулах» и в образах. В «формулах» сжатых и точных, в образах высокопоэтических, создаваемых могучим воображением.

Все это и позволяло Ефремову оставаться на протяжении тридцати с лишним лет на вахте впередсмотрящего советской научно-фантастической литературы.

3

Ранние впечатления не только формируют характер, но и накладывают отпечаток на всю последующую жизнь творческой личности. Об этом неоднократно напоминает Ефремов в многочисленных интервью с журналистами.

«Я помню свое детство, — рассказывает он, — свою юность, когда меня увлекали волшебные контуры дальних стран, когда я бредил тайнами Африки, дебрями Амазонки, когда, засыпая, сразу же оказывался на берегах экзотической реки. И исполинские крокодилы плыли, разрезая желтые воды, и трубили слоны, и величественные львы поворачивали головы на восход. Я засыпал и просыпался в мире, полном непознанного. Тогда никто еще не проник в глубины океанов, тогда я даже думать не смел о том, чтобы увидеть Землю со стороны, полететь на Луну или к другим планетам».

Мальчику было шесть лет — И. А. Ефремов родился 22 апреля 1907 года в деревне Вырице, под Петербургом, — когда ему под руку попался роман «Восемьдесят тысяч верст под водой». Рано пристрастившийся к чтению мальчуган с жадностью проглотил книгу, а потом перечел еще раз и еще — и надолго отдал свое сердце капитану Немо. Несколько позже он раздобыл другой роман Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли» — и заинтересовался минералами.

Буйное воображение в сочетании с острой памятью еще в детские годы создавало своего рода щит, который прикрывал его от пагубного воздействия мещанской среды. Он жил в своем собственном мире, сотканном из ярких образных представлений, навеянных прочитанными книгами и дополненных неуемной фантазией.

Позже, двенадцатилетним подростком, заброшенный ветрами гражданской войны в Херсон, Ефремов становится воспитанником 2-й роты автобазы 6-й армии. С красноармейцами роты совершает он большие, утомительные переходы. Но суровая романтика революции не заслонила от Ефремова его книжных пристрастий. Именно в это время он знакомится с сочинениями Райдера Хаггарда, которого всю жизнь продолжал почитать как одного из своих любимейших писателей. Устойчивый интерес Ефремова к Африке, который проходит через все его творчество, зародился еще при первом чтении таких пленительно-таинственных романов Хаггарда, как «Она», «Аллан Кватермен», «Копи царя Соломона».

Романтическому мировосприятию Ефремова способствовало и увлечение морем, когда в студенческие годы, будучи учеником знаменитого палеонтолога П. П. Сушкина, он чуть было не отдал предпочтение профессии моряка. Ведь знакомство со старым парусным капитаном, автором морских рассказов Д. А. Лухмановым обещало пытливому юноше открытия «неведомых земель». И хотя в конце концов пересилила наука, Ефремов на всю жизнь полюбил беспредельные океанские просторы. Став через несколько лет палеонтологом, он никогда не забывал навыки, полученные на кавасаки — моторном боте, на котором ходил старшим матросом.

Первую самостоятельную палеонтологическую экспедицию Ефремов проводит в 1926-м — на горе Богдо в Астраханской губернии. Затем с 1929 года он принимает участие в геологических поисках. Чтобы чувствовать себя во всеоружии и в этой новой профессии, он поступает экстерном на геологический факультет Горного института. Через три года молодой палеонтолог получает диплом горного инженера. Практический опыт разведчика земных недр, сложные геологические процессы и закономерности, постигнутые Ефремовым, открыли перед ним новые горизонты.

Но это не значит, конечно, что он забросил свою основную специальность. Крупные открытия, которые позднее были сделаны им в палеонтологии, явились результатом смелого вторжения в пограничную область между двумя отраслями естествознания, совмещения обеих сторон палеонтологии — биологической и геологической, которые раньше механически отделялись одна от другой.

Высшим научным достижением Ефремова был капитальный труд «Тафономия и геологическая летопись» (1950), отмеченный Государственной премией и получивший вскоре всеобщее признание.

Тафономия — производное от греческих слов: тафо — захороняю, номос — закон. В энциклопедических словарях тафономия определяется как разработанная советским ученым И. А. Ефремовым новая отрасль палеонтологии, изучающая процессы образования местонахождений остатков ископаемых животных и растений в слоях земной коры. Но можно сказать и шире: тафономия — это учение о закономерностях формирования геологической летописи.

Еще до того, как был опубликован этот труд, Ефремову блестяще удалось применить положения тафономии на практике. В 1946—1949 годах он возглавил три последовательные палеонтологические экспедиции в Монгольскую Народную Республику, где в пустыне Гоби на основе теоретических предположений Ефремова были открыты едва ли не самые богатые в мире скопления костей динозавров, а также млекопитающих кайнозойской эры, причем многие из них относятся к ранее неизвестным видам.

Можно понять законную гордость ученого, когда он несколько лет спустя заявил: «Появление тафономии впервые именно в нашей стране не случайно и отражает общее стремление советской науки к всестороннему охвату изучаемых проблем».

Характерно, что с годами основные положения тафономии получают дальнейшую разработку и все большее применение в практической деятельности палеонтологов и геологов не только у нас, но и за рубежом.

В 1956 году вышла в свет художественно-документальная очерковая книга «Дорога ветров», написанная на материале путевых дневников, которые велись Ефремовым в годы монгольских палеонтологических экспедиций. В творчестве писателя эта книга занимает промежуточное положение, находясь как бы «на стыке» науки и литературы. Пожалуй, никакое другое произведение не раскрывает в такой непосредственной форме его духовный облик и писательскую манеру.

Повествовательные отрывки здесь свободно чередуются с на-

учными экскурсами, пейзажные зарисовки с этнографическими этюдами, бытовые эпизоды с размышлениями на разные темы, поводы для которых возникают на каждом шагу. Непритязательные, порою шероховатые, описания последовательного хода работ, палеонтологических открытий и почти непрерывных передвижений экспедиции по гобийским степям и пустыням — таков сюжетный стержень «Дороги ветров». Героями ее становятся участники экспедиции, проявившие в трудных условиях незаурядное мужество и находчивость, но прежде всего сам автор, пытливый и наблюдательный натуралист, путешественник, географ, писатель. Он не только любуется великолепными пейзажами, но и смотрит на них глазами геолога, не только описывает, но и анализирует. Рассуждать, не объясняя, не доискиваясь до причины, Ефремов не может. Это свойственно ему органически. Не довольствуясь простой констатацией факта, он всегда старается ответить на вопрос «почему?».

По ходу действия возникают десятки неожиданных вопросов и не менее неожиданных ответов. Почему дикие лошади всегда стремятся перебежать дорогу машине? Почему монголы не держат кошек? Почему каждый арат легко узнает своих верблюдов, лошадей или овец в многотысячном стаде? Почему у яков лошадиные хвосты ? И т. д. и т. п.

Нельзя не обратить внимания и на языковые средства автора «Дороги ветров». От связи писателя с наукой идут поиски наиболее точных формулировок и непрерывное обогащение словарного запаса, от профессии геолога и палеонтолога — хорошее знание природы и безошибочное чувство пейзажа. Но заботит Ефремова в первую очередь сама мысль, а не одежда мысли, важнее ему, что́ сказать, а не как сказать.

«Дорога ветров» — книга глубоко поучительная. Она не только прививает навыки научного мышления и материалистические представления о мире, но и проникнута поэзией науки, романтикой исследовательской деятельности.

Ефремов обработал и опубликовал свои монгольские дневники, будучи уже вполне сложившимся, широко известным писателем.

Отступив от хронологического принципа, мы рассматриваем здесь «Дорогу ветров» как автобиографическое произведение, в котором особенно отчетливо раскрывается симбиоз и вместе с тем внутренние борения ученого и писателя. В самом деле, в год выхода «Дороги ветров» Ефремов уже работал над «Туманностью Андромеды». Литература в его кипучей деятельности начинает занимать доминирующее место. Впрочем, немаловажную роль здесь сыграло и здоровье, основательно подорванное в экспедициях. Работать же вполсилы он просто не умел. И вот

наступил день, когда профессор И. А. Ефремов покинул пост заведующего лабораторией низших позвоночных Института палеонтологии Академии наук СССР, чтобы посвятить большую часть времени осуществлению многочисленных литературных замыслов.

4

Что же заставило ученого, находящегося в расцвете творческих сил и завоевавшего в своей области громкое имя, так упорно пробовать себя в литературе?

Конечно, в этом смысле он не был единственным. Приобщение ученого к художественной фантастике имеет давнюю традицию. Достаточно вспомнить французского астронома Камиля Фламмариона, таких русских ученых, как шлиссельбуржец Н. А. Морозов, К. Э. Циолковский, академик В. А. Обручев. К середине нашего века подобные «набеги» крупнейших ученых в мир фантастики (Норберт Винер, Джон Пирс, Лео Сциллард, Отто Фриш, Фред Хойл и др.) стали распространенным явлением. Очевидно, фантастика позволяет ставить мысленные эксперименты, невозможные в лабораторных условиях, открывает простор ищущему уму своими, пока еще необоснованными, обгоняющими время допусками.

Естественные науки, бесспорно, помогли Ефремову представить целостную картину материального мира, находящегося в непрерывном движении и развитии. Но заданные рамки специальных исследований сдерживали его воображение, склонное к широким обобщениям и дерзким гипотезам.

К тому времени у Ефремова сложилось и собственное отношение к роли и назначению художественной литературы. Высоко ценя лучшие образцы приключенческой литературы за ее динамичность и влияние на умы и сердца молодых читателей, Ефремов в то же время видел ее слабости, проявляющиеся в том, что приключения нередко становились самоцелью и превращались в бездумное развлекательство.

А если перенести акцент с романтики приключений на романтику творческого поиска? Это не только изменит традиционную форму приключенческого повествования, но и наполнит его новым содержанием. Обычную интригу вытеснит научный и логический анализ. Действие, правда, будет развертываться в замедленном темпе, но сюжет не потеряет своей остроты. Обычные приключения заменятся приключениями мысли — от зарождения гипотезы до ее превращения в теорию, подкрепленную многочисленными доказательствами. Поэтому авантюрная сторона повествования ослабеет или вовсе сойдет на нет, что, од-

нако, не скажется на занимательности самого сюжета. Так или приблизительно так рассуждал Ефремов, приступая к работе над циклом «Рассказов о необыкновенном», и заставил профессиональных критиков признать его творческую самостоятельность, подобно тому как врач-психолог Гирин («Лезвие бритвы») вынуждает искусствоведов и художников посчитаться с его определением красоты как высшей целесообразности, выработанной природой за миллионы лет эволюции.

Но что же необыкновенного содержали в себе эти «Рассказы о необыкновенном»?

Сюжет обычно вытекает из научной загадки, казуса, ждущего объяснения. Ученый сталкивается с непонятным явлением природы. Для решения сложной проблемы мобилизуются самые разнообразные средства, привлекаются сведения из нескольких областей знания. Исследователь сопоставляет разрозненные факты, строит неожиданные предположения, демонстрируя не только силу логики, но и незаурядную способность к ассоциативному мышлению. В конечном счете победу торжествует аналитический ум ученого.

Почти во всех этих рассказах Ефремов остается фантастом. Однако его фантастические идеи так тщательно обоснованы, что принимают очертания научных гипотез и позднее нередко получают подтверждение, о чем подробно пишет сам автор в предисловии к своим рассказам.

Но среди них есть и такие, в которых развитие действия обусловлено не фантастическим допуском, а необыкновенными результатами созидательной деятельности людей, необыкновенными проявлениями воли и мужества, энергии и находчивости.

Разве не чудо — создание «Катти Сарк», быстроходного клипера, воплотившего в себе трудовой опыт многих поколений кораблестроителей и не утратившего после всех испытаний, которые выпали на его долю, безукоризненных навигационных качеств?

«Катти Сарк» — морской рассказ, в нем нет никакой фантастики, но это тоже рассказ о необыкновенном.

На том же принципе строятся и такие нефантастические рассказы, как «Последний марсель», «Белый Рог», «Путями старых горняков» и более поздние вещи — «Юрта Ворона», «Афанеор, дочь Ахархеллена».

В рассказах Ефремова, кроме геолого-палеонтологической, большое место отводится и морской теме. Бывший матрос, познавший на практике морское дело, он с большой точностью и конкретностью изображает жизнь на корабле и создает превосходные морские пейзажи. Даже в тех случаях, когда действие

переносится в далекие экзотические страны, где писателю не довелось побывать, его географические и этнографические описания зримы и достоверны.

Но море видится Ефремову как бы сквозь дымку времени. Для него это уже романтика молодости. Может быть, поэтому в его морских рассказах иногда так отчетливо звучат интонации Грина, Стивенсона и Конрада, писателей, которыми он увлекался с юных лет.

Ефремов остается верен себе и в морской теме. И здесь его больше всего привлекают необъяснимые явления природы, неожиданные открытия и мужественные люди, которые противоборствуют слепым стихиям («Встреча над Тускаророй», «Атолл Факаофо», «Бухта Радужных Струй» и др.).

Герой Ефремова — человек мысли и действия — образ в значительной степени автобиографический, во всяком случае психологически близкий автору, можно сказать, его alter ego. Да и сам писатель этого не скрывает. «В общем, — говорит Ефремов, — почти в каждый рассказ вкраплены воспоминания об эпизодах моей собственной путешественнической или морской жизни».

Если бы Ефремов не пошел дальше и не обратился к человеку как творческой индивидуальности, его художественное развитие могло бы приостановиться раньше, чем исчерпался бы запас сюжетов. Но Ефремов не остановился на достигнутом. Требовали своего воплощения новые, куда более широкие замыслы, охватывающие целые исторические эпохи и судьбы всего человечества. Естественно, что и многочисленные герои последующих произведений, посвященных далекому прошлому и далекому будущему, должны были предстать перед читателем в ином качественном выражении.

Что же касается «Рассказов о необыкновенном» в целом, то они остаются прекрасным началом творческих свершений писателя, сохраняя в истории советской литературы новаторское значение как новый тип приключенческого повествования, в котором научная идея, движение мысли, любование работой ума не только поэтизируются сами по себе, но и определяют поэтику произведения.

5

Обращение Ефремова к исторической теме было подготовлено его профессиональным интересом и к далекому прошлому Земли, и к истокам человеческой цивилизации. Читателям, по-

любившим Ефремова как фантаста, могло показаться странным и неожиданным появление «Великой Дуги».

Но, по существу, Ефремов остается фантастом и в исторических повестях, поскольку художественный домысел преобладает над зарегистрированными фактами, относящимися к такому-то периоду древнего египетского царства или Эллады эпохи формирования классического античного общества. Реконструкция воображаемой картины, намеченной археологами и историками древнего мира, сближает исторические повести Ефремова с произведениями научной фантастики. Но как бы ни был велик в данном случае авторский домысел, он не вступает в противоречие с научной достоверностью.

Ефремов познает историю в движении, стараясь найти даже в очень далеком прошлом те звенья, которые связывают цепь времен. Ненависть к деспотии, к любым формам самовластия и подавления личности пронизывает все творчество Ефремова, начиная от его исторических повестей и кончая романами о далеком будущем. В дилогии «Великая Дуга» символом тирании, превращающей каждого простого человека в песчинку, становится мертвящая власть фараона. Сочиняя «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены», писатель думал не только о давнем прошлом, но и о настоящем и будущем Африки, думал не только об исторических судьбах народов Черного материка, но и о судьбах других народов.

Все герои Ефремова, независимо от того, когда они живут и действуют, всегда обгоняют свое время. Наделенные ищущим, пытливым умом, они устремляются к новому и неизведанному, и в этом вечном поиске писатель видит назначение человека.

Таковы Баурджед, казначей фараона Джедефры и его кормчий Уахенеб, принесшие современникам новые знания и расширившие их представления о мире. Семилетнее плавание Баурджеда к полулегендарной стране Пунт (по-видимому, на побережье Аденского залива) и еще южнее — к берегам реки Замбези — разрушило укоренившееся представление, что вся Земля ограничивается страной Та-Кем — «Большим домом» фараона. Но эти знания вступают в противоречие с идеей безраздельного владычества фараона над всем миром и наносят удар культу единовластия, который на протяжении многих столетий составлял основу политической и религиозной идеологии древнего египетского царства.

Потому так холодно и подозрительно встретил преемник Джедефры фараон Хафра некстати вернувшегося Баурджеда и, выслушав его рассказ о дальних странах, приказал уничтожить путевые записи, отправить его спутников на далекие окраины

Та-Кем, а самому Бауржеду забыть навсегда все, что он видел. Но, несмотря на приказ фараона, «песня-сказание, порожденная душой народа, свободной в своей любви и ненависти, неподкупной в оценке совершившегося, прославляла его», Бауржеда, первого египтянина, достигшего Великой Дуги.

В отличие от Бауржеда молодой эллин Пандион, герой повести «На краю Ойкумены», расширяет не географические представления о мире, а постигает его эстетическую сущность глазами гениального скульптора, намного опередившего свое время.

«На краю Ойкумены» — книга о воспитании характера. В центре ее человек, жадно ищущий и чутко воспринимающий все новое, что приносит ему жизнь.

Перед читателем проходит пестрая географическая панорама. Уголок Древней Греции, остров Крит, Средиземное море и вся Африка, начиная от рабовладельческого Египта и кончая экваториальными дебрями, где живут свободолюбивые негритянские племена.

Проведя Пандиона через многочисленные испытания, сталкивая его с разными людьми, знакомя с жизнью, культурой и искусством других народов, автор показывает молодого художника в непрерывном развитии. Каждая новая встреча обогащает его внутренний мир, способствует духовному росту.

Если в «Путешествии Бауржеда» истинное знание преодолевает границы царства, религиозные догматы, сопротивление косности и невежества, то в «На краю Ойкумены» высокое искусство побеждает и пространство и время, сохраняя для грядущих поколений свою нетленную ценность.

Хотя в суровом и еще примитивном искусстве Греции гомеровского периода преобладали плоскостные геометрические формы, Пандион предвосхитил в своих исканиях и мастерстве искусство Эллады эпохи полного расцвета. Ефремов и здесь воспользовался правом художника наделить своего героя чертами психологии и сознания людей более поздней эпохи. Таким образом, и тема искусства раскрывается в исторической перспективе.

Ничего нет горше одиночества человека, оторванного от родины! Раб фараона Пандион понял свою беспомощность перед лицом деспотической власти. В мучительных испытаниях и непрерывной борьбе с превратностями судьбы он ищет и находит друзей. Ими становятся могучий негр Кидого и суровый этрусский воин Кави. Они втроем возглавляют мятеж рабов и после кровопролитных схваток с египетской стражей уходят в пустыню.

Тема бескорыстной братской дружбы представителей разных

народов, объединенных стремлением к свободе, бережно и любовно проносится Ефремовым через всю книгу, как бы предвосхищая интернационалистское сознание передовых людей нашей эпохи. Здесь, несомненно, улавливается и перекличка с прогрессивными идеями братства восставших рабов многих национальностей в почитаемом Ефремовым романе гарибальдийца Рафаэлло Джованьоли «Спартак».

Переплетение этих двух тем — облагораживающее воздействие красоты и нерушимой дружбы — получает символическое выражение в прекрасном произведении искусства. На плоском обломке берилла, когда-то привезенного Баурджедом из дальних странствий, рукою Пандиона вырезана гемма: три обнявшиеся мужские фигуры — эллин, негр и этруск...

В одном из писем к авторам этой статьи И. А. Ефремов так раскрывает замысел своей дилогии: «Мне хотелось рассказать о культуре Эллады и Древнего Египта и вместе с тем об искусстве этих стран, ибо культура неотделима от искусства, которое в древности играло, пожалуй, большую роль в жизни общества, чем теперь. Египет и Эллада даны в противопоставлении. Египет — страна замкнутая, косная, стонущая под бременем деспотической власти. Эллада — страна открытая, жизнелюбивая, с широким кругозором. Ни один народ в мире не выразил себя так полно и свободно в своем искусстве, как древние греки. Это — первая в истории человечества культура, для которой в период ее расцвета характерно увлечение эмоциональной жизнью человека — гораздо больше в сторону Эроса, чем религии, что резко отличает ее от древнеегипетской религиозной культуры. Эллада пленяет свежестью и полнотой чувств, и отношение к ней не может измениться».

Устойчивый интерес к эллинской культуре сопровождает писателя на протяжении всей его творческой жизни. Тема античного искусства впервые была затронута в рассказе «Эллинский Секрет» и получила дальнейшее развитие в повести «На краю Ойкумены», затем, как великая унаследованная традиция далекого прошлого, предстала в новом качестве в романе «Туманность Андромеды».

6

Наиболее полно увлеченность Ефремова античной культурой выразилась в его посмертно изданном историческом романе «Таис Афинская» (1973) [1].

[1] При жизни писателя был опубликован сокращенный вариант в журнале «Молодая гвардия» (1972, № 7—11).

Действие происходит в эпоху Александра Македонского. Однако столь известная и многократно использованная в мировой литературе история завоеваний греческого полководца показана отнюдь не «хрестоматийно», поскольку Ефремов строит свое произведение на мало известных фактах. Автор, развивая свои излюбленные идеи, поставил целью показать, как впервые в европейском мире родилось представление о «гомонойе» — равенстве всех людей в разуме, в духовной жизни, несмотря на различие народов, племен, обычаев и религий. Ведь именно походы Александра распахнули ворота в Азию, до той поры доступную лишь торговцам и пленным рабам. И в этом впервые состоявшемся обмене разнородных культур писатель усматривает главное значение походов Александра для истории человечества.

«Выбор эпохи для настоящего романа, — пишет он в предисловии, — сделан не случайно, однако и не без влияния удивительной личности Александра Македонского. Меня интересовало его время как переломный момент истории, переход от национализма V—IV веков до нашей эры к более широким взглядам на мир и людей, к первым проявлениям общечеловеческой морали, появившимся в третьем веке со стоиками и Зеноном».

Эпоха Александра Македонского предстает перед читателем во всех ее противоречиях и сложностях, через призму восприятия Таис Афинской, юной гетеры, возлюбленной одного из диадохов Александра, его верного друга и единомышленника Птолемея, женой которого и царицей Египта впоследствии она становится.

Но почему же центральным персонажем своего романа автор избрал не знаменитого военачальника или философа, а свободную афинянку, гетеру Таис? Вероятно, это можно объяснить тем, что такие прославленые гетеры, как Аспасия или Фрина, были образованнейшими женщинами своего времени, подругами (гетера и значит — «подруга», «компаньонка», «товарищ») выдающихся людей — художников, поэтов, государственных деятелей. Писателю удобнее было взглянуть на деяния Александра как бы со стороны — глазами Таис, не заинтересованной в политике, завоеваниях, торговле, не принадлежащей ни к одной из философских школ и вместе с тем женщины высокоинтеллектуальной.

Ей чуждо высокомерие и безапелляционность суждений Аристотеля, она не принимает как идеал «Государство» Платона. Ей ближе Анаксагор, объяснивший возникновение системы небесных тел из первичного беспорядочного смещения веществ в результате их вихреобразного вращения, Анаксагор, так высоко ставивший «нус», то есть человеческий разум. Но еще ближе при-

роде и пониманию Таис учение орфиков — мировоззрение разоряющегося крестьянства и рабов, противостоявшее мифологии, то есть мировоззрению родовой аристократии.

Поэтому особенно примечательны те страницы романа, где повествуется о встречах Таис со старым делосским философом, тайным проповедником учения орфиков, нашедшим в молодой женщине верную и смышленую ученицу, — свои глаза и уши, которым предстоит увидеть и услышать будущее. «Твоя роль в жизни, — говорит он, — быть музой художников и поэтов, очаровательной и милосердной, ласковой, но беспощадной во всем, что касается Истины, Любви и Красоты. Ты должна быть бродильным началом, которое побуждает лучшие стремления сынов человеческих, отвлекая их от обжорства, вина и драк, глупого соперничества, мелкой зависти, низкого рабства. Через поэтов-художников ты, Муза, должна не давать ручью знания превратиться в мертвое болото».

Учение делосского мыслителя и помогло Таис осмыслить по-новому свое назначение в жизни и сконцентрировать все духовные силы в защиту Добра и Красоты. Как известно, именно по ее настоянию Александр Македонский сжигает Персеполис, цитадель деспотической династии персидских царей Ахеменидов — воплощение бездуховного начала, нравственного и эстетического уродства.

Выбор Таис в качестве главной героини объясняется еще и тем, что женщина — эту мысль писатель проводит на всем протяжении творчества — по своим моральным качествам и богатству душевного мира выше мужчины. Ведь биологическая ее природа Матери позитивна по своей сущности — она создает жизнь, а не разрушает ее. И кроме того, в женской красоте воплотился в наиболее целесообразной и гармонической форме результат продолжавшейся миллионы лет биологической эволюции на Земле. Именно в синтезе духовного и физиологического совершенства предстают перед читателями любимые героини книг Ефремова — историк Веда Конг («Туманность Андромеды»), мастер художественной гимнастики Серафима Металина («Лезвие бритвы»).

Превращение Таис в главную героиню романа повлекло за собой исследование многообразных реалий быта и нравов эпохи эллинизма, некоторых малоизвестных религиозных течений, остатков матриархата, тайных женских культов, роли поэтов и художников в общественной жизни и т. п. Все это придает роману подлинную новизну, так как в описаниях историков и беллетристов духовный мир людей этой эпохи, как правило, отсту-

пает на задний план перед сценами битв, завоеваний, дележа добычи, дворцовых интриг и заговоров.

Но роман читается нелегко. Он явно перегружен подробностями быта и обстановки, описаниями одежды и утвари, дворцов и храмов, уснащен древнегреческими словами и забытыми терминами. Это признает и сам автор, объясняя в предисловии свой подход к теме: «Такую же перегрузку впечатлений испытывает каждый, кто впервые попал в чужую страну с неизвестными обычаями, языком, архитектурой. Если он достаточно любознателен, то быстро преодолеет трудности первого знакомства, и тогда завеса незнания отодвинется, раскрывая ему разные стороны жизни. Именно для того, чтобы отдернуть эту завесу в моих произведениях, я всегда нагружаю первые две-три главы специфическими деталями. Преодолев их, читатель чувствует себя в новой стране бывалым путником».

Однако было бы неверно рассматривать этот роман как еще один опыт литературно-археологической реставрации далекого прошлого. Книга, безусловно, имеет большую познавательную ценность, но значение ее этим не ограничивается. Может быть, самое важное в ней — сквозная мысль о преемственности цивилизаций, о взаимопроникновении культур Востока и Запада, отгороженных до походов Александра непроходимостью «Ойкумены».

В отличие от Рэя Брэдбери, Пола Андерсона и многих других зарубежных писателей Ефремов вовсе не пытается искать спасения от рева и грохота машинной цивилизации в успокоительном «патриархальном» прошлом и вовсе не противопоставляет прекрасную Элладу как некий эталон, эпохе научно-технической революции. Он страстно хочет, чтобы все истинно прекрасное, что было создано в древнем мире, не было бы забыто и вошло бы в преображенном виде в совершенное общество, которое мы строим.

7

Своеобразным мостом, перекинутым на пути от глубокой древности к далекому будущему, стал роман «Лезвие бритвы», завершенный Ефремовым в конце 1962 года. Действие происходит в наши дни — в Советской России, Италии, Южно-Африканской Республике, в Индии и Тибете.

В этом большом многоплановом произведении, вобравшем в себя весь жизненный опыт писателя, Ефремов размышляет о Человеке — скрытых и еще не использованных резервах организма, о гигантских возможностях памяти и о том лучшем, что по эстафете мысли и знаний унаследовано нами от далеких предков и перейдет от нас к нашим потомкам.

«Цель романа, — пишет Ефремов в предисловии, — показать особенное значение познания психологической сущности человека в настоящее время для подготовки научной базы воспитания людей коммунистического общества». И далее он признает, что почти невозможно решить эту сложнейшую задачу без ущерба для композиции и художественной ткани произведения, так как писатель, связавший тему своего романа с вопросами психофизиологии, должен быть одновременно антропологом, демографом, генетиком, историком, психологом и социологом.

Действительно, Ефремов смело вторгается во все эти области, высказывая оригинальные, порою дискуссионные суждения.

Перегруженность романа разнородным научным материалом заставила автора отважиться на литературный эксперимент — попытаться вместить нелегкое для восприятия содержание в форму динамического приключенческого повествования, по словам самого Ефремова, в несколько хаггардовском вкусе.

Работая над романом, он думал не только об искушенных читателях, но и о тех, которые предпочитают беллетристику и не стали бы тратить время на научные трактаты, даже в популярном изложении.

Ожидания оправдались! Публикация «Лезвия бритвы» в журнальном варианте, еще задолго до выхода отдельного издания, вызвала поток читательских писем. И что характерно — как раз не приключенческая канва, а именно научные идеи и размышления автора побудили людей разных профессий и разного возраста, но преимущественно молодых, делиться своими впечатлениями с Ефремовым. Эта книга заставила многих поверить в свои силы, найти жизненное призвание, выбрать соответствующую склонностям работу.

Но почему книга, названная автором «Роман приключений», с тем же основанием может быть отнесена и к научной фантастике?

В «Лезвии бритвы» мы находим три фантастические гипотезы.

Одна из них развивает идею, положенную в основу раннего рассказа «Эллинский Секрет», в котором молодой русский скульптор, чьими далекими предками были греки-киприоты, вспоминает благодаря внезапному пробуждению «генной памяти» секрет античных ваятелей — рецепт состава, размягчающего слоновую кость, что дает возможность лепить из нее, как из воска.

Нечто подобное происходит в романе с таежным охотником Селезневым, страдающим эйдетическими галлюцинациями: в своем раздвоенном сознании он ощущает себя как бы в двух ипостасях — и сыном своего времени, и доисторическим человеком,

который вместе с сородичами охотится на мамонтов, обороняется от гигантских обезьян, защищает женщину от саблезубого тигра.

Другая гипотеза восходит к давнему замыслу приключенческой повести «Корона Искандера», частично воплощенному в итальянских главах «Лезвия бритвы». Извлеченная из морских глубин у берегов Южной Африки черная корона, некогда принадлежавшая восточному владыке, затем Александру Македонскому, а после его смерти Неарху, украшена неведомыми серыми кристаллами, которые под действием солнечного света в определенных условиях дают излучения, влияющие на нервные клетки мозга. И расположение кристаллов в короне таково, что излучение попадает на участки больших полушарий, ведающих памятью.

И наконец, третья гипотеза, находящаяся на грани реальности, связана с феноменальными гипнотическими способностями героя романа — Гирина, считающего, что при соответствующей тренировке каждый взрослый человек может овладеть этим свойством. Одновременно Ефремов высказывает предположение, что большинство болезней происходит на психологической основе и что психотерапия, находящаяся пока еще в зачаточном состоянии, со временем разовьет свои возможности до такой степени, что даже тяжелейшие нервные заболевания можно будет излечивать посредством самовнушения.

Иван Гирин — центральный персонаж, стягивающий в один узел все сюжетные линии романа, подобно героям «Рассказов о необыкновенном», своим аналитическим умом, широтой кругозора, диалектическим подходом к разнородным жизненным явлениям напоминает самого Ефремова.

Врач и психолог, Гирин в своей практической работе постоянно сталкивается с узкопрофессиональным подходом к диагностике и лечению различных недугов. Он считает, что медицина должна объединиться с целым комплексом научных дисциплин, которые, взаимно дополняя друг друга, помогут познать на молекулярном уровне тончайшую структуру человеческого организма, уловить причины и следствия малейших отклонений от нормы и не только исцелять, но и своевременно предотвращать всевозможные заболевания.

Гуманность медицины в будущем, по мнению Ефремова, должна быть связана прежде всего с психологией больного, с охраной человеческого достоинства, сознания и подсознания. Потому Гирин и стремится объединить психологию с физиологией, мечтает о создании психофизиологического научного центра и настойчиво ищет пути сближения естественных наук с гуманитарными.

В отличие от Фрейда и его многочисленных исследователей на Западе, усматривающих в любом поступке проявление психопатологических сексуальных комплексов, Гирин ставит во главу угла общественное поведение человека и берет за исходное его биологическую полноценность. Своеобразие суждений героя Ефремова заключается в том, что он старается увязать такие надстроечные категории, как этика и эстетика, с материалистически понятым процессом биологической эволюции.

«Пора перевести понятие искусства на общедоступный язык знания и пользоваться научными определениями, — говорит Гирин, обращаясь к художникам. — Красота — это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное. Иначе говоря, закрепившееся в подсознательной памяти человека благодаря миллиардам поколений с их бессознательным опытом и тысячам поколений — с опытом осознаваемым. Поэтому каждая красивая линия, форма, сочетание — это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. ...Таково биологическое значение чувства красоты, игравшего первостепенную роль в диком состоянии человека и продолжающегося в цивилизованной жизни».

Концепция Ефремова — Гирина получает наиболее полное и отчетливое выражение в индийских главах романа, где советский ученый излагает свои взгляды перед индийскими мудрецами — йогами высших степеней, пригласившими его на собеседование.

Отдавая должное древней индийской философии, открывшей правильный путь к совершенствованию человека посредством тщательного развития и умножения его физических и духовных сил, Гирин в то же время упрекает своих оппонентов в том, что идеал йогов зиждется на личном «спасении», изоляции от окружающего мира, невмешательстве в земные дела. Тем самым из индийской философии вытекает мораль себялюбцев, несущая благо лишь небольшому числу «посвященных».

«Разве не в тысячу раз более благородна другая цель, какую поставил себе целый народ — мой народ, идущий к ней через великие трудности? — восклицает Гирин. — Цель эта — сделать всех знающими, чистыми, освобожденными от страха, равными перед законом и обществом, сделать доступным для них всю неисчерпаемую красоту человека и природы... Я был бы

рад, если бы вы увидели за моими несовершенными формулировками, что из материализма вместе с глубоким познанием природы вырастает и новая мораль, новая этика и эстетика, более совершенная потому, что ее принципы покоятся на научном изучении законов развития человека и общества, на исследовании неизбежных исторических изменений жизни и психики, на познании необходимости и общественного долга».

Гирин, как он обрисован Ефремовым, приближается к нашим представлениям о положительном герое современности. Но это вовсе не значит, что только он один несет в себе эти лучшие человеческие свойства. И такие персонажи, как его жена Серафима, старый профессор Андреев, геолог Ивернев, итальянка Сандра, индийский художник Даярам Рамамурти, тоже находятся в вечном поиске и никогда не удовлетворяются достигнутым. В частности, Рамамурти, главное действующее лицо индийской части романа, стремится к тому же, что и Гирин, — познанию и утверждению Красоты как высшего выражения эстетического и нравственного идеала. Но в отличие от Гирина, осмысляющего все теоретически, рационально, молодой индиец воспринимает прекрасное эмоционально. Он ставит целью своей жизни воплотить в бронзе обобщенный образ женской красоты — Апсары.

Остается сказать о названии романа.

Весь эволюционный процесс в его динамической сущности проходит по столь узкому коридору, что Ефремов уподобляет его лезвию бритвы. Малейшее отклонение в ту или иную сторону может стать катастрофическим.

По «лезвию бритвы» проходит и путь восхождения человека от примата к мыслящему существу.

И наконец, процесс формирования качественно новых общественных отношений требует от всех людей глубокого духовного самовоспитания. «Конечно, — говорит Гирин, — узка и трудна та единственно верная дорога к коммунистическому обществу, которую можно уподобить лезвию бритвы. ...Простое пробуждение могучих социальных устоев человеческой психики, пробуждение чувств братства и помощи, которые уже были в прошлом, но были подавлены веками угнетения, зависти, религиозной и национальной розни, рабовладельческих, феодальных и капиталистических обществ, дает людям такую силу, что самые свирепые угнетения, самые железные режимы рухнут карточными домиками...»

Идея самовоспитания человека и пробуждения скрытых в нем могучих сил на благо общества проходит лейтмотивом через весь этот роман.

8

Наибольшую славу Ефремову принесли научно-фантастические романы и повести, в которых писатель с огромной силой убежденности утверждает материалистическую идею о единстве в разных уголках мирового пространства великого процесса эволюции, становления высшей формы материи и творческой работы разума.

Еще задолго до запуска первого искусственного спутника и вывода на околоземную орбиту космического корабля с человеком на борту, Юрием Гагариным, задолго до того, как нога человека ступила на поверхность Луны, а в атмосферу Венеры и Марса проникли автоматические станции-лаборатории, Ефремов опубликовал повесть «Звездные Корабли» (1948), написанную в 1944 году.

Уже ставшее привычным в наши дни космическое видение мира, окончательно перечеркнувшее геоцентрические представления, тогда, более четверти века назад, в интерпретации Ефремова поразило воображение даже искушенных читателей. Мало того, что ему удалось показать в действии взаимозависимость разнообразных наук, казалось бы не имеющих между собой никаких точек соприкосновения, писатель с убеждающей силой логики обосновал гипотетическую возможность посещения Земли представителями развитых цивилизаций других звездных систем. При этом Ефремов доказывал, что пришельцы из космоса неминуемо должны быть человекоподобными: «Формы человека, его облик как мыслящего животного не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом. Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик. Поэтому всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе» [1].

Едва намеченная в «Звездных Кораблях» мысль о том, что глубокое проникновение в космос, влекущее за собой контакты инопланетного разума, возможно только на высшем уровне социальной организации, соответствующей нашим представлениям о коммунизме, — эта мысль получила широкое истолкование в романе «Туманность Андромеды» и примыкающей к нему повести «Сердце Змеи» (1958).

В отличие от многих писателей-фантастов, полагающих, что

---

[1] Те же идеи развиваются Ефремовым в статье «Космос и палеонтология» (альманах «Н. Ф.», вып. 12. М., 1972).

формы высокоразумной жизни в разных уголках вселенной могут быть исключительно многообразными, вплоть до «мыслящих растений» или даже «умной плесени», Ефремов последовательно отстаивает антропоморфическую гипотезу.

Непредвиденная встреча в глубинах космоса экипажей двух звездолетов — земного и с планеты Тау Змееносца — выявляет не только физиологическое сходство землян и «голубых людей», что облегчает взаимопонимание, но и близость уровней социального и научно-технического прогресса, достигнутого обитателями обеих планет. Более того, всякого рода опасения, что встреча может привести к враждебному столкновению, оказываются несостоятельными. Любая цивилизация, доросшая технически до расселения в космосе, не может не стоять на высшей ступени нравственного, а следовательно, и социального развития!

В «Сердце Змеи» Ефремов выступает как психолог, передающий сложную гамму мыслей, чувств и переживаний людей, готовящихся к первой встрече с разумными существами другой звездной семьи. При этом самый образ мышления его героев находится в соответствии с временем действия, то есть отражает высочайший уровень общественной структуры и научных знаний эпохи расцвета мирового коммунизма.

Космическое мировосприятие составляет идейную основу и такого романа, как «Туманность Андромеды».

«Наши полеты в безмерные глубины пространства, — с горечью говорит командир звездолета Эрг Ноор, — это пока еще топтание на крошечном пятнышке диаметром в полсотни световых лет!»

И действительно, звездолеты на фотонных или ионных двигателях никогда не преодолеют барьера световой скорости, и, следовательно, путешествие даже к ближайшим звездным системам растянется на долгие годы. Непреодолимые пространства — главное препятствие для познания вселенной и установления непосредственных контактов с цивилизациями обитаемых планет.

Но писатель не может и не хочет согласиться с пределом, поставленным физическими законами. Если невозможны прямые контакты, то на помощь должны прийти радиоволны. Так возникает грандиозная идея Великого Кольца Миров, в которое включаются одна за другой внеземные цивилизации, достигшие космического уровня прогресса. Не сомневаясь в том, что Великое Кольцо существует в действительности, Ефремов оценивает установление связи людей Земли с братьями по мысли как стремительный рывок вперед, позволивший человечеству почувствовать себя еще более могущественным перед силами

природы. И вот что поразительно: придуманный писателем фантастический термин Великое Кольцо вошел в арсенал современных научных представлений как вполне допустимая гипотеза.

Но и на этом не успокаивается ищущая мысль. Ведь и радиоволны подчинены все тому же «роковому» пределу — 300 тысяч километров в секунду. И тогда возникает идея «совершить еще одну из величайших научных революций — окончательно победить время, научиться преодолевать любое пространство в любой промежуток времени, наступить ногой властелина на непреодолимые просторы космоса». Персонажи из «Туманности Андромеды»: гениальный физик Рен Боз разрабатывает теорию «нуль-пространства», а экспериментатор Мвен Мас ставит свой знаменитый Тибетский опыт, в результате которого был достигнут «репагулюм» — переход пространства в антипространство: на какую-то долю секунды был как бы переброшен мост протяженностью в двести девяносто световых лет к планете звезды Эпсилон Тукана.

Развитием этого принципа становятся пульсационные звездолеты в «Сердце Змеи».

Таким образом, Ефремов по-своему истолковывает важнейшие проблемы, давно уже занимающие воображение писателей-фантастов. Отталкиваясь от новейших научных гипотез и пытаясь предусмотреть, к чему может привести их безграничное развитие в будущем, он намечает далекие перспективы астронавтики, кибернетики, биохимии, медицины, с убеждающей силой показывая победу человеческого разума над косными силами мироздания, и прежде всего — над временем и пространством.

Но Ефремов не был бы в своей области новатором, если бы не подчинил замысел «Туманности Андромеды» научно-материалистическим философским представлениям о законах природы и общества. Величайшие завоевания науки и техники будущего поставлены писателем в прямую зависимость от социального прогресса. Ефремов впервые попытался нарисовать широкую и разностороннюю панораму высокоразвитого коммунистического общества, объединившего все человечество. И в этом его главная заслуга.

По охвату материала «Туманность Андромеды» — произведение почти энциклопедическое. Автор, создавая облик грядущего мира, старается проникнуть во все сферы общественной жизни — человеческих отношений, науки, техники, философии, педагогики, психологии, морали, искусства. Синтетический замысел и стремление раскрыть явления во всеобъемлющем комплексе определяют композицию, художественные приемы, язык и стиль романа.

Подавляющее большинство писателей-фантастов показывают грядущее глазами своего современника. Ефремов выбрал иной путь, гораздо более трудный. Он поставил своей задачей взглянуть на мир завтрашнего дня не извне, а изнутри, из будущего смотреть в прошлое, стать современником людей, о которых он пишет. Поэтому его героям, живущим спустя, по крайней мере, полтысячелетия после нас, нет надобности удивляться достижениям созданной ими техники и победам в космосе. Вместе с новыми масштабами мысли меняется отношение и к земным делам, и к задачам освоения вселенной.

Художественный прием «показа изнутри» поначалу затрудняет восприятие. Но постепенно осваиваешься с законами этого необычного мира и начинаешь верить в него, подходить к нему с теми мерками, которые установлены самим автором, продумавшим все причины и следствия, вытекающие из его фантастических допущений.

Но каковы же они, герои «Туманности Андромеды», наши далекие потомки — люди Эры Великого Кольца?

В одном из интервью Ефремов подробно излагает свои взгляды на человека будущего и на трудности его изображения: «Когда я пишу своих героев, я убежден, что эти люди — продукт совершенно другого общества. Их горе не наше горе, их радости не наши радости. Следовательно, они могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже неестественными. ...В данном случае я говорю о принципе, о подходе, о специфике. Если герои в чем-то кажутся искусственными, схематическими, абстрактными, в этом, наверное, сказались недостатки писательского мастерства. Но принцип правилен. Надо на эту высокую гору лезть, пытаться создать правдивый, высокохудожественный образ человека далекого будущего, а не подлаживаться, не приспосабливаться, не переносить искусственно человека нынешнего в то далекое время».

Исходя из известной формулы Маркса — коммунизм равен гуманизму, — Ефремов выводит целую галерею образов людей, действительно высокогуманных, органически сочетающих свои личные интересы с интересами общества, достигших полной гармонии в духовном и физическом развитии.

По мысли Ефремова, идеально поставленное коллективное воспитание — единственно правильный путь формирования нового человека. Поэтому так много внимания уделяется системе воспитания и обучения подрастающего поколения от школы первого цикла до «подвигов Геркулеса» — труднейшего экзамена на право вступить в жизнь полноценным ее строителем и творцом.

Когда труд перестает быть необходимостью и становится естественной потребностью, доставляющей радость и наслаждение, человек вырывается из плена узкой профессионализации. В Эру Великого Кольца за долголетнюю жизнь каждый успевал получить высшее образование по нескольким специальностям, меняя род работы в соответствии с внутренней потребностью.

Несмотря на изобилие материальных благ, люди не мыслят нормальной жизнедеятельности вне разностороннего созидательного труда. «Мечты о тихой бездеятельности рая, — говорит психолог Эвда Наль, — не оправдались историей, ибо они противны природе человека-борца».

Эта мысль, проходящая красной нитью через весь роман, полемически заострена против утопических, антинаучных представлений о высшей фазе коммунизма как о «машинном рае», где на долю человека оставлена скучнейшая обязанность — вовремя нажимать кнопки механизмов и переводить рычаги управления.

Изображенное Ефремовым общество могло бы полностью отказаться от применения простого физического труда. Однако автор не перестает настаивать на его биологической необходимости. Ведь физическая работа дает не только разрядку от интеллектуального напряжения, но в соединении со спортом способствует закалке организма и приносит удовлетворение в непосредственной борьбе с различными испытаниями.

Эра Великого Кольца — это одновременно и эра Прекрасного, в полной мере постигнутого человечеством.

Преодолено отставание искусства от стремительного роста знаний и техники. Наполнение мира Красотой, эстетизация всех сфер жизни становится внутренней потребностью каждого члена общества. Искусство в тесном союзе с наукой участвует в преобразовании человека и окружающего мира.

«Развивать эмоциональную сторону человека стало важнейшим долгом искусства. Только оно владеет силой настройки человеческой психики, ее подготовки к восприятию самых сложных впечатлений».

Мы наметили некоторые вехи, могущие облегчить понимание этого сложного социально-философского романа. С 1957 года, то есть года выхода в свет, «Туманность Андромеды» обросла огромной критической литературой и подробными комментариями, которые, в частности, попытались дать и авторы этих строк в книге «Через горы времени».

«Туманность Андромеды» вызвала многочисленные отклики и в зарубежной печати. Даже буржуазная пресса не обошла вниманием «утопический роман» советского писателя, отметив его гуманную направленность и «прозорливое предвидение лучшего

будущего». Изданная в 1970 году во Франции десятитомная серия «Шедевры мировой фантастики» открывается «Туманностью Андромеды».

В творчестве Ефремова впервые в советской фантастике литература как человековедение становится «человечествоведением». И в этом плане, учитывая масштабность мысли и нарисованных автором картин всепланетного охвата, пронизанных к тому же космическим видением мира, особенно важен идейный подход к представлениям писателя о будущем.

«Туманность Андромеды» полемически заострена и против социального пессимизма фантастики Герберта Уэллса, в частности «Машины времени», где рисуется «затухание» и обмельчание человечества [1], и против буржуазных социологических концепций, получающих отражение в фантастической литературе современного Запада.

В некоторых случаях Ефремов сам называет произведения, вызвавшие у него внутренний протест. Известно, например, что повесть «Сердце Змеи» написана как контроверза «Первому контакту» Мюррея Лейнстера.

В предисловии к «Космической Одиссее 2001 года» Артура Кларка советский писатель критикует последние главы этого романа, где «высший космический разум не имеет вещественной оболочки и представляет собой чистую энергетическую «субстанцию», свободно перемещающуюся в пространстве».

Материалист по глубокому убеждению, диалектик по методу мышления, Ефремов решительно осуждал беспочвенные социологические построения западных фантастов, нередко основанные на скоротечных, лопающихся, как воздушные шарики, футурологических теориях («национальный социализм», гибридное «конвергентное» общество, «постиндустриальное» общество и т. п.), всегда противопоставляемых «догматизму» марксистско-ленинского учения о поступательном ходе общественного развития.

С этой точки зрения «Туманность Андромеды» не только выдержала испытание временем как выдающееся произведение научной фантастики, но и в нынешней борьбе идеологий остается испытанным, действенным оружием.

Как мы не раз говорили, с появлением «Туманности Андромеды» четко обозначился качественно новый этап в истории развития советской научно-фантастической литературы. Покоряющее воздействие этого романа само по себе отбросило прочь бескры-

---

[1] См. статью И. Ефремова «На пути к роману «Туманность Андромеды» («Вопросы литературы», 1961, № 4).

лую фантастику «ближнего прицела», по существу подменявшую собой задачи популяризации достижений науки и техники.

Под влиянием творчества Ефремова образовалось новое социологическое направление в советской и, шире говоря, социалистической научно-фантастической литературе, направление, которое без всяких натяжек можно назвать «школой Ефремова».

Ведь именно Иван Ефремов, развивая идеи Циолковского, поднял научную фантастику нашей страны на уровень современного космического мышления, показав Землю лишь как один из множества островов Разума в беспредельном океане вселенной.

Ведь именно Иван Ефремов попытался смоделировать и людей и общество будущего, отодвинутых от нашей эпохи на много столетий вперед, тем самым наметив жизнеутверждающую перспективу подлинно гармонических отношений человека с человеком и человека с природой.

Ведь именно Иван Ефремов, в личности которого как бы соединились черты Пандиона, Гирина и Дар Ветра, выковал в своих произведениях непрерывную временную цепь прошлого, настоящего и будущего.

Евгений БРАНДИС,
Владимир ДМИТРЕВСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВСТРЕЧА НАД ТУСКАРОРОЙ. Рассказ

1. Журнал «Краснофлотец», 1944, № 2 (подзаголовок «Румб Первый»).
2. Журнал «Новый мир», 1944, № 4, 5.

Авторские сборники.

3. «Пять Румбов». М., «Молодая гвардия», 1944.
4. «Встреча над Тускаророй». М. — Л., Военмориздат, 1944.
5. «Алмазная Труба». М., Детгиз, 1954.
6. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
7. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
8. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
9. «Сердце Змеи». М., «Библиотека приключений», том 19. «Детская литература», 1970.

Переводы на иностранные языки

Издательство «Литература на иностранных языках». Москва.

1. Французский. 1953, 1954, 1955.
2. Английский. 1954, 1955.

Издательство «Прогресс». Москва.

3. Корейский. 1960.
4. Хинди. 1961.
5. Бенгали. 1961.
6. Издательство «Хутчинсон и К°». Лондон. Год не указан (английский).
7. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1946 (румынский).
8. Библиотека «Специални издания». София, 1946 (болгарский).
9. Издательство «Народна младеж», София, 1956 (болгарский).

ЭЛЛИНСКИЙ СЕКРЕТ. Рассказ

1. Сборник «Эллинский Секрет». Л., Лениздат, 1966.
2. Авторский сборник «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

Переводы на иностранные языки

1. Журнал «Советская литература», 1968, № 22 (японский).
2. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1968 (румынский).

3. Библиотека «Космос» № 7. София, 1969 (болгарский).
4. Книжное издательство Монголии. Улан-Батор, 1970 (монгольский).

ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ. Рассказ

Под названием «Тайна Горного Озера».

1. Журнал «Техника — молодежи», 1944, № 1.

Под названием «Дены-Дерь».

2. Журнал «Краснофлотец», 1944, № 3. Общий заголовок «Семь румбов». Подзаголовок «Румб второй».

Под названием «Озеро Горных Духов»

3. Журнал «Новый мир». Под общим названием «Семь румбов». 1944, № 4, 5.

Авторские сборники

4. «Пять румбов». М., «Молодая гвардия», 1944.
5. «Встреча над Тускаророй». М. — Л., Военмориздат, 1944.
6. «Алмазная Труба». Библиотека «Огонька». М., изд-во «Правда», 1946.
7. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.
8. «Звездные Корабли». М. — Л., Детгиз, 1953.
9. «Озеро Горных Духов». М. — Л., Детгиз, 1954.
10. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
11. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
12. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
13. «Сердце Змеи». «Библиотека советской фантастики». М., «Молодая гвардия», 1968.
14. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

Сборники

15. «На грани возможного». Горький, 1950.
16. «Капитан Звездолета». Калининград, 1962.
17. «В мире фантастики и приключений». Лениздат, 1963.

На языках союзных республик

1. Литовское государственное издательство художественной литературы. Вильнюс, 1954 (литовский).
2. Узбекское книжное издательство. Ташкент, 1966 (узбекский).

Переводы на иностранные языки

1. Журнал «Советская литература», 1946, № 9 (английский).
2. Издательство «Хутчинсон и К°». Лондон. Год не указан (английский).
3. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1946 (румынский).
4. «Специални издание». София, 1946 (болгарский).
5. Издательство «Наша книготорговля». Варшава, 1952, 1953 (польский).
6. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1956, 1959, 1960 (румынский).
7. Издательство СНДК. Прага, 1968 (чешский).

Издательство «Литература на иностранных языках». Москва.

8. Французский. 1953, 1954, 1955.
9. Английский. 1954, 1955.
10. Издательство «Прогресс» (корейский), 1950.
11. Издательство «Прогресс» (хинди), 1961.
12. Издательство «Прогресс» (бенгали), 1961.

ГОЛЕЦ ПОДЛУННЫЙ. Рассказ

1. Журнал «Новый мир», 1944, № 4, 5. Общее название «Семь румбов».

Авторские сборники

2. «Пять румбов». М., «Молодая гвардия», 1944.
3. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.
4. «Звездные Корабли». М., Детгиз, 1953.
5. «Озеро Горных Духов». М., Детгиз, 1954.
6. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
7. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
8. «Сердце Змеи». «Библиотека советской фантастики». М., «Молодая гвардия», 1968.
9. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том. 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Гос. изд-во художественной литературы Литовской ССР. Вильнюс, 1954 (литовский).

Переводы на иностранные языки

Издательство «Литература на иностранных языках». Москва.

2. Французский. 1953, 1954, 1955.
3. Английский. 1954, 1955.

Издательство «Прогресс». Москва.

4. Корейский. 1960.
5. Хинди. 1961.
6. Бенгали. 1961.
7. Издательство «Хутчинсон и К°». Лондон. Год не указан (английский).
8. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1946 (румынский).
9. Библиотека «Специални издания». София, 1946 (болгарский)
10. Издательство «Наша книготорговля». Варшава, 1952, 1953 (польский).
11. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1959 (румынский).
12. Издательство СНДК. Прага, 1968 (чешский).

АЛМАЗНАЯ ТРУБА. Рассказ

1. Журнал «Новый мир», 1945, № 4. (Общий заголовок «Рассказы о необыкновенном».)

Авторские сборники

2. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.

3. «Алмазная Труба». Биб-ка «Огонька», изд-во «Правда». М., 1946.
4. «Рассказы о необыкновенном». Сталинград, 1946.
5. «Белый Рог», Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
6. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.
7. «Алмазная Труба». М., Детгиз, 1954.
8. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
9. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
10. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Издательство «Накадули». Тбилиси, 1960 (грузинский).
2. Издательство «Казгиз». Алма-Ата, 1959 (казахский).
3. Издательство «Шкоала советикэ». Кишинев (молдавский).
4. Киевгиз Украины. Киев, 1954 (украинский).
5. Латвийское книжное издательство. Рига, 1947 (латвийский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство «Младо поколение». София, 1947 (болгарский).
2. Издательство «Книга и знание». Варшава, 1952 (польский).
3. Издательство «Искры». Варшава, 1953, 1956, 1959 (польский).
4. Издательство «Народна младеж». София, 1956 (болгарский).
5. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1958 (румынский).
6. Журнал «Интернациональная литература», 1945, № 10. Москва (английский).

ЮРТА ВОРОНА (Хюндустыйн Эг). Рассказ.

1. Газета «Комсомольская правда» — сокращенный вариант, 1959, 27—29 мая.

Авторские сборники

2. «Юрта Ворона». М., «Молодая гвардия», 1960.
3. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
4. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Узбекское книжное издательство. Ташкент, 1966 (узбекский).

Переводы на иностранные языки

1. «Наука и техника». Бухарест, 1963 (румынский).
2. СПКК. Братислава, 1963 (словацкий).

ПУТЯМИ СТАРЫХ ГОРНЯКОВ. Рассказ

Авторские сборники

1. «Пять румбов». М., «Молодая гвардия», 1946.
2. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.
3. «Алмазная Труба». М. — Л., Детгиз, 1954.
4. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.

5. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
6. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

Переводы на иностранные языки

1. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1946, 1948, 1958 (румынский).
2. «Специални издания». София, 1946 (болгарский).
3. Издательство «Наша книготорговля». Варшава, 1952, 1953 (польский).
4. Издательство «Народна младеж». София, 1956 (болгарский).

БЕЛЫЙ РОГ. Рассказ

Под названием «Ак-Мюнгуз»

1. Журнал «Краснофлотец», 1945, № 7, 8.
2. Журнал «Новый мир» (подзаголовок «Белый Рог»), 1945, № 4.

Авторские сборники

3. «Тень Минувшего». «Библиотека фантастики и приключений». М., Детгиз, 1945.
4. «Рассказы о необыкновенном». Сталинград, 1946.

Под названием «Белый Рог»

5. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.
6. «Белый Рог». Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
7. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.
8. «Звездные Корабли». М., Детгиз, 1953.
9. «Озеро Горных Духов». М., Детгиз, 1954.
10. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
11. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
12. «Сердце Змеи». М. «Детская литература», 1964.
13. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латышский).
2. Эстонское книжное издательство. Таллин, 1950 (эстонский).
3. Литовское государственное издательство художественной литературы. Вильнюс, 1954 (литовский).
4. Узбекское книжное издательство. Ташкент, 1966 (узбекский).

Переводы на иностранные языки

Издательство «Литература на иностранных языках». Москва.

1. Французский. 1953, 1954, 1955.
2. Английский. 1954, 1955.

Издательство «Прогресс». Москва.

3. Корейский. 1960.
4. Хинди. 1961.
5. Бенгали. 1961.

6. Издательство «Младо поколение». София, 1947 (болгарский).
7. Издательство «Универсум». Прага, 1949 (чешский).
8. Издательство «Накладателстви вишехард». Прага, 1950 (чешский).
9. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1949, 1959, 1960 (румынский).
10. Издательство «Кёнивкиадо». Бухарест, 1950 (венгерский).
11. Издательство «Книга и знание». Варшава, 1952 (польский).
12. Издательство «Искры». Варшава, 1953, 1956, 1959 (польский).
13. Издательство СНДК. Прага, 1968 (чешский).
14. Издательство «Култур унд Фортшритт». Берлин, 1955 (немецкий).
15. «Матица сриска». Нови Сад, 1947 (сербскохорватский).

ОЛГОЙ-ХОРХОЙ. Рассказ

Под названием «Аллергорхой-хорхой»

Авторские сборники

1. «Пять румбов». М., «Молодая гвардия», 1944.
2. «Рассказы». М., «Молодая гвардия», 1950.

Под названием «Олгой-Хорхой».

3. «Звездные Корабли». М. — Л., Детгиз, 1953.
4. «Озеро Горных Духов». М. — Л., Детгиз, 1954.
5. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
6. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.
7. Сборник. «Библиотека современной фантастики», том 25. М., «Молодая гвардия», 1973.

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латышский).
2. Литовское государственное издательство художественной литературы. Вильнюс, 1954 (литовский).
3. Узбекское книжное издательство. Ташкент, 1966 (узбекский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство литературы на иностранных языках. Москва, 1954, 1955 (английский).
2. Издательство «Хутчинсон и К°». Лондон. Год не указан (английский).
3. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1946 (румынский).
4. «Специални издания». София, 1946 (болгарский).
5. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1959, 1960.
6. СНДК. Прага, 1968 (чешский).
7. Издательство «Новая жизнь». Берлин, 1961 (немецкий).

ТЕНЬ МИНУВШЕГО. Рассказ

Под названием «Тени Минувшего»

1. Журнал «Красноармеец», 1945, № 2—5.

Под названием «Тень Минувшего»

Авторские сборники

2. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.
3. «Белый Рог». Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
4. «Звездные Корабли». М. — Л., Детгиз, 1953.
5. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
6. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
7. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
8. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том. 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латышский).
2. Литовское государственное издательство художественной литературы. Вильнюс, 1954 (литовский).
3. Эстонское книжное издательство. Таллин, 1950 (эстонский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство на иностранных языках. Москва, 1953, 1954, 1955 (французский).
2. Издательство на иностранных языках. Москва, 1954, 1955 (английский).
3. Издательство «Прогресс». Москва, 1960 (корейский).
4. Издательство «Прогресс», Москва, 1961 (хинди).
5. Издательство «Прогресс». Москва, 1961 (бенгали).
6. Издательство «Ново поколение». Белград, 1947 (сербскохорватский).
7. Издательство «Сва-Верлаг». Берлин, 1948, (немецкий).
8. Издательство «Тинеретулуи». Бухарест, 1949 (румынский).
9. Издательство «Кёнивкиадо». Будапешт, 1950 (венгерский).
10. Издательство «Универсум». Прага, 1949, 1950 (чешский).
11. Издательство «Книга и знание». Варшава, 1952 (польский).
12. Издательство «Искры». Варшава, 1953, 1956, 1959 (польский).
13. Издательство «Култур унд Фортшритт». Берлин, 1954 (немецкий).
14. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1958 (румынский).
15. Издательство «Тхань миея». Ханой, 1958 (вьетнамский).
16. СНДК. Прага, 1968 (чешский).

БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ. Рассказ

Авторские сборники

1. «Встреча над Тускаророй». М. — Л., Военмориздат, 1944.
2. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.
3. «Рассказы о необыкновенном». Сталиняград, 1946.
4. «Белый Рог». Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
5. «Алмазная Труба». М., Детгиз, 1954.
6. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.

7. «Бухта Радужных Струй». М., «Советский писатель», 1959.
8. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
9. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латышский).
2. Эстонское книжное издательство. Таллин, 1950 (эстонский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство «Младо поколение». София, 1947 (болгарский).
2. Издательство «Книга и знание». Варшава, 1952 (польский).
3. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1958 (румынский).
4. Издательство «Млада лета», 1963 (словацкий).

КАТТИ САРК. Рассказ

1. Журнал «Краснофлотец», 1944, № 5. Под общим заголовком «Румб третий».
2. Журнал «Новый мир», 1944, № 4, 5. Под общим заголовком «Семь румбов».

Авторские сборники

3. «Встреча над Тускаророй». М. — Л., Военмориздат, 1944.
4. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.
5. «Белый Рог». Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
6. «Юрта Ворона». М., «Молодая гвардия», 1960 (полностью переработанный).
7. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.
8. Альманах «Мир приключений» № 3. М., Детгиз, 1957 (полностью переработанный).

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латышский).

ПОСЛЕДНИЙ МАРСЕЛЬ. Рассказ

1. Журнал «Краснофлотец», 1944, № 20.

Авторские сборники

2. «Встреча над Тускаророй». М. — Л., Военмориздат, 1944.
3. «Белый Рог». М., «Молодая гвардия», 1945.
4. «Белый Рог». Куйбышев, ОГИЗ, 1948.
5. «Алмазная Труба», М., Детгиз, 1954.
6. «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956, 1957.
7. «Юрта Ворона». М., «Молодая гвардия», 1960.
8. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Латышское книжное издательство. Рига, 1947 (латвийский).
2. Эстонское книжное издательство. Таллин, 1950 (эстонский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство «Младо поколение». София, 1947 (болгарский).
2. Издательство «Книга и знание». Варшава, 1952 (польский).
3. Издательство «Искры». Варшава, 1953, 1956 (польский).
4. Издательство «Клейне югендсерие». Вып. 12. Берлин, 1956 (немецкий).
5. Издательство «Народна младеж». София, 1956 (болгарский).
6. Издательство «Култур унд Фортшритт». Берлин, 1956 (немецкий).
7. Издательство «Картеа Руса». Бухарест, 1958 (румынский).

АФАНЕОР, ДОЧЬ АХАРХЕЛЛЕНА. Рассказ

1. Журнал «Нева», 1960, № 1.

Авторские сборники

2. «Юрта Ворона». М., «Молодая гвардия», 1960.
3. «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964.
4. «Сердце Змеи». «Библиотека приключений», том 19. М., «Детская литература», 1970.

На языках союзных республик

1. Узбекское книжное издательство. Ташкент, 1966 (узбекский).

На иностранных языках

1. Издательство СПКК. 1963 (словацкий).

АДСКОЕ ПЛАМЯ. Рассказ

1. Журнал «Знание — сила», 1954, № 1.

Авторский сборник

«Алмазная Труба». М., Детгиз, 1954.

Переводы на иностранные языки

1. Пекин, 1954 (китайский).
2. Издательство «Народна младеж». София, 1956 (болгарский).

СОДЕРЖАНИЕ

Ефремов И. А.

Е92 Сочинения в 3-х томах. Т. 1. Рассказы. Послесловие Е. Брандиса и В. Дмитревского. М., «Молодая гвардия», 1975.

512 с. с ил.

На обороте тит. л. сост: Жемайтис С. Г.

В первый том Сочиненнй И. Ефремова входят рассказы «Встреча над Тускаророй», «Эллинский Секрет», «Озеро Горных Духов» н другне.

Е $\frac{70302-188}{078(02)-75}$ — подписное Р2

Иван Антоновнч Ефремов

СОЧИНЕНИЯ В 3-Х ТОМАХ. Т. 1.

Редактор С. Жемайтис

Художинк В. Максин

Художественный редактор Б. Федотов

Техническнй редактор Н. Мнхайловская

Сдано в набор 29/VII 1974 г. Подписано к печати 3/VII 1975 г. А08171. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 16 (усл. 26,88)+ + 1 вкл. Уч.-изд. л. 28,7. Тираж 200 000 экз. Цена 1 р. 16 к Подписное. Заказ 1344.

Тнпография нзд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и тнпографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



